ISSN 0130-6545

1.1992

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

БОГУМИЛ ГРАБАЛ
Я обслуживал английского короля

МАРКИЗ ДЕ САД
Преступления любви

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ «ИЛ» 1991 ГОДА

В. БАБКОВ — за перевод романа Олдоса Хаксли «Гений и богиня», № 5

И. БРОДСКИЙ, В. БРИТАНИШСКИЙ — за перевод стихов Чеслава Милоша, № 5

С. ГОНЧАРЕНКО, Н. БОГОМОЛОВА, А. КОФМАН — за публикацию, посвященную творчеству Октавио Паса, № 1

А. ЕРМОНСКИЙ — за перевод романа Витольда Гомбровича «Фердидурка», № 1

М. КАРП — за перевод романа Вирджинии Вулф «Комната Джейкоба», № 9

Н. МАЛИНОВСКАЯ — за перевод фрагментов книги «Тайная жизнь Сальвадора Дали», № 12

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, И. Ф. ЗОРИНА, Т. В. ЛАНИНА,
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Б. Н. ХЛЕБНИКОВ, Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, В. Б. ИОРДАНСКИЙ,
А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, А. С. МУЛЯРЧИК, В. Ф. ОГНЕВ,
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. В. ПАРИН, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

1 январь 1992

СОДЕРЖАНИЕ

БОГУМИЛ ГРАБАЛ — Я обслуживал английского короля *(Роман. Перевод с чешского и послесловие Д. Прошуниной. Вступление Радко Пытлика)* 5

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ — IF *(Вглубь одного стихотворения. Перевод с английского М. Лозинского, Вл. Корнилова, А. Грибанова, Аллы Шараповой. Вступление А. Зверева)* 104

ДОНАСЬЕН АЛЬФОНС ФРАНСУА ДЕ САД — Из книги «Преступления любви» *(Перевод с французского Е. Морозовой)* 112

Молодые поэты Словакии

ТАТЬЯНА ЛЕГЕНОВА, ДАНА ПОДРАЦКАЯ, ЭРИК ГРОХ, ЙОЗЕФ УРБАН (Переводы М. Файнермана, А. Макарова-Кроткова. Вступление Яна Замбора) 175

ГЕРД РЕЙМЕРС — Жены и музы. Портреты спутниц великих мужей. Фрагменты *(Перевод со шведского Н. Френкель)* 182

Критика

Литературная интерпретация — «за» и «против». Вступительное слово Алексея Зверева

СУЗАН СОНТАГ — Против интерпретации *(Перевод с английского В. Голышева)* 211

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ — О пользе интерпретации 217

Из архива писателя

ТОМАС МАНН — Страдая Германией. Дневники 1933—1936 гг. *(Вступительная статья, составление, перевод с немецкого и комментарий М. Харитонова)* 221

Документальная проза и публицистика

Вера и мораль

ЛАО-ЦЗЫ — Книга Пути и Благодати (*Предисловие, перевод с древнекитайского и парафраз И. Лисевича)* 231

У книжной витрины 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1992

В следующем номере «ИЛ»:

АНДЖЕЙ ЩИПЁРСКИЙ «Начало, или Прекрасная пани Зайденман».
Роман польского писателя переведен на четырнадцать языков и выдержал более двадцати изданий в разных странах. Особую популярность он приобрел в Австралии и Германии, где был удостоен нескольких литературных премий и долгое время занимал прочное место в списках бестселлеров. «Против узколобости, национализма и жестокости протестует Щипёрский в своей поистине прекрасной и очень мудрой книге»,— писал польский критик П. Кунцевич.

АЛЬБЕР КАМЮ «Счастливая смерть».
Главный герой романа Патрис Мерсо убивает друга своей любовницы Загрея, убежденного ницшеанца, потерявшего обе ноги в автомобильной катастрофе, и завладевает его деньгами. Мерсо делает это в надежде стать свободным и счастливым, но обретает в результате лишь «счастливую смерть». Роман был задуман молодым Камю, находившимся под влиянием Ницше, как антитеза «Преступлению и наказанию», и впервые опубликован лишь после смерти писателя, в 1971 году.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 29.10.91. Подписано в печать 07.12.91. Формат 70×108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.- изд. 26,35.

Тираж 154 000 экз. Цена по подписке 3 р. 75 к.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 2373.

БОГУМИЛ ГРАБАЛ

Я обслуживал английского короля

РОМАН

Перевод с чешского Д. ПРОШУНИНОЙ
Вступление РАДКО ПЫТЛИКА

«Мы живем в стране, где более тысячи лет хлопочет неугомонный народ, который с неизменным опозданием, но зато с необыкновенным воодушевлением подхватывает прекрасную идею, как правило пришедшую из чужих краев, он живет этой идеей как собственной и доводит ее чаще всего — до абсурда. Такая идея приходит всегда некстати, всегда за нее надо бороться, всегда за нее надо проливать кровь, и эта совершенно некстати пролитая красная жидкость всегда оказывалась пролитой вовремя, и новое общество или какие-то его слои и классы, в зависимости от политической ситуации, добивались для себя подхода и входа под то огромное полотнище, в ткань которого этот народ вплел рычащего льва».

Эти слова принадлежат прозаику и поэту Богумилу Грабалу, творчество которого стало самым замечательным явлением современной чешской литературы, и так же, как творчество Ярослава Гашека, другого гениального писателя нашего века, перешагнуло границы страны и языка, и получило широкое мировое признание. Их роднит и то, что они оба испытали на себе влияние такого своеобразного литературного феномена, как «пражская ирония», и то, что они оба выразили чешское мироощущение, чешский характер, драматическую судьбу так называемого обывателя, гражданина маленькой страны в центре Европы.

Судьба чешского народа сложилась так, что несколько раз за свою историю, а в общем более трехсот лет, он жил в постоянном угнетении, без права иметь собственных представителей у власти, подчиняясь чужеземцам и воле сильных, которые решали его судьбу без него и за него. Ему постоянно приходилось искать какие-то способы, чтобы выжить, сохранить вкус к жизни, человеческое достоинство. И пражская ирония — это отражение двух сторон жизни чешского общества: банальности будней и стремления к высочайшим духовным идеалам. Поэтому можно сказать, что у пражской иронии глубокие исторические и философские корни. Люди, не имевшие возможности, во всяком случае публично и гласно, высказать свои взгляды, создавали какое-то анонимное общественное мнение, в котором очень четко разделялось, кто «они» (те, что наверху) и кто «мы» (внизу). Эти «мы» относятся к истории как череде забавных анекдотов, раздробляют ее на смешные эпизоды, в которых в конце концов можно увидеть и героические поступки.

Своеобразными клубами, где создается это общественное мнение, стали пражские пивные. Здесь из «пивного трепа» рождается ощущение радости бытия. Легкое опьянение, порой притворное, высвобождает творческую энергию. Каждый, кто относится к «мы», здесь естествен и откровенен, не боится сказать то, что думает. Однако не витийствует, не выставляет себя, а как бы ненароком выражает свое отношение к происходящему в общем мире, где живут «мы» и «они», ироническим намеком, иной раз умолчанием, экстравагантными выходками, кажущимися шутовством, чудачеством, самоуничижением.

Официальные торжества и «великие» исторические события этот «неугомонный народ» воспринимает как скандальный фарс, а свой укромный кусочек реальности, ограниченный мир близких его сердцу житейских дел (приятель забил свинью и приглашает всех на праздник свежей свинины, выигрыш в карты, на биллиарде, болтовня за кружкой пива или рюмкой рома) он считает главным и самым возвышенным в жизни и умеет рассказать обо всем этом с удивительным остроумием.

Восхищенное, гиперболическое ви́дение мира, выраженное в такой форме повествования, как «пивная байка»,— вот основы творчества великого мастера литературной мистификации и мудрого философа Грабала.

Прелесть и значение выдающегося произведения писателя под таким странным названием «Я обслуживал английского короля», в диалектическом переплетении судьбы героя и исторических событий. Жизнь человека предстает перед нами похожей на песочные часы: то вниз, то вверх, то вверх, то вниз.

Окружающее мы видим глазами героя, официанта-коротышки по фамилии Дитя. Его детское удивление красочностью и разнообразием мира, порой наивное, полное иллюзий отношение к жизни, неожиданно придают особую правдивость художественному изображению. Картина конкретных исторических событий (например, период фашистской оккупации) приобретает необычный для современной литературы ракурс, раскрывающий всю абсурдность происходящего и парадоксальность политических конфликтов, затрагивающих людские судьбы. В эротических сценах романа ощущается тоска по любви и счастью, мечта о красоте. В них заметно и мистическое отношение к женщине, к таинству любви и красоте женского тела. Эти мотивы связаны с мифологическими мотивами возврата в лоно женщины-матери, типичными для литературы XX века.

Роман «Я обслуживал английского короля» полон веры в незыблемость человеческих ценностей. Судьба уготовила герою не только падение, не только крах всех его жизненных устремлений, но и дала ему способность радостного мироощущения, поэтического восприятия «чуда повседневности», сокрытого и распыленного в реальности.

Перевод с чешского О. МАЛЕВИЧА

БОКАЛ ЛИМОНАДА

Послушайте-ка, что я вам теперь расскажу.

Как пришел я в отель «Прага», взял меня шеф за левое ухо, и так таскал меня, и говорил: «Ты здесь младший официант, мелюзга, вот и запомни! Ты ничего не видел и ничего не слышал! Повтори, что я сказал!» Ну, стало быть, я сказал, что на работе я ничего не видел и ничего не слышал. И тогда шеф таскал меня за правое ухо и говорил: «Еще запомни, ты должен все видеть и все слышать! Повтори, что я сказал». Я так удивился и повторил, что буду все видеть и все слышать. И началось. Каждый день в шесть утра, будто на параде, мы выстраивались в зале, приходил пан хозяин, по одну сторону дорожки — метрдотель, официанты и в конце я, мальчик-ученик, а по другую сторону — повара, и горничная, и подсобницы, и кастелянша, пан хозяин проходил мимо нас и смотрел, чистые ли у нас манишки и фрачные воротники, и нет ли на фраке пятен, и все ли пуговицы на месте, и вычищены ли ботинки, и он наклонялся, чтобы нюхом определить, мыли ли мы ноги, потом говорил: «Добрый день, господа, добрый день, дамы». И нам уже не полагалось разговаривать, и официанты учили меня, как заворачивать в салфетку нож и вилку, я чистил пепельницы и каждый день надраивал металлическую корзинку из-под горячих сосисок, потому что я разносил на вокзале горячие сосиски, а учил меня этому младший официант, который уже не был младшим, потому что начал работать в зале, ах ничего бы он не хотел, только бы и дальше разносить сосиски! А я так удивлялся, но потом понял. Никакой бы работы я не просил, только бы разносить вдоль поезда горячие сосиски, сколько раз в день я продавал за крону восемьдесят геллеров сосисочки с рогаликом, а у пассажира бумажка в двадцать крон, а то и в пятьдесят, но у меня всегда не было мелочи, даже если была, и, стало быть, я продавал другим до той самой минуты, пока пассажир уж вскакивал в поезд, пробирался к окну, протягивал руку, и я прежде подавал горячие сосиски, потом бренчал в кармане мелочью, а пассажир кричал, чтоб мелочь я оставил себе, главное, чтоб вернул купюрку, а я не спеша рылся в кармане, и дежурный по станции уже давал свисток, а я так медленно вытаскивал эту купюрку, и поезд трогался, а я бежал рядом с вагоном, и когда он набирал скорость, я вытягивал руку, и пальцы высунувшегося пассажира вот-вот коснутся этой купюрки, бывало, некоторые высовывались так, что кому-нибудь в купе приходилось держать их за ноги, один вроде бы зацепился ногой за оконную раму, другой еще за что-то, но

пальцы быстро удалялись, и я, запыхавшийся, стоял с вытянутой рукой, а купюрка была моя, ведь кто ж из пассажиров вернется за десятью кронами, так начали появляться у меня свои деньги, за месяц набралось несколько сотен, а потом уже и тысяча, но утром в шесть и вечером перед сном шеф проверял, вымыты ли у меня ноги, и уже в двенадцать я должен быть в постели, так вот я и начинал не слышать, но слышать все, не видеть и видеть все, и видел я весь распорядок и порядок, и как радовался шеф, если мы затевали свару, хоть и для вида, а если бы вдруг вздумалось кассирше пойти в кино с официантом, то наутро ждало бы ее увольнение, и еще я узнал гостей нашей кухни, этот стол почетных посетителей, у каждого было свое место и свой постоянный бокал для пива, бокал с оленем и бокал с фиалками, бокал с картинкой городка и бокал темно-красного стекла, бокал пузатый и керамическая кружка с буквами HB из самого Мюнхена, и вот, каждый вечер приходило это избранное общество, пан нотариус и начальник станции, и судья, и ветеринар, и директор музыкальной школы, и фабрикант Ина, и всем я помогал снять пальто, и всем я помогал надеть пальто, и когда я приносил пиво, каждый бокал должен был попасть в руки тому, кому принадлежал, я так удивлялся, как богатые умеют целый вечер болтать, к примеру, о том, что за городом есть мостки, и тридцать лет назад там рос тополь, вот тут-то и начиналось: один кричал, что там не было мостков, а был только тополь, и другой, что там не было никакого тополя и что там были не мостки, а просто доска с перилами... и так они могли весь вечер попивать пиво, и мусолить этот тополь и мостки, и кричать, и ссориться, но будто понарошку, потому что как они ни кричали через стол, что там были мостки, а не тополь, а с другой стороны, что там был тополь, а не мостки, но как сидели, так и сидели, и были все довольны, и кричали лишь ради того, чтоб вкусней пилось пиво, в другой раз начнут препираться о том, какое пиво в Чехии самое лучшее, один — противинское, другой — воднянское, третий — пльзеньское, четвертый — нимбуркское и крушовицкое, и так они опять ругались, но были друг другу приятны и шумели лишь бы что-нибудь делать, лишь бы как-то убить это вечернее время... А как-то раз пан начальник станции, когда я принес ему пиво, наклонился и прошептал, что пана ветеринара видели «У Райских», с барышнями, что он там был в шамбр сепаре с Ярушкой, и пан директор музыкальной школы возразил, что, напротив, быть-то он там был, этот ветеринар, но не в четверг, а в среду, и не с Ярушкой, а с Властой, и вот опять целый вечер они болтали о барышнях «У Райских», и кто там бывал, и кто не бывал, и когда я слушал их речи, мне было все одно, были ли за городом тополь и мостки, или там были мостки, а не тополь, или же только тополь, было мне все одно, браницкое пиво лучше или противинское, я не хотел ничего видеть и слышать, только бы мне увидеть и услышать, как это все «У Райских». Пересчитал я свои купюрки, а набралось их у меня столько от этих горячих сосисок, что можно было отважиться и на «Райских», я даже научился плакать на вокзале, я был такой коротышка, настоящий мальчик-официант, что люди, махнув рукой, оставляли мне сдачу, потому как думали, будто я сирота. И вот, у меня созревал план, что однажды после одиннадцати, когда уже вымою ноги, я вылезу в окно из своей комнатенки и посмотрю, что там «У Райских». Тот день странно начался в отеле «Злата Прага». Еще до обеда пришла компания цыган, красиво одетых и при деньгах, это были медники, они сидели и заказывали самое лучшее, и после каждого раза, когда еще что-нибудь заказывали, вынимали деньги, мол, хватит расплатиться, директор музыкальной школы сидел за столиком у окна, а цыгане шумели, и он пересел в середину зала и продолжал читать книгу, должно быть, ужасно интересную, потому что когда пан директор поднялся, чтоб перейти на три стола дальше, так все читал эту книгу, и когда садился, тоже читал, нащупывал рукой стул и все читал, а я протирал бокалы для почетных гостей, разглядывал их на свет, время было предобеденное, только суп и гуляши для редких посетителей, а было у нас заведено, что все официанты, если им и нечего делать, все равно должны что-то делать, вот и я, стало быть, старательно протирал

бокалы, метрдотель стоя раскладывал в буфете вилки, а официант переставлял закуски... и вот, гляжу я через бокал со «Златой Прагой» и вижу, как за окном бегут разъяренные цыгане, вбегают в нашу «Злату Прагу» и, наверно еще на лестнице, вытаскивают ножи, и что тут началось, они подбежали к тем цыганам, медникам, но те их будто уже ждали, повскакивали и потянули на себя столы, эти столы они все время держали перед собой, чтобы до них те цыгане не дотянулись ножом, но все равно двое уже лежали на полу, и в спинах у них торчали ножи, и те так кололи, так рубили, и все по рукам, уже и столы залиты кровью, а пан директор музыкальной школы все читает свою книжку, улыбается, и эта цыганская гроза прогремела не возле пана директора, а над ним, забрызгали цыгане ему кровью голову и книжку, раза два втыкали нож в его стол, но пан директор все читал, а я забрался под стол и потом на четвереньках уполз в кухню, цыгане визжали, и ножи сверкали, словно золотые мухи пролетали над «Прагой» эти сверкающие ножи, и цыгане, не заплатив, высыпали из ресторана, на всех столах осталась кровь, двое лежали на полу, на одном столе валялись отрубленные два пальца и аккурат одним взмахом срезанное ухо, и еще кусок мяса, пан доктор, когда пришел и осмотрел все исколотое и измолотое, то определил, что это мясо — от мышцы с руки у плеча, а пан директор школы подпер голову ладонями, поставил локти на стол и читал свою книжку, все остальные столы были перевернуты, ими медники загораживали выход и прикрывали свое отступление, пан шеф не знал, что и делать, оставалось лишь надеть под фрак белый жилет, усеянный пчелками, встать у ресторана, вскинуть руки и говорить приходившим посетителям, дескать, к сожалению, у нас случился инцидент, мы откроем только завтра. Мне было велено собрать скатерти, столько отпечатков окровавленных ладоней и пальцев, отнести их во двор, затопить в прачечной большой котел, а кастелянше и подсобнице велено эти скатерти постирать и выварить, мне потом надо было их развесить, но я не доставал до веревки, и потому развешивала подсобница, я подавал ей эти мокрые отжатые скатерти, и голова моя была у нее под грудью, а она смеялась надо мной и делала из меня посмешище, прижимала свои груди мне к лицу, будто нечаянно, то одну, то другую, уперлась грудью мне в глаз и застила свет, от нее сильно пахло, когда же она нагнулась, чтоб взять скатерть из корзины, я увидел их снова, вот так я и стоял под раскачивавшейся грудью, она выпрямилась, и грудь уже не висела, а торчала, и обе эти женщины, кастелянша и подсобница, смеялись и говорили, сынок, сколько тебе годочков-то, четырнадцать уже есть? Давно? Вечерело, поднялся ветер, скатерти перегородили двор, как мы зал, когда в ресторане свадьба или тесная компания, и в зале у меня уже все было приготовлено, все снова сияло чистотой, всюду гвоздики, я всегда приносил по сезону полную корзину цветов, и я пошел спать, но потом, когда в доме стихло и только во дворе развевались скатерти, будто перешептывались между собой, весь двор был полон их муслиновой беседой, открыл я окно и проскользнул среди скатертей к воротам, перелез через них и пошел по улочке от фонаря к фонарю. Всякий раз я пережидал в темноте, пока пройдут мимо меня ночные прохожие, и наконец вдалеке увидал зеленые буквы «У Райских», с минуту я постоял, прислушиваясь, из глубины дома доносилось дребезжание оркестриона, и я собрал все мужество и вошел, там на лестнице светилось окошко, такое высокое, что мне пришлось подняться на цыпочки, и в нем сидела пани Райская, она спросила: «Чего вы желаете, паренечек?» — я сказал, что хотел бы развлечься, она открыла дверь, и когда я вошел, там сидела темноволосая барышня, красиво причесанная, она спросила, чего бы я хотел? Я сказал, что хотел бы поужинать, а она мне — принести вам ужин сюда или в салон, а я покраснел и сказал, что хотел бы поужинать в шамбр сепаре, и она долго смотрела на меня и даже присвистнула, потом спросила, хотя уже знала ответ, с кем? Я показал на нее и сказал, с вами. Тогда она покачала головой и взяла меня за руку, и повела по слабо освещенному коридору с красными притемненными канделябрами, она открыла дверь, там стояли канапе, и стол, и два обтянутых бархатом стула, и свет падал откуда-то из-под занавесей и опускался

с потолка вниз, будто ветви плакучей ивы, я сел, и когда нащупал в кармане деньги, то почувствовал себя таким сильным, что сказал: «Вы поужинаете со мной? И что будем пить?» Она ответила, шампанское, я кивнул, барышня хлопнула в ладоши, и появился официант, он принес бутылку, открыл ее и поставил в маленькую нишу, а потом он принес бокалы и налил, я пил шампанское, пузырьки газа били мне в нос, и я чихал, а барышня пила бокал за бокалом, потом она изобразила, будто проголодалась, а я сказал, конечно, пусть принесут самое лучшее, и она сказала, что любит устрицы, что здесь они свежие, и так мы ели устрицы, потом выпили еще бутылку шампанского, потом еще, она начала гладить меня по волосам и спрашивать, откуда я родом, и я ответил, что из такой маленькой деревни, что и угли-то первый раз в жизни увидел в прошлом году, она засмеялась моей шутке и сказала, чтобы я располагался поудобнее, мне стало жарко, но я снял только пиджак, а она сказала, что ей тоже жарко и, может, тогда ей лучше снять платье, я помогал ей и развешивал платье на стуле, а потом она расстегнула мне ширинку, и я теперь знал, что «У Райских» не просто приятно, прекрасно и роскошно, а как в раю, она взяла мою голову и сжала своими грудями, и грудь ее приятно пахла, я закрыл глаза, будто мне хотелось спать, такой прекрасный был от нее запах, и грудь и мягкость кожи, а она опускала мою голову все ниже и ниже, и я вдыхал запах ее живота, а она вздыхала, и было так запретно прекрасно, что я уже не желал ничего другого, только это, и ради этого я каждую неделю насобираю на горячих сосисках восемьсот и больше, теперь у меня есть цель, красивая и возвышенная, как любил говорить мой папа, чтобы всегда была у меня цель, и тогда я буду спасен, потому что будет ради чего жить. Но это было еще не все, Ярушка тихонько стянула с меня брюки, потом трусы и целовала меня в пах, и я был так потрясен, наконец я представлял все, что делается «У Райских», я весь сжался, задрожал и говорю, что это вы, Ярушка, делаете? И она будто опомнилась, но когда увидела, какой я, так не отступила, взяла меня в рот, я отталкивал ее, но она была словно не в себе, держала меня во рту и двигала головой, все быстрее и быстрее, и потом я уже не отталкивал ее и не отстранял, но весь напрягся и держал ее за ушки, и чувствовал, как истекаю, и что это совсем по-другому, чем когда я это делал сам, все до капельки выпила из меня эта барышня с красивыми волосами и закрытыми глазами, выпила все, что я выталкивал и выбрасывал с отвращением на угли в подвале или в платок в постели... потом она поднялась и произнесла томным голосом, мол, теперь будем с любовью, но я был такой потрясенный и расслабленный, что даже стал противиться и говорю, но я хочу есть, а вы не хотите? Меня мучила жажда, я взял бокал Ярушки, она начала отнимать его, но я успел отпить и отставил бокал расстроенный, потому что в нем оказалось не шампанское, а лимонад, за который я платил как за шампанское, а я только теперь понял, но засмеялся и заказал еще одну бутылку, когда метрдотель принес, я сам открыл ее и сам налил, и потом мы снова ели, и где-то в глубине дребезжал оркестрион, и когда мы допили бутылку, я захмелел, снова сполз на колени, и положил голову барышне между ног, и целовал ее, щекотал эти красивые усы и волосы, я был такой легкий, что барышня взяла меня под мышки и потянула на себя, расставила ноги, и я как по маслу впервые в жизни въехал в женщину, то, о чем я мечтал, вот оно, она прижимала меня к себе и шептала, чтобы я сдерживался, чтобы подольше, но я только два раза подвигался, а в третий истек в жаркое мясо, она выгнулась мостиком, волосами и ступнями касаясь канапе, а я лежал на мостике ее тела и до последней минуты, пока не обмяк, оставался в ее раскинутых ногах, пока чувствовал твердость, и только потом я ушел и лег возле нее. Она отдыхала, ощупывала меня и гладила по животу и по всему телу... Всему свое время, и время одеваться, и время прощаться, и время платить, и метрдотель все считал и считал, и подал мне счет на семьсот двадцать крон, уходя, я вынул еще две сотни и дал их Ярушке, я вышел от «Райских», прислонился к первой же стене и стоял в темноте весь в мечтах, впервые я узнал, что делается в этих красивых домах, где барышни, но, сказал я себе, теперь ты

ученый, завтра ты снова придешь и будешь вести себя, как господин, потому что сегодня меня все удивляло, я пришел туда как мальчик-официант, который на вокзале разносит сосиски, а уходил, чувствуя себя выше, чем какой-нибудь пан, который посиживает в «Златой Праге» за столом почетных гостей, где могут сидеть только благородные господа, городская знать...

На следующий день я смотрел на мир другими глазами, деньги не только открыли мне двери к «Райским», но и окружили уважением, я еще вспомнил, что пани Райская в привратницкой, когда увидела, как я выбросил на ветер две сотни, все хватала меня за руки и хотела их поцеловать, а я-то думал, что она хочет посмотреть, который точно час на ручных часах, правда, их у меня еще не было, но ее поцелуй предназначался не мне, младшему официанту из отеля «Злата Прага», этот поцелуй предназначался тем двум сотням и вообще тем деньгам, какие были у меня, у которого есть еще тысяча крон, спрятанная в постели, и который может иметь денег не столько, сколько ему захочется, а сколько заработает, каждый день продавая горячие сосиски на вокзале. И вот, утром меня послали с корзиной за цветами, на обратном пути я увидел, как пенсионер ползает на четвереньках и ищет куда-то закатившуюся монету, вообще-то только теперь я сообразил, что наши почетные гости, и садовник, и колбасник, и мясник, и владелец сыроваренного заводика, что, в сущности, у нас собираются те, у кого мы покупаем хлеб и всякую сдобу, и мясо, и шеф, когда просматривал холодильник, сколько раз говорил, сию же минуту иди к мяснику и передай, пусть немедленно забирает этого тощего теленка, и к вечеру теленок бывал увезен, а мясник сидел, будто так и надо, так вот, этот пенсионер, наверно, плохо видел и возил ладонью по пыли, я и говорю, что ищете, папаша, что? А он говорит, что потерял двадцать геллеров, я подождал, пока рядом проходили люди, потом достал горсть мелочи и подбросил в воздух, быстро подхватил ручки корзины, втиснул лицо в гвоздики и пошел дальше, а на углу обернулся, а там ползают по земле еще несколько прохожих, они подумали, будто мелочь выпала у них, и один обвинял другого и требовал, чтобы тот вернул ему деньги, и так на коленях они ругались и брызгали слюной, и царапались, как коты в сапогах, а я засмеялся и понял, как коварны люди, и что для них Бог, и на что они способны ради мелких монет, и когда я подходил с цветами, то заметил, что перед нашим рестораном толпится народ, я побежал в свободный номер, высунулся из окна и бросил полную горсть мелочи так, чтобы она упала не прямо среди людей, но чуть подальше. Потом сбежал вниз и стал подрезать гвоздики и, как всегда, ставил в вазы по две веточки аспарагуса и по две гвоздички, а сам посматривал в окно, как люди ползают на четвереньках и собирают деньги, эти мои монетки, да еще ругаются, мол, он эту самую монету увидел раньше, чем тот, кто ее поднял... В ту ночь и в следующие ночи я спал и мне снилось, а потом и днем, когда не было посетителей, и я делал вид, будто что-то делаю, когда я протирал бокалы и разглядывал их на свет, я прикладывал стекло к глазам и смотрел сквозь него на другую сторону пыльной площади и на чумной столб, и на небо, и на плывущие в нем облака, так и днем мне чудилось, будто летаю я над городками и городами, и деревнями и поселками, будто у меня бездонный карман и я набираю полные пригоршни монет и швыряю их на мостовые, разбрасываю их, словно сеятель семена, но всегда за спиной у прохожих или просто так стоящих, полные пригоршни мелочи, и вижу, как почти никто не может удержаться, и все подбирают эти монетки, и все бодаются, будто бараны, и так ругаются, но я уже лечу дальше, и мне хорошо, и во сне я блаженно потягивался, когда набирал эти пригоршни в кармане и бросал за спинами прохожих, и монеты со звоном падали и разлетались, и у меня была такая способность, будто пчела, влетал я в вагон поезда или трамвая и ни с того ни с сего звякал пригоршней медяков об пол, и вот, все тут же нагибались и толкались, чтобы подобрать мелочь, про которую каждый думал или притворялся, будто она выпала исключительно и только у него... И эти мечты меня подбадривали, ведь я был такой коротышка, что мне

приходилось носить высокий гуттаперчевый воротничок, а шея у меня была короткая, такой обрубок, что воротничок врезался даже не в шею, а в подбородок, и чтобы не было больно, я все время задирал голову и не мог наклонять ее, потому нагибался всем телом, и так как голова у меня была всегда чуть откинута назад, то и веки опущены вниз, и я научился смотреть в эту щелочку, я глядел на мир вроде бы возгордившись, вроде бы посмеиваясь, презирая его, гости даже думали, что я заносчивый, а я научился и стоять, и ходить с откинутой назад головой, ступни у меня были, как раскаленные утюги, я даже удивлялся, почему они не загораются, почему у меня не обгорают ботинки, так у меня, бывало, жгло ступни, иной раз особенно на вокзале становилось до того невтерпеж, что я наливал в ботинки холодную газировку, но это помогало только на минутку, и я мечтал только об одном, разуться и бежать прямо во фраке к ручью, опустить ноги в воду; еще бы чуть, и я бы побежал, потому снова и снова наливал в ботинки газировку, а то даже клал мороженое, тогда-то я и понял, почему метрдотели и младшие официанты носят на работе самые старые ботинки, самые что ни на есть разношенные и разбитые, какие выбрасывают на свалку, потому что только в растоптанных ботинках и можно выдержать, ведь целый день надо стоять и ходить, и вообще все мы, и горничные и кассирши, все мучились ногами, и у меня тоже, когда я вечером разувался, ноги были в пыли до самых колен, будто целый день я шлепал не по паркету и коврам, а по угольной пыли, вот изнанка фрака, оборотная сторона жизни младших официантов, и мальчиков на побегушках, и метрдотелей во всем мире, белая накрахмаленная рубашка, искрящийся гуттаперчевый воротничок и постепенно чернеющие ноги, будто от какой-то ужасной болезни, когда смерть начинается с ног... Да! Всякую неделю я копил на очередной визит и всякий раз с новой барышней, вторая барышня в моей жизни была блондинка. Когда я вошел и меня спросили, чего я желаю, я сказал, что хотел бы поужинать, но сразу же добавил, в шамбр сепаре, и когда меня спросили с кем, я показал на блондинку, и опять я влюбился в эту светловолосую девушку, и было еще прекраснее, чем в первый раз, хотя и тот первый незабываем. И так я все время проверял силу всего лишь денег, я заказывал шампанское и сам его пробовал, при мне барышня пила настоящее шампанское, я бы уже не потерпел, чтобы мне наливали вино, а барышне лимонад. И когда я лежал голый и глядел в потолок, я ни с того ни с сего встал, вынул из вазы пионы, оборвал лепестки и лепестками от нескольких пионов обложил по кругу барышнин живот, было это так красиво, что я удивился, и барышня приподнялась и тоже глядела на свой живот, но лепестки падали, и я нежно толкнул ее, чтоб она по-прежнему лежала, снял с крюка зеркало и поставил его так, чтобы барышня видела, какой красивый у нее живот, обложенный лепестками пионов, и я говорил, мол, как будет прекрасно, когда бы я ни пришел, тут будут цветы, и я украшу ими ее живот, она сказала, что такого с ней еще никогда не случалось, таких почестей ее красоте еще не было, и потом она добавила, что после этих цветов она в меня влюбилась, я ответил, как будет прекрасно, когда на Рождество я нарежу сосновых веточек и разложу их у нее на животе, и она сказала, что будет еще красивее, когда я обложу ее живот омелой, но лучше всего устроить так, чтоб над канапе на потолке висело зеркало, чтобы мы могли видеть, как мы лежим, и главное, какая она красивая, когда голая и с венком на шубке, венком, который станет меняться вместе с временами года и цветами, какие бывают именно в этом месяце, как будет прекрасно, когда я обложу ее ромашками и слезками Девы Марии, и хризантемами, и астрами, и разноцветными листьями... и я встал, и обнял ее, и почувствовал себя высоким, когда же я уходил, то дал ей двести крон, но она вернула их мне, а я положил на стол и ушел, и было у меня такое чувство, будто мой рост метр восемьдесят, и пани Райской я подал сто крон в окошко, она нагнулась за ними и посмотрела на меня сквозь очки... и я вышел в ночь, и небо над темными улочками сияло звездами, но я не видел ничего, кроме всевозможных подснежников

и примул, перелесок и белоцветников вокруг живота барышни блондинки, и чем дольше я вышагивал, тем больше удивлялся, откуда взялась у меня идея обложить лепестками красивый женский живот с мысиком волос посередине, будто блюдо с ветчиной листьями салата, и так как я знал цветы, я в мыслях продолжал убирать нагую светловолосую барышню в листья и лепестки ирисов и тюльпанов, и я подумал, что надо еще поломать голову, и потому будет у меня на целый год развлечение, и что за деньги можно купить не только красивую девушку, но еще и поэзию. На следующий день, когда мы стояли вдоль дорожки, и шеф прохаживался и смотрел, чистые ли у нас рубашки и все ли пуговицы на месте, и когда он говорил, добрый день, дамы и господа, я глядел на подсобницу и кастеляншу, я так уставился на их белые фартучки, что подсобница подергала меня за ухо, так пронизывающе я глядел, и я понял, что ни одна из этих женщин не отказалась бы обвить живот, будто окорок оленины, ромашками, пионами, сосновыми веточками или омелой... и вот, я протирал бокалы, разглядывал их на свет, падавший из больших окон, за которыми сновали люди, рамой перерезанные пополам, и по-прежнему мечтал о летних цветах, в мыслях я вынимал их из корзины и обкладывал живот красивой блондинки цветами, и ветками, и лепестками, она лежала на спине и раздвигала ноги, и я обкладывал ее всю, и вокруг ляжек, и если цветы соскальзывали, я прилеплял их гуммиарабиком или слегка прибивал гвоздиком или кнопкой, и, стало быть, я образцово намывал бокалы, никто не хотел этого делать, а я полоскал стекло в воде, подносил бокал к глазам, чистый ли он, но думал я, глядя сквозь этот бокал, только о том, что буду делать «У Райских», и так дошел до самых последних цветов из садов, лесов и лугов, и запечалился, что же делать зимой? И потом я рассмеялся от счастья, ведь зимой цветы еще красивее, я куплю цикламены и магнолии, может, даже съезжу в Прагу за орхидеями либо вообще перееду в Прагу, там тоже найдется место в ресторане, и там у меня всю зиму будут цветы... дело шло к обеду, я разносил тарелки и салфетки, и пиво, красный и желтый лимонад, и когда наступил полдень и началась самая большая спешка, открылись двери, и сначала вошла, а потом повернулась, чтоб их закрыть, та красивая блондинка от «Райских», она села и вытащила из сумочки конверт, и огляделась, а я весь затрясся, кинулся завязывать ботинки, и сердце упало в колени, пришел метрдотель и говорит, живо иди в зал, я только кивнул, колени у меня словно подломились и поменялись местами с сердцем, так во мне все стучало, но я собрал все мужество, как можно выше вытянул голову, перебросил через руку салфетку и спросил барышню, чего она желает, она сказала, что хочет видеть меня и малиновый лимонад, и я заметил, что на ней платье в пионах, такое летнее платье, будто клумба с пионами, и все во мне загорелось, я сам покраснел, как пион, такого я еще не переживал, там и тогда были деньги, там и тогда были мои тысячи, тут и теперь, я понимал, все исключительно и только задаром, и я, стало быть, пошел за малиновым лимонадом, и когда я нес его, эта блондинка, возле нее на скатерти лежал конверт, а из него так слегка высунулись те мои две бумажки по сто крон, так вот, эта блондинка посмотрела на меня, и я задрожал вместе со всеми лимонадами, и одна бутылка поползла, медленно так наклонилась и вылилась ей на колени, и уже тут был метрдотель, и потом прибежал шеф, и они приносили извинения, шеф схватил меня за ухо и стал его выкручивать, но не стоило ему этого делать, потому что блондинка закричала на весь ресторан: «Что вы себе позволяете?» И шеф: «Он облил и испортил вам платье, мне придется за него заплатить». И она: «Какое вам дело до моего платья, мне ничего от вас не надо, за что вы этого человека тут позорите?» И шеф сладким голосом: «Он облил вам платье», все перестали есть, а она сказала: «Вам до этого нет дела, я запрещаю позорить его, глядите!» Тут блондинка взяла лимонад и сверху вылила себе на волосы и потом из остальных бутылок тоже, и так она сидела с ног до головы в малиновом сиропе и пузырьках газировки, и последний малиновый лимонад она вы-

лила за вырез платья и сказала: «Счет», и ушла, а следом за ней растекался запах малины, она вышла в этом шелковом платье в пионах, и сразу же на нее налетели пчелы, а шеф взял со стола конверт и сказал: «Ступай за ней, она забыла», и я побежал, а она стояла там на площади и, будто лавчонка с турецким медом на ярмарке, была усыпана осами и пчелами, но она от них не отмахивалась, и они собирали на ней сахарный сироп, который облепил ее тонким слоем, будто второй кожей, такой, как политура на мебели или лак, я глядел на это платье и протягивал те две сотни, но она не взяла и сказала, что я вчера их забыл у нее... И прибавила, чтоб я вечером пришел к «Райским», потому что она купила красивый букет диких маков... и я видел, как засыхает на солнце малиновый лимонад в волосах, как защетинились они и затвердели, так затвердевает щетина щетки для натирания полов, если не положить ее в олифу, так затвердевает пролитый гуммиарабик, мебельный лак, видел я, что платье так приклеено к телу этим сладким лимонадом, что ей придется отрывать его, как старую афишу или старые обои со стены... но это не главное, я был потрясен, что она так со мной говорила, что не боялась меня, что знала обо мне больше, чем знали в нашем ресторане, знала обо мне, наверно, больше, чем я сам... В тот вечер пан шеф сказал, что моя комната на первом этаже нужна для прачечной и чтоб я перенес свои вещи на второй этаж. Я говорю, а завтра нельзя? Но пан шеф так посмотрел на меня, что я понял, он знает — мне надо переселяться прямо сейчас, а он снова повторил, что я должен ложиться спать в одиннадцать, что он за меня отвечает, как перед моими родителями, так и перед обществом, что такому мальчику, чтоб целый день работать, надо ночью спать...

Самыми приятными гостями нашего отеля были для меня торговые агенты. Не все, конечно, потому что среди коммивояжеров встречались и такие, которые торговали товаром, никому не нужным или таким, который не шел, никчемным товаром. Больше всех мне нравился толстый коммивояжер, когда он пришел первый раз, я сразу кинулся за паном шефом, пан шеф даже испугался, говорит, в чем дело? А у меня вырвалось, пан шеф, там такая гора. И тогда он пошел посмотреть, и вправду такого толстого человека у нас еще не бывало, пан шеф меня похвалил и выбрал для него номер, где этот коммивояжер потом всегда ночевал, со специальной постелью, под которую коридорный еще подставил четыре чурбанчика и подпер кровать двумя брусьями. И этот толстяк прекрасно представил нам свой товар, еще с ним был какой-то подсобник, он носил на спине что-то тяжелое, словно носильщик, на лямках что-то вроде пишущей машинки. И вечером, когда толстяк поужинал, он и потом всегда ужинал так, брал меню, смотрел в него, будто вообще ничего не мог выбрать, и потом говорил: «Кроме ливера с кислой капустой, несите мне все вторые блюда, одно за другим, как буду доедать одно, несите следующее, пока не скажу хватит». И когда он наедался, он всегда съедал десять обедов, бывало, посидит, помечтает и говорит, теперь бы чего-нибудь перекусить, а в первый день он попросил сто граммов венгерской салями. Когда шеф принес ему колбасу, этот агент набрал полную горсть монет, открыл дверь и выбросил их на улицу, и опять, когда съел пару кружочков салями, будто бы разозлился, взял полную горсть монет и снова выбросил на улицу, и сердито так сел, почетные гости поглядывали друг на друга и на пана шефа, и тот не мог придумать ничего лучшего, как встать, поклониться и спросить: «Прошу прощения, пан, почему вы так разбрасываете мелочь, что-нибудь случилось?» И толстяк отвечает: «Почему бы мне не швыряться мелочью, если вы, владелец этого заведения, каждый день швыряете на ветер десятикроновые бумажки», и шеф вернулся к своему столу и передал его слова почетным гостям, и те еще больше встревожились, тогда шеф решился, вернулся к столу толстяка и говорит: «Прошу прощения, но речь идет о моем имуществе, вы можете разбрасывать деньги как хотите, но при чем тут мои десятикроновые бумажки?» И толстяк встал и говорит: «Если вы позволите, я вам объясню, могу

ли я пройти в кухню?» И шеф поклонился и рукой предложил пройти в кухню, и когда толстяк туда вошел, то я слышал, как он сказал: «Я представитель фирмы «Ван Беркель», будьте добры, нарежьте мне сто граммов салями». Жена шефа нарезала, взвесила и положила на тарелку, и мы все испугались, что это какая-то проверка, но представитель хлопнул в ладоши, из угла появился тот носильщик, поднял покрытый чехлом предмет, который теперь походил на шарманку, а может, это и была шарманка, вошел в кухню и поставил предмет на стол, толстяк снял чехол, и под ним оказался красивый красный станочек, тонкая, круглая, блестящая пила, которая поворачивалась на валике, и на конце валика рукоятка, и там еще была поворачивающая кнопка... и толстяк блаженно улыбался и оглядывал свой станочек, и говорил: «Позвольте заметить, самая большая фирма на свете — католическая церковь, она торгует чем-то таким, чего никто никогда не видел, никто не прикасался, никто не встречал, ее товар — это то, господа, что мы называем Богом, вторая в мире фирма «Интернэшнл», и ее товар вы изволите знать, он у вас есть, это аппарат, которым пользуются во всем мире, так называемая касса, если вы весь день правильно нажимаете кнопки, вечером, вместо того чтобы вам считать, касса сама подведет дневной баланс, и третья фирма, которую представляю я, «Ван Беркель», производит весы, на них взвешивают во всем мире, на экваторе и на полюсе они одинаково точные, и еще мы производим всевозможные виды машинок для нарезания мяса и колбасы, и привлекательность нашего аппарата в том, вот, изволите видеть...» — сказал он и снял кожицу с куска салями, который заранее попросил, кожицу положил на весы, одной рукой крутил ту ручку на валике, а другой подставлял под вращающийся нож батон салями, и на полочке под пилой вырос слой нарезанной колбасы, такой, будто нарезали весь батон, хотя от палки колбасы убавилось совсем немного... и коммивояжер перестал вертеть ручку и спросил: «Сколько, вы думаете, я нарезал этой салями?» И шеф сказал, сто пятьдесят граммов, а метрдотель сказал, что сто десять. «Ну, а что ты, малыш?» — спросил толстяк у меня. Я сказал восемьдесят граммов, шеф схватил меня за ухо и крутил его, и извинялся перед агентом, мол, она, мамочка, грудничком уронила его головой на плитки пола, но представитель погладил меня по волосам и так хорошо мне улыбнулся, и сказал: «Этот парень попал ближе всех к цели», он бросил на весы всю нарезанную колбасу, и весы показали семьдесят граммов, мы уставились друг на друга, потом обступили чудесный станочек, и всем было ясно, что такой станочек принесет прибыль, и когда мы расступились, толстяк взял полную горсть монет и бросил в ящик с углем, хлопнул в ладоши, и носильщик принес еще один сверток, похожий на колпак, под которым у бабушки стояла Дева Мария, но когда он снял чехол, там оказались весы, как в аптеке были эти весы, и стрелочка такая тоненькая и показывала вес только до килограмма, и агент сказал: «Вот, изволите видеть, эти весы такие точные, что, если на них дохнуть, они покажут вес моего дыхания», и он подышал, и вправду стрелка качнулась, и теперь он взял с наших весов нарезанную салями и положил на свои весы, и его весы показали точно шестьдесят семь с половиной грамма... всем стало ясно, что на каждом килограмме наши весы обкрадывают шефа на двадцать пять граммов... и толстяк подсчитал на столе, что мы имеем... и потом подчеркнул расчеты и сказал: «Если вы продаете за неделю десять кило салями, то эти весы вам сэкономят десять раз по двадцать пять граммов, то есть почти полбатона», и уперся кулаком с раздутыми суставами в стол, и ногу поставил так, что носком касался земли, а каблук висел в воздухе, и улыбался победно, такой вот представитель, и шеф сказал: «Все выйдите из кухни, мы будем договариваться, я хочу, чтоб вы все тут оставили как есть, я покупаю!» «Прошу прощения, это образец,— сказал агент и показал на носильщика.— Понимаете, мы с нашим товаром обошли за неделю туристские базы в Крконоше, и почти на каждой приличной базе продавали станок для колбасы и весы, оба прибора к тому же не облагаются налогом, вот

так-то!» И видно, я понравился этому агенту, может, напомнил ему молодость, он как встретит меня, так погладит по голове и улыбнется симпатично так, и прослезится. Иногда он заказывал в номер минеральную воду, когда я входил, он всегда был уже в пижаме, лежал на ковре, и его огромный живот покоился подле него, точно какая-то бочка, и мне нравилось, что он этого живота не стесняется, наоборот, носит его перед собой, точно рекламу, и рассекает им мир, который идет ему навстречу. Всегда он мне говорил, садись, сынок, и улыбался, и мне казалось, что погладил меня не папа, а мама. Однажды он мне рассказал: «Знаешь, я начинал, как и ты, таким же маленьким, в фирме «Корефф», галантерея, ах ты, мое дитятко, я и сегодня вспоминаю о том своем шефе, он все твердил, у приличного торговца всегда есть три вещи, недвижимость, сделки, склады, если потеряешь склад, останутся сделки, а не будет сделок, так какая-никакая останется недвижимость, и ее у тебя никто отнять не может, вот как-то раз отправили меня за гребнями, красивыми, роговыми гребнями, в восемьсот крон они обошлись, и я их вез на грузовом велосипеде, в двух огромных сумках, возьми конфетку, возьми, возьми вот эту, вишня в шикуладе, и вот, я толкаю в гору этот велосипед, сколько тебе годков-то?» И я сказал, что пятнадцать, а он взял конфетку, причмокнул и продолжал: «И вот, толкаю я в гору эти гребни, и обгоняет меня крестьянка, тоже на велосипеде, и наверху у леса она остановилась, и когда я дотолкал свой велосипед, она так посмотрела на меня и так близко стояла, что я опустил глаза, а она меня погладила и сказала, пойдем посмотрим, нет ли там малины? И я положил велосипед с этими гребнями в канаву, и она свой дамский положила на мой, и взяла за руку, и сразу же за первым кустом повалила меня, и расстегнула, и не успел я сообразить, как она уже была на мне и прижала меня к земле, и так она поимела меня как первого, а я вспомнил о велосипеде и об этих гребнях и давай бежать, а ее велик лежал на моем, тогда у этих женских велосипедов на заднем колесе была сетка, такая цветная, прежде такие надевали лошадям на голову и на шею, я ощупал гребни, они были на месте, и я вздохнул с облегчением, а крестьянка прибежала, увидела, что я не могу высвободить педаль из ее сетки, и говорит, мол, это знак, чтоб мы еще не разъезжались, но я боялся, возьми еще конфетку, эта называется нуга... и поехали мы с велосипедами в лесок, и крестьянка снова полезла мне в штаны, ведь я был моложе, чем теперь, и снова я лежал на ней так, как мы положили в кустах велосипеды, свой велик она положила на землю, а я свой на ее, и мы любили друг друга, будто эти велосипеды, и было это прекрасно, помни, сынок, что жизнь, если чуть-чуть повезет, такая прекрасная, такая прекрасная... ах... ладно, иди уже спать, тебе уже скоро вставать, понимаешь, сынок?» И он взял бутылку и перелил ее в себя, я слышал, как вода булькает у него в желудке, будто дождевая вода из водосточной трубы в бочке, потом он улегся на бок, и вода перекатилась у него в животе, выравнивая поверхность... Мне не нравились коммивояжеры, торгующие всякой провизией и маргарином, и кухонной утварью, они приносили еду и ели в номере, даже некоторые возили спиртовки и варили себе в номере картофельные кнедлики, и очистки от картошки мы находили потом под кроватью, и еще они хотели, чтоб им задаром чистили ботинки, и когда уезжали, так вместо чаевых давали рекламный значок, а мне приходилось подносить к машине их бочонки с дрожжами, которые они брали в своей торговой фирме и возили с собой, эти дрожжи, а по дороге при случае продавали. Некоторые коммивояжеры таскали с собой столько чемоданов, будто в них были товары, какие они собираются продать за неделю, опять же у других не было с собой почти ничего. Когда такой коммивояжер приходил, я удивлялся, чем же он торгует, если у него нет чемоданов? И всегда он продавал что-то для меня диковинное, один, к примеру, принимал заказы на оберточную бумагу и бумажные пакеты, и образцы у него были всунуты за платочек в верхнем кармане пиджака, у другого в портфеле, который он носил с собой, были только йо-йо и диаболо [1],

[1] Йо-йо и диаболо — детские игрушки на ниточке, типа марионеток. *(Здесь и далее прим. перев.)*

а в кармане прейскурант, и вот, гулял он по городу и играл с йо-йо или диаболо, и заходил в лавку, и торговец игрушками и галантереей забывал о других торговых агентах с их товаром и о покупателях, те стояли у прилавка в ожидании, а он будто во сне шел навстречу и протягивал руку к йо-йо и диаболо, на них всегда был спрос, пока обществу не надоедали такие игрушки, и тут же все торговцы спрашивали: «Сколько дюжин вы можете предложить?» И коммивояжер заключал сделку на двадцать дюжин и потом прибавлял сколько-то сверх, в другой сезон такой игрушкой бывал мяч из мшистой резины, и опять торговый агент играл в мяч в поезде, на улице и в магазинчике, и торговец будто загипнотизированный шел ему навстречу и смотрел, как мяч взлетает к потолку и снова возвращается в руку, и снова вверх и вниз, и еще раз. «Сколько можете предложить?» Таких сезонных агентов я не любил, не любил их и метрдотель, это были так называемые порожняки, и вправду агенты с никчемным товаром, мы угадывали их, едва они входили в отель, этим только бы поесть и не заплатить, и удрать в окно, как у нас пару раз и случалось... но самый приятный агент, какой бывал у нас, это Резиновый Король, тот, что продавал деликатные резиновые предметы, представитель фирмы «Примерос», сколько бы он ни приезжал, всякий раз привозил какую-нибудь новинку, и почетные гости всегда приглашали его к столу, потому что тогда обязательно с кем-то случалось что-то неприятное, а, значит, для остальных смешное, этот агент раздавал всевозможные презервативы, всех цветов и форм, и я, хоть и был всегда лишь мальчик-официант, дивился на них, и потому противны мне были наши почетные гости, на улице всегда такие важные, а за столом как расшалятся, так форменные котята, а порой даже обезьяны, такие непристойные и смешные, и вот, когда ни придет этот Резиновый Король, он обязательно сунет кому-нибудь в тарелку этот «примерос», куда-нибудь под кнедлик, и тут уже все так гогочут, так смеются, и через месяц то же может случиться с кем-то другим, они вообще любили грубые шутки, к примеру, пан Живностек, тот, у которого фабрика зубных протезов, всякий раз подбрасывал кому-нибудь в пиво пару зубов или часть искусственной челюсти, и сам чуть не подавился, когда в горло ему попали собственные зубы, он их бросил соседу в кофе, а тот поменял чашки, и пан Живностек за столом едва не подавился, один ветеринар нашелся и как хватит ему кулаком между лопаток, так зубы и вылетели, шмяк на стол, пан Живностек подумал, что это зубы с фабрики, и растоптал их, и только потом догадался, что это его, сделанные по мерке, и тут уже смеялся зубной техник, пан Шлосар, он любил делать срочный ремонт зубных протезов, на нем он зарабатывал больше всего, и потому для него лучший сезон, когда начиналась охота на зайцев и фазанов, потому что вечером, настрелявшись, охотничья компания так напивалась, что многие стрелки с блевотиной выплевывали зубы и ломали протезы, и чтобы их починить, пан Шлосар работал целые дни и ночи, чтобы жена охотника не узнала или чтоб он мог укрыться от семьи всего на пару дней... Но этот Резиновый Король носил с собой и другие товары, как-то раз принес так называемую «Утеху вдов», я так и не узнал, что это такое, потому что предмет был в футляре, как у кларнета, и все его только приоткрывали, кружила эта «Утеха вдов» вокруг стола, и каждый откроет футляр и ахнет, тут же закроет и передает следующему, и я, хоть и приносил пиво, так и не узнал, что там было за развлечение для наших вдов, в другой раз Резиновый Король принес искусственную резиновую барышню, компания сидела в кухне, дело было зимой, летом почетные гости обычно сидели возле кегельбана или у окна, отделенные от зала портьерой, и Резиновый Король держал такую речь про эту барышню, что все хохотали, а мне было совсем не весело, каждый у стола только возьмет эту барышню в руки и уже не смеется, краснеет и передает соседу, и Резиновый Король поучал, как в школе: «Господа, это последняя новинка, сексуальный объект для постели, кукла из резины, названная Примавера, с ней каждый из вас может делать что хочет, ведь она почти как живая, ростом с взрослую девушку, она волнует и хорошо прилегает, она теплая и красивая, она сексуальна,

миллионы мужчин мечтают о такой Примавере из резины, надутой собственным ртом. Женщина, созданная вашим дыханием, возвращает мужчинам веру в себя, дает новую потенцию и эрекцию, и не только эрекцию, но и великолепное удовлетворение. Примавера, господа, сделана из специальной резины, между ног у нее самая совершенная мшистая резина, отверстие снабжено всеми бугорками и углублениями, какие должны быть у женщины. Маленький вибратор, работающий на батарейках, производит нежные, волнующие движения, и поэтому женские органы естественно подвижны, и каждый может достигнуть кульминации, и мужчина становится хозяином ситуации. И чтобы вам не пришлось чистить эти женские органы, вы можете пользоваться презервативом «примерос», и мы вам предлагаем тюбик глицеринового крема, чтобы не было потертостей». И каждый раз, когда гость из последних сил надувал эту Примаверу и передавал соседу, Резиновый Король вытаскивал пробку, и кукла опадала, и потом другой опять надувал ее своим дыханием, и у каждого она росла в собственных руках от воздуха из собственных легких, и остальные аплодировали и смеялись, и не могли дождаться, когда подойдет их очередь, и в кухне было весело, и кассирша вертелась и забрасывала ногу на ногу, она так волновалась, будто каждый раз выпускали и надували воздух в нее, и так они забавлялись до самой полночи... Однако потом среди коммивояжеров появился еще один, тоже с заманчивым товаром, он предлагал вещи еще прекраснее и практичнее, этот представитель какой-то швейной фирмы из Пардубице, наш метрдотель, у которого никогда не было времени, узнал о швейной фирме с помощью армии, какого-то подполковника, которого обслуживал, тот и порекомендовал ему этого агента, он у нас останавливался раза два в год, я его видел, но не догадывался, какой у него товар, этот представитель фирмы сначала измерил брюки пана метрдотеля, потом оставил его стоять в жилете и белой сорочке, а сам стал накладывать на спину, на грудь, вокруг пояса и на шею какие-то полоски из пергаментной бумаги и писал на них мерки, кроил эти полоски прямо на метрдотеле, словно собирался из них шить ему фрак, но материи у него с собой не было, потом он эти полоски пронумеровал и аккуратно сложил в пакет, мешочек этот заклеил и написал на нем год рождения нашего метрдотеля и, само собой, имя и фамилию, потом взял аванс и сказал, что больше беспокоить не будет, придется лишь подождать, пока фрак будет готов, а на примерки ездить не надо, почему, собственно, метрдотель и выбрал исключительно и только эту фирму, у него и вправду не было времени, и потом я услышал, о чем сам хотел спросить, но у меня не хватало смелости задать вопрос, ну а что дальше? И представитель рассказал, он укладывал аванс в набитый бумажник и тихо объяснял: «Изволите видеть, изобретение моего шефа — революция в республике, а может, и в Европе, и в мире, потому что офицеры, актеры, все, у кого мало времени, как у вас, пан метрдотель, все обращаются к нам, всех я спокойно обмерю, мерки пошлю в мастерскую, там этими полосками обложат резиновую куклу, словно бы портняжный манекен, этот резиновый мешок постепенно надувают, пока заполнится все, что вылеплено полосками, и манекен сразу же затвердеет от быстродействующего клея, потом полоски снимут и к потолку склада взлетит ваша резиновая фигура, надутая навсегда, к ней прикреплен шнурок с запиской, какую привязывают детям в родильном доме, чтоб не перепутать, или как в большом морге пражской больницы привязывают записку к пальцу покойника, тоже чтобы не спутать, и когда нужно, мы спускаем с потолка надувную фигуру и примеряем на ней костюмы и мундиры, фраки, смотря по заказу, потом шьем и снова примеряем, трижды примеряем, распарываем и снова сшиваем, работа небыстрая, но без единой примерки на живом человеке, только на его резиновом заместителе, пока сюртучок не сядет как влитой, и тогда его можно смело посылать наложенным платежом, и на каждом он будет сидеть как влитой до тех пор, пока заказчик не потолстеет или не похудеет, но и тогда достаточно нашему агенту приехать, обмерить, на сколько где убрать или припустить, на манекене в тех местах уменьшат или увеличат,

зависимо от сегодняшней надобности поправить или сшить новый фрак или военный китель... и до той поры, пока заказчик не умрет, у него есть заместитель на складе, полном манекенов, висящих под потолком, несколько сотен цветных торсов, достаточно прийти и найти какой нужно, потому что на фирме все распределено по отделениям, отделение генералов и подполковников, и полковников и капитанов, и уездных начальников и метрдотелей, и фрачников, достаточно прийти и потянуть за шнурок, и манекен, будто детский шарик, опустится, и можно своими глазами увидеть, кто как выглядел, когда последний раз заказывал сшить или перешить пиджак или пальто». Рассказ агента так меня разволновал, что я задумал, как сдам экзамены на официанта, заказать новый фрак, чтобы и мой торс был вознесен к потолку фирмы, которая и вправду единственная в мире, потому что до такого никому на свете не додуматься, кроме нашего человека... мне потом часто виделось, будто не мой торс, а я сам возношусь к потолку пардубицкой швейной фирмы, иной раз мне даже казалось, что я возношусь к потолку нашего ресторана «Злата Прага». И вот, однажды, ближе к полуночи, я понес минеральную воду представителю фирмы «Беркель», тому, который продал нам весы, прямо-таки аптекарские, и машинку, тоненько нарезавшую венгерскую салями, я не постучал и вошел, и увидел этого толстого агента, он сидел на ковре, он всегда, бывало, как поест, идет прямо в номер и там надевает пижаму, он сидел на корточках, и я было подумал, что он раскладывает пасьянс или сам с собой играет в карты, но он блаженно улыбался, весь залитый счастьем, будто малое дитя, и по всему ковру раскладывал одну стокроновую бумажку подле другой, он уже выложил ими полковра, но ему все еще было мало, он вытащил из портфеля следующую пачку купюр и аккуратно раскладывал их по рядам, так ровно, будто у него были нарисованы на ковре линейки и клеточки, каждую стокроновую бумажку он укладывал будто в заранее нарисованную клетку, и когда он заканчивал ряд, то этот ряд был так точно обрезан, как в пчелиных сотах, он блаженно глядел на свои сотенные и даже всплеснул толстыми руками, и потом погладил ими лицо, полное детского восторга, он так и держал лицо в ладонях и любовался своими деньгами, и потом опять стал прилеплять сотенные к полу, и если какая-нибудь купюра была повернута изнанкой или вверх ногами, он поправлял ее так, чтобы все лежали одинаково, и я стоял, и боялся кашлянуть или выйти, денег тут было целое состояние, все квадратики один к одному, и, главное, этот огромный восторг и эта тихая радость открыли передо мной перспективу, потому что я тоже любил деньги, как и он, просто такое не приходило мне в голову, и передо мной явилось мое будущее, все деньги, какие заработаю, пусть еще не в сотенных, а в двадцатикроновых купюрах, я тоже буду раскладывать вот так, когда я глядел на этого толстого простодушного человека в полосатой пижаме, то испытывал колоссальное наслаждение, я уже знал и видел, что в будущем это станет и моим развлечением, однажды я тоже закрою или вот так забуду запереть дверь и стану раскладывать на полу картину своей силы, своих способностей, картину истинной радости... Как-то раз вот так же я увидел поэта Тонду, пана Йодла, он у нас жил, потому что умел рисовать, вместо платы шеф каждый раз конфисковывал у него какую-нибудь картину, и вот, Тонда за свой счет издал в нашем городе книжку стихов «Жизнь Иисуса Христа», так она называлась, но тираж был маленький, и Тонда его весь принес в свой номер, и там на полу раскладывал один экземпляр подле другого, и то снимал пальто, то опять надевал, такой он стал нервный от этого «Иисуса Христа», и весь номер выложил белыми книжками, и когда комнаты не хватило, так он перешел на площадку, пока не разложил эти тетрадки почти до лестницы, и опять то снимал пальто, то надевал, когда его бросало в пот, накидывал пальто на плечи, когда зяб, снова натягивал с рукавами, через минуту его опять обдавало жаром, и он быстро стаскивал с себя это пальто, и все время из ушей у него выпадала вата, ее он тоже то вынимал, то снова всовывал, зависимо от того, хотел он слышать мир вокруг себя или не хотел, почему-то этого поэта, который все время провозглашал возвраще-

ние в хижины и рисовал только крестьянские дворики где-нибудь в предгорье Крконош, и все время говорил, что назначение поэта как художника искать нового человека, почему-то его наши гости не любили, или, в сущности, они его любили, но все время что-нибудь ему подстраивали, он, то есть этот поэт, в ресторане тоже не только одевался и раздевался, но еще разувался и обувался, зависимо от того, какое у него было настроение, которое менялось каждые пять минут от этих поисков нового человека, и вот, он то снимал, то надевал галоши, а гости, когда он снимал эти галоши, наливали в них пиво или кофе и потом смотрели, вилки мимо рта проносили, чуть не давились, когда поэт надевал галоши, как кофе или пиво стекало у него по ботинкам, и он бушевал, и кричал на весь ресторан: «Потомство злое, глупое и преступное... хижины для вас...», и плакал, но не от злости, а от счастья, потому что принимал это налитое в галоши пиво за знак внимания, мол, город с ним считается, хотя и не выказывает ему почтения, но видит в нем равного, такого же, как все молодые люди, но хуже всего получилось, когда галоши ему прибили гвоздями и поэт в них влез и когда хотел вернуться к столу, ничего не вышло, чудо, что он не кувыркнулся, сколько раз падал на руки, так крепко были прибиты эти галоши, и снова он выдавал гостям, потомство злое, глупое и преступное, но сразу же прощал и предлагал им рисунок или книжку стихов и тут же сбавлял цену ради того, чтобы у него были деньги на жизнь... он вообще-то не был злым, наоборот, он парил над нашим городом, и мне часто казалось, что поэт, словно ангел над магазинчиком «У белого ангела», висел над городом и махал крыльями, и у него эти крылья были, я их даже видел, только боялся спросить у пана декана в церкви, а я их видел, когда он вот так раздевался и одевался, и его красивое лицо наклонялось над листком бумаги, он любил писать стихи у нас за столом, я видел его профиль, будто у серафима, и когда он вот так повернулся, я увидел, что над его головой нимб, обыкновенный круг, такое фиолетовое пламя вокруг головы, такое пламя, каким светится горелка фирмы «Примус», будто ему в голову налили керосин, и над ней сиял такой шипящий круг, что горит в ярмарочных фонарях... и еще, никто не умел так носить зонтик, как этот наш гость, когда он шагал по площади, никто не умел так небрежно набросить на плечи пальто, как этот поэт, и еще, никто не умел так надеть шляпу, как этот художник, хоть и торчали у него из ушей белые клочки ваты, хоть пальто он раз пять стянет и снова натянет, и пока перейдет площадь, десять раз снимет шляпу и снова водрузит, будто с кем-то здоровается... но он никогда ни с кем не здоровался, только низко кланялся бабам на рынке, торговкам, это было его особенное, потому что он искал своего нового человека, и когда бывало сыро или шел дождь, так он всегда заказывал суп из рубца в чугунке и булку и сам относил этим окоченевшим бабам, и когда он нес свой дар через площадь, то это было не просто так, мол, он несет им только суп, он нес в этом чугунке, я сам тоже так видел, он нес торговкам свое сердце, сердце человека в супе из рубца, или свое сердце, порезанное и приготовленное с луком и перцем, и он нес его, как священник несет дарохранительницу к последнему причастию, вот так этот поэт носил чугунки с супом и плакал, какой он хороший, хоть он и живет у нас в долг, но все равно купил этим старушкам супу, но не для того, чтобы они согрелись, а чтобы знали, что он, Тонда Йодл, думает о них, ими живет, относится к ним, как к себе самому, и этот поступок — часть его взгляда на мир, его действенной любви к ближнему, и прямо сейчас, а не после смерти... и вот, когда он раскладывал по полу свои новые книжки, и даже на площадке, уборщица, когда несла ведро из уборной, наследила на белых обложках «Иисуса Христа», но Тонда не кричал ей, потомство злое, глупое и преступное, каждый след он оставил, эти почти мальчишеские отпечатки подошв, и подписал, и продавал «Иисуса» со следом вместо десяти крон за двенадцать... так вот, книжку он издал за свой счет, и всего двести штук, потом он договорился с католическим издательством в Праге, что они выпустят еще десять тысяч, и он целые дни подсчитывал, снимал пальто и снова надевал, три раза падал, когда ему прибивали гвоздями галоши,

и еще одно я забыл! каждые пять минут он всыпал в себя какие-то лекарства, и потому всегда был обсыпан порошками, будто какой-то мельник, будто у него порвался мешок с мукой, грудь и колени на черном костюме были у него совсем белые, и какое-то лекарство, «неурастенин» оно называлось, он пил прямо из бутылки, и от этого вокруг рта была у него желтая каемочка, будто он жевал табак, и вот, он всыпал в себя и пил эти лекарства, от которых каждые пять минут ему было то жарко, что аж вспотеет, то холодно, и он дрожит так, что весь стол начинал дребезжать, и вот, столяр измерил, сколько метров заняла эта «Жизнь Иисуса Христа», комнату и площадку, и Тонда потом подсчитывал, когда выйдут те десять тысяч, то это будет столько книжек, что если бы положить их на землю, то они бы вымостили дорогу из Часлава до Гержманова Мостца или покрыли бы всю площадь вместе с прилегающими улицами исторической части нашего города, а если бы книгу стихов поставить в ряд одну за другой, то получилась бы посреди шоссе полоса, разграничительная линия, от Часлава до самой Йиглавы, и так он задурил меня этими подсчетами, что я ходил по мостовым нашего городка и все время только и видел эти выложенные книги, и я понимал, какое это, должно быть, прекрасное чувство, когда на каждой плитке мостовой вытеснено твое имя и десять тысяч раз повторено «Жизнь Иисуса Христа», но за эту «Жизнь» Тонда остался должен, и вот, пришла пани Кадава, владелица типографии, и упаковала Тондову «Жизнь Иисуса Христа», и два коридорных все вынесли в двух бельевых корзинах, и пани Кадава говорила, а вообще-то орала, «Иисус Христос» у меня в типографии, и за восемь крон я всегда выдам вам одного «Иисуса Христа»... и Тонда снял пальто, и выпил из бутыли «неурастенин», и кричал, и бушевал, потомство злое, глупое и преступное...

Я кашлянул, но пан Валден лежал на полу возле ковра, весь ковер в узоре из стокроновых бумажек, весь в зеленых купюрах... Пан Валден вытянулся, подложил под голову толстую руку, словно подушку, и глядел на зеленое поле... я вышел, закрыл за собой дверь, потом постучал, и пан Валден спросил: «Кто там?»,— я отвечаю: «Это я, младший официант, принес минеральную воду».— «Входи»,— говорит, я вошел, а пан Валден продолжал лежать на боку, положив голову на ладони, волосы у него были кудрявые и смазанные брильянтином, и так блестели эти волосы, почти как брильянты на толстой руке, и он опять улыбнулся и сказал: «Подай мне одну и проходи!» Я вытащил из кармана штопор и стаканчик, и минеральная вода тихо зашумела. Пан Валден пил и между глотками показывал на купюры, и говорил тихо и ласково, как шумела минеральная вода: «Я знаю, ты уже был здесь, и я позволил тебе поудивляться... запомни, деньги откроют тебе дорогу в мир, так говаривал мне старый Корефф, у которого я всему научился, то, что ты видишь на этом ковре, я заработал за неделю, продал десять весов... и это мои комиссионные, ты видел что-нибудь прекраснее? Как приеду домой, тоже разложу их по квартире, мы с женой разложим их по столам и по полу, куплю колбасу, нарежу квадратиками и целый вечер буду есть, ничего не оставлю назавтра, потому что все равно я бы ночью проснулся и всю колбасу умял, целый батон, я ужас как люблю колбасу, когда-нибудь я тебе расскажу, вот приеду в следующий раз...» — и пан Валден встал, погладил меня, взял рукой за подбородок, смотрел мне в глаза и говорил: «Ты тоже когда-нибудь дотянешься, запомни, в тебе это есть, понимаешь? Надо только взяться с умом». Но как, говорю я. И он сказал: «Видел я тебя на вокзале, как ты продаешь сосиски, я тоже дал тебе двадцать крон, и ты мне так долго давал сдачу, что поезд тронулся и ушел... и потом,— сказал пан Валден, открыл окно, набрал в кармане брюк горсть мелочи и бросил на опустевшую площадь, подождал, выставил палец, чтоб услышать, как монеты зазвенели и покатились по мостовой, и добавил: — Вот учись бросать мелочь в окно, чтобы в двери пришли сотенные, понимаешь?» Тут поднялся ветер, от сквозняка все сотенные будто по команде подхватились, повскакивали, ожили и поползли, словно листья осенью, к углу комнаты. Я глядел на пана Валдена, я всегда вглядывался в каждого коммивояжера, и когда я вот так в них всматривал-

ся, то всегда думал, какое у них белье, какие рубашки? И мне всегда казалось, наверно, у них грязные кальсоны, и, наверно, у некоторых в шаге даже желтые, у всех грязные воротнички и носки, так что если бы они не останавливались у нас, то, конечно, носки, и кальсоны, и рубашки выкинули бы в окно, как выбрасывали в окно из Карловых бань, где я три года жил у бабушки на воспитании, у нее была комнатушка в старой мельнице, такая каморка, куда никогда не приходило солнце и не могло прийти, потому что она смотрела на север и была совсем рядом с мельничным колесом, таким большим, что на уровне второго этажа оно уже шло по воде и доставало до четвертого, только бабушка и могла взять меня на воспитание, она, маменька, родила меня без мужа и отдала своей маме, а моей бабушке, бабушка жила совсем рядом с Карловыми банями, все счастье ее жизни было в том, что ей удалось снять эту каморку в мельнице, она всегда молилась, мол, Господь Бог услышал ее и дал ей каморку рядом с банями, потому что, когда наступали четверг и пятница, в этих банях мылись коммивояжеры и люди без постоянного дома, и вот, моя бабушка с десяти утра была уже наготове, и я потом тоже радовался четвергу и пятнице, и остальным дням, но в другие дни из окон уборной белье не вылетало так часто, как в четверг и пятницу, и мы смотрели в окно, и мимо нашего окна каждую минуту кто-то из этих проезжих выбрасывал грязные кальсоны, и они на мгновение застывали в полете, будто показывали себя, и потом падали вниз, порой ложились на воду, тогда бабушка нагибалась и вытаскивала их багром, и мне приходилось держать ее за ноги, чтоб она не упала в ту глубину, а выброшенные рубашки вдруг раскидывали руки, будто постовой на перекрестке или Иисус Христос, и так на минутку были распяты эти рубашки в воздухе, и потом стремглав летели на лопасти и ободья мельничного колеса, колесо поворачивалось, и тут всегда ждало нас приключение, но все зависело от движения колеса, как поступить, оставить рубашку на колесе, пока, поворачиваясь, оно не принесет ее на лопасти к бабушкиному окну, и достаточно протянуть руку и взять, или же доставать багром эту рубашку с вала, куда ее затянуло и все время мнет поворотом колеса, но и ее бабушка доставала и вытаскивала багром через окно в кухне и сразу же бросала в корыто, а вечером стирала грязные кальсоны и рубашки, и носки, и воду сливала прямо назад в текущую под лопастями мельничного колеса воду. Но особенно красиво бывало вечером, когда в темноте из окна клозета Карловых бань вдруг вылетали белые кальсоны, белая рубашка и светились на бездонном фоне мельничной пропасти, и тогда в нашем окне с минутку сияли белизной рубашка или кальсоны, и бабушка наловчилась подхватывать их багром прямо на лету, прежде чем упадут они на мокрые и скользкие ободья или поглотит их глубина, но иной раз вечерами или ночами, когда от воды из глубины тянуло сквозняком и вздымалась вверх водяная пыль, вода и дождь так хлестали бабушку по лицу, что ей приходилось драться с этим ветром за рубашку, но все равно бабушка радовалась каждому дню, и особенно четвергу и пятнице, когда коммивояжеры меняли рубашки и кальсоны, потому что они заработали денег и купили себе новые и носки, и рубашки, и кальсоны, а старые выбрасывали из окна в Карловых банях, и там внизу выуживала их багром бабушка, и это белье она потом стирала, чинила и складывала в буфет, разносила по стройкам и продавала каменщикам и подсобникам, и так скромно, но хорошо жила, что могла и мне покупать рогалики и молоко для кофе... это был, наверно, мой самый прекрасный возраст... и сегодня мне часто видится, как бабушка в ожидании стоит ночью у открытого окна, а ожидание это зимой и осенью было нелегким делом, и я вижу, как падает выброшенная рубашка, затягиваемая сквозняком, вот перед окном она на мгновение остановилась, раскинула руки, и бабушка быстрым движением подтягивает ее к себе, потому как через минуту она обвиснет, падая, будто подстреленная белая птица, в струящиеся черные воды, чтобы потом измученной медленно возникнуть на пыточном колесе уже без человеческого тела и возноситься

по мокрому кругу сырой окружности, чтобы исчезнуть в окнах четвертого этажа, где, к счастью, были мукомольни, а не люди, подобные нам, с которыми пришлось бы драться за эти рубашки и кальсоны, и ждать, пока колесо опять вернется по кривой, и рубашка опустится вниз и, может, даже соскользнет, упадет в текучие черные воды, и унесет тогда это белье по желобам под черными мостами, куда-то далеко и с мельницы прочь... Хватит вам? На этом сегодня закончу.

ОТЕЛЬ «ТИХОТА»

Послушайте, что я вам теперь скажу.

Купил я фибровый, первый в жизни чемодан и уложил туда новый фрак, который сшили у того агента из Пардубице по моему манекену, за фраком я отправился сам. Представитель фирмы и вправду не врал, обмерил мне грудь, налепил на меня те самые полоски пергаментной бумаги, снял мерку, все записал, положил в пакет и взял аванс, а потом я отправился за этим фраком. И он сидел на мне как влитой, но мне не так нужен был сам фрак, как хотелось посмотреть, где мой надутый резиновый бюст, где мой торс. И шеф, такой же коротышка, как я, будто понял, что я хочу взобраться выше, чем где я сейчас, все время выше, что для меня важно, чтоб и я был на потолке склада общества, и он привел меня на склад. Это было прекрасно. К потолку вознеслись бюсты генералов, командиров полка, торсы известных актеров, даже сам Ганс Альберс тут заказывал себе фрак, он тоже висел под потолком, из открытого окна тянуло сквозняком, и каждый торс будто плыл в воздухе, как облачко, как барашки по небу, когда дует осенний ветер, и от каждого бюста спускалась тоненькая нитка, а на нитке табличка с фамилией, именем и адресом, и когда веяло сквозняком, эти таблички весело подпрыгивали, точно рыбки, пойманные на удочку, потом шеф показал, и я собственными глазами прочел свой адрес, и потянул вниз свой торс, и вправду я был маленький, я чуть не расплакался, когда увидел рядом со своим бюст генерал-поручика и бюст пана владельца отеля Беранека, но потом рассмеялся и был счастлив, в какое общество я попал, шеф потянул за один шнурок и сказал, что по этому манекену он шьет фраки для министра просвещения, и вот еще меньше — министр национальной обороны. И это придало мне такую силу, что я заплатил за свой фрак и еще добавил двести крон как маленький знак внимания со стороны маленького официанта, который уходит из отеля «Злата Прага» и едет в отель «Тихота», где-то в Странчице, там обо мне договорился пан торговый представитель третьей фирмы в мире, фирмы «Ван Беркель», и я попрощался и поехал в Прагу, и вышел с новым чемоданом в Странчице, было утро, и шел дождь, тут, должно быть, дождь лил не одну ночь, а несколько дней, столько было на дороге песку и грязи, и через крапиву, лебеду и лопухи бежал поток, до краев полный водой и совершенно бежевый, будто кофе с молоком, и я поднимался по этой грязи вверх к отелю «Тихота», и когда миновал несколько вилл с поломанными деревьями, то невольно засмеялся, в одном таком садике стягивали расщепленное дерево, усыпанное созревающими абрикосами, плешивый хозяин обвязывал проволокой надломленную крону, которую с двух сторон поддерживали две женщины, налетел ветер, проволока лопнула, и женщины не удержали крону, она снова раздвоилась и повалила мужчину вместе со стремянкой, а он запутался в ловушке из веток, по голове у него текла кровь, потому что он поцарапался, и лежал этот мужчина будто пригвожденный, распятый цепкими ветками, я стоял у забора, а женщины, когда разглядели своего хозяина, так чуть не лопнули от смеха, уж так они хохотали, так смеялись, а этот мужчина таращил глаза и кричал, курвы вы, свиньи, подождите, вот я выпутаюсь, в землю вгоню, как гвозди, женщины, наверно, были его дочери или жена и дочь, снял я кепочку и говорю, граждане, будьте добры, правильно ли я иду к отелю «Тихота»? И мужчина послал меня в задницу, он дергался изо всех сил, но встать не мог, как красиво, человек, плененный и осыпанный зрелыми абрикосами, а эти две

женщины, отсмеявшись, поднимали ветки, чтобы освободить своего мужа или отца, наконец ему удалось опереться на колени и встать, первое, что он сделал, тут же нахлобучил берет на голую макушку, а я зашагал дальше вверх по дороге и заметил, что мостовая заасфальтирована и по сторонам обложена гранитными квадратиками, я потопал, чтобы с ботинок отпали грязь и желтая глина. Потом поднимался на гору, было скользко, один раз я упал на колено, за мной тянулась туча, потом небо стало таким синим, как вдоль дороги цикорий, поваленный потоком, и там на холме я увидел этот отель. Красивый, точно в сказке, словно какая-то китайская пагода, словно какая-то вилла денежного туза где-нибудь в Тироле или на Ривьере, сам белый с красным и черепичная крыша, будто волны, поднималась к небу, на всех четырех этажах зеленые жалюзи, и каждый этаж чуть меньше, так что последний казался красивой беседкой, поставленной на вершину здания, а над беседкой высилась башенка только из одних зеленых ставен, словно бы наблюдательная, словно какая-нибудь метеорологическая станция с приборами внутри, а снаружи с флюгерами, и поворачивался на шпиле красный петух. И на каждом этаже возле каждого окна балкон, и на этот балкон выходили двери, у которых так же, как и у окон, были жалюзи, открытые двери-жалюзи. Я шел, но никто нигде не появлялся, ни на дороге, ни в окнах, ни на балконе, стояла тишина, только шелестел ветер, и воздух был душистый, точно взбитый невидимый снег, его хотелось есть, как мороженое, я подумал, если взять булку или кусок хлеба, то можно заедать этот воздух, как молоко. Я вошел в ворота, песок на дорожках слипся от дождя, густая трава скошена и сложена в копны, я прошагал между сосен, от которых открывался вид на отлогий луг с густой, недавно скошенной травой. Вход в отель «Тихота» был вроде мостика, на который открывались стеклянные двери, и за ними еще одни с железными жалюзи, празднично раскинутыми по белой стене, и мостик этот окаймляли белые перила, сбоку виднелся маленький альпинарий, и взяло меня сомнение, туда ли я пришел, и вообще, если это отель, то возьмут ли меня, обо всем ли договорился пан Валден, подойду ли я, официант-коротышка, шефу, пану хозяину «Тихоты». И вдруг мне стало страшно. Кругом никого, нигде ни звука, и тогда я повернулся и побежал через сад, но тут раздался пронзительный свист, такой настойчивый, что я остановился, и эта свистелка три раза свистнула, вроде ты, ты, ты! И потом долго свистела, я обернулся, тогда начались короткие свистки, меня будто обвивал какой-то шнур или веревка и подтягивал к самим стеклянным дверям, пока я в них не вошел. И тут на меня почти наехал толстый пан, который сидел на кресле-каталке и нажимал на колесо ладонями, и в его толстую голову была всунута свистелка, пан так надавил обеими ладонями на колесо, что кресло резко остановилось, и толстяк мотнулся вперед и чуть не выпал, а с лысины у него сполз черный парик, такая прическа, которую толстый пан снова сдвинул назад к затылку. Тут я представился пану Тихоте, и он представился мне, и я сказал о рекомендации пана Валдена, того представителя знаменитой фирмы «Ван Беркель», и пан Тихота сказал, что ждет меня с самого утра, но не надеялся, что приеду, потому что здесь был страшный ливень, и чтоб теперь я шел отдохнуть и потом показался ему во фраке, и он объяснит, какие у него требования. И я не глядел, не хотел глядеть, но это огромное тело в кресле-каталке само притягивало глаза, такое толстое, будто оно служило рекламой шин фирмы «Мишлен», но пан Тихота, которому принадлежало это тело, чему-то очень радовался, ездил по вестибюлю, украшенному рогами, туда и сюда, будто перебегал какую-то поляну, так он баловался с этой каталкой, на которой умел передвигаться даже лучше, чем если бы мог ходить. Пан Тихота засвистел в свистелку, но как-то по-другому, точно у этого свистка были регистры, и по лестнице сбежала горничная в белом фартучке на черном платье, и пан Тихота сказал: «Ванда, это наш второй официант, покажи ему его комнату». И Ванда повернулась, у нее оказался роскошный раздвоенный зад, и каждая половинка вздымалась при ходьбе и раскачивалась из стороны в сторону, волосы у нее были подняты в виде веретена с черной куделью, из-за этой прически я стал еще

меньше, но я решил, что накоплю на эту горничную, и она будет моя, и я обложу цветами ей грудь и задницу, мысль о деньгах прибавила мне силы, которую я всегда терял, когда видел что-нибудь красивое, особенно красивую женщину, но она, эта горничная, повела меня не по этажам, а на такую площадку, чтобы, наоборот, спуститься по ступенькам во двор, и только там я все увидел. Во дворе кухня, и там два белых колпака, я слышал работу ножей и веселый смех, к окну приблизились две жирные физиономии с большими глазами, потом снова смех, который становился все тише, так как я поспешал за Вандой, чемодан я нес как мог выше, чтобы этим возместить мой маленький рост, мне даже не помогали ни двойные подошвы, ни задранная вверх голова, чтобы длиннее казалась шея, и вот, мы через двор подошли к флигелю, и сердце у меня упало, в отеле «Злата Прага» я жил в таком же номере, как и гости отеля, а здесь меня поселили в комнатенке для коридорного, Ванда открыла и показала мне шкаф, повернула кран, и потекла в умывальник вода, откинула покрывало, чтобы я увидел, постель застелена чистым бельем, потом с высоты улыбнулась мне и ушла, и когда она шла по двору, я глядел в окно и понимал, что она не может сделать ни одного шага, чтоб его не увидели изо всех окон, чтобы за ней не наблюдали, не могла эта горничная ни почесаться... ни приблизить пальцы к носу, тут все время она должна ходить, словно в театре, словно за стеклянной витриной, вот и у нас, ходил я как-то покупать цветы, и когда возвращался, выкладывали девушки-оформительницы витрину у Каца, стояли на четвереньках друг за другом и прибивали гвоздиками ткани, у одной был молоточек, она развешивала фалдами шевиот и вельвет, и когда у нее кончались гвозди, она протягивала руку и у той, что сзади, брала изо рта гвоздик и прибивала очередную складку, и так все время она вытаскивала изо рта у той, второй, один гвоздик за другим, полный рот гвоздиков был у той девушки, наверно, им было весело в той витрине, а я стоял и держал полную корзину гладиолусов, и на земле у меня была еще одна корзина с маргаритками, и я смотрел на этих девушек, как они ползали на четвереньках, и было утро и кругом люди, и девушки, видно, забыли, что они в витрине, каждую минуту они почесывали в заднице или еще где придется, и снова ползали на четвереньках вдоль витринного стенда с молоточком и в шлепанцах, и смеялись до слез, одна из них прыснула, и у нее вылетели изо рта гвоздики, и они хохотали, стоя на четвереньках, и рычали друг на друга с девичьей живостью, будто щенки, и блузочки у них оттопыривались, выглядывала грудь, и эта грудь из-за того, что они стояли на четвереньках, раскачивалась туда и сюда, когда откидывались эти девушки в счастливом смехе, вокруг уже собрался народ и уставился на эти груди, раскачивавшиеся, словно колокола в главном вырезе башни, и вдруг одна глянула на этих людей, смех как ветром сдуло, она прижала руки к груди, покраснела, и когда вторая утерла слезы от смеха, первая показала ей на собравшихся перед витриной фирмы Каца, и она так испугалась, так резко прижала локтем блузочку, что опрокинулась и упала на спину, и ноги у нее раскинулись, и можно было видеть все, хотя и прикрытое кружевными модными панталонами, и если раньше все смеялись, то теперь от этой картины посерьезнели, одни отходили, а другие так и стояли уставившись, хотя давно уже пробило полдень и давно уже ушли оформительницы на обед в «Злату Прагу», к нам, а потрясенные красотой этих девушек все стояли, хотя продавцы уже опускали ставни, так может поразить красота девичьего тела некоторых людей... И я сел, и снял грязные ботинки и потом брюки, и так вдруг затосковал по тому моему отелю «Злата Прага», по «Райским», всю жизнь я видел только каменный город и толпы горожан, полную площадь народа, а природа — лишь цветы, за которыми я ходил каждый день, и маленький парк, и те лепестки, которыми я обкладывал барышням «У Райских» голые животы, и вот, когда я вынимал фрак, я вдруг задумался, что за человек был мой прежний шеф? В эти три года я видел его всегда такого потертого, будто протирали его, как овощи для пюре, в сущности, тот мой шеф был еще меньше меня и тоже верил в деньги, за деньги у него бывали красивые барышни не только «У Райских», ради них он ездил,

а вообще-то убегал от своей пани, даже в Братиславу и Брно, о нем рассказывали, что, пока жена его найдет, он уже ухитрится спустить не одну тысячу, и всегда, прежде чем начать этот свой загул, он всунет в карман жилета деньги и заколет булавкой, на обратный билет и на чаевые для проводника, чтоб тот довез его до дому, и был он такой коротышка, что проводник приносил его обычно на руках, как ребенка, всегда спящего, и, стало быть, после своего загула он еще больше скукоживался, неделю ходил крошечный, как морской конёк... но уже через неделю опять все в нем играло, только теперь я это понял, он, бывало, любил пить крепкие вина, португальское, алжирское вино, пил всегда с огромной серьезностью и ужасно помалу, так что казалось, будто и не пьет, и после каждого глотка все как-то краснел, тот мой шеф, минутку подержит во рту вино и потом проглотит, будто какое-то яблоко глотает, и после каждого глотка тихо скажет, что в вине солнце Сахары... и вот, иной раз в застольной компании он напивался, а рассерженные приятели звали его пани, чтобы она забрала мужа, и она приходила, спускалась на лифте с четвертого этажа, где у шефа были настоящие апартаменты, приходила невозмутимая, не ее же позор, напротив, ей всегда все кланялись, и стало быть, шеф лежал под столом или сидел наклюкавшись, пани брала его за воротник, играючи отрывала от пола, будто это был пустой пиджак, а если шеф сидел, так она толкала его, но шеф не падал, потому что она подхватывала его одной рукой в воздухе и спокойно и легко несла, тащила на весу, будто это и вправду пустой пиджак, и шеф перебирал в воздухе ногами и только так болтал ручками, как позволял ему натянутый пиджак, и его пани энергично открывала двери лифта, и моего шефа как держала, так и швыряла, только ноги грохотали, она входила следом, нажимала кнопку, и мы видели через застекленные двери, как шеф лежит на дне лифта, и над ним высится его пани, и они, будто к небу, возносятся на четвертый этаж. Почетные гости рассказывали, что несколько лет назад, когда шеф купил отель «Злата Прага», его пани сиживала вместе с почетными гостями, внизу было что-то вроде литературного салона, от него, в сущности, остался один поэт и художник Тонда Йодл, тут спорили, читали книги, бывало, разыгрывали спектакли, но всегда шефова пани так страстно ссорилась с мужем, каждые две недели находилась причина, то романтизм, а может, реализм, то Сметана и Яначек, но оба они так ругались, что начинали обливать друг друга вином и даже драться, и еще рассказывали, что кокер-спаниель шефа и фокстерьер его пани не выдерживали и тоже дрались до крови, и потом шеф и его пани шли за город гулять к ручейку, с забинтованной головой или рукой на перевязи, и за ними плелись фокстерьер с кокер-спаниелем, тоже с пластырем на покусанных ушах, а может, и без пластыря, но с подсыхающими ранами от укусов в литературной драке.... и потом мало-помалу наступало перемирие, а через месяц все повторялось снова... Как это, должно быть, было красиво, хотел бы я поглядеть... И уже я стоял перед зеркалом во фраке, в том самом фраке, в белой накрахмаленной сорочке, с белой бабочкой, и когда я положил в карман новый штопор с никелированной ручкой, комбинированный с ножом, я услышал посвистывание, и когда вышел во двор, надо мной мелькнула тень, кто-то перемахнул через забор, на голову мне легли какие-то две тряпки, будто две женские груди или еще что-то, и к моим ногам упал официант во фраке, он вскочил, крылья его фрака развевались в воздухе, и помчался дальше, подтягиваемый зовом свистка. Он толкнул двери, они разлетелись, и пошли волнами, и затихли, и отразили в уменьшенном виде двор и мою приближавшуюся и потом вступившую в стеклянные двери фигуру. Только недели через две до меня дошло, для кого построен этот отель. Четырнадцать дней я все удивлялся, куда я попал, и вообще как можно так жить. За эти две недели я заработал на чаевых несколько тысяч крон, а жалованье было так, на карманные расходы. Когда в своей комнатенке я считал эти купюры, а в свободное время я всегда считаю деньги, когда бываю один, и тогда у меня не проходило чувство, что тут есть кто-то еще, что кто-то за мной наблюдает, и такое же чувство было у метрдотеля Зденека, он здесь уже два года,

и всегда наготове, чтобы на свист перелететь через забор и объявиться кратчайшей дорогой в нашем ресторане. Но вообще-то днем тут никакой работы нет. Когда мы уберем зал, а это не занимает много времени, приготовим бокалы и все приборы, поменяем и проверим запасы салфеток и скатертей, мы со Зденеком, у которого ключ от погреба, идем подготовить напитки, проверить, хватит ли для гостей охлажденного шампанского, трехсотграммовых бутылок пльзеньского пива, мы приносим коньяк в буфетную, чтобы было его в достатке и для номеров, и потом идем в сад, вообще-то в парк, надеваем фартуки и разравниваем граблями тропинки, обновляем копны сена, каждые две недели старые копны увозят и вместо них привозят свежее, только что скошенное сено или уже готовые копны, которые по заранее составленному плану мы должны положить на то место, где были старые. И потом разравниваем граблями дорожки, но обычно разравниваю только я, Зденек, тот все время в соседних виллах, у каких-то своих воспитанниц, как он говорит, но, я думаю, никакие это не воспитанницы, а любовницы, может, чьи-то жены, которые тут на летней квартире всю неделю одни, или чьи-то дочери, которые готовятся к государственным экзаменам. И я разравниваю песок и смотрю, как выглядит сквозь деревья либо с просторного луга наш отель, который днем похож на какой-то пансионат, все время у меня впечатление, что вот-вот из-за стеклянных дверей выпорхнут девушки, или, может, молодые люди с портфелями, или молодцеватые мужчины в вязаных свитерах, и слуги потащат за ними клюшки для гольфа, или выйдет какой-нибудь фабрикант, и слуга вынесет для него плетеный стул и столик, и служанки постелят скатерти, и прибегут дети, и начнут ласкаться к папочке, и потом придет пани с солнечным зонтиком, не спеша снимет перчатки и, когда все усядутся, начнет разливать кофе... но за целый день никто не выйдет из этих дверей и никто не войдет, но все равно горничная убирает и каждый день меняет белье в десяти номерах, и стирает пыль, и все равно в кухне готовят, как на свадьбу, столько разносолов и столько блюд для такого большого пира, какого я в жизни не видел и о каком не слыхал, а если и слыхал, так только из рассказов о дворянской жизни, рассказов метрдотеля ресторана «Злата Прага», который плавал официантом в первом классе на роскошном пароходе «Вильгельмина», но потом этот пароход затонул, когда метрдотель опоздал к отплытию, и пока он поездом ехал через всю Испанию в Гибралтар с красивой шведкой, с которой вместе опоздал на пароход, в это время пароход и затонул, так вот, его рассказы о банкетах в первом классе на роскошном пароходе «Вильгельмина» были чуть-чуть похожи на то, что мы сервировали здесь, в нашем захолустном отеле «Тихота». И хотя мне было от чего чувствовать себя довольным, мне часто становилось не по себе. К примеру, разравниваю я дорожки и захотелось мне отдохнуть в тени под деревом, но только я лег, полюбовался на бегущие облака, тут все время по небу плывут тучи, только задремал, раздается свист, будто бы этот шеф вечно стоит у меня за спиной, и я лечу кратчайшей дорогой, на бегу развязываю фартук, перепрыгиваю через забор, как Зденек, врываюсь в ресторан и предстаю перед шефом, а он всегда сидел на каталке, и всегда ему что-то давило, чаще всего завернувшееся одеяло, которое надо поправить, и вот, мы надевали ему на живот такой пояс, вроде как у пожарных, пояс с карабинами, такой был у детей пана Родимского, мельника, его дети играли на мельничном лотке, и рядом лежал сенбернар, и когда Гарри или Винтирж, так звали детей, подползали к краю, раньше, чем мелькнула бы мысль, мол, упадут в воду, приходил этот сенбернар, хватал за карабин и относил Гарри или Винтиржа от опасного края, так и мы зацепляли шефа крючком за скобы и на блоке подтягивали не к потолку, конечно, а так, чтобы могло подъехать кресло, и шеф нам показывал, где надо поправить, и мы разравнивали одеяло или подкладывали новое, или еще одно, и потом опускали его на кресло. он был такой смешной, когда раскачивался в воздухе, весь перегнувшийся, так что свистелка, которая болталась у него на шее, показывала угол, под каким шеф висел... и потом он снова разъезжал по саду, по кабинетам и номерам, поправлял цветы, у нашего шефа было

ужас какое пристрастие к женской работе и вообще ко всем помещениям ресторана, они скорее походили на комнаты в богатых квартирах или на залы в маленьком замке, всюду занавески и аспарагусы, каждый день свежие розы и тюльпаны, и все, что цветет в это время года, и всегда много аспарагуса, и шеф составлял такие красивые букеты, так долго их подбирал, и всегда, бывало, подъедет, поправит и снова отъедет, издали посмотрит не только на букет, но и как он подходит к обстановке, и каждый раз велит подложить под вазу другую салфетку. Все утро он развлекался украшением кабинетов, будто разрисовывал их, а потом принимался за подготовку обеденных столов... а их бывало, как правило, всего два, и рассчитаны они были самое большее на двенадцать персон, и опять, пока мы со Зденеком молча ставили на стол все виды тарелок, и вилок, и ножей, шеф, полный тихого восторга, поправлял цветы в центре и проверял, в достатке ли у нас приготовлено свежесрезанных и положенных в воду веточек аспарагуса, которыми мы украшали столы прямо перед тем, как гости сядут... И вот, когда шеф изгонял, как он говорил, ресторанную атмосферу и придавал своему отелю домашнюю бидермайерскую [1] теплоту, он отъезжал к самым дверям, откуда будут входить гости, и минуту там сидел спиной к залу и к кабинетам, сосредоточивался, потом резко поворачивал кресло, подъезжал и осматривал все, будто он посторонний, будто гость, который здесь еще не был, и с удивлением разглядывает зал, потом шеф проезжал из кабинета в кабинет и глазами знатока проверял, как повешены шторы и другие мелочи, а нам велел включить свет, когда заканчивались приготовления, вечером должны были пылать все люстры, и шеф в такие минуты становился красивым, он словно забывал, что весит сто шестьдесят килограммов и не может ходить, и вот, он объезжал свой отель, глядя глазами постороннего, а потом снова смотрел своими, потирал руки и свистел, опять как-то по-другому, и я уже знал, что через минуту прибегут два повара, которые сообщат в мельчайших подробностях, как обстоят дела с омарами и устрицами, и как получился фарш а-ля Суварофф, и как там десерт. В мой третий тут день шеф разошелся и ударил повара, этот наш шеф, потому что обнаружил, что тот положил чуть-чуть тмина в телячьи медальонки с шампиньонами... Потом мы будили коридорного, великана, который целыми днями спал и доедал все, что оставалось после ночных пиров, дюжины порций, миски салата, все, что нам никогда бы не съесть, ни нам, ни горничной, все доедал этот коридорный, все допивал из бутылок, ужас какой сильный, так вот, к ночи он надевал зеленый фартук и колол дрова на освещенном дворе, ничего другого не делал, только колол дрова, мелодичными ударами колол то, что напилил днем, всю ночь, потом-то я понял, и всегда так бывало, он колет тогда, когда к нам кто-то приезжает, а к нам приезжали только на машинах, на дипломатических машинах, иной раз на нескольких машинах, всегда поздно вечером или ночью, и коридорный колол дрова, и от них шел дух свежесрубленного дерева, и его было видно изо всех окон, и освещенный двор, и подстриженные деревья, это придавало чувство уверенности, двухметровый детина, рубивший дрова, дюжий мужик с топором, который однажды чуть не убил грабителя и сам отвез его на тачке вниз в полицейский участок, было за ним и убийство, а если у какой машины спускала шина, этот коридорный поднимал ее за переднюю или заднюю ось и держал, пока не сменят колесо, на самом же деле коридорный был нужен только для декоративной рубки дров на освещенном дворе, чтоб его видели наши гости, так водопад на Лабе наполняют и ждут, пока гид приведет гостей, и потом по его знаку поднимают наверху затвор, и зрители наслаждаются водопадом. Вот и наш коридорный тоже. Но надо бы досказать про пана Тихоту. Только я в саду прислонюсь к дереву, к примеру, и считаю свои купюрки, тут же раздается свист, будто он какой-то всевидящий бог, этот наш шеф, или мы со Зденеком, когда никто не мог нас видеть, присядем или приляжем на копенку, и тут же свиристит свисток, такой предупреждающий коротенький

[1] Бидермайер — направление в немецком и австрийском искусстве, получившее название от вымышленной фамилии немецкого обывателя, стиль интимности и домашнего уюта.

свист, чтоб мы работали и не ленились, потом мы всегда прислоняли к дереву рядом грабли либо мотыги, либо вилы и ложились, и как только раздавался свист, мы вскакивали и копнили, и ровняли граблями, и носили на вилах просушенное сено, и снова тихо, но только мы отложим вилы, опять свист, и вот, мы придумали лежа чуть-чуть шевелить граблями, чуть-чуть двигать вилами, будто они у нас на невидимых веревочках. И Зденек рассказывал, что, когда вот так прохладно, шеф как рыба в воде, но как наступает жара, он просто расплавляется, не может ездить в кресле куда захочет и отсиживается в холодной комнате, в таком леднике... но и там обо всем знает и все видит, даже чего видеть и не может, точно на каждом дереве, в каждом углу, за каждой занавеской, на каждой ветке у него сидит шпик... «Это наследственное,— говорил Зденек и откидывался на спинку шезлонга,— его отец тоже весил сто шестьдесят кило, у него была пивная где-то под Крконошами, и в жару он тоже переселялся в погреб, там у него стояла постель, там он разливал пиво и водку, понимаешь, чтобы не растопиться, иначе в этом летнем пекле он бы растопился, как масло». Потом мы поднялись и пошли наугад по дорожке, по которой я еще не ходил, мы думали о папочке нашего шефа, как на лето он простодушно переселялся в погреб деревенской пивной, чтоб не получилось с ним, как с маслом, как там разливал пиво, там и спал, и дорожка привела нас к трем серебристым елям, и я застыл на месте, почти испугался, Зденек испугался еще больше, взял меня за рукав и забормотал, ну это... перед нами стоял маленький домик, такая пряничная избушка, будто в каком-то театре стоял этот домик, мы подошли ближе, перед домом была маленькая скамеечка, и окошко было такое крохотное, будто в кладовке деревенской избы, и на дверях замок, как на погребе, если бы мы туда захотели войти, так мне и то пришлось бы нагнуться, но двери были заперты... мы так и застыли, и смотрели в окошко минуть пять, а потом переглянулись, и стало нам страшно, у меня по рукам забегали мурашки, в этом домике все было точь-в-точь, как в номере нашего отеля, такой же маленький столик, стульчики, но будто для детей, и те же самые занавески, и столик для цветов, и на каждом стульчике сидела кукла или медвежонок, по стенам висели две полочки, и на них, будто в магазине, всевозможные игрушки, целая стена игрушек, барабанчиков и скакалок, и все так аккуратно расставлено, будто за минуту перед нами тут кто-то все приготовил и ради нас разложил, чтоб мы испугались или умилились... целая избушка с сотнями детских игрушек!.. и вдруг раздался свист, которым шеф вызывает нас к себе, и мы побежали, и помчались, и пустились через луг, мокрый от росы, и один за другим перескочили через забор...

Каждый вечер в отеле «Тихота» был отягощен ожиданием. Никто не приходил, ни одна машина не подъезжала, и все равно наш отель ждал в полной готовности, будто какой-то оркестрион, в который вдруг кто-то бросит монету, и он заиграет, будто оркестр, дирижер поднял палочку, все музыканты сосредоточились и приготовились, но палочка застыла без движения... И мы не смели ни сесть, ни облокотиться, вроде бы что-то поправляя, ни стоять, слегка опершись на сервировочный столик, даже коридорный и тот в центре освещенного двора, наклонившись вперед над колодой, в одной руке топор, в другой полено, ждал сигнала, чтоб мелодично опустить свой топор, и весь этот отель пришел бы в движение, словно в тире, где натянуты все пружины, но ничего не происходит, чтобы потом вдруг, когда придут гости, зарядят духовое ружье дробинкой, попадут в мишень, в любую картинку, вырезанную и нарисованную на жести и привинченную шурупами, и как только кто-то попадет в черный круг, механизм начнет работать, нынче и завтра, точно так же, как вчера. Еще мне напоминала эта жизнь сказку о Спящей Красавице, все застыли в том положении, в каком застало их проклятие, чтобы от прикосновения волшебной палочки все начатые движения закончить или возникающие начать. И вот, вдали зашумела машина, шеф, сидевший на каталке у окна, дал знак платком, Зденек бросил монету в музыкальный автомат, и тот начал бренчать «Миллионы Арлекина», этот аристон, или оркестрион, шеф велел

обложить подушками и войлочными прокладками, так что казалось, будто он играет где-то в другом заведении, и коридорный опустил топор и выглядел усталым, сгорбленным, точно он колол дрова с полдня, и я перекинул салфетку через руку и ждал, кто же будет нашим первым гостем? И вошел генерал в генеральском плаще на красной подкладке, этот, конечно, шьет мундир в той самой фирме, в какой и я свой фрак, но этот генерал был какой-то невеселый, за ним шел его шофер, нес золотую саблю, положил на столик и снова ушел, генерал обошел кабинеты, осмотрел все и потер руки, потом расставил ноги, заложил руки за спину и глядел во двор на нашего коридорного, который там колол дрова, и в это время Зденек принес в серебряном ведерке бутылку сухого шампанского и поставил на обеденный стол устрицы и блюда с креветками и омарами, и когда генерал уселся, Зденек открыл шампанское «Хайнкель троккен», налил бокал, и генерал сказал, вы будете моими гостями, и Зденек поклонился, принес два бокала и налил в них, и генерал поднялся и пристукнул каблуками, и крикнул: «Прозит!» — и отпил, но чуть-чуть, мы наши бокалы выпили до дна, и генерал загримасничал, и затрясся, и, полный отвращения, проревел: «Фуй тайбл, я не могу этого пить!» И потом положил устрицу на тарелку, поднял голову, и его жадный рот втянул мягкое мясо моллюска, политое лимоном, и будто бы съел с удовольствием, но потом он снова затрясся и зафырчал от отвращения, даже прослезился. И опять взял бокал, допил шампанское и, когда допил, взревел: «Аааа, я этого вообще не могу пить!» И пошел обходить кабинеты, и когда возвращался, брал с приготовленных блюд то кусок креветки, то листик салата, то устрицу, и после каждого раза я пугался, потому что генерал плевался и кричал с отвращением: «Фуй тайбл, этого нельзя есть!» И снова возвращался, и подставлял бокал и давал себе налить, и расспрашивал Зденека, а Зденек кланялся и рассказывал о «Вдове Клико» и вообще о шампанском, и в конце Зденек заметил, что он считает лучшим то, которое предложил, «Хайнкель троккен», и генерал ободренный выпил, но прыснул шампанским, потом допил, и мы снова отправились осматривать двор, погруженный в темноту, только коридорный и его дрова озарены светом, и стена, целиком закрытая сосновыми поленцами. Шеф ездил неслышно, появится на минутку, поклонится и снова исчезнет, а у генерала настроение улучшалось, словно он переломил свое отвращение к еде и питью, и у него разыгрался аппетит. Он перешел на коньяк и выпил целую бутылочку «Арманьяка», и после каждой рюмки морщился, и сыпал ужасные проклятия, и брызгал слюной, перемежая чешский и немецкий: «Diesen Schnaps kann man nicht trinken!» [1] Точно так же с французской кухней, после каждого соуса казалось, что генерала вот-вот вырвет, он клялся, что больше этого соуса в рот не возьмет и ни единого глоточка не сделает, набрасывался на метрдотеля и на меня: «Что вы мне подаете? Отравить меня хотите, мерзавцы, смерти моей хотите!» Но он выпил еще одну бутылку «Арманьяка», и Зденек прочел ему лекцию, почему лучший коньяк называется «Арманьяк» и не коньяк, а бренди, потому что коньяк производят только в той области, которая называется Коньяк, и потому, к примеру, хотя лучший коньяк получают в двух километрах от границы области Коньяк, но его уже не имеют права называть коньяком, а только бренди, и в три часа утра генерал сообщил, что больше он не выдержит, что мы его убили тем, что подали ему яблоко, а он уже съел и выпил столько, этот генерал, что съеденного и выпитого им хватило бы на компанию из пяти человек, но он продолжал охать, мол, организм его ничего не принимает, что у него, наверно, рак или в лучшем случае язва желудка, ни к черту печень и определенно камни в почках, и вот, к этому времени он захмелел и вытащил служебный пистолет, расстрелял бокалы, стоявшие на окне, и прострелил окно, тут неслышно подъехал шеф на резиновых колесиках, он смеялся и поздравлял генерала, и желал, чтобы на его, шефово, счастье генерал расстрелял хрустальную слезку на венецианской люстре, и еще сказал, что последнее великое достижение, какое он

[1] Эту водку нельзя пить! *(нем. искаж.)*

видел, свершилось тут, князь Шварценберк подбросил пятикроновую монету и попал в нее из охотничьего штуцера, когда она почти совсем упала на стол. И шеф отъехал, взял указку и показал царапину над камином, которую оставила пуля, скользнув по серебряной пятикроновой монете. Но генерал специализировался по рюмкам, он стрелял, и никто не огорчался, и когда он прострелил окно и пуля просвистела над согнувшимся коридорным, который все колол дрова, тот только потрогал ухо и продолжал мелодично опускать топор... Потом генерал выпил турецкого кофе и снова клал руку на сердце, и утверждал, что такой кофе ему вообще пить нельзя, и выпил еще такого кофе, и потом провозгласил, что вот жареную курицу он бы перед смертью съел с удовольствием... и шеф поклонился, засвистел, через минуту прибежал повар, свеженький и в белом колпаке, и принес целый противень кур, генерал как увидел их, снял мундир, расстегнул рубашку и так печально начал, что ему нельзя есть жареного, потом взял разорвал этого петуха и принялся есть и после каждого глотка жаловался на свое здоровье, ему, мол, нельзя переедать и ничего отвратительнее он в жизни не ел, и Зденек сказал, что в Испании подают к курятине шампанское, что тут подошла бы «Ля Кордова», генерал кивнул и потом пил, и закусывал курицей, и каждый раз ругался и морщился, после каждого глотка и соуса говорил, что diesen Pulard auch diesen Champagner kann man nicht trinken und essen... [1] и в четыре утра, когда уже нажаловался и наякался, вся тяжесть с него будто бы спала, он попросил счет, метрдотель принес, все уже было написано, и подал этот счет на тарелочке в салфетке, но Зденеку пришлось прочитать все статьи расхода и, главное, назвать все, что генерал съел и выпил... И Зденек называл строчку за строчкой, и генерал улыбался, и с каждой строчкой все больше, пока не засмеялся и не загоготал, и не зарадовался совершенно трезвый и здоровый, и кашель у него прошел, счастливый, расправив плечи, он надел мундир и, разрумянившийся, с искрящимися глазами, попросил сделать сверток и для шофера, генерал заплатил шефу тысячекроновыми купюрами, округляя счет до тысячи, видно, тут так было заведено, и потом добавил еще тысячу за стрельбу, за расстрелянный потолок и окно, он спросил шефа, хватит? И шеф кивнул, мол, да. Я получил на чай триста, и генерал накинул на плечи плащ на красной подкладке, взял золотую саблю, вставил монокль, и зазвенели вслед его шпоры, и когда он вот так шел, умел он сапогом так элегантно отбрасывать саблю, чтоб не зацепиться, не упасть...

Этот генерал приехал и на следующий день, но уже не один, а с красивыми барышнями и каким-то толстым поэтом, теперь стрельбы не было, но они ужас как ругались из-за литературы и каких-то поэтических направлений. так брызгали слюной друг другу в лицо, что я думал, генерал застрелит толстого поэта, но они быстро успокоились и начали ссориться из-за какой-то писательницы, о которой все время говорили, что она путает кое-что с чернильницей и забывает, кто куда макал перо и где ее чернила, потом чуть не два часа мусолили какого-то писателя, генерал утверждал, что если бы этот господин носился со своими текстами так, как он носится с чернильницами своих дам, было бы лучше и для него, и для чешской литературы, а поэт твердил совсем другое, мол, это настоящий писатель, и если после Бога, конечно же, выше всех Шекспир, то после Шекспира наш писатель, из-за которого они ссорились, и было это прекрасно, потому что шеф, только они приехали, послал за музыкой, и музыка все время для них играла, и они с этими барышнями страшно пили, и генерал не только ругался перед каждым глоточком и каждым кусочком, но и без конца курил, и как зажжет сигарету, закашляется, смотрит на нее и кричит, что за дрянь кладут в эти «египтянки»? Но смолил он так, что окурок светился в полутьме... и музыка играла и пила, а я удивлялся, потому что у этих двух гостей все время на коленях сидели барышни, то и дело они поднимались наверх в номера и возвращались через четверть часа, и уж так хохотали, так смеялись, и еще, генерал каждый раз как спускался по лестнице, так держал

---

[1] Эту курицу так же, как и это шампанское, пить и есть нельзя *(нем. искаж.)*.

руку между ягодицами у идущей впереди барышни и жаловался, мол, для него с любовью уже покончено, и потом, что, разве здесь с нами какие-то барышни? Но через четверть часа он поднимался и снова возвращался, и я видел, что барышня благодарна и полна любовью, и все получается так же, как вчера с теми двумя «Арманьяками» и бутылками шампанского «Хайнкель троккен» и «Ля Кордова», и опять они болтали о смерти поэтизма и о новом направлении в сюрреализме, который вступает во вторую фазу, и об искусстве, прислуживающем политике, и об искусстве чистом, и опять так кричали друг на друга, что минула полночь, а этим барышням все время было мало шампанского и мало еды, будто эту еду в них вкладывали и тут же вынимали, такой они чувствовали голод... потом музыканты сказали, что уже все, они должны идти домой, больше играть не могут, тогда поэт взял ножницы и отрезал золотой орден с мундира генерала, и бросил музыкантам, и те снова продолжали играть, то ли цыгане, то ли венгры были эти музыканты, и опять генерал пошел с барышней в номер, и опять на лестнице говорил, что ему как мужчине уже капут, через четверть часа он вернулся, а толстый поэт сменил его с той же барышней, и музыканты опять стали складывать инструменты, потому что собирались идти домой, и опять поэт взял ножницы и отрезал еще два ордена, и бросил на подносик, и генерал взял ножницы, отрезал оставшиеся награды, тоже бросил на поднос, и все ради красивых барышень, и мы это оценили как самую высшую доблесть, какую в жизни видели, Зденек шепнул мне, что это высшие ордена, английские, французские и русские, в первую мировую войну... и генерал снял мундир и решил танцевать, он ворчал и поругивал барышню, мол, с ним надо танцевать медленно, мол, легкие и сердце устроили против него заговор, потом попросил цыган сыграть чардаш, и вот, цыгане начали, и генерал, когда откашлялся и отхаркался, тоже начал танцевать, и барышне пришлось прибавить скорость, генерал поднял одну руку, а другой возил по земле, как петух, и все ускорял свои движения и от этого будто молодел, барышня за ним уже не поспевала, но генерал ее не отпускал, танцевал и вдобавок целовал барышню в горло, музыканты обступили танцующих, в их глазах светились удивление и понимание, в их глазах можно было прочесть, что генерал танцует и за них, и музыка соединяла их с солдатом, и они то убыстряли ее, то опять замедляли, в лад с танцем и силами генерала, но он танцевал лучше партнерши, которая уже громко дышала и раскраснелась, а наверху на балюстраде стоял толстый поэт с барышней, с которой был в номере, и теперь он поднял девушку на руки, показались первые лучи солнца, и поэт нес вниз красивую девушку к танцующим чардаш, через открытую дверь он вышел в парк и предложил первому солнцу эту полуголую пьяную барышню, у которой разорвалась блузочка... и потом уже утром, когда уже шли ранние поезда и развозили рабочих по заводам, приехала генеральская машина, длинная открытая шестиместная «испано-сюиза», перегороженная посередине и сзади обтянутая кожей, и компания расплатилась, поэт отдал целиком все деньги за книжку, десять тысяч экземпляров, как у Йодла «Жизнь Иисуса Христа», но он заплатил с удовольствием и сказал, что это пустяки, что он поедет в Париж и напишет новую книгу, еще красивее, чем та, которую только что пропили, а пока сразу же пойдет за авансом... и погрузили генерала в белой сорочке, рукава так и остались завернутыми, ворот расстегнут, он сидел сзади между барышнями и спал, а впереди толстый поэт, который всунул в отворот пиджака красную розу, и подле него с обнаженной золотой генеральской саблей, опершись локтем на ветровое стекло, стояла та красивая девушка, что танцевала, она накинула генеральский мундир с отрезанными орденами, на завитки распущенных волос водрузила генеральскую фуражку и так возвышалась с двумя огромными грудями, Зденек сказал, что она похожа на статую Марсельезы, и вся компания направилась вниз к вокзалу, и когда рабочие садились в поезд, генеральская машина ехала по-над платформой и устремлялась в Прагу, и эта девушка с вылезавшей наружу грудью подняла саблю и кричала: «На Прагу!» Так они и въехали в Прагу, как, должно быть, было красиво, потом

нам говорили, что этот генерал с поэтом и барышнями, и главное, с той барышней в разорванной блузочке с двумя грудями, торчавшими наружу, и с обнаженной саблей, проехали по Пршикопу и по Национальному проспекту... и полицейские отдавали им честь, а генерал с руками, свисавшими до самого пола, сидел сзади в «испано-сюизе» и спал... И еще, тут в отеле «Тихота» я понял, что сказку о том, будто работа облагораживает человека, выдумал не кто иной, как один из наших гостей, которые тут целую ночь пьют и едят с красивыми девушками на коленях, один из тех богатых, которые умеют быть счастливыми, как малые дети, а я-то думал, что богатые прокляты или что-то в этом роде, что хижины, и каморки, и квашеная капуста с картошкой дают людям чувство счастья и благодать, что богатство — это какое-то проклятие... но оказалось, что и треп о том, какие счастливые люди живут в хижинах, и этот треп выдуман нашими гостями, которым наплевать, сколько они прокутят за ночь, которые сорят деньгами и от этого только радуются... никогда я не видел таких счастливых мужчин, как те богатые заводчики и фабриканты... они умели куролесить и радоваться жизни, будто маленькие сорванцы, нарочно вытворяли всякое, разыгрывали друг друга, столько у них было на все времени... и всегда в самый разгар веселья вдруг один у другого спросит, не нужен ли ему вагон свиней венгерской породы, или там два вагона, или целый состав? И тот, другой, смотрит на нашего коридорного, как он колет дрова, они, то есть богатые, всегда думали, что наш коридорный самый счастливый человек на свете, вот они и наслаждались, мечтательно глядя на его работу, восхищались ею, но никогда сами не делали, и в этом их счастье, а если бы им пришлось ее делать, тут счастью бы и конец, и вот, вдруг тот, второй, что смотрел на нашего коридорного, спрашивает, мол, в Гамбурге был корабль коровьих шкур из Конго, не знаешь, что с ним? И первый, будто речь не о корабле, а об одной шкуре: «А какой будет мне процент?» И второй пообещает, дескать, пять, а первый — восемь, потому что в деле есть риск, могут появиться черви, плохо эти черные хранят... и вот, первый протягивает руку и говорит, семь... с минуту они смотрят один другому в глаза и вот уже пожимают руки... и снова к барышням, и этими самыми руками гладят голым женщинам грудь и бугорок расчесанных волос на животе и целуют его полными губами, будто втягивают устрицу или высасывают вареное мясо улитки, но купив или продав состав свиней или корабль кож, они словно бы молодеют. Некоторые из наших гостей покупали и продавали целые улицы доходных домов, один даже продавал и продал град [1] и два замка, тут была куплена и продана фабрика, тут генеральные представители фирм договаривались о снабжении всей Европы упаковочными материалами, договорились тут о заеме в полмиллиарда крон кому-то на Балканах, продали два поезда военной амуниции, у нас шел разговор и об оружии для нескольких арабских полков... и все вот так, за шампанским и французским коньяком, с барышнями и поглядыванием из окна на нашего коридорного, который колол дрова... После прогулок лунной ночью по парку — игра в салочки и жмурки, которая кончалась в копнах сена, разбросанных в саду у нашего шефа, как декорация, такая же, как и коридорный, коловший дрова, они возвращались на рассвете, волосы и платье полны помета и сухих стебельков травы, счастливые, будто персонажи какой-то пьесы... и раздавали стокроновые бумажки, полные пригоршни сотен, многозначительно глядя на меня и музыкантов, мол, вы ничего не видели и ничего не слышали, хотя мы все видели и все слышали, а шеф кланялся в своей повозке на колесиках с резиновыми шинами и неслышно разъезжал из комнаты в комнату, чтобы все и всегда было в порядке, любое желание удовлетворено, наш шеф все предвидел, даже если под утро кто-нибудь размечтается о стакане парного молока или холодных сливок, и это у нас было, и если кого начнет рвать, то у нас в облицованных кафелем туалетах стояло такое оборудование, такие раковины на одного человека с блестящими хромированными ручками, и общие

[1] Град — историческая часть древних чешских городов, часто окруженная крепостной стеной.

раковины, похожие на длинное корыто для лошадей, над которыми были перила, так что гости стояли, держались за эту рейку и коллективно возвращали съеденное, и это придавало им непринужденности, а мне бывало так стыдно, когда меня рвало, хоть никто меня и не видел, что я блюю, но богатых рвет так, будто это входит в меню банкета, будто воспитание требует, чтобы их выворачивало, они извергают со слезами на глазах и через минуту снова с удовольствием пьют и едят, как древние славяне... и метрдотель Зденек, настоящий метрдотель, он прошел выучку в Праге «У красного орла», там был какой-то старый метрдотель, который его школил, он когда-то служил личным официантом в дворянском казино, куда, бывало, хаживал сам эрцгерцог д'Эсте, так вот, Зденек обслуживал, будто творил, потому-то он всегда бывал гостем наших гостей, он вообще воспринимался как гость, на каждом столе стояла его рюмка, и со всеми он пил за здоровье, но не выпьет, а только пригубит, он никогда не стоял просто так, то блюдо принесет, то еще что и все время будто в мечтах, как во сне, и если бы кто попался ему на пути, случилось бы ужасное столкновение, у него были ладные, ловкие движения, что бы он ни делал, и никогда он не садился, всегда на ногах и всегда угадывал, кому что может вздуматься. Не раз я ездил со Зденеком повеселиться, у него были такие графские замашки, что он растрачивал почти все, что зарабатывал, бывало, он раздавал чаевые так же, как наши гости ему, а когда мы под утро возвращались, у него всегда находились деньги, чтобы разбудить хозяина самой дрянной деревенской пивной и распорядиться, чтоб тот поднимал музыкантов, музыканты играли, и Зденек ходил от дома к дому и будил спящих, приглашая выпить за его здоровье, и все шли в пивную, и там играла музыка, и все танцевали до самого рассвета, до самого утра. А когда бывало выпито все, что хранилось у хозяина в бутылках и бочках, Зденек будил владельца лавочки колониальных товаров и мануфактуры и покупал целые корзины желе, джемов и мармеладов, и одаривал старых бабушек и дедов, и платил не только за выпитое в пивной, но и за сласти из лавки, и за все, чем одаривал, и когда все растратит, так обрадуется, так блаженствует. И еще, такой вот он был, вдруг начнет паясничать и просит в долг двадцать геллеров, дескать, у него нет спичек, покупает спички и прикуривает сигарету, тот самый Зденек, который любил прикуривать скрученной десятикроновой бумажкой, зажигал ее в пивной от печки и прикуривал сигару... и когда мы уезжали, музыка играла нам вслед, по сезону Зденек скупал все цветы в садоводстве и разбрасывал гвоздики, розы и хризантемы, и музыка нас сопровождала даже за деревню, и автомобиль привозил нас, увенчанных цветами, в отель «Тихота», потому что этот день, вернее, эта ночь была у нас выходной. Как-то раз мы ждали гостя, а шеф придавал этому визиту важное значение. Раз десять, а то и двадцать он объехал свое хозяйство, и всякий раз что-то было не так... этот ужин заказан был на три персоны, но приехали только две, хотя мы накрыли стол на троих, и всю ночь мы приносили блюда и третьей особе, будто она вот-вот придет, но незаметно, точно она невидимка, которая сидит за столом, ходит, прогуливается по саду, качается на качелях, а ее никто не видит... Сначала большой роскошный автомобиль привез даму, с которой шофер говорил по-французски, и Зденек тоже... потом в девять вечера приехал еще один большой роскошный автомобиль, из него вышел сам президент, которого я сразу узнал, а шеф говорил ему Ваше Превосходительство... и пан президент ужинал с этой красивой француженкой, которая прилетела в Прагу на самолете, и пан президент совсем переменился, будто помолодел, смеялся, шутил, пил шампанское, потом коньяк, и вот, они развеселились, перешли в бидермайерский кабинет, полный цветов, и пан президент усадил красавицу подле себя, и целовал ей руки, и потом поцеловал ее в плечо, такое платье было на этой красивой женщине, что руки оставались голыми, и они разговаривали о литературе, и ни с того ни с сего начали смеяться, пан президент что-то рассказывал на ушко этой женщине, и она вскрикивала от смеха, и пан президент тоже смеялся, и даже хлопал себя по коленям, и сам наливал шампанское, они подняли бокалы и держали их за ножки, бокалы весело звенели, а они

смотрели друг другу в глаза и сладко так пили, эта дама потом слегка толкнула пана президента на спинку кресла и сама его поцеловала, такой долгий поцелуй, пан президент закрыл глаза, она его гладила по бокам, и он ее тоже, я видел его бриллиантовый перстень, как он искрился на ляжке этой красавицы, вдруг он словно проснулся, склонился над красавицей, и смотрел ей в глаза, и снова целовал, на минуту оба затихли в объятиях, и потом, когда пришли в себя, президент так глубоко вздохнул, и дама тоже выдохнула из глубины воздух, даже взлетела прядка волос, падавшая на лоб, они поднялись, взялись за руки, словно дети в хороводе, и вдруг побежали к дверям и потом в сад, все время держась за руки, прыгали и шалили на тропинках, откуда доносился ее звонкий смех и веселый хохот пана президента, а я удивлялся, вспоминал портрет пана президента на почтовых марках и в общественных местах, мне всегда казалось, что пан президент таких вещей не делает, что пану президенту такое не пристало, а он был такой же, как все богатые, как я, как Зденек, теперь он бегал по залитому лунным светом саду, в этот день утром мы как раз привезли копны подсушенного сена, я видел белое платье красавицы и белую фрачную манишку пана президента, белые, будто фарфоровые, манжеты, как они тут и там прочерчивают ночь, мелькают от копны к копне, как пан президент догоняет белое платье, подхватывает и легко поднимает, я видел, как эти манжеты возносят белое платье, подкидывают его, вылавливают, словно из реки, и потом уже, как маменька в постельку дитя в белой рубашонке, нес пан президент это платье в глубину сада под столетние деревья, чтобы снова пробежаться с ним и положить на копну сена. Но белое платье опять ускользнуло от него и побежало дальше, и пан президент за ним. Я видел его манжеты, и потом платье стало уменьшаться, и белые манжеты отбрасывали и подбрасывали его, как мы подбрасываем, когда сушим, цветы мака, и потом стало тихо в саду отеля «Тихота»... Я перестал глядеть, потому что перестал и шеф, опустил занавеси, уставился в пол Зденек, и горничная тоже смотрела в пол, она стояла на лестнице в черном платье, и виднелся только ее белый фартучек и на густых волосах наколка, белая, как свадебная корона, больше мы не глядели, но все были взволнованы, будто на той примятой и разметанной копне лежали мы, с красивой дамой, которая ради сцены на сене прилетела на аэроплане из самого Парижа, будто все это случилось с нами... и главное, что мы единственные, кто присутствует при этом торжестве любви, что нам присудила это судьба, не требуя взамен большего, чем тайна исповеди, как от священника. За полночь шеф послал меня, чтобы я отнес в детский домик хрустальный кувшин с холодными сливками, кусок хлеба и завернутые в виноградный лист кусочки масла. Я нес корзину, и дрожь охватила меня, прошагал я мимо копен, которые были разметаны начисто, такое получилось из них ложе, и я поклонился этому сену, потом не удержался и поднял горсть сухой травы, принюхался к ней, потом свернул на тропинку к трем серебристым елям и там уже увидел светившееся окошко и когда подошел, то в детском домике, где барабанчики и скакалки, и медвежата и куклы, там на маленьком стуле в белой сорочке сидел пан президент, а напротив него на таком же стульчике та француженка, так они там и сидели, двое влюбленных, друг против друга, и смотрели друг другу в глаза, положив на столик руки, и обыкновенный фонарь со свечой озарял этот домик... и пан президент встал и заслонил окошко, ему пришлось нагнуться, чтобы выйти из домика, я подал ему корзину, и снова ему пришлось нагнуться, такой высокий был наш президент, хотя я просто стоял, но я был всегда такой маленький, я подал ему корзину, и он сказал, спасибо тебе, мальчик, спасибо... и снова его белая сорочка попятилась, белая бабочка была развязана, и я запнулся об его фрак, когда возвращался... и потом рассвело, и когда взошло солнце, из детского домика вышел пан президент и та дама, только так, в комбинации... она тащила за собой уже обвисшее платье, пан президент нес фонарь, в котором горела свеча, всего лишь точка в сравнении с появившимся солнцем... потом пан президент нагнулся и поднял за рукав фрак, и тянул его за собой, полный помета, стебельков и сена... так

мечтательно они шагали друг подле друга, и оба блаженно улыбались... Я глядел на них и вдруг почувствовал, что быть официантом — это не просто так, что есть официанты и официанты, но я официант, который тактично обслуживал президента, и должен это ценить, так же как всю жизнь этим жил знаменитый метрдотель Зденека, который обслуживал в дворянском казино эрцгерцога Фердинанда д'Эсте... и потом пан президент уехал на одной машине, та дама на другой, и на третьей не уехал никто, этот невидимый третий гость, которому заказывали ужин, которому мы подавали блюда, шеф, конечно, включил в счет и ужин, и номер, в котором никто не спал. Когда наступила жара, шеф уже не ездил из номера в номер и в ресторан, он сидел в своей комнате, в таком холодильнике, где температура не поднималась выше двадцати градусов, но хотя сам он нигде не появлялся, не ездил по тропинкам парка, все равно будто бы нас видел, будто бы был всевидящим. Он обслуживал гостей и раздавал наказы и приказы свистелкой, и мне казалось, что этим свистком он говорит больше, чем словами. В ту пору у нас жили четверо иностранцев откуда-то из самой Боливии, и они привезли с собой таинственный чемоданчик, который стерегли пуще зеницы ока, даже и спать ложились с ним. Все четверо в черных костюмах, в черных шляпах, с черными обвислыми усами, они и перчатки носили черные, и чемодан, который они так стерегли, тоже был черный и так же, как и они, походил на гробик. Вместо причудливых развлечений и распутства наших ночных компаний поселились эти путники. Но им пришлось хорошо заплатить, чтоб шеф их принял. В этом была особенность шефа и вообще его отеля, если у нас кто поселялся в номере, то платил за чесночный суп и картофельные оладьи с укропом столько же, как если бы ел устрицы и омары и запивал шампанским «Хайнкель троккен». То же и с номерами, хоть и продремал гость до утра на кушетке, но платит за все апартаменты наверху, и такой порядок считался украшением нашего дома, отеля «Тихота». А мне ужас как хотелось узнать, что у них в этом чемоданчике, и вот, однажды, когда главный этой черной компании вернулся, был это еврей, пан Саламон, я узнал от Зденека, что у этого пана Саламона контакт с Прагой, с самим архиепископом, и что пан Саламон по дипломатическим каналам просит, чтобы тот освятил статуэтку, «Бамбино ди Прага», которая ужасно популярна в Южной Америке, и даже миллионы индейцев носят на цепочке вместе с крестиком этого Бамбино, там кружит от племени к племени красивая легенда о том, что Прага самый прекрасный город в мире, что маленький Иисус тут ходил в школу, и потому они хотят, чтобы сам архиепископ Пражский освятил фигурку, которая весит шесть кило и сделана из чистого золота. С этой минуты мы уже жили только этим торжественным освящением. Но все было не так просто, на следующий день приехала пражская полиция, и прибыл сам начальник управления, чтобы сообщить боливийцам, что про Бамбино уже знают в пражском преступном мире и даже какая-то группа из Польши хочет золотого Младенца Христа украсть. И вот, они долго советовались и решили, что лучше до последней минуты настоящего Младенца спрятать и сделать на средства Боливийской Республики еще одного из позолоченного чугуна, и этого позолоченного Бамбино до последней минуты возить с собой, потому что если будет совершен грабеж, так пусть лучше украдут или завладеют этим фальшивым Младенцем, чем настоящим. И вот, на следующий день привезли точно такой же черный чемоданчик и когда его открыли, там была такая красота, что приехал сам шеф, покинул свою охлажденную комнату, чтобы поклониться Младенцу Христу. Потом опять пан Саламон договаривался с архиепископской консисторией, но архиепископ этого Бамбино освящать не хотел, потому что единственный Бамбино был в Праге, а теперь бы стало два Бамбино, все это я узнал от Зденека, потому что он знал испанский и немецкий, и Зденек так огорчился, впервые я видел его потерявшим свой покой, но на третий день пан Саламон вернулся, и уже от вокзала можно было угадать, что он везет добрые вести потому что он стоял и смеялся, и махал руками, и сразу же все уселись, и пан Саламон

сообщил, что добился хорошего результата, что архиепископ любит фотографироваться, и потому пан Саламон предложил, чтобы весь обряд снимали на кинопленку, тогда торжество увидит весь мир, всюду, где есть кинематограф, всюду увидят не только архиепископа, но и этого Бамбино, и собор Святого Вита, и церковь, как резонно предположил пан Саламон, приобретет и расширит свою популярность. Когда пришел день торжественного освящения, они целую ночь совещались, и мы со Зденеком получили от полиции такое задание, что мы повезем настоящего Младенца, а в трех машинах будут сидеть боливийцы с президентом полиции во фраках, они повезут копию «Бамбино ди Прага», а мы со Зденеком и тремя детективами, которые будут переодеты в фабрикантов, спокойно поедем вроде бы за ними следом. Какая веселая была дорога, руководитель этих боливийцев решил, что настоящего Младенца буду держать на коленях я, и вот, мы выехали из отеля «Тихота», детективы, такие веселые паны, когда для публики открыли доступ к сокровищам и королевским драгоценностям, уже переоделись в священников и ходили вокруг и сбоку от алтаря, вроде бы они молились, а на груди у них, как у Аль Капоне, были засунуты за подтяжки револьверы, и когда наступил перерыв, они, одетые в прелатов, позволили два раза себя сфотографировать с этими драгоценностями, а потом, когда вспоминали, они так смеялись, эти детективы, а еще раньше в дороге мне пришлось показать им этого «Бамбино ди Прага», и мы даже решили, что остановимся, и Зденек где-нибудь за забором сфотографирует аппаратом этих сыщиков, переодетых в фабрикантов, и вообще всех нас с «Бамбино ди Прага». Пока мы ехали, они нам рассказывали, что если какие-то государственные похороны и если присутствует правительство, так их обязанность, чтобы никто неприглашенный туда не попал, чтобы в венки не подложили бомбу, что у них есть такое копье, и они сначала всю эту зелень и цветы истыкают этим копьем, и когда мы остановились фотографироваться, они показали нам карточки, где они у какого-то катафалка стоят на коленях, опершись на это копье, которым проверяют, нет ли в венке подложенной бомбы или хотя бы бомбочки. И сегодня снова во фраках, будто фабриканты, они проползают на коленях все торжество, чтобы с трех сторон следить, как бы чего не случилось с «Бамбино ди Прага». И вот, мы проехали по Праге, а когда приехали в Град, там нас ждали боливийцы, и пан Саламон взял у меня чемоданчик и пронес его по собору, и все было в полном блеске, будто на свадьбе, органы гудели, и прелаты с регалиями кланялись, пока пан Саламон нес этого Младенца, и камера стрекотала, и снимала все, и потом начался обряд, собственно, просто торжественная месса, самым благоговейным был пан Саламон, стоявший на коленях, и мы тоже на коленях, потом постепенно все приближались к алтарю, всюду цветы и позолота, и хор пел торжественную мессу, и в самую возвышенную минуту, когда оператор дал знак, произошло освящение, так из драгоценного предмета статуэтка стала святыней, которая освящена архиепископом, и божья милость, освященная в ней, теперь обладает сверхъестественной силой. Когда месса закончилась и архиепископ ушел в ризницу, пан Саламон в сопровождении викария капитула последовал за ним, и когда потом возвращался, всовывал бумажник в сюртук, он подарил, конечно, от имени боливийского правительства крупный чек на ремонт собора, а может, есть и какая-то такса за освящение. Потом я увидел и пана посла Боливийской Республики, как он нес «Бамбино ди Прага» через собор, опять гудели органы, и пел хор, и опять подъехала машина, и «Бамбино ди Прага» уложили в нее, но мы уже ничего не везли с собой, пан посол и его свита поехали в отель «Штайнер», а мы вернулись домой, чтобы все подготовить для ночного прощального ужина. Когда потом в десять вечера приехали эти боливийцы, только тут у нас они вздохнули с облегчением, только тут они начали пить шампанское и коньяки, были и устрицы, и цыплята, и ближе к полуночи прикатили три машины с танцовщицами из оперетты, и вот, в ту ночь на нас свалилось столько работы, как никогда, столько людей у нас тут не бывало, и начальник полиции, который тут все знал, опять поставил фальшивого пражского

Младенца на камин, а настоящего тайком отнес в детский домик и там беззаботно оставил освященного «Бамбино ди Прага» среди кукол и игрушек, скакалок и барабанчиков. Потом все пили, и голые танцовщицы кружились вокруг фальшивого «Бамбино ди Прага», и так до самого рассвета, когда пришло время пану послу отправиться в свою резиденцию, а представителям Боливии ехать на аэродром и лететь домой, вот тогда начальник полиции принес настоящего «Бамбино ди Прага» и поменял его на фальшивого, счастье, что пан Саламон заглянул в чемоданчик, потому что в этом веселье и суматохе начальник положил туда красивую куклу в словацком национальном костюме, и тогда все помчались к детскому домику, и там между барабанчиками и тремя куклами лежал «Бамбино ди Прага», они быстро схватили этого освященного Бамбино, положили на его место куклу в словацком национальном костюме и уехали в Прагу. Но дня через три мы узнали, что ради представителей Боливийской Республики пришлось задержать самолет, потому что они оставили фальшивого Младенца перед входом на аэродром, чтобы запутать грабителей, и уборщица сначала спрятала его в самшитовые кусты, но когда члены делегации во главе с паном Саламоном там, уже в безопасности, открыли чемоданчик, то обнаружили, что везут с собой не настоящего Бамбино, освященного паном архиепископом, а фальшивого, что он не из золота, а из позолоченного чугуна, только платьице на нем то же самое, тогда они кинулись со всех ног и нашли настоящего Младенца в ту минуту, когда возле него стоял швейцар и спрашивал всех вокруг, кому принадлежит этот чемоданчик? И поскольку никто не объявился, «Бамбино ди Прага» так и остался стоять там на лестнице... и как раз в ту минуту с шумом примчались боливийские представители, и когда взвесили чемоданчик на руке, вздохнули с облегчением, потом открыли и увидели, что там и есть этот настоящий Младенец Христос, и тогда они понеслись с ним к самолету, чтобы лететь в Париж и потом дальше на родину, с «Бамбино ди Прага», который, по индейской легенде, ходил в школу в Праге, и Прага, по этой легенде, самый древний город в мире... Хватит вам? На этом сегодня закончу.

Я ОБСЛУЖИВАЛ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ

Слушайте-ка внимательнее, что я вам теперь скажу.

Мое счастье всегда было в том, что со мной случалось какое-нибудь несчастье. Вот и отель «Тихота» я покинул со слезами, потому что шеф подумал, будто это я нарочно перепутал «Бамбино ди Прага» с фальшивым пражским Младенцем, будто я все подстроил, чтобы присвоить себе эти килограммы золота, хотя это был не я, и вот, опять приехал с таким же новым чемоданом какой-то другой официант, а я отправился в Прагу, и там мне сразу же на вокзале выпало такое счастье, что встретился мне пан Валден. Он как обычно ехал с товаром и с ним его носильщик, тот унылый человек, который таскал на спине эти две машинки, весы и станочек для нарезания колбасы... пан Валден написал мне записку в отель «Париж», и мы попрощались, наверно, я ему чем-то понравился, потому что он гладил меня и приговаривал: «Бедняжка, держись, ты такой маленький, от малого, бедняжка, ты куда-нибудь дотянешься к большому, еще увидимся!» — кричал он, а я стоял и долго махал ему вслед рукой, поезд уже давно ушел, и впереди меня снова ждало какое-то приключение, к тому же в отеле «Тихота» мне уже становилось страшно. Это началось, когда я увидел, что наш коридорный, у него была кошка, которая ждала одного его, пока он придет со своей такой странной службы, иной раз она сидела во дворе и смотрела, как он колет дрова, чтобы его видели наши гости, и эта кошка, она была для коридорного все, она и спала с ним, и вот, за этой кошкой начал ходить кот, а кошка мяукала и не заявлялась домой, так вот, наш коридорный аж весь посинел, все искал ее, куда бы ни пошел, все оборачивался, не идет ли его Мила, он, то есть этот коридорный, любил разговаривать сам с собой, и если я проходил мимо, то слышал о невероятном, которое стало реальным... и вот, из его бормотания я узнал, что он сидел

в тюрьме, что топором поранил какого-то жандарма, который ходил к его пани, а пани так исхлестал веревкой, что ее пришлось отправить в больницу, за что и получил пять лет, он сидел с одним преступником с Жижкова, который послал ребенка за пивом, а тот потерял сдачу с пятидесяти крон, и вот, этот человек разозлился, положил руки своей дочурки на колоду и отрубил их, вот первый случай, когда невероятное стало реальным, и среди тех, что сидели вместе с ним, был один человек, который опять же накрыл свою пани с каким-то проезжим, и этот человек топором зарубил свою пани, вырезал у нее женское, и проезжему, под угрозой смерти опять же от топора, пришлось это женское съесть, но потом проезжий от такого ужаса умер, а убийца явился в полицию с повинной, так еще раз невероятное стало реальным, наш коридорный, он так своей пани верил, что когда увидел ее с этим жандармом, то разрубил ему топором плечо, а тот прострелил ему ногу, вот и получил наш коридорный пять лет, так невероятное стало реальным... и однажды кот осмелел и пришел к кошке нашего коридорного, и он этого кота прижал кирпичом к стене, а топором перебил ему спину, кошка начала оплакивать своего кота, но наш коридорный так крепко придавил его к зарешеченному окошку, что тот подыхал там два дня, вот с котом и вышло, как с тем жандармом, а кошку наш коридорный прогнал, она ходила вокруг, но домой вернуться боялась и потом пропала, может, он ее тоже убил, потому что он был такой нежный и впечатлительный и стал совсем чувствительным, потому и кидался с топором хоть на свою пани, хоть на кошку, потому так ужасно ревновал, что к жандарму, что к этому коту, и на суде жалел, что вместо плеча не разрубил жандарму голову вместе с каской, потому что тот жандарм был в постели его пани в каске и ремнях, и с пистолетом... и главное, наш коридорный выдумал и наговорил шефу, будто я хотел того пражского Младенца украсть, мол, у меня голова полна только одним, как бы ценой преступления побыстрее разбогатеть, вот шеф и испугался, для него что коридорный скажет, то и свято, но ведь у нас никто бы никогда ничего себе не позволил, потому что у коридорного такая силища, как у пятерых взрослых парней... и вот однажды, а потом чуть не каждый день, я застал после обеда коридорного, как он сидит в этом детском домике и что-то делает, может, играл с куклами и медвежатами... подменить Бамбино, да я бы до такого никогда не додумался, да и не хотел... так вот, однажды он мне сказал, что ему не понравится, если я еще раз пойду в детский домик, что он меня там как-то видел со Зденеком, и добавил, что тогда невероятное может стать реальным... и показал на кота, как тот с перебитой спиной прямо у моей комнатушки мучился два дня, коридорный всякий раз, когда я проходил, напоминал, показывая на мумию кота, мол, так будет с каждым, кто в его глазах согрешит, и он двумя пальцами показывал на свои глаза... За пустяк, за то, что я поиграл с его куклами, он бы меня если бы и не убил, то избил бы так, что я долго бы умирал, как тот кот, который ничего не сделал, только ходил за его кошкой... Мало того! Тут на вокзале я понял, как за полгода одурел в отеле «Тихота», пассажиры занимали места, проводники свистками давали сигнал пану дежурному по станции, они свистят, а я бегаю от одного к другому и спрашиваю: «Чего изволите?» И когда дежурный по станции дал свисток, все ли готово у проводников, закрыты ли двери и вообще, я подбежал к нему и говорю учтиво: «Чего изволите?» Поезд увозил пана Валдена, а я шагал по пражским улицам, и опять со мной приключилось такое, что, когда постовой, регулирующий движение на перекрестке, пронзительно засвистел, я с разбега поставил ему на ноги чемодан и говорю: «Чего изволите?» Вот так я шел и шел, пока не пришел в отель «Париж».

Отель «Париж» был такой красивый, что я чуть не упал. Столько зеркал, и столько латунных перил, и столько латунных ручек, и столько латунных канделябров, и до такого блеска они начищены, настоящий золотой дворец. И всюду красные дорожки и стеклянные двери, словно в замке. Пан Брандейс любезно меня принял, отвел в мою комнату, такую запасную клетушку под крышей, откуда открывался красивый вид на

Прагу, и я решил — ради этого вида и комнаты — буду стараться, чтобы остаться здесь постоянно. И вот, отпер я чемодан, чтобы повесить фрак и белье, открыл шкаф и вижу, что он полон костюмов, открываю другой, а в нем полно зонтиков, и в третьем шкафу — пальто, а на дверце изнутри на веревочках, пришпиленных большими кнопками, висели сотни галстуков... я вытащил плечики, повесил свою одежду и стал глядеть на Прагу, на пражские крыши, увидел я сверкающий Град, и только я увидел этот Град чешских королей, как брызнули у меня из глаз слезы, и я совсем забыл об отеле «Тихота» и был рад, что они поверили, будто я хотел украсть пражского Младенца, потому что если бы шеф не подумал на меня, так я бы теперь ровнял граблями дорожки и раскладывал по местам копны и все время бы боялся, что вот кто-то засвистит, только теперь я сообразил, что и у коридорного был свисток, и, конечно, этот коридорный был всевидящими глазами и запасными ногами пана шефа, он следил за нами и свистел совсем так, как шеф. Я спустился вниз, был как раз полдень, и официанты попеременно обедали, я увидел, что на обед у них клецки, вареные картофельные клецки в сухарях, и всем на кухне приносят эти клецки, шефу тоже принесли картофельные клецки, и он ел их на кухне, как и кассирши, только у шеф-повара и его помощников была к обеду картошка в мундире, мне тоже принесли клецки в сухарях, шеф посадил меня подле себя, и когда я ел, он тоже ел, но как-то так, чуть-чуть, вроде бы для рекламы, мол, если это могу есть я, хозяин, так можете есть и вы, мои служащие... вскоре он вытер салфеткой рот и повел меня в зал, на первых порах мне досталось разносить пиво, я брал у стойки полные бокалы и расставлял их по подносу, пока не будет полный, и за каждый бокал, который подавал, клал на стол красное стеклышко, как тут принято, и старый метрдотель с седыми волосами, точно у композитора, подбородком показывал, кому я должен поставить бокал, и потом стал показывать только глазами, и я ни разу не сбился, всегда шел туда, куда смотрели глаза этого красивого метрдотеля, туда я и ставил пиво, и через час я уже понял, что старый метрдотель взглядом меня погладил и дал заметить, что я ему нравлюсь, такой вот метрдотель, это была тут личность, настоящий киноактер, фрачник, я еще не видел, чтобы кому-нибудь так шел фрак, как ему, и он ходил тут, окруженный зеркалами, и наступало время, когда в отеле зажигали люстры и настольные лампы в виде свечей, и в каждой лампочке и всюду висели хрустальные кирпичики, и я увидел в зеркале, как несу светлое пльзеньское пиво, увидел, что тут и я стал каким-то другим, что благодаря этим зеркалам я перестану думать, что я некрасивый и маленький, тут мне шел фрак, и когда я встал рядом с метрдотелем, у которого были седые вьющиеся, словно из парикмахерской, волосы, то посмотрел в зеркало и понял, что ничего бы я не хотел делать другого, только вот так быть в зале и служить с этим человеком, который всегда согревал спокойствием, все знал, все замечал, советовал гостям и все время улыбался, будто был на балу или руководил домашним праздником. И еще он сразу видел, кому на каком столе еще не подали блюдо, кто хочет расплатиться, и тут же подходил, никому, как я потом убедился, никому не приходилось поднимать руку и щелкать пальцами или махать в воздухе счетом, он так странно смотрел, будто оглядывал великое множество людей или озирал со смотровой площадки местность или с какого-то парохода море, вроде бы ни на кого не глядел, и в то же время каждое движение гостя и всех гостей мгновенно ему говорило, чего бы гость хотел или чего хочет. Вскоре я подметил, что метрдотелю не нравится младший официант, он уже выговаривал ему взглядом, мол, тот перепутал блюда и вместо шестого стола подал свинину на одиннадцатый. Я уже неделю разносил пиво и сам прекрасно видел, как этот младший официант, когда несет на подносе блюда из кухни, в таком великолепном отеле, остановится перед дверями в зал и, если думает, что его никто не видит, спускает поднос с уровня глаз до уровня сердца и жадно разглядывает блюда, и всегда отщипнет кусочек того, кусочек другого, так чуть-чуть попробует, что, мол, это за блюдо, будто только пальцы помажет, только лизнет, но все же, и еще я видел, как красивый метрдотель

поймал его за этим, но ничего не сказал, только посмотрел, а младший официант махнул рукой, поднял поднос на плечо, носком открыл качающуюся дверь и вбежал в зал, вот такой он был, бежал, будто поднос у него падает вперед, так он сучил ногами, и правда, никто не отваживался носить столько тарелок, сколько этот Карел, так звали младшего официанта, двадцать тарелок он расставлял по подносу, а то поднимал руку, расставлял на ней, словно на каком-то узеньком столике, восемь тарелок, и еще две держал в пальцах, растопыренных, будто веер, и в другую руку брал три тарелки, это был почти цирковой номер, и шеф Брандейс охотно держал младшего официанта, наверно, он считал его способность носить столько тарелок украшением своего ресторана. Так вот, почти каждый день нам, персоналу, подавали к обеду картофельные клецки, один раз с маком, другой — с соусом и третий — с поджаренной булкой, иногда политые маслом и посыпанные сахаром, потом опять политые малиновым сиропом, а то с мелко порезанной петрушкой и салом, и наш шеф тоже каждый раз ел на кухне эти клецки, но всегда очень мало, говорил, что у него диета, но потом в два часа вот этот официант Карел относил ему поднос, и на нем все серебряное, и судя по крышке это всегда была гусятина или курица, утка, дичь, смотря по тому, что принято есть в это время года, и всегда блюда приносились в отдельный кабинет, будто там обедал какой-то важный чиновник или маклер с сельскохозяйственной биржи, которая после закрытия словно перемещалась в отель «Париж». Но всякий раз в этот отдельный кабинет незаметно вплывал наш шеф и выходил оттуда удоволенный, сияющий, с зубочисткой в углу рта. Так вот, у младшего официанта Карела, наверно, что-то с шефом было, потому что когда кончался самый важный день на бирже, то есть каждый четверг, и приходили биржевики, и праздновали заключенные сделки, пили шампанское и коньяки, и поднос с блюдами на каждый стол, всегда только один поднос, но какой, вот это было изобилие... и с самого утра с одиннадцати часов сидели в ресторане красивые накрашенные барышни, такие, каких я знал «У Райских», когда работал в «Златой Праге», курили и потягивали крепкие вермуты, поджидали биржевиков, и когда те появлялись, каждая уже знала свой стол, на каждую уже был заказ в шамбр сепаре, и когда я проходил, за опущенными занавесями слышался смех и позвякиванье бокалов, и так продолжалось несколько часов, только к вечеру, повеселившись вволю, расходились по домам биржевики, и красивые барышни выходили, причесывались в туалетах, подкрашивали поцелуями размазанную, стертую красочку с губ. Они заправляли блузочки, оглядывали себя сзади, чудо, что не свернули себе голову, чтобы посмотреть, хорошо ли натянуты чулочки, ровная ли стрелка, шов, тянувшийся от половины ляжек вниз до самого каблучка, прямо к середине пятки. И когда биржевики уходили, ни я и никто другой не смел войти в шамбр сепаре, хотя каждый знал, а я скоро увидел сквозь завернувшуюся занавеску, что тот самый Карел стягивает все покрывала, и это был его прибыток, подбирает выпавшие кроны и купюры, иной раз и кольцо, оторвавшийся брелок от часов, и все это было его, все, что биржевики или барышни, когда там раздевались, или одевались, или повсякому вертелись, выронили из карманов пиджаков, брюк и жилетов, или то, что у них оторвалось от цепочек. И вот, однажды в полдень вышло так, что Карел опять наставил на поднос свои двенадцать тарелок с мясными блюдами и опять остановился у дверей, выбрал кусочек вареной говядины и к ней капельку капусты, а на десерт крошечку телячьего фарша, и потом поднял поднос, будто от этих блюд у него прибавилось силы, и с улыбочкой помчался в зал, но какой-то гость, который нюхал табак или страдал насморком, был это деревенский человек, так втянул носом воздух, что это движение носом словно подняло его за волосы, и он даже вскочил, и вот, когда он так гулко чихал, то слегка задел край подноса, а Карел, который, подавшись вперед, подбегал со своим нагруженным тарелками подносом, летевшим в воздухе, будто какой-то ковер-самолет, Карел всегда так носил блюда, будто они парили в воздухе, так вот, то ли поднос получил от толчка ускорение, то ли кареловы ноги выказали опоздание, может, он

поскользнулся, но этот поднос поехал вперед по повернутой к небу ладони, и тщетно пальцы подхватывали его, мы все, кто был в этом зале, и шеф, который принимал тут членов гильдии владельцев отелей, сам пан Шроубек сидел за почетным столом и все видел, и то, что случилось потом, и что мы все предугадали... Карел сделал отчаянный прыжок, еще подхватил поднос, но две тарелки поехали, и прежде всего куски гарнира а-ля Пузата, и потом соус, и, наконец, сама тарелка, соус и мясо, и потом кнедлики — все это падало и упало на гостя, который перечитывал, как обычно, меню, чтобы, выбрав, поднять глаза, заказывать и долго допытываться, не будет ли мясо жестким, и будет ли соус горячим, и будет ли кнедлик воздушным, и все стекало и падало на спину этому гостю, и когда он поднялся, кнедлики с соусом съехали к нему на колени и потом под скатерть, один кнедлик уселся у него на голове, будто шапочка, будто ермолка, которую носят раввины, квадратик теста на величественном господине... И Карел, который удержал остальные десять блюд, когда это увидел и увидел пана Шроубека, владельца отеля «У Шроубека», поднял еще выше злосчастный поднос, подбросил его, повернулся и швырнул на ковер все десять тарелок, так он показывал, будто в пантомиме или в театре, как испортили дело всего лишь две тарелки, и вот, он развязал фартук и, размахивая им, разъяренный ушел, потом переоделся в обычный костюм и отправился куда-то надраться. Я еще не понимал, но каждый, кто был в этом зале, каждый говорил, что раз уж так вышло с двумя тарелками, то обязательно так же получилось бы и с теми десятью, потому что у младшего официанта, у любого официанта, честь в зале только одна, и она входит в правила достойного обслуживания. Но на этом дело еще не кончилось. Пан Карел вернулся и, сверкая глазами, уселся в кухне лицом к обедавшим гостям, и ни с того ни с сего выскочил в зал, хотел опрокинуть на себя большой буфет, в котором стояли бокалы и рюмки для всего ресторана, кассирши и повара подскочили, и этот буфет, из которого со звоном сыпались рюмки и пылью разлетались по земле, так вот, они снова толкали этот буфет на место, но у пана Карела от тех двух тарелок появилась такая сила, что понемножку, в три приема, он почти опрокинул буфет, а повара, уже все красные, опять понемножку, в три приема, водворили этот шкаф на место, и вот, вроде все вздохнули с облегчением, как вдруг пан Карел подскочил, схватил ресторанную плиту, такую длинную, что если подложить дрова к самой дверце, так под конфорками огня бы уже не было, и вот, обнял эту плиту и так рванул, что вырвал трубу, и кухня в момент наполнилась дымом и копотью, и все чихали, и еле-еле вставили эту трубу, и совершенно измазанные повара плюхнулись на стулья, и смотрели, где пан Карел? А он ушел, и только мы вздохнули, вдруг раздался грохот, это пан Карел на чердаке продавил стеклянный пол в вентиляционной шахте над плитой и провалился вниз до самой кухни, одной ногой по штанину он угодил в суп с потрохами, специально приготовленный как дежурное блюдо, а другой стоял в кастрюле с гуляшом, приправленным грибным соусом... так он там и шлепал ногами, и повара отступились, и всюду были осколки, и тогда побежали за коридорным, бывшим борцом, чтобы он, используя насилие, вывел пана Карела, вдруг тот что-то затаил против отеля «Париж»... и коридорный расставил ноги, раздвинул лапищи, будто держал на них мотки шерсти для перемотки, и сказал, где эта сука? Но пан Карел кулаком так поддал ему, что тот рухнул, и пришлось звать полицию, а пан Карел уже утихомирился, но на лестнице двинул двум полицейским и пнул ногой в шлем, а этот шлем был на голове у полицейского, так они втащили пана Карела в шамбр сепаре, и там ему всыпали, после каждого крика у всех гостей ресторана вздрагивали плечи, и наконец вывели пана Карела на улицу в синяках, а он сказал гардеробщице, мол, эти две тарелки еще дорого будут стоить... да, так оно и вышло, когда решили, что он угомонился, ни с того ни с сего он разбил фарфоровый умывальник и вырвал из стены трубу, и все, кто там был, и полицейские, все было залито водой и забрызгано, прежде чем удалось заткнуть пальцами эту дыру.

И вот, я стал официантом, школил меня пан метрдотель Скршиванек,

в зале работали еще два официанта, но только я мог стоять, опершись спиной на служебный стол в нише, когда после обеда мы чувствовали себя чуть посвободнее. И пан Скршиванек говорил, что из меня получится хороший метрдотель, но я должен воспитывать в себе такую способность, чтобы, как гость войдет, я сразу его запомнил и знал, когда он уйдет, после обеда, когда уже работает гардероб, или до обеда, когда подают завтрак в кофейной, чтобы я научился распознавать, кто хочет поесть и незаметно смыться, не заплатив, еще, чтобы я умел отгадывать, сколько у гостя с собой денег, сколько он мог бы в зависимости от этого потратить или сколько он должен бы потратить. Все это азы для хорошего метрдотеля. И вот, в свободные минутки пан Скршиванек тихонько нацеливал меня, кто из гостей только пришел и кто как раз уходит. Несколько недель он так меня тренировал, и я уже отваживался определять тип гостя. Я теперь радовался, когда приходило послеобеденное время, будто на какой-то экскурсии с приключениями, так я бывал взволнован, точно охотники в засаде, поджидающие зверя, и пан Скршиванек курил, полузакрыв глаза, и спокойно кивал или качал головой и поправлял меня, и сам подходил к гостю, чтобы доказать, что он прав, и действительно он всегда был прав. Вправду был прав. И тогда я впервые узнал, когда задал своему пану учителю вопрос, как это он во всех случаях бывает прав: «Почему это вы все так знаете?» Он ответил, выпрямившись: «Потому что я обслуживал английского короля». «Короля,— всплеснул я руками,— пана короля, вы обслуживали... английского короля?» И он спокойно кивнул. Так мы вступили во второй период, который приводил меня в восхищение, это было что-то вроде лотереи, где есть и номер и серия, когда вы ждете, выпадет ли на ваш билет выигрыш, или вроде вещевой лотереи на карнавале, или на общественном празднике. После обеда, когда входил какой-нибудь посетитель, пан метрдотель кивал мне, мы отходили к нише, и я говорил: «Это итальянец». Он качал головой и говорил: «Это югослав из Сплита или Дубровника», с минуту мы глядели в глаза друг другу, потом кивали, и я клал двадцать крон, и пан Скршиванек тоже, на поднос в нише. Я подходил и спрашивал, чего гость желает, и когда я принимал заказ, я еще только возвращался, а пан метрдотель уже знал по моему лицу, и заграбастывал обе двадцатикроновые купюры, и вкладывал в свой огромный бумажник, из-за которого у него карман в брюках был обшит той же кожей, из какой сделан бумажник, и я удивлялся: «Как это вы, пан метрдотель, угадываете?» И он скромно говорил: «Я обслуживал английского короля». Так мы делали ставки, и я всегда проигрывал, но пан Скршиванек опять меня учил, что если я хочу быть хорошим метрдотелем, так должен не только распознавать национальность, но и что гость скорей всего закажет. И когда гость спускался по лестнице в ресторан, мы кивали друг другу и шли к нише, и там каждый клал на служебный столик по двадцать крон, и я говорил, что посетитель закажет суп-гуляш или суп с потрохами, и пан метрдотель говорил, что гость выберет чай и поджаренный хлеб без чеснока, и вот, я шел принимать заказ, когда я, пожелав доброго утра, спрашивал, чего гость желает, он и вправду заказывал чай с тостом, и пока я шагал назад, мой учитель уже брал обе купюры и говорил, что я должен сразу же угадывать человека, у которого желчный пузырь не в порядке, едва взглянув на него, а у этого гостя, наверно, и печенка больная... иной раз я считал, что гость возьмет хлеб с маслом и чай, а пан метрдотель утверждал, что он закажет пражскую ветчину с огурцом и пльзеньского пива, и действительно только я приму заказ, только обернусь, а пан Скршиванек едва глянет, как я иду, едва глянет, сразу поднимает окошко и кричит в кухню, пражскую ветчину, и когда подойду, так добавит... и с огурцом! До чего ж я бывал счастлив, что могу так учиться, хотя я и терял все чаевые, потому что мы, когда могли, всегда ставили двадцать крон на спор, и всегда я проигрывал, и всегда спрашивал, как это вы, пан метрдотель, так все знаете? И он вкладывал две купюры по двадцать крон в бумажник и говорил, я обслуживал английского короля. И вот, после Карела к биржевикам приставили меня, а еще раньше в отеле «Тихота»

я познакомился с метрдотелем Зденеком, с тем, который любил ночью разбудить деревню и растратить все деньги, будто какой-то разорившийся аристократ, а теперь я вспоминал метрдотеля из ресторана «Злата Прага», и как неожиданно он открылся мне, звали его Малек, и был он ужас какой бережливый, никто не знал, куда он девает деньги, и каждый знал, что они у него есть, что их, должно быть, много, что, конечно же, он собирает на маленькую гостиницу, и когда перестанет быть метрдотелем, так эту гостиницу где-нибудь в Чешском Рае купит или возьмет в аренду. Но все оказалось совсем не так, однажды он поделился со мной, как-то на свадьбе мы перепили, и он размяк и рассказал, а потом и показал деньги, так вот, восемнадцать лет назад жена послала его к подруге с поручением, там он позвонил, ему открыли, и в дверях стояла красивая женщина, она покраснела, он тоже, так и стояли они в дверях, потрясенные, она держала в руках вышивание, и вот, он вошел, ничего не сказал, только обнял ее, и она продолжала вышивать, и потом соскользнула на канапе, и продолжала вышивать за его спиной, и он овладел ею как мужчина, так он сказал мне, и с той поры он влюбился и собирает деньги, за эти восемнадцать лет у него набралось уже сто тысяч, чтобы за все заплатить и обеспечить свою семью, жену и детей, на будущий год у них будет домик, и потом он пойдет, уже седой, со своей седой красавицей за своим счастьем... он рассказал мне и потом отпер письменный стол, там у него в ящике двойное дно, где сложены эти сотенные, все, чтоб он мог выкупить свое счастье... я на него глядел и никогда бы не сказал, что он такой, смотрел я на его ботинки, на вытянутые на коленях штанины, он носил давнишние кальсоны до самого низу, над щиколоткой завязанные белой тесемкой, пришитой к шву, и эти кальсоны будто пришли из моего детства, когда я жил у бабушки на городской мельнице и когда проезжие выбрасывали из писсуара Карловых бань белье... такие же кальсоны, как те, что раскидывали ноги и оставались стоять на минуту в воздухе... вот и все мои метрдотели, у каждого что-то свое, и этого Малека из отеля «Злата Прага» однажды я вспомнил, стоя рядом с паном Скршиванеком из ресторана «Париж», и этот Малек показался мне словно святой, словно он тот художник и поэт Йодл, который продавал «Жизнь Иисуса Христа» и снимал, и надевал пальто или плащ, и все время был обсыпан порошками, и рот у него был окаймлен желтой красочкой, потому что он пил этот свой «неурастенин»... что-то получится из меня?

И вот, теперь каждый четверг биржевиков обслуживал я, Карел больше не пришел. Как все богатые люди, эти биржевики были игривые и веселые, словно щенятки, и если им повезло с какой-то торговой сделкой, они умели тратить и раздавать деньги, как мясники, когда выигрывали в ферблан [1]. Но мясники, когда играли в ферблан, у них выходило так, что они возвращались домой, случалось, и через три дня, без брички, без лошадей, без скота, который ездили покупать, все проигрывали в этот ферблан и возвращались домой лишь с кнутом. Вот и эти биржевики подчас проигрывали и тоже теряли все, сидели в шамбр сепаре и глядели на мир, как Иеремия на горящий Иерусалим, и напоследок еще кутили, хотя платил тот, кто на бирже выиграл, кому выпало счастье. А я постепенно завоевывал доверие барышень, которые сидели в кофейной и ждали, пока закроется биржа, чтобы потом нарядными спуститься вниз, в шамбр сепаре, в одиннадцать утра или ближе к вечеру, когда уже стемнело, глубокая ночь или рассвет, все одно, с утра в отеле «Париж» горел свет, весь отель сиял, будто люстра, которую забыли погасить. Больше всего я любил шамбр сепаре, которую барышни называли павильоном визитов или отделением терапии. Если биржевики, которые еще в силе, старались поскорее барышень напоить, чтобы постепенно стягивать с них блузочки и юбки, а потом до полного изнеможения валяться с ними в чем мать родила на обтянутых шелком кушетках и креслах, от этих удовольствий в непривычных положениях

[1] Ферблан — карточная игра.

некоторые выглядели так, будто после любви их хватил сердечный удар, то в отделении терапии, или в так называемом павильоне визитов, все время бывало весело. Девушки, которым выпадала задача реанимировать гостя, относились к ней всегда добросовестно, потому что тут, как я видел, платили больше всего, пожилые биржевики то и дело смеялись и шутили, они воспринимали раздевание барышень точно какую-то общую игру в фанты, медленно, не переставая потягивать и принюхиваться к хрустальным бокалам с шампанским, они раздевали барышню прямо на столе, куда она забиралась сама, и подле ее тела стояли рюмки и блюда с икрой и салатами, и венгерской салями, они надевали очки и разглядывали каждый изгиб красивого женского тела, и просили, будто на демонстрации одежды или в студии какой-нибудь академии художеств, чтобы девушка села, выпрямилась, встала на колени, спустила ногу со стола, подрыгала босыми ножками, будто моет их в ручье, и никогда пожилые биржевики не ссорились из-за того, какой член к ним повернут, какая часть тела ближе, каждый с большим восторгом, похожим на восторг художника, который переносит все, что его волнует, на полотно, так и эти старики с таким восторгом рассматривали вблизи и через очки то согнутый локоть, то поднятые и рассыпавшиеся пряди волос, то щиколотку, потом снова живот, другой в который раз приоткрывал красивые половинки задницы и с детским удивлением смотрел на то, что в этот момент видел, третий вскрикивал от восхищения и поднимал глаза к потолку, точно самому Богу выражал благодарность за то, что может смотреть на раскинутые ноги барышни и касаться пальцами или губами того, что ему понравилось всего больше... так вся шамбр сепаре искрилась не только от яркого света, лившегося с потолка из воронки пергаментного абажура, но и от движения бокалов и, главное, от искр, летевших от четырех пар линз в очках, которые двигались, как рыбки вуалехвостки в освещенном аквариуме. И вот, когда биржевики насыщались зрелищами, визит заканчивался, они наливали барышне шампанское, она сидела на столе и пила за их здоровье, они называли ее по имени, и она брала со стола что хотела, и пожилые господа галантно шутили, тогда как в остальных шамбр сепаре то звенел веселый смех, то наступала тишина, сколько раз я подумывал, не вмешаться ли мне, не лежит ли там труп или умирающий биржевик... И потом эти старики опять одевали барышню, будто фильм перематывали от конца к началу, как они ее раздевали, так и одевали, никакого равнодушия, которое всегда приходит потом, никакого безразличия, но все время та же галантность, как в начале, так и в конце... и когда они расплачивались, платил всегда кто-то один, они давали на чай метрдотелю, и я получал всякий раз сто крон, они уходили просветленные, удовлетворенные, наполненные красивым зрелищем, которого им хватало на неделю, уже с понедельника они предвкушали, как в четверг проведут сеанс, но уже с другой барышней, потому что гости никогда не приглашали одну и ту же, но всякий раз новую, наверно, чтобы приобрести репутацию в мире пражских проституток. Но всегда та барышня, которую они посещали, не уходила из шамбр сепаре... ждала... и когда я убирал со стола, и когда уносил последний прибор, я уже знал, что последует дальше, что тут давно заведено, девушка смотрела на меня так жадно, будто я какой-то киноактер, визит так волновал ее, она так тяжело дышала, что не могла встать и уйти, и вот, это случилось в первый раз, и потом каждый четверг мне приходилось завершать то, что старики начинали, всегда и все эти барышни с такой страстью на меня кидались, с таким жаром они отдавались, будто первый раз... и в те минуты я казался им красивым, высоким и кудрявым, а у меня было, нет, не впечатление, не чувство, а уверенность, что я король этих красивых барышень... но всего лишь потому, что после такого жадного изучения их тела глазами, руками и языком не могли эти барышни после такого разглядывания уйти, и только, когда я чувствовал, что и раз, и два они достигли вершины, они снова оживали, в глаза возвращался покой, застилавшая их пелена исчезала, темнота, напущенная на них, расступалась, они снова смотрели нормально, и я снова превращался в коротышку официанта, который, заменяя кого-то

красивого и сильного, совершал то, чего от него желали, и я делал это каждый четверг, и чем дальше, тем с большим желанием и сноровкой, то же было и с уволенным официантом, Карелом, который обслуживал их передо мной, у него к этому были склонность и способность, и любовь, но и у меня тоже... И наверно, я был и сам по себе хороший, потому что все барышни здоровались первыми, когда встречались со мной в ресторане или на улице, уже издали кланялись, уже издали, если меня видели, махали платочком или сумочкой, а если не было в руках ничего, так хотя бы дружески помахивали ручкой... и я им кланялся или широким движением шляпы почтительно отпускал поклоны и потом выпрямлялся и задирал подбородок, чтобы чувствовать себя чуть выше на двойных подошвах, хоть на пару сантиметров выше... И вот, я возомнил о себе больше, чем того стоил. По выходным дням начал форсить, влюбился в галстуки, галстук такая вещь, сначала он делает костюм, а потом костюм делает человека, и я покупал галстуки, такие, как я видел, носят наши гости, но и этого мне показалось мало, все время я вспоминал и, вспоминая, открывал тот шкаф с вещами и одеждой, которую забывали в отеле наши гости, и там я видел галстуки, каких не видывал нигде и никогда, к каждому на тонкой ниточке была прикреплена записка, и один галстук забыл тут Альфред Карниол, крупный торговец из Дамаска, другой — Саламон Пиговаты, опять же генеральный представитель фирмы из Лос-Анджелеса, третий — Йонатан Шаплинер, владелец прачечных из Львова, и четвертый и пятый, целые дюжины галстуков, и я мечтал только об одном, завязать когда-нибудь такой галстук, и вот, я не мог думать ни о чем другом, кроме как о галстуках, на выбор у меня было три, один голубой, будто из металла, другой темно-красный из той же ткани, что и голубой, блестящий, как чешуйки редкостных жуков или крылья бабочек, ах, чуть расстегнутый летний пиджак, рука в кармане, и от шеи до пояса чтобы выглядывал такой удивительный галстук, когда я примерил его перед зеркалом, у меня перехватило дыхание... я глядел и видел, как иду по Вацлавской площади и по Национальному проспекту, и вдруг обмер, мне навстречу шагал я, и я заметил, что и остальные прохожие, особенно элегантно одетые, как они дергаются и обмирают оттого, что на мне красивый галстук, какого они не видели нигде никогда и ни на ком, а я небрежно иду в расстегнутом пиджаке, чтоб все, кто понимает, завидовали моему галстуку... и вот, я стоял перед зеркалом в мансарде отеля «Париж» и медленно развязывал свой сияющий красно-бордовый галстук, и потом засмотрелся на один галстук, которого раньше не замечал, и этот галстук, это был такой мой галстук! Белый, из шероховатой дорогой ткани и усеян голубыми крапинками, светло-голубыми, как незабудки, и крапинки на нем вытканы, но казались наклеенными, они искрились, точно окалина, и на ниточке висела записка, я ее взял и прочел, что этот галстук забыл князь Гогенлоэ, я завязал его и посмотрел на себя в зеркало, я стал таким красивым от этого галстука, что у меня возникло впечатление, будто из него перетекла в меня капелька аромата князя Гогенлоэ, тогда я чуть-чуть припудрил нос и бритый подбородок, вышел на улицу к Представительскому дому и зашагал по Першикопу, я разглядывал себя в витринах магазинов, и вправду я оказался ясновидцем, как я видел себя в зеркале в мансарде, так оно и вышло, ах, что там деньги, они есть почти у каждого, на ком особенные галстуки, и сшитые на заказ костюмы, и замшевые штиблеты, и кто, словно лорд, несет зонтик, но такого галстука, как у меня, не было ни у кого, и вот, я вошел в магазин мужского белья, и едва вошел, сразу же стал центром внимания, вернее, центром стал галстук, но ведь и я сумел его завязать, значит, центром интереса стал я, я просмотрел несколько штук муслиновых сорочек и потом для шика попросил, чтобы мне показали белые платочки, и попросил продавщицу, чтобы она взяла из дюжины один и вложила мне в кармашек пиджака так, как теперь носят, и она засмеялась, и сказала, вы шутите, вы, который умеет так красиво завязать галстук... она взяла платок, теперь я наконец понял, а раньше никогда мне не удавалось, подхватила его и положила на стол, взялась за середину тремя пальчиками, будто брала из

солонки соль, легко подняла, взмахнула, и образовались красивые фалды, она сжала эти складки другой рукой, завернула, вытащила розочку, которая была в карманчике, и всунула туда платочек, я поблагодарил ее, заплатил и получил два свертка с красивой рубашкой и пятью платками, перевязанные золотой тесемкой, еще я зашел в магазин тканей для мужчин, и там мой белый галстук с голубыми крапинками и белый платок, высовывавшийся белым уголком и ушками, острыми, как кончики свернувшихся листьев липы, притянули глаза не только продавщиц, но и двух элегантных мужчин, которые, как увидели меня, даже закачались, окаменели, с минуту продолжалось их оцепенение, пока не вернулось к ним утраченное доверие к своему галстуку и платочку... потом я выбирал материал на костюм, на который у меня не было с собой денег, и остановился на эстергази, английская ткань, которую я попросил, чтоб вынесли на улицу, чтобы посмотреть, как она выглядит на солнце, и они сразу же признали во мне клиента, понимающего в тканях, помощник продавца вынес весь рулон и завернул уголок, чтоб я мог досыта навоображать, как будет выглядеть мой будущий костюм на городских улицах, я поблагодарил и расстроился, но помощник продавца успокоил меня, мол, такой заказчик, как я, правильно рассудит и не будет мешкать, и купит, и завтра тоже будет день, а этот материал я могу купить хоть когда, но фирма «Генрих Писко» вполне спокойна, потому что такая ткань в Праге есть только у нее. И вот, я поблагодарил и вышел, перешел на другую сторону улицы, все происшедшее меня так потрясло, я даже голову наклонил чуть набок, поднял брови, чтоб на лбу получились благородные морщины, словно я в задумчивости, и потом случилось такое, что утвердило меня в мысли, будто с этим галстуком я отчасти изменился, потому что барышня Вера из шамбр сепаре, та, которая в последний четверг развлекала биржевиков в павильоне визитов, которая знала меня и по кофейной, так вот, она увидела меня, и я заметил, как она хотела помахать мне дружески сумочкой с белыми перчатками, которые держала вместе с ремешком сумочки, но вдруг передумала, будто обозналась, она не узнала того, кто должен был предложить ей себя, чтобы, взволнованная пожилыми панами, она вообще могла уйти из нашего отеля домой... но я не подал вида, что это я, а не кто-то другой, она еще раз обернулась и пошла дальше, убежденная, что ошиблась... и все этот платочек и этот белый галстук, но у Прашны браны, куда я опять вернулся, чтобы уже увереннее снова пройтись по Пршикопу, и вот, когда я уже чувствовал себя победителем, навстречу мне в белой шапке своих старых волос шел мой метрдотель, пан Скршиванек, он шагал не глядя на меня, но я знал, он видит меня, он прошел мимо, а я остановился, будто он меня остановил, и смотрел вслед пану Скршиванеку, и тогда он замедлил шаги, обернулся и подошел ко мне, посмотрел в глаза, и я почувствовал, он видит только этот галстук, он видит, как этот белый галстук разгуливает по Пршикопу, ничего, кроме гуляющего белого галстука... и пан метрдотель, который все знал, глядел на меня, потому что понял, откуда этот галстук, он знал, что я его взял без разрешения... Он глядел на меня, и я мысленно спросил, как это вы, пан метрдотель, все так знаете? А он усмехнулся и ответил вслух: «Откуда я знаю? Ведь я обслуживал английского короля», и он зашагал по Пршикопу дальше. И хотя светило солнце, но будто бы потемнело, точно я был разгоравшейся лампой, а пан метрдотель вытащил из меня фитиль, точно я был надутой шиной, а пан Скршиванек вытащил из меня ниппель, я шел и чувствовал, как выходит из меня воздух, как не падает больше от меня на дорогу свет, и сам я уже ничего не вижу, мне казалось, что и этот галстук, и мой платочек обвисли, будто я пробежался под дождем.

Мне выпало счастье, что самое торжественное событие и честь, какой из всей отелей и ресторанов может удостоиться только один и однажды, досталась отелю «Париж». Выяснилось, что делегация, которая приехала в Прагу с так называемым официальным визитом, имела слабость к золоту, а в Граде у президента золотых приборов не было. Главный камердинер президента и сам пан канцлер узнавали, не удастся ли у кого из частных лиц взять напрокат золотые приборы, не дал бы их на время князь Шварценберк

или Лобкович. Но оказалось, что у этих аристократов приборы есть, но не столько, и потом на них монограммы и на ручках вырезаны гербы эрцгерцогских ветвей, к которым принадлежали их семьи. Единственный, кто мог бы одолжить пану президенту золотые приборы, был князь Турн-Таксис, но ему пришлось бы посылать за ними в Регенсбург, куда их отвезли в прошлом году на свадьбу одного из членов этого богатого рода, которому в Регенсбурге принадлежали не только отели, не только улицы, но и целые кварталы, и даже банки. И вот, когда все варианты отпали, сам пан канцлер приехал к нам, он уходил от шефа ужас какой злой, и это было хорошим признаком, потому что все не то что бы знал, но наперед рассчитал пан Скршиванек, тот, который обслуживал английского короля, по лицу пана канцлера, потом и по лицу пана Брандейса, которому принадлежал отель «Париж», он прочитал, что шеф отказывается дать напрокат свои золотые приборы, разве что прием будет устроен тут у нас, только тогда он вынет из сейфа золотые ножи и вилки, ложки и ложечки. Так я проведал и чуть не упал, что в нашем отеле есть золотые приборы на триста двадцать пять человек... да, так оно и вышло, в Граде решили, что для редкого гостя из Африки и его свиты будет дан торжественный обед тут у нас. И во всем отеле началась уборка, появились женщины с ведрами и тряпками и мыли не только полы, но и стены, и потолки, и все люстры, и отель искрился и светился, и наконец наступил тот день, когда эфиопский император со свитой должен был приехать и поселиться у нас, целый день на грузовой машине скупали в пражских садоводствах розы и орхидеи, но в последнюю минуту приехал пан канцлер Града и сказал, что император у нас жить не будет, но пан канцлер подтвердил намеченный торжественный обед, а шефу было все одно, потому что расходы, которые он сделал на пребывание императора, и уборку тоже, он включил в счет, и вот, теперь мы готовились к торжественному обеду на триста человек, пришлось одолжить метрдотелей и официантов из отеля «Штайнер», закрыл на этот день свой отель пан Шроубек и тоже прислал к нам своих официантов, а из Града пришли детективы, те, которые везли со мной «Бамбино ди Прага», и принесли с собой три поварские формы и два фрака, как у официантов, и сразу же переоделись, чтоб потренироваться и принюхаться к кухне, чтобы вдруг кто не отравил императора, детективы-официанты облазили все ресторанные залы и закоулки, искали, откуда легче охранять императора, а когда шеф-повар с канцлером и паном Брандейсом составляли меню на триста гостей, они работали целых шесть часов, придумывая блюда, и пан Брандейс велел привезти и загрузить в холодильники пятьдесят телячьих окороков, шесть говяжьих туш, трех жеребят на бифштексы и одного мерина для соусов, шестьдесят поросят не более шестидесяти килограммов весом, десять молочных поросят, триста цыплят, не считая серны и двух оленей, впервые я спустился с паном Скршиванеком в наши погреба, и кладовщик под контролем метрдотеля пересчитал запасы вин и коньяков, и другого алкоголя... я так и ахнул, как заставлен погреб, будто здесь какая-то фирма оптовой торговли вином и водками, впервые я увидел целую стену с торчавшими бутылками «Хайнкель троккен» и шипучих шампанских «Вдова Клико» и «Вайнгард» из Кобленца, целые стены коньяков «Мартель» и «Хенесси», сотни бутылок всевозможных сортов шотландского виски, еще я увидел дорогие вина мозельские и рейнские, и наши, и бженецкие из Моравии, и чешские из Мельника и Жерношки, и пан Скршиванек, когда переходил из подвала в подвал, всегда гладил горлышки бутылок, так нежно их гладил, будто какой алкоголик, хотя сам, в сущности, спиртного в рот не брал, я ни разу не видел, чтобы пан Скршиванек пил, и только здесь в погребах до меня дошло, что я не видел, чтобы метрдотель Скршиванек присел, он всегда стоял, стоял и покуривал, и в этом подвале он глянул на меня и прочел по моему лицу, о чем я думаю, потому что ни с того ни с сего сказал: «Помни, если хочешь быть хорошим метрдотелем, ты не имеешь права присесть, потому что потом ноги так разболятся, что смена станет адом». И вот, заведующий погребами погасил за нами свет, мы вышли из подвала, но в тот же день пришло известие, что эфиопский император

привез с собой собственных поваров, именно потому что у нас есть золотые приборы, которые в Эфиопии есть у него, именно у нас его повара будут готовить специальные эфиопские блюда... И за день до торжественного обеда приехали эти повара с переводчиком, у них была черная сияющая кожа, и они все время мерзли, а нашим поварам пришлось им помогать, но шеф-повар развязал фартук и ушел на весь день, он заупрямился и обиделся, тем временем повара из Эфиопии принялись варить вкрутую яйца сотнями, без конца смеялись и скалили зубы, потом привезли двадцать индюшек и начали запекать их в наших духовках, а в больших блюдах готовили какие-то фарши, для которых потребовали тридцать корзин булок, и бросали полные горсти кореньев и петрушки, которую привезли на повозке, наши повара ее нарезали, и всем было интересно, что будут делать эти черные парни, и так вышло, что им захотелось пить, и мы им носили пльзеньское пиво, они наслаждались и давали нам за это попробовать их ликер, настоянный на каких-то травах и ужас какой пьяный, он пах горьким и душистым перцем, но потом мы испугались, потому что они велели привезти двух антилоп, которые у нас уже истреблены, но их тут же принесли, купили в зоологическом саду, и в самой большой сковороде, какая у нас нашлась, этих антилоп жарили, эфиопские повара бросали в них целые кубы масла и сыпали из мешочка свои коренья, нам пришлось открыть все окна, такой стоял дух, потом они вшихивали в этих антилоп полузажаренных индюков и фарш, а свободное место заполняли сотнями крутых яиц, и все это одновременно жарили, но потом отель чуть не рухнул, сам шеф перепугался, потому что такого даже он не ожидал, эфиопские повара привезли и поставили перед отелем живого верблюда, они хотели его забить, а мы все перепугались, и переводчик упросил пана Брандейса, и вот, появились журналисты, и наш отель стал центром внимания печати, потом верблюда связали, он так ясно, отчетливо мычал не-е, не-е, будто просил, чтоб его не резали, но один повар зарезал его мясницким ножом, и весь двор утонул в крови, но верблюда уже подняли подъемником за ноги и ножом продирались к его потрохам, вынули из него кости, и у антилоп тоже, потом привезли целых три воза дров, и шефу пришлось пригласить пожарников, те с насосами наготове смотрели, как быстро эти повара развели огонь, огромный костер, будто для выжигания угля, на этом костре, когда огонь спал и остались угли, они крутили на треноге вертел и запекали верблюда целиком, а когда он был почти готов, вложили в него двух антилоп, начиненных индейками, в которых был фарш и еще рыба, а свободное место заполняли вареными яйцами, эти повара все время сыпали свои коренья и пили пиво, как возчики на пивоварне, которые зимой, чтоб согреться, пьют холодное пиво, потому что эфиопские повара и у этого костра все время зябли. И когда уже были сервированы столы на триста гостей, и машины начали их привозить, и швейцар открывал дверцы лимузинов, так эти черные повара, эти эфиопы, успели не только зажарить во дворе поросят и баранов, но еще и сварить в котлах суп из такого количества мяса, что шеф не пожалел, что купил столько припасов... и вот, приехал сам Хайле Селассие в сопровождении председателя совета министров, и все наши генералы, и все шишки эфиопских войск, и все увешанные орденами, но нас всех покорил император, он приехал без орденов, просто в белой униформе, налегке, а члены его правительства или какие-то вожди его племен, те были в пестрых накидках, некоторые с огромными мечами, но когда они расселись, сразу стало видно, что вести себя они умеют, так они естественно держались, во всех залах отеля «Париж» стояли накрытые столы, и у каждой тарелки искрились золотые приборы, наборы вилок, и ножей, и ложек, потом председатель совета министров сердечно приветствовал императора, Хайле ответил, точно пролаял, и переводчик сказал, что эфиопский император приглашает гостей откушать эфиопский обед, и один гость, будто вставленный в картон, толстая фигура, обернутая десятью метрами сукна, зааплодировал, и мы разносили закуски, которые эфиопские повара приготовили в нашей кухне, холодную телятину с черным соусом, я лишь облизал палец с каплей этой патоки и сразу начал чихать,

такой был сильный экстракт, и впервые я увидел, как гости, когда им подали элегантные тарелки, как они подняли наши золотые вилки, триста золотых вилок и ножей засверкали в залах ресторана... и метрдотель дал знак наливать в рюмки белое мозельское вино, и тут настала моя минута, потому что, как я заметил, забыли налить вина самому императору, взял я бутылку в салфетку и, не знаю, что на меня напало, когда я подошел к императору, опустился на одно колено, как служка в церкви, и поклонился, а когда встал, все на меня глядели, император мне на лоб, вернее в лоб, втиснул крест, так он меня благословил, и я налил ему вина... а за мной стоял метрдотель из ресторана Шроубека, который забыл налить императору вина, и я помертвел, что я натворил, стал искать глазами пана Скршиванека и увидел, что он кивнул, что он доволен, что я такой внимательный... я отставил бутылку и смотрел, как император ест, лишь так, немножко, чуть помочит в соусе кусочек холодного мяса и будто только пробует, кивнет и медленно жует, делает вилкой знак, мол, хватит... он отпил глоток вина и долго вытирал усы салфеткой... и потом разносили тот суп, что варили во дворе, и опять эти эфиопские повара были так проворны, наверно, потому, что все время мерзли и пили пиво, мы едва поспевали подставлять чашки для супа, так быстро они наливали, один половник за другим, даже детективы, переодетые в поваров, удивлялись, и еще, а то мог бы забыть, эти тайные агенты дали себя сфотографировать на память с эфиопскими поварами, а в это время во дворе наши повара поворачивали над рыжими углями фаршированного верблюда, смазывали его помазком, сделанным из пучка мяты, который макали в пиво, так придумали эфиопские повара, наш шеф-повар, когда пришел и увидел этот помазок, обрадовался и сказал, мол, эфиопским поварам за это надо дать орден Марии Терезии, и после этого блюда спало с души у всех поваров, и подсобниц, и метрдотелей, и младших официантов, и официантов, потому что эфиопы со всем справились, хотя все время и вливали в себя пиво... а я был отмечен самим императором, как сказал переводчик, меня выбрали, чтоб и дальше подавать блюда и напитки императору, и я всякий раз во фраке опускался на одно колено и потом подавал, опять отходил в сторону и внимательно смотрел, чтобы вовремя по знаку подлить вина или забрать тарелку, но император ел так мало, главный дегустатор понюхает блюдо и кивнет, и только тогда император чуть помажет губы, капельку съест, пригубит вино и продолжает разговаривать с председателем совета министров, а гости, чем дальше они сидели от императора, тем больше отличались по поведению и чинам от того, кто давал этот обед, они ели и пили, и чем дальше от императора, тем обжористее и жаднее, и уж там за столами в самом конце, в нишах или в соседних залах, там ели так, будто их все время мучил голод, там ели даже булки, и один гость пожевал и съел цветы цикламена из трех горшков, посыпав их солью и перцем... детективы стояли по сторонам и в углах помещений, во фраках, будто официанты, и смотрели, чтоб никто не украл золотой прибор... и вот, наступил он, этот момент, эфиопские повара точили длинные сабли, такие длинные ножи, как у мясников, потом два эфиопа подняли вертел на плечи, третий протер пучком мяты наперченный живот верблюда, и они вошли в ресторан, прошли через зал к служебному столу, император поднялся и рукой показал на жареного верблюда, а переводчик переводил, что это специальное африканское и арабское блюдо... небольшой знак внимания со стороны эфиопского императора... подсобники принесли в центр зала два стола, две доски, на которых разделывают поросят во время праздников свежей свинины, сдвинули их и двумя плотничьими скобами сбили... и на этот огромный стол положили верблюда, принесли ножи и длинными лезвиями разрезали его пополам, а две половины еще пополам, и острый запах разлился по залу, и обязательно в каждом отрезанном куске верблюда была антилопа, а в ней индюшка, а в индюшке рыбы, и фарш, и запекшиеся венки вареных яиц... официанты подставляли тарелки и потом подавали, начиная с императора, поочередно всем гостям этого жареного верблюда,

я опустился на колено, император дал глазами знак, и я подал ему их национальное кушанье... должно быть, замечательное, потому что все гости затихли, слышалось только звяканье наших золотых вилок и ножей, таких красивых на вид... и потом случилось такое, чего еще ни при мне, наверно, и при пане Скршиванеке не случалось прежде, какой-то государственный советник, известный гурман, так был восхищен эфиопским блюдом, что встал и начал кричать, так уж кричать, и лицо его светилось будто неземным восторгом, но эфиопское блюдо так ему понравилось, что и этого показалось мало, он начал делать словно бы упражнения, будто на спортивном слете, и потом бил себя в грудь, и опять взял кусочек, смоченный в соусе, и теперь это блюдо подействовало на него так, что эфиопские повара стояли с длинными ножами и глядели на императора, но император, наверно, к такому был привычный, он только улыбался, улыбались теперь и эфиопские повара, улыбались и кивали начальники, завернутые в дорогие ткани с рисунком, какой бывал у бабушки на фартуках или на пестрых платьях из тафты, и этот государственный советник не выдержал, выбежал и кричал на лестнице, и опять прибежал, взял себе еще один кусочек на вилку, но это было уже лишнее, потому что он носился по залу и вопил, выскочил на улицу перед отелем и там орал, и танцевал, и ликовал, и бил себя в грудь, и опять прибежал назад, и в голосе его была песня, и в ногах танец благодарения за так хорошо приготовленного фаршированного верблюда, и ни с того ни с сего он поклонился этим трем поварам низким поклоном, как раньше кланялись по-русски, поклонился в пояс и потом до самой земли. Другой едок, какой-то генерал на пенсии, тот только смотрел в потолок и испускал длинный томительный звук, такое сладостное длинное верещание, которое руладами поднималось вверх, потом он взял ложку соуса, жевал, и верещал, и скулил, и откусывал кусочки мяса, и когда сделал глоток жерношского рислинга, то тут поднялся и захныкал так, что и эфиопские повара поняли и радостно закричали: «Йез, йез, самба, йез!» И наверно, это стало причиной, почему так сильно поднялось настроение, председатель совета министров пожимал руку императору, вбежали фотографы, и все засняли на пленку, непрестанно вспыхивал резкий свет, и в сиянии его бенгальского огня наши и эфиопские представители пожимали друг другу руки...

Когда Хайле Селассие поклонился и пошел, все гости поклонились тоже, генералы обеих армий обменивались орденами, украшали друг друга наградами, государственные советники прикалывали звезды сбоку к фракам, звезды и широкие ленты через грудь, которые они получили от императора, и меня, самого незначительного среди них, ни с того ни с сего взяли и отвели к императорскому канцлеру, тот пожал мне руку и за образцовое обслуживание приколол по значению хотя и самый маленький, но по размеру самый большой орден с голубой лентой за заслуги перед троном эфиопского императора, и теперь у меня на отвороте фрака тоже был пришпилен орден с голубой лентой через грудь, я смотрел в пол, и все мне завидовали, и как я заметил, больше всех метрдотель из ресторана пана Шроубека, ведь, в сущности, этот орден получить должен был он, и с того дня я стал ему ужасно неприятен, ему оставалось года два до пенсии, наверно, он только такого момента и ждал, потому что с этим орденом ему бы разрешили открыть отель где-нибудь в Крконошах или в Чешском Рае, отель «У ордена эфиопской империи», но журналисты и репортеры сфотографировали меня и записали мое имя, так я и ходил с эфиопским орденом и голубой лентой, мы собирали посуду и относили в кухню приборы и тарелки, работы хватило до самой ночи, и когда женщины под наблюдением детективов, переодетых в поваров и официантов, вымыли и вытерли триста золотых приборов, и пан Скршиванек их пересчитал с помощью того метрдотеля из ресторана «У Шроубека», так им пришлось еще раз пересчитывать, и потом еще пересчитал маленькие кофейные ложечки сам шеф, и когда досчитал, побледнел, одной ложечки не хватало, он пересчитал их заново, потом они советовались, и я видел, как тот метрдотель пана

Шроубека что-то тихо говорил шефу, и потом они смотрели на всех нас, одолженные официанты умывались и шли в служебный зал, потому что оставалось столько еды, и теперь официанты, повара и сервировщицы — все собрались если не доесть, то хотя бы попробовать спокойно эти деликатесы, и, главное, все глядели на наших поваров, которые пробовали, определяли и угадывали, с какими кореньями сделан тот или иной соус и какие приемы были применены, чтобы получилось такое роскошное блюдо, что тот государственный советник Конопасек, который бывал дегустатором блюд в пражском Граде, так восторгался и кричал, но я этих роскошных блюд не ел, я видел, что шеф на меня уже не смотрит, что его уже не радует этот мой несчастный орден и что тот метрдотель, одолженный у пана Шроубека, тихо разговаривает с паном Скршиванеком, и неожиданно меня озарило, о чем они говорят, о золотой ложечке, они подозревают, что эту ложечку украл я, налил я себе рюмку коньяку, который был выставлен для нас, выпил, налил еще одну и направился к моему учителю, к тому, кто обслуживал английского короля, не сердится ли он на меня, упомянул и о том, как несправедливо получил этот орден, хотя его должен был получить метрдотель из ресторана «У Шроубека» или сам пан Скршиванек, или наш шеф, но никто меня не слушал, я даже видел, что пан Скршиванек глядит на мою бабочку, так пронзительно он на нее смотрел, что я почувствовал, это тот же самый взгляд, каким несколько дней назад он глядел на тот галстук, тот белый с крапинками, голубыми, как точечки на крыльях махаона, на тот галстук, который я без разрешения взял из шкафа, куда складывают вещи и одежду, забытую гостями, и я прочел в глазах пана метрдотеля, что если я без разрешения взял галстук, так почему бы я не мог взять золотую ложечку, которую я последний относил со стола самого эфиопского императора, а было это так, что я отнес ее и положил прямо в таз. И облило меня таким позором, когда я вот так стоял с протянутой рюмкой и хотел выпить за здоровье человека, который был для меня самым большим и самым высоким, даже выше, чем император, чем президент, и он поднял рюмку, с минуту поколебался, и я все время надеялся, что он выпьет со мной за этот мой несчастный орден, но он, который всегда все знал, теперь не знал, он чокнулся с метрдотелем пана Шроубека, таким же старым, как и он, а на меня даже не взглянул, и я ушел с этой протянутой рюмкой, и выпил ее, все во мне загорелось, все меня жгло, я налил себе еще порцию коньяку и выбежал в чем был на улицу, в ночь, позади был мой бывший отель, потому что я уже не хотел жить на свете, я взял такси, таксист спросил, куда я хочу поехать, и я сказал, чтоб он отвез меня в лес, мол, хочу подышать свежим воздухом... и так мы поехали, все постепенно тускнело позади меня, прежде всего огни, уйма огней, потом там и сям фонари, и потом уже ничего, все позади, только на повороте машина еще раз прокрутила передо мной Прагу, и мы остановились у настоящего леса... я заплатил, он посмотрел на мой орден с голубой лентой и сказал, что не удивляется, что я такой расстроенный, он это понимает, многие метрдотели просили отвезти их в Стромовку или куда-нибудь еще, где можно пройтись... я засмеялся и говорю, что иду не пройтись... а наверно, повешусь, но таксист не поверил, что это серьезно, он засмеялся, на чем? А у меня и вправду ничего не было, я сказал, на платке, таксист вышел из машины, поднял капот багажника, покопался там и потом при свете фар протянул веревку, такой тросик, он смеялся, и таращил глаза, и свернул из этой веревки петлю, и, смеясь, советовал, как правильно повеситься... и потом еще опустил окошко, и пожелал мне много счастья, когда буду вешаться, уехал, и еще поморгал фарами на прощание, и, прежде чем заехать за лесок, погудел... я зашагал по лесной тропинке и потом сел на скамейку, и когда снова все перебрал, и главное, когда сделал вывод, что пан Скршиванек меня больше не любит... я сказал, жить на свете дальше невозможно, если бы это была девушка, так не для одной светит солнце, но ведь это пан метрдотель, который обслуживал английского короля и который думает, будто я способен украсть ложечку, которая все-таки пропала, но ведь ее мог украсть и кто-то другой, такое не умещалось у меня

в голове... и я чувствовал в пальцах эту веревку, была такая темь, что мне пришлось нащупывать дорогу, и я натыкался руками на деревья, но это были не деревья, а такие маленькие деревца, при свете звезд я видел, что иду среди совсем маленьких деревьев, по какому-то питомничку, и потом я попал в лес, но тут опять были одни березы, высокие березы, и мне понадобилась бы лестница, чтобы залезть на какую-нибудь ветку... только потом я понял, что все это было не просто так, и вот, я попал в настоящий лес, сосновый, и ветви росли очень низко, они торчали так, что мне приходилось пролезать под ними на четвереньках... так я и лез на четвереньках, а орден звякал о подбородок, и бил меня по лицу, и еще сильней напоминал о золотой ложечке, которая потерялась в отеле, потом я остановился и стоял на четвереньках, и опять все проворачивал в голове, и опять запнулся на больном месте, и не мог его преодолеть, пан Скршиванек больше меня не любит, не будет больше меня воспитывать, мы больше не будем делать ставок, какой национальности гость, который только что вошел в ресторан, что он должен или не должен заказать, и я так завыл, точно тот старший советник Конопасек, когда съел несколько порций роскошного фаршированного верблюда... тогда я и решил, что повешусь, и когда встал на колени, что-то коснулось моей головы, с минуту я так и стоял на коленях, потом поднял руки и нащупал ботинки, мысочки двух ботинок, я потрогал и чуть выше и там нащупал две щиколотки и носки на холодных икрах... я поднялся и уткнулся носом прямо в пояс какого-то повесившегося человека, и так испугался, что побежал и продирался сквозь острые старые ветки, поцарапал лицо и содрал кожу с ушей, и так я продирался до самой тропинки, а там свалился с веревкой в руке и потерял сознание... разбудили меня свет и человеческие голоса... и когда я открыл глаза, то увидел, нет, не увидел, но понял, что лежу на руках у пана Скршиванека, он меня гладит, а я все время повторяю, там, там, и вот, там они нашли того повесившегося, который спас мне жизнь, потому что там повесился бы я, чуть подальше от него или рядом с ним, и пан метрдотель гладил меня по волосам, и стирал кровь... А я плакал и кричал, эта золотая ложечка! И пан метрдотель прошептал, не бойся, она нашлась... и я спрашиваю где? И он тихо объяснил, не стекала вода из раковины, так ее развинтили, и эта ложечка была уже в колене трубы... прости меня... все снова будет хорошо, как прежде... я говорю, но как вы узнали, где я... и он сказал, что это таксист, который подумал и вернулся в отель, и спросил официантов, кто из них мог бы хотеть повеситься? и как раз в ту минуту водопроводчик принес золотую ложечку, и метрдотель, тот, который обслуживал английского короля, мгновенно уже знал, что это я, и они тут же кинулись за мной... и вышло так, что я опять чувствовал себя в отеле «Париж», как горошина в стручке, пан Скршиванек даже доверил мне ключи от винных погребов, от ликеров и коньяков, точно хотел все, что случилось из-за этой золотой ложечки, возместить, но шеф так никогда и не простил мне, что я получил этот эфиопский орден и ленту через грудь, и он так на меня смотрел, будто меня нет, будто это пустое место, а я зарабатывал уже такие деньги, что покрывал ими весь пол, каждые три месяца я относил в ссудосберегательную кассу целый пол, покрытый стокроновыми бумажками, потому что я решил, что из меня получится миллионер и я со всеми стану вровень, потом куплю или арендую маленький отель, такую маленькую голубятню где-нибудь в Чешском Рае, женюсь, возьму богатую невесту, и если соединю деньги свои и жены, то меня будут уважать, как и всех остальных хозяев отелей, что если меня и не будут признавать как человека, им придется признать меня как миллионера, владельца отеля и недвижимости, такой им будет приговор — считаться со мной... Но со мной опять случилась неприятность, третий раз меня призывали на военную службу, и третий раз я не стал солдатом из-за того, что у меня не хватало роста, и хотя я пытался подкупить панов военных, они все равно на службу меня не взяли. В отеле все смеялись, и сам пан Брандейс спросил и опять высмеял меня, что я такой коротышка, и я знал, что буду коротышкой до смерти, потому что уже не вырасту, сколько бы я ради этого ни старался, сколько

бы ни носил двойные подошвы, сколько бы ни задирал голову, будто мне мал воротничок фрака, у меня была единственная надежда, может, шея вытянется, если я буду носить высокий гуттаперчевый воротничок. Вот так и вышло, что я стал ходить на уроки немецкого, начал смотреть немецкие фильмы, читать немецкие газеты и нисколько не удивлялся, что́ теперь по пражским улицам ходят студенты в белых чулках и зеленых куртках и что в отеле я почти единственный, кто обслуживает немецких гостей, все наши официанты подходили к немецким гостям так, будто бы не понимали по-немецки, и сам пан Скршиванек говорил с немцами только по-английски либо по-французски, либо по-чешски, и вот, однажды в кинематографе я наступил на туфе́льку какой-то женщине, она заговорила по-немецки, я на немецком извинился, потом проводил эту красиво одетую женщину, и вот, чтобы отблагодарить ее за то, что она говорит со мной по-немецки, я сказал, мол, это ужасно, что вытворяют чехи с несчастными немецкими студентами, что я собственными глазами видел, как на Национальном проспекте у них срывали с ног белые чулки и стаскивали коричневые рубашки. И она сказала, что я все правильно понимаю, что Прага древняя имперская территория и право немцев ходить по ней и одеваться по своим обычаям неотъемлемо, и если сейчас весь мир к такому безобразию безразличен, то настанет час, наступит день, когда фюрер это так не оставит, он придет и освободит всех немцев от Шумавы до самых Карпат и... только теперь, когда она говорила, я заме́тил, что смотрю ей в глаза, что мне не приходится глядеть на нее снизу вверх, как на остальных женщин, мне всегда так не везло, что все женщины, которые вертелись вокруг меня, все были выше, чем я, между женщинами они, конечно, тоже были великаншами, всегда, когда мы стояли рядом, я глядел им на шею или на грудь, и я увидел, что эта такая же маленькая, как я, что у нее сверкают зеленые глаза, что она так же обрызгана веснушками, как и я, но эти коричневые веснушки так красиво сочетались с зелеными глазами, и я вдруг увидел, что она красивая и смотрит на меня как-то особенно, на мне опять был тот необыкновенный белый галстук с голубыми крапинками, но она глядела на волосы, светлые, как солома, и к ним такие телячьи глаза, голубые глаза, она потом сказала мне, что немцы из рейха так мечтают о славянской крови, так мечтают об этих равнинах и славянских натурах, уже тысячу лет при любых обстоятельствах немцы стремятся путем брака заполучить славянскую кровь, и она по секрету сообщила мне, что у многих прусских аристократов течет в жилах славянская кровь, и славянская кровь делает этих аристократов в глазах других аристократов благороднее, я поддакивал и удивлялся, как она понимает мой немецкий, потому что я ведь не просто спрашивал гостя, что он закажет на ужин или на обед, я должен был разговаривать с этой барышней, которой наступил на черную туфельку, и я говорил чуть-чуть по-немецки и много по-чешски, но все время у меня в этой немецкой атмосфере было впечатление, будто я говорю только по-немецки... Так я узнал, что барышню зовут Лиза, что она из Хеба, работает там учительницей физкультуры, что она чемпион района по плаванию, и барышня Лиза распахнула пальто, и на груди у нее был значок, в круге четыре «Ф», будто какой-то четырехлистник, она улыбалась и все время смотрела на мои волосы, я даже встревожился, но потом стал доверять ей еще больше, потому что она сказала, мол, у меня самые красивые светлые волосы в мире, и я даже вспотел и тогда тоже сказал ей, что я метрдотель в отеле «Париж», говорил и ждал чего-то обидного, но она положила руку мне на рукав и когда коснулась меня, у нее так засверкали глаза, что я испугался, но она объяснила, что у ее отца в Хебе ресторан «У города Амстердама»... И вот, мы договорились, что пойдем, и пошли в кинематограф на фильм «Любовь в три четверти такта», она пришла в тирольской шляпке и в таком, какой мне с детства нравился, в таком зеленом камзольчике, собственно, в сером камзольчике с зеленым воротничком, украшенным вышитыми дубовыми веточками, и на улице падал снег, было это́ накануне Рождества, потом она несколько раз приходила ко мне в отель «Париж» и заказывала обед или ужин, и вот, когда она

пришла первый раз, пан Скршиванек посмотрел на нее и потом поглядел на меня, и мы, как всегда, вошли в служебное помещение, я засмеялся и говорю, ну как, поставим по двадцать крон на то, что закажет эта барышня? Потому что я увидел, что она опять пришла в том камзольчике и сегодня даже в белых чулках, я вытащил двадцать крон и положил их на служебный столик, но пан Скршиванек поглядел на меня как на чужого, точно так посмотрел, как в тот вечер, когда я хотел с ним выпить, когда я обслуживал эфиопского императора и потерялась та золотая ложечка, мои пальцы лежали на двадцати кронах, и он нарочно позволил мне радоваться, будто у нас с ним все в порядке, и вот, он тоже вытащил двадцать крон, медленно расправлял их на столе, но потом, словно бы его деньги могли запачкаться от соседства с моими, быстро засунул свои в бумажник, посмотрел еще раз на барышню Лизу и махнул рукой, и с того времени он не сказал мне ни слова, после смены забрал у меня ключи от всех складов с припасами и глядел на меня как на пустое место... будто он никогда не обслуживал английского короля, будто я никогда не обслуживал эфиопского императора. Но мне уже было все равно, потому что я видел и знал, как чехи несправедливы к немцам, с той минуты мне стало стыдно, что я активный член «Сокола» [1], потому что пан Скршиванек был в «Соколе» видной фигурой, и пан Брандейс тоже, и, конечно, они были предубеждены против немцев и, главное, против барышни Лизы, которая приходила ко мне, только ко мне, и которую я не имел права обслуживать, потому что ее стол стоял в ряду другого официанта, и я всегда замечал, как грубо ее обслуживают, как приносят ей холодный суп и как официант макает палец в этот суп... и вышло так, что, когда официант нес ей фаршированную телятину, я за дверями в зал застал его, как он плюет в эту телятину, я подскочил, чтобы отнять у него тарелку, но официант эту тарелку вмазал мне в лицо и потом плюнул в меня, и когда я отлеплял от глаз застывавшую студенистую подливку, он плюнул еще раз, чтобы я понял, как он меня ненавидит, и это был будто сигнал, из кухни все бросились к двери в зал, сбежались все младшие официанты, и каждый плевал мне в лицо, и так долго они плевали, пока наконец не пришел и сам пан Брандейс и как руководитель пражского «Сокола» плюнул тоже и сказал, что увольняет меня... и я, как был оплеванный, измазанный подливкой от жареной телятины, так и вбежал в зал к столу барышни Лизы, и там я на себя показывал, обеими руками показывал, вот что из-за нее сделали со мной «соколы» и чехи, она глядела на меня и салфеткой вытирала мне лицо, и говорила, что от чешского хамья ничего другого и ожидать нельзя, а она и не ждала, и за то, что я ради нее претерпел, она меня любит... И потом, когда мы вышли, когда я переоделся, чтобы проводить ее, у Прашны браны к нам сразу же кинулись чешские хамы и дали Лизе такую пощечину, что ее тирольская шляпка отлетела аж на трамвайные пути, а я защищал ее тем, что кричал по-чешски: «Что вы делаете, разве вы чехи? Тьфу!» Тогда один из этого мужичья оттолкнул меня, а двое схватили Лизу и повалили ее, они держали ее за руки, а третий задрал юбку и грубо стаскивал с ее загорелых ляжек белые чулки, и когда они меня били, я все время кричал: «Что вы делаете, чешское хамье!» И все так долго тянулось, прежде чем они отпустили нас, и они понесли чулки барышни Лизы, будто белый скальп, белый трофей, мы переулками вышли на маленькую площадь, и Лиза плакала, и шипела, большевистская сволочь, вы заплатите за это, так опозорить немецкую учительницу из Хеба... и я почувствовал себя высоким, она держалась за меня, и я был так возмущен, что искал членский билет «Сокола», но не нашел, а то бы я его разорвал... она вдруг посмотрела на меня глазами, полными слез, и опять расплакалась, прислонила свое лицо к моему, прижалась ко мне, и я понял, что должен ее беречь и защищать от всех чехов, которые эту маленькую немецкую учительницу хотят как-то обидеть, чтоб ни один волосок не упал с ее головы, дочери владельца отеля и ресторана «У города Амстердама»

[1] Сокольское движение, физкультурное и просветительное, возникло в конце прошлого века в Чехии и Моравии, когда они входили в состав Австро-Венгерской монархии, и сыграло значительную роль в становлении чешского национального самосознания.

в Хебе, городе, который уже осенью отошел к Германии как имперская территория [1], и все Судеты отошли туда, где они были столько лет, отошли назад к империи [2], и теперь тут в сокольской Праге чехи творят с несчастными немцами то, что я видел собственными глазами и что показывает, почему были отобраны Судеты и почему, наверно, и с Прагой кончится тем же, раз чехи попирают и угрожают жизни и чести немецких людей... И вот вышло так, что меня не только уволили из отеля «Париж», но и нигде не брали даже младшим официантом, во все рестораны уже на следующий день пришло сообщение, что я пронемецки настроенный чех, хуже того, «сокол», который ухаживает за немецкой учительницей физкультуры. Так я и оставался без места, пока не пришли немецкие войска и не оккупировали не только Прагу, но и всю страну... И в это время барышня Лиза на два месяца потеряла меня, хотя я ей без ответа писал, даже ее отцу писал, и вот, на следующий день после оккупации Праги я пошел погулять и на Староместской площади увидел, как имперская армия варит в котлах вкусные супы и раздает жителям в солдатских котелках, и вот, смотрю я так и кого же я вижу в полосатом платьице с красным значком на груди и с половником в руке? Лизу! Но я с ней не заговорил, с минуту я глядел, как она наливает и с улыбкой вручает котелки, потом опомнился и тоже встал в хвост, вот подошла моя очередь, и она подала мне котелок с горячим супом, и когда увидела меня, не испугалась, а обрадовалась и такая была вся гордая, показывала мне, чтобы я восхищался, свое военное платье фронтовой сестры милосердия, или не знаю, что это была за униформа, а я сказал, что меня с того дня не берут на работу, с того дня, когда я отстаивал ее честь у Прашны браны, ее белые чулки, она поставила вместо себя замену, и сразу же взяла меня под руку, и смеялась, и радовалась, и у меня было такое чувство, и у нее тоже, что, в сущности, имперская армия оккупировала Прагу из-за ее белых чулок, из-за того, что меня оплевали в отеле, и мы так прогуливались по Пршикопу, солдаты в форме отдавали честь барышне Лизе, я тоже каждый раз им кланялся, и вдруг мне пришло в голову, и Лизе тоже, мы повернули к Прашне бране, подошли к тому месту, где Лиза лежала на тротуаре, где стаскивали с нее белые чулки, всего-то три месяца назад, и потом вошли в отель «Париж», и я будто бы искал столик, везде сидели немецкие офицеры, я стоял с барышней Лизой, которая была в форме сестры милосердия, и младшие официанты, и пан Скршиванек побледнели и молча обслуживали немецких гостей, а я сел к окну и по-немецки заказал кофе, кофе по-венски со сливками и рюмкой рома, Wiener Káffee mit bespritzter Nazi, как мы прежде подавали, как это делали в Вене в отеле «Sacher», какое прекрасное чувство, когда я вошел, пан Брандейс кланялся мне особенно учтиво и ни с того ни с сего заговорил о том досадном происшествии, что случилось тогда, извинялся передо мной... но я сказал, что не принимаю его извинения, что мы еще увидим... и когда я платил пану Скршиванеку, то сказал, ну видите, черта с два помогло, что вы обслуживали английского короля... я поднялся и зашагал между столами, и офицеры немецкой армии приветствовали барышню Лизу, я им тоже кланялся, будто их приветствия относились и ко мне... той ночью барышня Лиза повела меня к себе, сначала мы зашли в какое-то военное казино на Пршикопе, в какой-то серый дом, мы пили шампанское в честь оккупации Праги, офицеры чокались с Лизой и со мной, и всякий раз она объясняла им, что я достойно вел себя и защищал ее германскую честь от чешского хамья, а я раскланивался и благодарил за приветствия и за поднятые вместе со мной бокалы, но я не понимал, хотя я вроде и не мог не понимать, что все приветствия относились исключительно и только к Лизе, а по моей особе офицеры лишь скользили глазами, они меня лишь терпели, воспринимали как довесок к Лизе, начальнице над

---

[1] По Мюнхенскому соглашению 1938 года от Чехословакии была отторгнута и передана фашистской Германии Судетская область.

[2] Имеется в виду «Священная Римская империя» (962—1806), с конца XV века она называлась «Священная Римская империя германской нации», в нее входила и Чехия. Гитлер заявил, что хочет возродить «тысячелетний рейх».

военными сестрами, как я узнал, когда к ней обращались, поднимая бокалы... но у меня было такое прекрасное чувство, что я могу участвовать в этом торжестве, что я среди капитанов и полковников, что я среди молодых людей с такими же голубыми глазами и такими же светлыми волосами, как у меня, который не умеет прилично говорить по-немецки, но чувствует как немец, которому будто Спящей Красавице нужно было встретиться с барышней Лизой, наступить ей на черную туфельку и проснуться, как в той сказке. И вот, мы куда-то возвращались с этого праздника, туда, где я еще не был, Лиза попросила, чтоб я проверил свои метрики, что там обязательно должен быть какой-то германский предок, а я сказал, что у моего деда на могиле написано Иоганн Дитие, что он служил в барских конюшнях, и Лиза как услышала, так я словно вырос в ее глазах, больше чем если бы был чешским графом, вроде бы из-за этого Дитие рухнули все перегородки и тонкие стены, что разделяли нас, всю дорогу она молчала, потом отперла подъезд в старом многоквартирном доме, мы поднимались по лестнице, и на каждом этаже она долго меня целовала, гладила рукой мне брюки в шаге, и когда мы вошли в ее комнатку, она зажгла настольную лампу и стояла вся мокрая, глаза и губы, и такая пелена затянула ей глаза, будто бельмо, она повалила меня на кушетку и опять долго целовала, языком ощупала и пересчитала все зубы и так неустанно скулила и стонала, будто ветер непрестанно открывал и закрывал несмазанную калитку, и потом уже не оставалось ничего другого, как сделать то, чего я ждал, но что исходило не от меня, как обычно, но от нее, у нее была потребность во мне, и она позволяла мне все, она медленно раздевалась и глядела, как раздеваюсь я, если она на военной службе, думал я, то должны быть форменные трусики или комбинации, конечно же, должно быть у сестер в госпиталях какое-то казенное белье, но у нее белье было такое же, как и у барышень, что ходили в отель «Париж» в павильон визитов к панам биржевикам, как и «У барышень Райских», и потом она притянула к себе мое голое тело, все вышло так, будто мы расплавились, будто мы стали моллюсками и льнем друг к другу студенистой мякотью, вылезшей из раковины, ужас как эта Лиза дрожала и тряслась, и я впервые узнал, что я любимый и что это значит, когда тебя любят и ласкают, и все шло совсем иначе, чем прежде, и она не просила, чтоб я был поаккуратнее и поосторожнее, но все было только ради того, чтобы было так, как было, движение и слияние, и дорога к вершине, и всплеск света, и подавленное сопение, и стоны, и еще, она меня не боялась, ни одной минуты, она надувала живот навстречу моему лицу, крепко так обнимала ногами в коленях мою голову, она не стеснялась ни единой минуты, и ни в чем, она поднялась и начала языком тереть и лизать мою плоть так долго, пока она не восстала, и она дала мне попробовать, и языком и через язык пережить все, что разыгрывалось в ее теле... потом, когда она уже лежала на спине с закинутыми за голову руками и разбросанными ногами, где пылал клубок светлых волос, зачесанных наверх к пупку, глаза у меня задержались на столе, и там стоял букет весенних тюльпанов с побегами молодых березовых ветвей и несколько веточек ели, будто бы во сне и почти не вспоминая, все пришло так, словно зазвучал забытый мотив, выдернул я веточки, разделил на частички и обложил темневший бугорок этими веточками, весь живот я устлал веточками ели, она глядела на меня уголком глаз, и когда я наклонился и поцеловал ее между этими веточками, я почувствовал на губах колючие иголки, она медленно взяла мою голову в ладони, поднялась и прижалась рыжим треугольником к моему лицу так резко, что я застонал от боли, и несколькими резкими рывками живота она достигла такого возбуждения, что пронзительно закричала и упала набок, и дышала так прерывисто, что я подумал, будто она умерла или вот-вот умрет... но оказалось, не то и не другое, она наклонилась надо мной, растопырила все десять пальцев и грозила, что выцарапает мне глаза и расцарапает лицо и всего меня, так она была благодарна и удовлетворена, и снова она растопырила надо мной эти ногти и судорожно их сжимала, чтобы через минуту рухнуть с плачем, и тихий плач перешел в отрывистый

смех... расслабленный, спокойно и молчаливо я лежал и смотрел, как быстрыми движениями пальцев она выдергивает остатки еловых веточек, так заламывают ветки охотники, когда хотят отметить место, где подстрелили зверя, и я увидел, как она устилает мой живот и обвисшую плоть, весь пах у меня заполнился веточками, потом она приподняла мою плоть и гладила рукой, и целовала, и постепенно я достиг эрекции, и сразу раздвинулись эти веточки, и сквозь них продиралась моя плоть, и медленно росла, и отбрасывала веточки, и Лиза эти веточки языком разравнивала вокруг, чтобы потом поднять голову и захватить мою плоть целиком в рот, куда-то к самому горлу, я хотел ее оттолкнуть, но она повалила меня, отбросила мои руки, я глядел в потолок и позволял ей делать все, что она хотела, никогда бы я не ожидал от нее такой грубости, почти жестоко она высосала меня до самого мозга резкими ударами и движениями головы и хотя бы убрала веточки, которые ее царапали до крови, наверно, кровь для германцев привычна... вскоре я стал Лизу бояться... когда она ползала языком по моему животу, оставляя слюнявые полосы, будто моллюск, она целовала меня, и рот у нее был полон семенем и еловыми иглами, и она не считала это чем-то нечистым, наоборот, будто частью мессы, это мое тело, и эта моя кровь, и это мои слюни, это твои и мои соки, и они нас соединяли, и соединили навсегда, так она мне говорила, потому что мы взаимно обменялись и запахом соков, и волосками...

Хватит вам, на этом сегодня закончу.

А ГОЛОВУ Я ТАК И НЕ НАШЕЛ

Послушайте-ка, что вам еще расскажу.

Мое новое место младшего официанта, а потом метрдотеля было в горах над Дечиным. Когда я приехал в этот отель, то так и обмер. Я увидел не просто гостиницу, как ожидал, а маленький городок или большую деревню среди леса и горячих источников, оттуда тянуло таким свежим воздухом, что хотелось разливать его по бокалам, повернуться навстречу приятному ветерку и не спеша заглатывать его, будто рыба жабрами, и чувствовать, как жабры втягивают кислород с озоном, как мало-помалу наполняются легкие и все нутро, точно шина, которая спустила где-то внизу, давным-давно спустила, а теперь сама по себе накачивается этим воздухом, чтобы ехать было не только безопаснее, но и приятнее. Лиза, которая привезла меня в военном автомобиле, разгуливала тут как дома, она водила меня по длинной аллее, что-то вроде главного двора, и все время улыбалась. Какие стояли тут рогатые германские скульптуры, статуи императоров и королей, все из чистого мрамора или белого известняка, который искрился, будто рафинад, искрились и административные здания, которые расходились от главной колоннады, словно листья акации. И всюду колоннады, прежде чем войти в такое здание, можно погулять по колоннаде или постоять перед постаментами с рогатыми статуями, и стены тоже украшены рельефами из этого славного германского прошлого, когда они еще бегали с топорами, одетые в шкуры, что-то такое, как у Ирасека в «Старинных чешских сказаниях», но тут одежда была немецкая. И Лиза объясняла мне, а я так удивлялся и вспоминал коридорного из отеля «Тихота», который любил повторять, что невероятное становится реальным, тут тоже вышло так, Лиза мне с гордостью рассказывала, что здесь самый здоровый воздух в целой Европе, какой есть еще только под Прагой, там, где Оуголичи, и в Подморжани, и что это первый в Европе центр разведения облагороженного человека, что здесь нацистская партия построила первую лабораторию по скрещиванию благородной крови немецких девушек и чистокровных солдат, как из армии, так и из СС, все на научной основе, что тут каждый день совершаются национал-социалистские сношения так, как эти сношения происходили у воинственных древних германцев, и главное, тут будущие роженицы вынашивают в своих чревах новых людей Европы, тут они и рожают, а через год детей увозят в Тироль, в Баварию, в Шварцвальд или к морю, чтобы там в яслях и детских садах продолжить

воспитание нового человека, однако уже без матерей, но под наблюдением новой школы. И вот, Лиза показывала красивые маленькие домики, построенные в виде деревенских изб, с цветами, свешивавшимися с подоконников, и террас, и деревянных галерей, и я увидел эту будущую мать, эти матери, статные, как все деревенские девушки, белесые, пришли точно из прошлого века, но будто откуда-то из наших мест, из Гумпольца или из Гане, правда, из каких-то отдаленных деревень, где еще носят полосатые нижние юбки и рубашки, как у наших «соколок» или как на той картине, где Божена стирает белье, а Олдржих едет мимо на коне и находит в ней свою мечту, у всех девушек были красивые груди, и когда они маршировали, а будущие матери тут только и гуляли среди постаментов, будто для этого их сюда и привезли, то все время глядели на статуи рогатых воинов или стояли перед красивыми немецкими императорами и королями, и, наверно, у них в мозгу отпечатывались лица, и фигуры, и разные истории об этих знаменитых людях прошлого. Потом я узнал и услышал обо всем из окон училища, где читали лекции о легендарных германцах и где экзаменовали будущих матерей, не забыли ли они эти истории, помнят ли их наизусть, Лиза говорила, что эти женщины должны знать, что увиденные картины из головы беременных девушек постепенно просачиваются по их телу вниз, к тому, кто сначала точно плевок, потом головастик, потом лягушка или жаба, а после уже маленький человек, гомункул, который растет до самого девятого месяца, когда из него уже получается человек, и учение и глядение с необходимостью и закономерностью должно проявиться в новом существе... Лиза, гуляя со мной, все мне выложила и даже держала меня под руку, и я заметил, что когда она косилась на мои светлые волосы, то шагала радостнее, и когда представляла меня своему начальнику отделения, то назвала Дитие, как написано на могиле у моего деда в Цвикове, так я понял, что Лиза тоже хочет прожить здесь девять месяцев и еще год, чтобы подарить рейху чистокровного потомка... Но только я представил, что будущий ребенок получится так же, как когда мы водили корову к быку или козу к общинному козлу, только поглядел на эту аллею постаментов и статуй, сразу понял, что никакого будущего не вижу, а то, что вижу, страшно, маленькое облачко большой грозы, которая обошла меня стороной... Но когда я подумал — и это меня спасло,— что я такой коротышка, что в «Соколе» меня даже не взяли в команду, хотя я крутился на перекладине и кольцах не хуже высоких, когда вспомнил, до чего дошел в отеле «Париж», с той золотой ложечкой, как в меня плевали только за то, что я влюбился в немецкую учительницу физкультуры, а теперь мне подал руку сам начальник благородного национал-социалистского лагеря, и я видел, как он смотрел на мои соломенные волосы, как, довольный, засмеялся, будто встретил красивую девушку или выпил ликеру либо водки, которую он любит из всех напитков больше всего, я весь распрямился. Хотя у меня не было жесткого воротничка, но, наверно, впервые у меня было чувство, что не обязательно быть высоким, нужно чувствовать себя высоким, и вот, я стал спокойнее смотреть на себя, перестал считать себя недомерком, вечным мальчиком-официантом, которому с первых дней и до конца жизни суждено оставаться маленьким, позволять называть себя Коротышкой и Малышом, выслушивать издевки над своей фамилией Дитя, ведь тут я был герр Дитие, немцы в моем имени не слышали значение «дитя», оно, скорей всего, вообще ни о чем им не говорило, потому здесь я стал уважаемым человеком, хотя бы из-за фамилии Дитие, Лиза говорила, что такой фамилии могут позавидовать и дворяне из Пруссии и Померании, у которых в фамилиях всегда есть отзвук славянского корня, так же как и у меня, фон Дитие, официант в пятом отделении, где за обедом и за ужином я обслуживал пять столов, пять немецких беременных девушек, которые, когда захотят, позвонят, чтобы я принес им молоко, стаканы с холодной горной водой, тирольский калач или тарелку с холодным мясом и вообще все, что сегодня в меню...

И только тут я расцвел, я был хорошим официантом в «Тихоте» или в отеле «Париж», но тут я стал просто любимчиком этих беременных

немок. Впрочем, так же ко мне относились и барышни в баре отеля «Париж», когда в четверг приходили биржевики в шамбр сепаре... но эти немки, правда и Лиза тоже, они так нежно смотрели на мои волосы, на мой фрак, и Лиза потом добилась, чтобы в воскресенье или по праздникам я подавал блюда с той голубой лентой через грудь и орденом в виде разбрызганного золота с красным камнем посередине и надписью Viribus unitis [1], потому что только тут я узнал, что и в Эфиопии есть талеры Марии Терезии... Вот так я жил в лесном городке, где из вечера в вечер солдаты всех родов войск набирались силы от добротной еды и разжигали себя специальными винами, рейнскими и мозельскими, тогда как девушки пили стаканами только молоко, и потом из ночи в ночь под научным наблюдением шла случка, и вскоре меня стали называть «официант, который обслуживал эфиопского императора», и я чувствовал себя тут, как в отеле «Париж» пан метрдотель Скршиванек, который обслуживал английского короля, у меня тоже был младший официант, которого я учил, как пан Скршиванек меня, чтобы он угадывал, из каких мест тот или иной солдат, что он скорей всего закажет, мы тоже ставили по десять марок и клали их на столик, и я почти всегда побеждал и каждый раз убеждался, что значит чувство победы, которое определяет все, стоит человеку смалодушничать или позволить себе пасть духом, так и вся жизнь у него пойдет наперекосяк, и никогда он не очухается, особенно у себя на родине и в своей среде, где на него смотрят как на коротышку, вечного мальчика на побегушках, каким дома всегда был я, но тут немцы меня уважали и выделяли... И вот, после обеда, когда светило солнце, я носил молоко и мороженое, иной раз по заказу стаканы с теплым молоком или чаем в голубые плавательные бассейны, где с распущенными волосами плавали красивые беременные немки, совершенно голые, они считали, что я тоже вроде врача, и мне это нравилось, потому я мог любоваться, как извивались их светлые тела, как раскидывали они руки и ноги, как ритмично для рывка напрягалось все тело, как руки и ноги делали красивые плавательные движения. Но я был влюблен и ходил будто во сне, и меня не так уж волновало их тело, их плывущие волосы, которые, словно светлый соломенный дым, прилипали и тянулись вдоль спины, вытягивались во всю длину при взмахе рукой или ногой, чтобы на минуту замереть, и тогда их кончики закручивались, точно жестяные пластинки жалюзи, и еще прекрасное солнце, синее небо на горизонте, зеленые квадратики кафеля, на которые волны отбрасывали расколотые брызги солнца и воды, бросали будто капли сиропа, и тени, и отражение их тел на стенах и на голубом полу бассейна, и я, когда они подплывали, подтягивали под себя ноги, вставали и стояли так, будто русалки, с грудями и животом, по которому стекала вода, так вот, я подавал им стаканы, они пили или не спеша ели, чтобы опять нырнуть в воду, сложить руки, словно для молитвы, первыми гребками раздвинуть воду и опять плавать, не для себя, а для тех будущих детей, и через несколько месяцев я увидел, но уже в закрытых бассейнах, как плавали не только матери, но и эти крошечные дети, эти трехмесячные груднички уже плавали с женщинами, с матерями, как плавают медвежата с медведицами или тюлени в тот же день, как родились, или утята, едва успев вылупиться. Между тем, я уже понял, что эти женщины, которые тут забеременели и вынашивали в чреве детей, и купались, что они считают меня просто слугой, не кем-нибудь, а просто слугой, пусть и во фраке, меня для них даже просто и нет, вроде я какая-то вешалка, потому они и не стеснялись меня. Я был прислугой, кем-то вроде как раньше у королев шуты или карлики, потому что, когда они выходили из воды, то оглядывались, не видит ли их кто из-за дощатого забора. Однажды вдруг откуда-то возник пьяный эсэсовец, они запищали, прижали полотенца к животам, прикрыли локтями груди и кинулись к кабинам, но когда я приносил на подносе стаканы, они спокойно стояли голые, болтали, одной рукой держась за стойку, а другой медленно вытирали волосатые золотистые животы, такими свободными

---

[1] Общими силами *(лат.)*.

заботливыми движениями, долго протирали между ног и потом половинки задниц, а я стоял, как будто столик для посуды, они брали стаканы, отпивали глоток, другой, и я мог сколько угодно сверлить их взглядом, ничем бы я их не взволновал, не встревожил, они все так и вытирали махровыми полотенцами между ног, аккуратно и заботливо, потом поднимали руки и так же тщательно вытирали складки под грудью, и так все время, будто меня тут и не было... но когда однажды в такую минуту пронесся аэроплан, они с криком и смехом влетели в кабины, чтобы через минуту вернуться и опять вытирать между ног, а я все это время стоял и держал поднос с остывающими стаканами... В свободное время я писал Лизе длинные письма, теперь куда-то в Варшаву, которую они уже заняли, потом в Париж, и потом, наверно из-за их побед, и тут распорядок стал посвободнее, они построили за городом какой-то паноптикум, и тир, и карусели, и качели, и вообще все, как бывало на ярмарках в Праге, столько разных аттракционов, как и у нас на ярмарках, у них тоже были щиты с раскрашенными нимфами, и сиренами, и всевозможными аллегорическими женскими фигурами или зверями, и к этим щитам на каруселях и на дверных филенках качелей прикатывали германские полки в рогатых касках, и я по этим картинкам изучал немецкое краеведение, весь год в свободное время я ходил от одного щита к другому и расспрашивал референта по культуре, он радовался и рассказывал, обращался ко мне «mein lieber Herr Ditie» [1], и так он это Дитие красиво выговаривал, что я снова и снова просил, чтобы он учил меня по этим картинкам и по рельефам славному немецкому прошлому, чтобы и я мог, к примеру, произвести когда-нибудь немецкого ребенка, как мы договорились с Лизой, которая приехала под впечатлением победы над Францией и сказала, что она предлагает мне руку, но мне надо поехать и просить Лизиной руки у ее отца, владельца ресторана «У города Амстердама» в Хебе. Так невероятное стало реальным, мне пришлось согласиться, чтобы меня подвергли осмотру экспертов и эсэсовского военного врача в Верховном суде Хеба, куда я обратился с прошением, которое подал в письменном виде и где написал о прошлом всей моей семьи вплоть до того самого кладбища в Цвикове, где лежит дедушка Иоганн Дитие, со ссылкой на его арийское и германское происхождение, я писал, что покорнейше прошу, для того чтобы я мог по имперским законам жениться на Лизе, Элизабет Папанек, обследовать меня со стороны физической, способен ли я как представитель другой национальности по нюрнбергским законам не только иметь сношения, но и оплодотворить арийскую германскую кровь. И вот, в то самое время, когда в Праге специальные команды расстреливали патриотов, так же как и в Брно, и всюду, где суды имели право расстреливать, вот в это время я стоял голый перед врачом, который палочкой приподнимал мою плоть, мне пришлось повернуться, и в трубочку он смотрел мне в отверстие, потом взвесил на руке мои яички и громко диктовал то, что видел, и оценивал, и ощупывал, и осматривал, потом врач попросил, чтобы я занялся онанизмом и принес ему немного семени в целях научного исследования, потому что, как сказал этот врач на том ужасном немецком, на каком говорят в Судетах, который я не понимал, но прекрасно чувствовал, с какой злобой он говорил, что если какой-то засраный чех хочет жениться на немке, так по крайней мере его семенная жидкость должна быть в два раза более ценной, чем семя последнего коридорного в последнем отеле города Хеба, еще этот врач добавил, что плевок, который любая немка харкнет мне в глаза, для нее настолько же позорен, насколько для меня этот плевок почетен... И вдруг где-то вдали замаячили передо мной сообщения в газетах, что в тот самый день, когда немцы расстреливали чехов, я играю тут со своей плотью, чтобы ее силой доказать свою пригодность стать мужем немки. Вдруг на меня напал ужас, что там идут казни, а я стою тут перед доктором, зажав плоть в кулаке, и не могу добиться эрекции и выдать ему несколько капель спермы. Потом открылись двери, появился этот доктор

---

[1] Мой дорогой господин Дитие *(нем.)*.

с моими бумагами, наверное, только теперь он толком прочел, кто я, потому что любезно спросил: «Herr Ditie, was ist denn los?..» [1], похлопал меня по плечу, дал какие-то фотографии и зажег свет, и я разглядывал порнографические голые группки, все эти снимки я уже знал, это прежде, когда я смотрел на такие карточки, так едва погляжу, сразу весь обмираю, но теперь чем дольше я вертел эти порноснимки, тем яснее видел заголовки и сообщения в газетах, извещавшие, что этот и четверо других приговорены и расстреляны, и следующий тоже, и еще один, и все невинные... и я стою тут, в одной руке плоть, а другой перекладываю на столе порнографические открытки и никак не достигаю того, что от меня требуют, чтобы потом оплодотворить немецкую женщину, мою невесту Лизу, в конце концов пришлось вызвать молодую сестричку, она сделала несколько движений, и я уже не мог, был не способен думать ни о чем другом, рука у молодой сестрички была такая ловкая, что вскоре она отнесла на листе несколько капель моего семени, которое через полчаса было объявлено отличным, способным оплодотворить достойным образом арийское чрево... и вот, управление по охране немецкой чести и крови не нашло ничего препятствующего тому, чтобы я женился на арийке немецкой крови, и после сильных ударов печатей я получил разрешение на свадьбу, а в это время чешские патриоты такими же самыми ударами таких же печатей были приговорены к смерти. Свадьба состоялась в Хебе, в красном зале городской ратуши, всюду висели красные флаги со свастикой, и ходили чиновники в коричневой форме с красными повязками на руках, и на этой повязке тоже свастика, я надел фрак с голубой лентой через грудь и с орденом, который получил от эфиопского императора, Лиза надела тот охотничий костюм, камзольчик, украшенный дубовыми веточками и свастикой на красном фоне, и вовсе это была не свадьба, а какая-то государственная военная акция, где только и говорили что о чести, и крови, и долге, и наконец бургомистр, тоже в форме, в сапогах, в коричневой рубашке, попросил нас как жениха и невесту, чтобы мы подошли вроде бы к алтарю, на который свисал длинный флаг со свастикой и стоял подсвеченный снизу бюст Адольфа Гитлера, который хмурился, потому что эти лампочки подчеркивали морщины, и, сделав торжественное лицо, бургомистр взял мою руку и руку невесты, положил их на флаг и пожал через это сукно нам руки, вот и весь свадебный акт, потом бургомистр сказал, что теперь мы муж и жена и наш долг думать исключительно и только о национал-социалистской партии и рожать детей, которые тоже должны быть воспитаны в духе этой партии, и потом бургомистр чуть не прослезился и торжественно объявил нам, что мы не должны упрекать себя в том, что не можем оба пасть в бою за Новую Европу, что они, солдаты и партия, доведут этот бой до самой последней победы... и потом заиграла патефонная пластинка «Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen» [2], и все подпевали пластинке, а я вдруг вспомнил, что прежде пел «На Страговских валах» и «Где мой дом» [3], но я тихо подпевал, и Лиза тоже, она слегка коснулась меня локтем, и глаза у нее метали молнии, и я пел вместе с остальными... «esa marschiert»... когда же я посмотрел на свидетелей моей свадьбы, кто они, а были здесь и полковники, и партийные вожди Хеба, то запел даже с чувством, будто бы стал немцем, я понимал, что если бы свадьбу играли дома, так, подумаешь, велико дело, но тут в Хебе свадьба превратилась чуть ли не в историческое событие, потому что Лизу все знали... и вот, свадебный обряд закончился, я стоял и протягивал руку для поздравлений, но меня уже ударило в жар, потому что руку-то я протягивал, но офицеры, как вермахта, так и СС, ее не замечали, для них я был только коротышка, официант, чешский недомерок, прислуга, и все демонстративно кинулись поздравлять Лизу, а я стоял один, никто руки мне не подал, бургомистр похлопал меня по плечу, я протянул руку, но он ее не принял, с минуту я так и стоял,

[1] Господин Дитие, что случилось?.. *(нем.)*
[2] «Выше знамя, тесней ряды» — марш штурмовиков *(нем.)*.
[3] С этих слов начинается чешский национальный гимн.

будто от протягивания руки меня хватил столбняк, бургомистр взял меня за плечи и повел в канцелярию, чтобы я подписал бумаги и заплатил по таксе за акт, и тут я получил еще одно подтверждение, я оставил на столе сто марок сверх платы, и один из чиновников на ломаном чешском, хотя я говорил с ним по-немецки, сказал, что здесь чаевых не дают, что здесь не ресторан, не столовая, не пивнушка, не трактир, а управление строителей Новой Европы, в котором решают вопросы крови и чести, и здесь не так, как в Праге, где взятки, террор и другие капиталистические и большевистские порядки. Свадебный ужин состоялся в ресторане «У города Амстердама», и опять я видел, что хотя поднимали бокалы вроде бы и за меня, но все крутилось вокруг Лизы, а я начинал вживаться в роль почти арийца, которого терпят, но не замечают, будто его и нет, хотя у меня тоже светлые волосы и лента через грудь, и еще орден в виде разбрызганного золота. Но я не подавал вида, будто ничего не замечал, мол, я всем доволен, улыбался, мне было даже приятно, что я муж такой известной жены, что все неженатые офицеры охотно ухаживали бы за ней или могли бы ухаживать, но никто не добился успеха, и только я, именно я околдовал ее, небось эти солдаты ничего не умеют, как только прыгать в сапогах на женщину в постели, одно это они и умеют, им главное кровь, честь и долг, у них и понятия нет, что в постели еще нужна игра, красота и любовь, а я это умел и пришел к этому сам, и уже давно, еще «У Райских», когда обложил живот голой кельнерши ромашками и лепестками, и листьями цикламена... и два года назад и живот этой сознательной немки, этой высокопоставленной партийки. И когда она принимала поздравления, никому бы и в голову не пришло то, что видел я, как она лежит, голая, на спине, и я устилаю ей живот зелеными еловыми веточками, а она принимает это как такую же честь, и даже, может, бóльшую честь, чем ту, когда бургомистр пожимал нам обеими руками руки через красное знамя и жалел нас, что мы не можем погибнуть в бою за Новую Европу, за этого нового национал-социалистического человека. Лиза, когда увидела, что я улыбаюсь, что я принял ту игру, на которую меня осудило это германское управление, взяла рюмку, посмотрела на меня, все замерли, я встал, чтоб быть повыше, мы стояли друг против друга, в пальцах рюмки, все офицеры уставились на нас, чтобы лучше видеть, разглядывали и разгадывали, будто вели какой-то допрос, а Лиза засмеялась так, как в постели, когда я бывал с ней по-французски галантен, мы глядели друг на друга, будто она голая, и я тоже, и глаза у нее опять затянуло такое бельмо, такая пелена, как в то мгновение, когда женщина падает не в обморок, но когда отбрасывает последние запреты, отдается чувству, вступая в иной мир, мир любовных игр и ласк... и на глазах у всех она поцеловала меня таким долгим поцелуем, я закрыл глаза, мы держали бокалы с шампанским, и когда мы целовались, бокалы наклонились, и вино свободно стекало на скатерть, вся компания замолчала, словно бы потрясенная, и с этого момента они стали уже смотреть на меня почтительно, даже будто бы изучали, а изучив, пришли к выводу, что со славянской кровью немецкая кровь будет гораздо продуктивнее, чем немецкая с немецкой, и через час, другой, хотя я и оставался чужаком, но чужаком, которого с легкой завистью или ненавистью все же уважают, даже женщины и те смотрели на меня так, будто гадали, а что бы я стал такое выделывать в постели и с ними? И они решили, что я способен на какие-то особенные и жестокие игры, они сладко вздыхали, и закатывали глаза, и заводили со мной беседы, и хотя я путал der, die, das, но все же беседовал с ними, и эти женщины, которым приходилось говорить со мной на их ужасном немецком медленно, как в детском саду, четко выговаривая фразы, они наслаждались моими ответами и находили, что ошибки в моем немецком очаровательны, что я специально хочу их рассмешить, что я напускаю на них колдовство славянских равнин и лугов, и берез... но все военные, как из армии, так и из СС, все были против меня, они почти разозлились, потому что очень хорошо поняли, чем я так расположил к себе красивую

белокурую Лизу, что она немецкой чести и крови предпочла животную и красивую любовь... против которой они, хотя и увешанные орденами и наградами за походы против Польши и Франции, оказались бессильны... И вот, когда мы вернулись из свадебного путешествия в городок над Дечиным, где я был официантом, Лиза захотела иметь ребенка. Но я так не умел, как истинный славянин я жил по настроению, я делал все под впечатлением минуты, но когда она говорила, чтобы я подготовился, для меня это звучало так, как когда имперский доктор в соответствии с нюрнбергскими законами говорил, чтобы я принес ему на белом листке немножко семени, так и получилось, когда Лиза сказала, чтобы я подготовился, потому что сегодня вечером она в таком состоянии, что могла бы зачать нового человека, этого будущего основателя Новой Европы, потому что она уже неделю слушала пластинки Вагнера, «Лоэнгрина» и «Зигфрида», и уже выбрала имя, если родится мальчик, то он будет Зигфридом Дитие, и всю неделю ходила смотреть на рельефы под колоннадой и на ряды скульптур, простаивала до вечера там, где на фоне голубого неба возвышались германские императоры и короли, германские герои и полубоги, а я в это время думал о том, как украшу ее живот цветами, как мы будем играть, словно дети, тем более что мы Дитёвы, Лиза в тот вечер появилась в длинной тоге, и в глазах у нее была не любовь, а долг и эти их кровь и честь, она пожала мне руку и что-то бормотала на немецком, и смотрела вверх, будто с потолка и сквозь потолок на нас глядят с германского неба все нибелунги и даже сам Вагнер, к которому Лиза взывала, чтоб он помог ей забеременеть так, как она желает, по законам германской новой чести, чтобы от любви у нее в животе началась новая жизнь нового человека, который заложит новый порядок и будет жить в нем с новой кровью, с новым мировоззрением и с новой честью, я слушал все это и чувствовал, как из меня уходит то, что делает мужчину мужчиной, я только лежал, смотрел в потолок и горевал о потерянном рае, о том, как все было красиво до женитьбы, о том, как я жил, точно бродячая дворняга, со всеми женщинами, а теперь передо мной, будто перед каким-то породистым псом, стоит задача оплодотворить чистокровную суку, и я знал и видел, какая бывает морока со случкой, когда собачникам приходится целый день ждать, пока придет нужная минута, раз приехал к нам собаковод с сучкой с другого конца республики и потом уехал ни с чем, видите ли, медалист-фокстерьер ее не хотел, и когда этот собаковод опять приехал, так сучку пришлось на конюшне всунуть головой в бадью, а даме в перчатке заталкивать плоть пса, вот так под угрозой плетки удалось оплодотворить благородную суку, хотя эта же породистая собака с такой охотой отдавалась какому-нибудь дворняжке, или еще у пана штабс-капитана был сенбернар, и битый день не могли его познакомить с сукой, привезенной из самой Шумавы, потому что она была выше, чем пес... наконец инженер Марзин отвел их на косогор в саду, раскопал там такую площадку, целый час готовили землю для этой сенбернарской свадьбы, и только к вечеру, когда пан инженер, весь измочаленный, последний раз лопатой разравнивал ступеньку, дело пошло, сучку поставили под приступок, а пса на него, так он сравнялся с ней ростом, тогда дошло и до вязки, но по принуждению, насильно, тогда как на воле овчарка с огромным желанием играет свадьбу с таксой или ирландская терьерша с доберман-пинчером.. то же вышло и со мной... Так невероятное стало реальным, и мне пришлось уступить, весь месяц я ходил делать уколы, взбадривающие инъекции, целый набор игл, тупых, как гвозди, в задницу, чтобы укрепить себя психически, и после десяти сеансов разных уколов нам повезло, и однажды ночью в соответствии с предписанием я загрузил Лизу... и вот, она понесла, но теперь уже ей пришлось ходить на укрепляющие уколы, потому что врачи опасались, как бы этого нового человека она не скинула, так ничего не осталось от нашей любви, а это национал-социалистское совокупление превратилось в какой-то акт в тоге, Лиза даже не дотронулась до меня и до моей плоти, я просто участвовал

в случке, согласно предписанию и правилам Нового Европейца, и никакой радости не почувствовал, но так же вышло и с ребенком, одна только наука и химия, и, главное, инъекции, попочка у Лизы от этих уколов была истыкана, будто гвоздями, мы все время лечили чиреи, а у меня еще и гнойники после уколов, нужных для того, чтобы произвести нового красивого ребенка. И тут со мной случилась неприятность, уж сколько раз я замечал, что из аудитории, где читали лекции о славном прошлом древних германцев, теперь доносились уроки русского языка, солдаты выполняли племенной долг по оплодотворению красивых белокурых девушек и вдобавок еще учились русскому языку, таким основным фразам, и вот, однажды, когда я под окнами прислушивался к уроку русского языка, капитан спросил меня, что я об этом думаю, и я сказал, что судя по всему будет война с Россией, а он начал кричать, что я возбуждаю общественность, а я говорю, мол, тут никого нет, только он да я, а он орет, у нас-де пакт с Россией, это подстрекательство общественности и распространение ложных слухов, и только теперь я узнал его, того самого капитана, который был Лизиным свидетелем на свадьбе, того, который и руки мне не подал, и не поздравил, потому что сам ухаживал за Лизой до меня, а я ему перебежал дорогу, и вот, он уловил момент, чтобы отыграться, и донес на меня, а я стоял перед начальником городка, в котором выращивают Новую Европу... когда этот начальник вволю накричался, что это глупость, что я пойду под военный трибунал, что я чешский шовинист, как раз в этот момент в городке поднялась тревога, начальник поднял трубку и побледнел, оказалось, что началась война с Россией, как я и предвидел, и он уже на лестнице сказал мне, мол, вы угадали, а я скромно ответил, что обслуживал эфиопского императора... И через день у меня родился сын, по желанию Лизы его окрестили и назвали Зигфридом, потому что она смотрела на стены зданий и слушала музыку Вагнера, который вдохновил ее на рождение нашего сыночка. Но меня уволили и предписали после отпуска начать работать на новом месте в ресторане «Корзиночка» в Чешском Рае. Ресторан и отель на самом дне ущелья, будто в корзиночке, утопал в утренних туманах и послеобеденном прозрачном воздухе, малюсенький отель для влюбленных парочек, которые мечтательно прогуливались между скал и смотровых площадок, чтобы возвращаться назад к обеду и ужину, держась за руки или под руку, все движения наших гостей были свободны и спокойны, потому что эта «Корзиночка» предназначалась только для армии и СС, для тех офицеров, которые, прежде чем отправиться на Восточный фронт, напоследок встречались здесь со своими женами, возлюбленными, тут все было не так, как в городке, где выращивали новую расу, куда солдат привозили, будто племенных жеребцов или породистых хряков, чтобы в один вечер или за два дня по науке оплодотворить самку германским семенем... В «Корзиночке» все выглядело совершенно по-другому, по моему вкусу, тут не было веселья, но меланхолическая печаль, такая мечтательность, какой я никогда не ожидал от солдат, почти все гости походили на поэтов, которые вот-вот начнут писать стихи, но это была не поэтичность, потому что они оставались такими же жестокими и грубыми, и заносчивыми, как остальные немцы, опьяненные победой над Францией, хотя одна треть офицеров «Großdeutschland» [1] и полегла в том галльском походе... тут немецких офицеров ждала другая дорога, другое назначение, другие бои, потому что совсем другой коленкор ехать на русский фронт, который уже в ноябре клином дошел до самой Москвы, но не дальше, хотя армии расползались все шире и шире, даже к Воронежу и на Кавказ, но эти расстояния, и эта даль, и эти известия из России, главное, известия из России, где партизаны, и эти партизаны делали дорогу на фронт настолько опасной, что фронт, в сущности, начинался уже в тылу, как сказала Лиза, которая приехала домой, и война с русскими ее совсем не радовала. Еще она привезла маленький чемоданчик, и я сперва не

[1] «Великая Германия» *(нем.)*.

знал цены тому, что в нем было, чемоданчик оказался заполненным почтовыми марками, я думал, что Лиза его нашла, но она еще в Польше и во Франции рыскала по еврейским квартирам в поисках почтовых марок, а в Варшаве при досмотрах депортированных евреев брала только почтовые марки, про которые говорила, что после войны они так поднимутся в цене, что мы на них сможем купить отель где угодно и какой угодно. А этот сынок, который оставался со мной, он был странное дитя. Я в нем не мог угадать ни единой моей черты, ни единой приметы ни моей, ни Лизиной, ни даже той, какую обещала атмосфера Вальхаллы [1], в этом ребенке не было даже и следа музыки Вагнера, наоборот, он был такой пугливый и в три месяца уже бился в родимчике. А я обслуживал гостей из всех немецких земель, сначала угадывал, а потом уже с абсолютной точностью определял, откуда немецкий солдат, из Померании, или из Баварии, или из Рейнской области, я точно узнавал солдат родом с побережья или из внутренних земель, кто он, рабочий или деревенский человек... и это было мое единственное развлечение, я обслуживал с утра и до ночи без отдыха и выходных, потому и не мог развлекаться по-другому, как только угадывать, кто что закажет да откуда родом, и не только мужчин, но и женщин, которые приезжали и несли в себе тайную весть, и в этой вести были печаль и страх, такая торжественная печаль, потом за всю жизнь я никогда не видел супружеских и влюбленных пар таких нежных и внимательных, и чтобы в глазах у них было столько печали и нежности, так бывало дома, когда девушки пели «Очи черные, почему вы плачете...» или «Зашумели горы...» и вообще. В окрестностях «Корзиночки» в любую погоду прогуливались парочки, всегда молодой офицер в форме и молодая женщина, тихие и погруженные в себя, и я, который обслуживал эфиопского императора, не мог понять и разгадать, почему они такие, только теперь я добрался до сути, это была вероятность, что влюбленные никогда больше не увидятся... вот эта вероятность и делала из них красивых людей, эта и был новый человек, не тот победитель, горлопан и гордец, но, напротив, человек смиренный, задумчивый, с прекрасными глазами испуганного зверька... и вот, глазами этих влюбленных пар, потому что и муж с женой в предвидении фронта становились влюбленными, я научился смотреть на окрестности отеля, на цветы в вазах, на играющих детей, на жизнь, каждый час которой святое причастие, потому что день и ночь перед отъездом на фронт влюбленные уже не спали, не то что бы они не были в постели, но тут было что-то еще более высокое, чем постель, тут были глаза и отношение человека к человеку, которое почти за всю свою жизнь официанта я не прочувствовал с такой силой, как видел и пережил тут... Хотя я служил официантом, а иногда метрдотелем, в сущности, я был здесь, как в огромном театре или в кинематографе на печальном спектакле или фильме о влюбленных... и еще я понял, что самое человечнейшее отношение человека к человеку — тишина, такой час тишины, потом четверть часа и потом последние минуты, когда подъезжает коляска, иногда воинская бричка, иногда машина, и два тихих человека поднимаются, долго смотрят друг на друга, вздыхают, и потом последний поцелуй, и фигура офицера высится в бричке, и повозка въезжает на холм, последний поворот, взмах платочком, и потом, когда коляска или машина постепенно исчезает, будто солнце, за холмом, и больше ничего уже нет, перед входом в «Корзиночку» остается стоять женщина, немка, человек в слезах, и все машет и машет, прощается пальчиками, из которых выпал платочек... чтобы потом вернуться и, заливаясь слезами, кинуться по лестнице в комнату и там в отчаянии, будто монашка, которая встретила мужчину в монастыре... упасть лицом в подушку и утонуть в постели в нескончаемом рыдании... а на следующий день уезжали на вокзал эти возлюбленные с покрасневшими от слез глазами, и та же самая коляска, или бричка, или машина привозила новые пары со всех сторон света, из всех гарнизонов, из всех городов и деревень на

[1] Вальхалла, Вальгалла — в германской мифологии дворец бога Одина, куда после смерти попадают павшие в битвах воины и где они продолжают прежнюю героическую жизнь.

последнее свидание перед отъездом на фронт, потому что сообщения с фронта шли такие плохие, несмотря на быстрое продвижение армий, что Лиза от этого блицкрига становилась все озабоченнее и озабоченнее, и она тут не выдержала, решила отвезти Зигфрида в Хеб в ресторан «У города Амстердама», а сама поехать на фронт, потому что там ей будет лучше...

Так невероятное еще раз стало реальным, меня больше не было в «Корзиночке», год назад я уехал и тоже прощался, тоже махал рукой, прежде чем коляска исчезла за холмом, тоже плакал по дороге и потом поездом отправился на новое место. Те драгоценные марки лежали у меня в обыкновенном чемоданчике с едой, в фибровом чемодане, который кто-то выбросил, а я подобрал, я определил по каталогу Зумштайна ценность некоторых марок и сразу же понял, что мне уже не придется устилать пол своей комнаты стокроновыми купюрами, что если бы я из сотенных сделал обои и обклеил ими потолок, и прихожую, и уборную, и кухню, всю квартиру бы облепил зелеными стокроновыми квадратиками, так и это не могло бы сравняться с суммой, которую в свое время я выручу за марки, только за четыре марки, судя по каталогу Зумштайна, я мог получить столько, что стал бы миллионером, и вот, в уме я рассчитывал, как когда-нибудь вернусь, немцы войну уже проиграли, скоро им конец, и этого нельзя не видеть, потому что, когда приезжал любой высший офицер, по его лицу я читал положение на фронте, их лица стали моими газетами и сводками о боевых действиях, и если бы они вставили в глаза сверкающие монокли, я все равно бы понял, и если бы одели черные очки, я все равно бы увидел, чем дело кончится, и если бы натянули на лицо сетку, какую-то черную маску, я догадался бы по походке, по их генеральской выправке и поведению, что происходит на местах боев... и вот, я ходил по перрону, и вздумалось мне посмотреть на себя в зеркало, я поглядел и вдруг увидел себя со стороны, как тех немцев из всех областей, со всеми отпечатками профессий, и болезней, и слабостей, и пристрастий, которые я, потому что обслуживал эфиопского императора, разгадывал, ведь все же я был учеником пана метрдотеля Скршиванека, который обслуживал английского короля, и вот, поглядел я на себя этим проницательным взглядом и увидел себя таким, каким еще не знал, я увидел «сокола», который, когда казнили чешских патриотов, позволил осматривать себя нацистским врачам, чтобы установить, способен ли он сожительствовать с немецкой учительницей физкультуры, и в то время, когда немцы развязали войну с Россией, я устроил свадьбу и распевал «Die Reihen dicht geschlossen», и в то время, когда дома люди мучились, я прекрасно себя чувствовал в немецких отелях и гостиницах, где обслуживал немецкую армию и эсэсовцев, и когда война кончится, мне никогда не вернуться в Прагу, я увидел, как где-то меня собираются повесить, но я понимал, что и сам приговорю себя и повешусь на первом же фонаре, что в лучшем случае я приговорю себя к десяти годам и больше... и вот, я стоял и смотрел на утреннем вокзале, совершенно пустом, смотрел на себя, как на гостя, который идет навстречу, а потом удаляется от меня, но я, который обслуживал эфиопского императора, я приговорен и к правде, и с тем же любопытством, с каким любовался страданиями и тайнами чужих людей, теперь тем же самым взглядом я смотрел на себя, и мне от этого взгляда было плохо, особенно когда я думал о своей мечте стать миллионером и показать Праге и всем владельцам отелей, что я один из них, и не просто один из них, а может, и выше их, что исключительно и только от меня, от того, что я теперь сделаю, зависит, смогу ли я вернуться домой и купить самый большой отель, сравняться и со Шроубеком, и с паном Брандейсом, с теми «соколами», которые меня презирали и с которыми можно разговаривать только, чувствуя свою силу, силу моего чемоданчика, благодаря которому только за четыре марки, которые Лиза отобрала где-то в Варшаве или Лемберге [1], я куплю отель... отель «Дитие»... а может, купить что-то в Австрии или Швейцарии? Я советовался со своим отражением в зеркале, и за моей спиной тихо проходил скорый поезд, военный госпиталь с фронта... и когда

[1] Лемберг — немецкое название Львова.

он остановился, я увидел в зеркале опущенные шторы, и вот, одна штора поднялась, чья-то рука отпустила шнурок, и в купе лежала женщина в женском ночном белье, она зевала так, что открывалась вся нижняя челюсть, протирала глаза, смотрела заспанными глазами, где остановился поезд? Я глядел, и она тоже, и это была Лиза, моя жена, я увидел, как она выскочила из вагона, и промелькнула, отделенная забором, и выбежала в чем была, и прежде чем я успел сообразить, она уже повисла у меня на шее и целовала меня, как до свадьбы, и я, который обслуживал эфиопского императора, я видел, что она изменилась, как менялись те офицеры, которые приезжали с фронта и в «Корзиночке» проводили счастливую неделю с женой или любовницей, точно так же и Лиза, наверно, видела и пережила невероятное, которое стало реальным... и она опять стала учительницей физкультуры, она везла военный транспорт калек туда же, куда ехал я, в Хомутов, в военный госпиталь у озера, и только я влез со своим чемоданчиком, как сразу же поезд тронулся, я вошел в купе к Лизе, и пока за спущенной шторой и запертой дверью снимал рубашку, она млела, как до свадьбы, потому что эта война, наверно, сделала ее свободной, смиренной, в отплату за прежнее она раздела меня, голые, мы лежали в объятиях друг друга, она позволила мне целовать ей живот и вообще все в ритме движения поезда и соприкасавшихся и на пружинах поднимавшихся буферов... На вокзале в Хомутове уже ждали санитарные машины, и грузовики, и специальные автобусы, такие передвижные больницы на шести колесах, я не слышал, что Лиза докладывала начальнику вокзала, потому как стоял в конце чисто выметенного перрона, мне позволили там стоять только потому, что я вышел с Лизой, потом принялись выгружать то, что прямо с фронта привез поезд, свеженьких калек, пригодных для транспортировки, с ампутированными ногами, одной или обеими, их погружали в машины и автобусы, полный перрон калек, и когда я на них смотрел, то угадывал в них, хотя я их и не знал, тех, кто приезжал на случку в городок над Дечиным, тех, кто прощался в «Корзиночке», я видел завершающую сцену их комедии, их театра, их кинематографа. С первой машиной я поехал туда, куда меня определили, в столовую военного госпиталя, с чемоданчиком на коленях, кожаный чемодан я бросил на крышу в багажник между солдатскими рюкзаками и ранцами. В тот день я обошел окрестности и лагерь, который растянулся у подножия холма, такого черешневого и вишневого сада, спускавшегося к самому озеру, наполнявшемуся водой из квасцовых скал, еще и теперь похожему на Генисаретское озеро [1] или на священную реку Ганг, потому что служители отвозили калек с гниющими после ампутации ранами на длинные молы этого озера, где не было ни одного насекомого, ни одной рыбки, вообще все в этой воде дохло, и уж никогда, пока вытекает вода из квасцовых скал, никогда не появится тут жизнь, вот тут на берегу и лежали калеки, которые уже чуть подлечились, медленно плавали, у кого не было одной ноги ниже колена, у кого обеих, у некоторых вообще не было ног, только туловища, они, как лягушки, двигали в воде руками, из глубокого озера торчали их головы, выглядело все так, как в бассейнах над Дечиным, казалось, что это те же молодцы, вот они подплывали, пробыв в озере, сколько велел врач, подтягивались на руках и выползали на берег, как черепахи, и оставались лежать и ждать, пока служители завернут их в купальные халаты и теплые одеяла, и медленно, одного за другим, целые сотни, по сбегающим вниз и растрескавшимся молам повезут на главное плато перед столовой, где играл дамский оркестр и подавали еду... Больше всего меня волновало отделение с поврежденными позвоночниками, те, что таскали за собой нижнюю часть тела, на суше и в воде они походили на русалок, и еще безногие, с таким маленьким туловищем, будто голова сидела прямо на ногах, но они любили играть в пинг-понг, у них были такие складные хромированные коляски, на которых они умели так быстро передвигаться, что играли в футбол, только вместо ног пользовались руками, и вообще чуть оживут, все одноногие и безрукие,

[1] Генисаретское озеро — библейское название Тивериадского озера, через которое протекает река Иордан.

с обгорелыми головами,— у всех такая ужасная охота к жизни, бывало, они играли в футбол и пинг-понг, и в этот гандбол до самой темноты, а я трубил на горне, вроде бы зорю, сзывал их к ужину, и все, когда приезжали на своих колясках или ковыляли на костылях, все светились здоровьем, потому что отделение, в котором я подавал еду, называлось реабилитационным, а в трех остальных раненым на фронте врачи делали операции и потом лечили электричеством и ионтофорезом... У меня из-за этих калек иногда возникали видения, картины, каких на самом деле не было, я все время видел конечности, которые они потеряли, и так получалось, что недостающие руки-ноги мелькали передо мной, а существующие для меня исчезали, и тогда я пугался, что же, собственно, я вижу? И вот, я всегда приставлял палец ко лбу и говорил себе, почему ты так видишь? Потому что ты обслуживал эфиопского императора, потому что тебя учил метрдотель Скршиванек, который обслуживал английского короля. Раз в неделю мы с Лизой ездили к сыночку в Хеб в отель «У города Амстердама»... Лиза теперь снова принялась за плавание, вот такая она была, все время она полоскалась в квасцовом озере и от купания стала как бронзовая статуэтка, такая крепкая и красивая, что я не мог дождаться, когда мы будем вместе, и Лиза будет ходить по дому голая, и мы опустим занавеси, и вообще Лиза совершенно переменилась. Она накупила книг какого-то имперского спортсмена Фура или Фука о культуре голого тела, примкнула к нудистам, хотя и не вступала в их общество, утром она подавала кофе в одной юбке, а иной раз приходила и голышом, и когда посмотрит на меня, так удовлетворенно кивнет и улыбнется, потому что по моим глазам она видела, что она мне нравится и что она теперь красивая... Но с Зигфридом, нашим сыночком, было мучение, любую вещь, которая попадала ему в руки, он первым делом швырял, пока однажды, когда ползал по полу «Города Амстердама», не нашел молоток, и дедушка шутки ради не дал ему гвоздик, и эта кроха наставил гвоздик и одним ударом забил его в пол... с тех пор наш мальчик, когда остальные дети играли с погремушками и медвежатами, когда другие дети уже бегали, наш Зигфрид ползал по полу и кричал, пока не давали ему молоточек и гвоздики, а он всаживал их в пол, одна радость для него, и когда остальные дети уже начинали болтать, наш сыночек не только что не ходил, но и не говорил даже «мама», но если он видел молоток и гвозди, так весь дрожал, и если он был наверху, так «Город Амстердам» содрогался от ударов молотка, и пол блестел от вбитых гвоздей, и потому у него правая рука стала как у взрослого, даже издали было видно его сильное предплечье, и когда мы приезжали его навестить, так всякий раз я этого не выдерживал, впрочем, сынок ни меня, ни свою мать не узнавал, ничего не требовал, только бы опять ему дали молоток и гвозди, а гвозди были по ордеру, или по карточкам, или на черном рынке, так что мне приходилось, где удастся, доставать гвозди, и сынок ударами забивал шестисантиметровые штыри в пол, и после каждого удара я хватался за голову, потому что с первого взгляда в этом ребенке, в этом посетителе, входящем в ресторан, который был моим сыном, я угадал, что он кретин и останется кретином, и что, когда остальные дети его возраста пойдут в школу, наш Зигфрид едва начнет ходить, и когда остальные дети окончат школу, наш Зигфрид едва научится кое-что читать, и когда остальные дети уже женятся, наш Зигфрид научится определять время и приносить себе газеты, он будет сидеть дома, потому что никому не будет нужен, и только будет вбивать и вбивать гвозди... и вот, я глядел на своего сыночка и в каждый приезд видел пол очередной комнаты, вдоль и поперек забитый гвоздями, я правильно рассуждал еще и потому, что смотрел на нашего мальчика не как на своего сына, а как на ресторанного гостя... однако то, что наш сын был одержим вбиванием в пол гвоздей, было не просто так, эти гвозди, вгоняемые молотком в доски пола, имели свой смысл, когда громыхал налет и все бежали в укрытие, Зигфрид радовался этому громыханию и сиял, когда остальные дети от страха делали в штанишки, наш Зигфрид хлопал ручками и смеялся, и вдруг становился таким красивым, будто не бил его родимчик, спадала пелена с мозга, и когда падали бомбы, Зигфрид вбивал в доски гвоздик за гвоздиком, мы брали их для него в погреб,

и он смеялся, и смех его звучал как рычание... И я, который обслуживал эфиопского императора, я радовался тому, что мой сыночек, хотя и глупый, но все же не такой, чтобы предписывать будущее всем немецким городам, про которые я знал, что с ними кончится точно так же, как с полом в номерах отеля, купил я три кило гвоздей, и Зигфрид забивал их до обеда в пол кухни, и после обеда, когда он вгонял гвозди в пол номеров, гвозди в кухне я с натугой вытаскивал и радовался про себя, что ковры-самолеты маршала Теддера [1] так же вбивают в землю бомбы, точно по плану, и мой сыночек тоже вбивал гвозди всегда по прямой и под прямым углом... славянская кровь опять победила, и я своим парнем гордился, потому что, хотя он еще не говорил, но уже начал ходить, и все время, как Бивой [2], с молоточком в крепкой руке...

Теперь передо мной ни с того ни с сего возникали картины, которые я уже давно забыл, вдруг они всплывали передо мной такие ясные и четкие, что я застывал с подносом минеральной воды, будто пораженный молнией, и достаточно было нескольких секунд у квасцового озера, чтобы передо мной предстал Зденек, тот метрдотель из ресторана «Тихота», который в выходной любил развлекаться так, чтобы растратить все деньги, какие взял с собой, и всегда несколько тысяч... на картине, которая мне явилась, я увидел его дядю, капельмейстера военного оркестра, уже на пенсии, который колол дрова возле своего дома, на лесном участке, совершенно заросшем цветами, соснами, елями, этот дядя когда-то служил капельмейстером в Австро-Венгрии, поэтому он все время носил ту форму, и когда колол дрова, тоже, он написал два галопа и несколько вальсов, которые все еще играли, но никто уже не знал, кто композитор, все думали, что он давно умер, и вот, Зденек, когда мы в наш выходной день, как обычно, ехали в коляске и вдруг услышали военный духовой оркестр, так вот, Зденек встал в коляске и дал знак кучеру, чтобы тот остановился... пошел к военному оркестру, который играл вальс его дяди, и уже стояли автобусы, и через минуту весь оркестр собирался сесть в них, чтобы отправиться куда-то на конкурс военной музыки, но Зденек уговорил капельмейстера, отдал ему все деньги, какие взял с собой, четыре тысячи крон солдатам на пиво, чтобы они сделали то, что он скажет, и вот, мы пересели из коляски в первый автобус, через час вышли в лесу, и сто двадцать музыкантов в форме со своими сверкающими инструментами зашагали по лесной дороге, потом свернули на тропинку, перевитую густым кустарником, над которым поднимались высокие сосны, тут Зденек дал знак, чтоб подождали, и сквозь выломанные планки в заборе исчез в кустах, потом вернулся, рассказал свой план, дал знак, и все солдаты один за другим пролезли через пролом в заборе, а Зденек, как на фронте, отдавал приказания, они окружили домик, спрятанный в кустах, откуда раздавались удары топора, потом потихоньку весь оркестр окружил эту колоду и пожилого мужчину в австрийской старой форме военного капельмейстера, и дирижер военного оркестра, когда Зденек дал знак, вскинул золотую палочку и скомандовал голосом, тут из кустов поднялись и вышли сверкающие духовые инструменты, и оркестр грянул зычный галоп, который сочинил Зденеков дядя и который военный оркестр вез на конкурс, старый капельмейстер так и остался стоять, как рубил поленце, оркестр сделал несколько шагов вперед, все еще по пояс в сосновом и дубовом подлеске, только дирижер со своей золотой палочкой стоял по колено в этой зелени и вскидывал палочку, оркестр играл галоп, инструменты сверкали на солнце, и старый капельмейстер неуверенно оглядывал всех, и на лице у него появилось такое небесное выражение, будто он умер, оркестр доиграл галоп и сразу же перешел к концертному вальсу... а старый капельмейстер рухнул на колоду, он держал топор на коленях и плакал, дирижер военного оркестра подошел с золотой палочкой, дотронулся до плеча старика и, когда тот поднялся, отдал ему эту палочку, Зденеков дядя встал, как он потом говорил нам, он думал, что умер и попал на небо вместе с военным оркестром, он думал, что на небе играет военный

[1] Артур Уильям Теддер (1890—1967) — британский маршал авиации.
[2] Бивой — герой чешской мифологии, прославившийся своей силой.

оркестр, и что дирижер того оркестра Бог, и что он передает ему палочку... и старик дирижировал своей музыкой и когда закончил, из кустов вышел Зденек, пожал дяде руку и пожелал здоровья... через полчаса оркестр уже снова садился в автобусы, а когда эти автобусы уезжали, музыканты сыграли Зденеку туш, торжественные фанфары, и Зденек стоял растроганный, кланялся и благодарил еще и тогда, когда автобусы, а потом и фанфары исчезли с лесной дороги, исхлестанные ветвями буков и буковой поросли... В сущности этот Зденек был какой-то ангел, каждый его выходной, который мы проводили вместе, походил на этот, потом десять дней он придумывал, как потратить свои тысячи, в то время как я запирался и раскладывал по полу стокроновые бумажки, потом босиком ходил по этим купюрам, будто по выложенному кафелем полу, или же ложился на них, будто на какой-то зеленый луг, а Зденек то устроит свадьбу какому-то каменотесу для его дочери, то мы идем с ним в магазин и одеваем в белые матроски всех мальчиков из детского дома, то он оплатит на ярмарке работу каруселей и качелей за целый день, чтобы в тот день все могли кататься даром, один раз в Праге мы накупили самых красивых букетов и баночек разных желе и ходили из одной общественной уборной в другую, и поздравляли сидевших там уборщиц с праздниками, которых не было, с днями рождения, которые уже прошли, и Зденек сиял от счастья, если у какой-нибудь из уборщиц день рождения или именины приходились как раз на этот день... и вот, однажды я сказал себе, что поеду посмотреть в Прагу и заверну на такси в отель «Тихота», чтоб посмотреть, там ли еще Зденек, и если его нет, так где он может быть, и еще побываю там, где жил на воспитании у бабушки, цела ли еще та каморка, в окнах которой появлялись рубашки и кальсоны, потому что сверху их выбрасывали проезжие из окна сортира Карловых бань, и бабушка эти грязные кальсоны чинила и продавала на стройках рабочим и каменщикам... И вот, я стоял на вокзале в Праге и выискивал поезд на Табор, отвернув рукав, чтоб посмотреть, который час, и когда поднял глаза, то увидел, что у киоска стоит Зденек, я так и замер, так вот со мной и бывает, что невероятное становится реальным, и вот, я стоял, замерев, и рука все отгибала рукав, и я заметил, что Зденек оглядывается, словно уже долго ждет, потом он поднял руку, конечно, он кого-то ждал, потому что тоже хотел посмотреть на часы, но вдруг ко мне подошли трое мужчин в кожаных пальто и схватили за руку, которую я все еще держал на часах, я видел, как на меня поглядел Зденек, весь бледный, все вышло так, как бывает во сне, он стоял и смотрел, как немцы погружают меня в машину и увозят, а я удивлялся, куда они меня везут и почему, они везли меня в Панкрац [1], открылись ворота, и опять меня повели, будто преступника, и бросили в камеру... я от неожиданности был так поражен тем, что со мной случилось, но вдруг почти обрадовался и замирал от страха, как бы меня сразу не выпустили, я хотел, потому что война все равно уже клонилась к концу, я хотел, чтоб меня посадили, чтоб держали в концлагере, я мечтал, чтобы меня посадили именно немцы, и немцы, моя счастливая звезда светила мне, открыли двери и повели меня на допрос, и когда я все о себе сказал и причину, почему приехал в Прагу, следователь напустил на себя строгость и спросил, кого я ждал? И я сказал, что никого, и опять открылись двери, вошли двое в штатском, кинулись на меня, разбили нос, выбили два зуба, я упал, они наклонились надо мной, снова и снова спрашивали, кого я ждал, кто должен был передать мне сообщение, я отвечал, что приехал погулять по Праге, просто так, на экскурсию, тогда один из них нагнулся, поднял мое лицо, схватил за волосы и стал бить головой об пол, а тот, что допрашивал, кричал, что если человек смотрит на часы, это означает пароль, что я связан с подпольным большевистским движением... потом меня отнесли и бросили к заключенным, те вытащили выбитые зубы, отерли кровь с лица и расшибленных бровей, а я радовался и смеялся, будто бы ничего не чувствовал, ни побоев, ни ран, ни ушибов, и остальные смотрели на меня так, точно я был солнце,

---

[1] Панкрац — тюрьма в Праге.

герой, эсэсовцы, когда швырнули меня в камеру, с отвращением вопили, ты большевистская свинья! а у меня в ушах их слова звучали, как нежная музыка, как обращение любимой, потому что я начинал понимать, это же входная контрамарка, обратный билет в Прагу, пятновыводитель, жидкость, которой единственной можно смыть то, в чем я запачкался, когда женился на немке, смыть то, что я стоял в Хебе перед нацистскими врачами, которые осматривали мою плоть, способна ли она оплодотворить германскую арийку... разбитое лицо, всего лишь за то, что я смотрел на часы, это же пропуск, который у меня когда-нибудь проверят, и я войду в Прагу как борец против нацизма, и главное, я докажу всем этим шроубекам и брандейсам, всем владельцам отелей, что принадлежу к ним, потому что, если останусь жив, обязательно куплю самый большой отель, какой только есть, пусть если не в Праге, то обязательно где-нибудь еще, потому что с чемоданчиком марок — как хотела Лиза — я мог бы купить и два отеля и выбрать их в Австрии или Швейцарии, но в глазах австрийских или швейцарских хозяев отелей я не выглядел бы ничтожеством, мне вообще не пришлось бы им ничего доказывать или что-то ради них совершать, с ними у меня не могло быть никаких счетов из прошлого, но иметь отель в Праге, и в Праге вступить в гильдию владельцев отелей, и достигнуть поста секретаря всех пражских отелей, вот тогда бы им пришлось меня признать — не любить, но считаться, а мне ничего другого в будущем и не надо... И вот, я отсидел в Панкраце полных четырнадцать дней, на следующих допросах стало ясно, что вышла ошибка, что немцы действительно выслеживали человека, который должен был посмотреть на часы, что они уже схватили связных, и от них узнали все, что нужно, даже то, что там на вокзале находился кто-то другой, а я вспомнил, что там стоял Зденек, и что он тоже хотел посмотреть на часы, и что Зденек мой приятель, я понимал, что меня, в сущности, взяли вместо него, что он станет кем-то очень важным, и если не кто-нибудь из соседей по камере, так уж Зденек обязательно меня защитит, и вот, когда я возвращался с допросов, чуть кто тронет меня рукой, сразу фонтаном кровь из носа, а я улыбался и смеялся, и кровь хлестала у меня из носа... потом меня отпустили, следователь извинился, однако подчеркнул, что интересы рейха обязывают, пусть лучше девяносто девять невинных будут наказаны, чем один-единственный виновный уйдет от них... И вот, под вечер я стоял перед воротами панкрацской тюрьмы, и за моей спиной еще один выпущенный... он как вышел, так и рухнул, сел на тротуар, в фиолетовом затемнении проезжали трамваи, текли вверх и вниз потоки прохожих, молодые люди держались за руки, и в сумерках играли дети, будто и не было войны, будто на свете только цветы, объятия и влюбленные взгляды, в этих теплых сумерках на девушках были такие кофточки и юбки, что и я с охотой смотрел на то, что было приготовлено для мужских глаз, намеренно обещало эротические радости... «Какая красота»,— сказал тот мужчина, когда пришел в себя, и я предложил ему свою помощь... я говорю, сколько лет? Он ответил, что отсидел десять лет... и хотел встать, но не смог, мне пришлось его поддерживать, он спросил, не спешу ли я? Я ответил, что нет, и когда он спросил, за что я сидел, я сказал, за что? за нелегальную деятельность, и вот, мы направились к трамваю, и мне пришлось помогать ему, и опять везде, в трамвае и на улицах, было полно людей, и все будто бы возвращались или шли на какой-то танцевальный вечер, только впервые я заметил, что, в сущности, пражанки красивее, чем те немки, что у них лучше вкус, что на немках любая одежда сидит будто какая-то форма, их дирндлы [1] и зеленые камзольчики с охотничьими шляпками несут отпечаток чего-то военного... И вот, я сидел возле седого молодого человека, наверно, ему было не больше тридцати, и я сказал, что он хоть и седой, но еще такой молодой, а потом ни с того ни с сего спросил, кого вы убили, он долго смотрел на выпиравшие груди девушки, которая держалась

[1] Дирндл — немецкий женский костюм из пестрой ткани, похожей на тафту.

одной рукой за петлю в трамвае, с минуту поколебался и говорит, откуда вы знаете? И я ответил, что обслуживал эфиопского императора... так мы доехали до конечной остановки одиннадцатого маршрута, стало уже темно, и этот убийца попросил, чтобы я пошел с ним к его маменьке, чтобы проводил его, а то он по дороге может упасть... и вот мы курили и ждали автобуса, который быстро пришел, потом проехали три остановки и вышли у Коничкова Млына, этот убийца сказал, что лучше пойдет задворками через деревню Макотржасы, чтобы поскорее быть дома, и главное, чтобы удивить маменьку и попросить у нее прощения... я сказал, что пойду с ним до околицы, только до ворот родного дома, его дома, потом вернусь на главную дорогу и поеду автостопом, все это я делал не из какого-то сочувствия или любезности, я все время думал о том, чтобы у меня было побольше алиби, когда кончится война, а то, что она скоро кончится, этого нельзя было не видеть, так мы и шагали звездной ночью, пыльная дорога через темную деревню снова вывела нас в сыроватые поля, синие, как копировальная бумага, с узеньким серпом луны, которая сияла оранжевым светом и кидалась на нас то сзади, то с обочины, то спереди, отбрасывала тоненькую, еле заметную тень... потом перед нами вырос бугорок, такой, будто земля просто вздохнула, и он сказал, что отсюда должна быть видна его деревня, его дом... но когда мы взошли на вершинку, то не увидели ни одного строения... убийца засомневался и даже испугался, забормотал, что это невозможно, неужели он заплутал? Наверно, за тем, за другим оврагом, но когда мы прошли метров сто, убийцу и меня охватил страх... теперь убийца задрожал еще сильнее, чем когда вышел из ворот панкрацской тюрьмы... он сел и вытирал лоб, который блестел так, будто по нему текла вода... Что такое, говорю. «Тут была деревенька, и теперь ее вовсе нет, я схожу с ума, или одурел, или что?» — бормотал убийца... Я говорю, как эта деревня называется? И он отвечал: «Лидице»... Я говорю, она была тут, но теперь деревни нет, немцы ее сожгли, людей расстреляли, оставшихся отвезли в концлагерь. А убийца допытывался, почему? Я говорю, потому что убили имперского протектора [1] и следы убийцы вели сюда. И убийца сидел, и руки у него свисали вдоль согнутых коленей, будто два плавника... И потом он поднялся и, как пьяный, ходил по этому лунному пепелищу, остановился перед какой-то жердью и обнял ее, но это оказалась не жердь, а ствол дерева, торчала из него единственная обрубленная ветка, точно на этой ветке казнили, вешали. «Это тут,— сказал убийца,— тут, это наш орех, тут был наш сад, и тут,— он медленно прошагал,— и тут где-то...», потом испугался и руками ощупывал засыпанные фундаменты дома и сараев, потом пополз, будто слепой, который читает книгу, воспоминания прибавляли ему сил, и когда ощупал на коленях весь родной дом, сел под ствол и закричал: «Вы убийцы!» Он встал и сжимал кулаки, и в свете узкой луны голубые жилы выступили у него на шее... и когда он накричался про убийц, этот убийца сел на землю, скорчился, руки сомкнул под коленями и раскачивался, будто в кресле-качалке, и смотрел на эту ветку, перечеркивавшую серп луны, и говорил, будто исповедовался... у меня был красивый папенька, он был красивее, чем я теперь, я по сравнению с ним не удался, хотя и я красивый, папенька любил женщин, и женщины еще больше любили папеньку, и вот, папенька ходил к соседке, я его ревновал, и маменька страдала, и я видел, как папенька, понимаете? Вот за эту ветку он держался и когда раскачал ее, то так ловко направил, что очутился по другую сторону забора, а там красивая соседка, однажды я папеньку поджидал, и когда он перелетел через забор, мы с ним поругались, и я папеньку зарубил топором, не потому, что хотел убить, но я любил маменьку, и маменька страдала... и теперь от всего остался только ствол ореха... и моя маменька, она, наверно, тоже мертвая... Я говорю, может, в концлагере, скоро вернется... И убийца поднялся и спросил, пойдете со мной? Мы пойдем спросим... и я ответил,

[1] В 1942 году участниками Сопротивления был убит Гейдрих, «имперский протектор Богемии и Моравии».

почему бы нет... я знаю немецкий... И вот, мы отправились в Кладно и ближе к полночи пришли в Крочеглавы, спросили у немецкого патруля, где здание гестапо? И патруль нам показал, куда идти. Мы стояли перед воротами, на втором этаже шло какое-то веселье, шум и гул, какое-то звяканье и женский пронзительный смех... Сменился патруль, был уже час ночи, и я спросил старшего охраны, можно ли поговорить с начальником гестапо? И он заорал: «Was?» И чтобы мы пришли утром, но тут открылись двери, и вывалилась толпа эсэсовцев в форме, они расходились в хорошем настроении и весело прощались, наверно, после какого-то торжества, какой-нибудь вечеринки, или именин, или дня рождения, а я вспомнил, как каждый день в приподнятом настроении гости уходили от нас, из отеля «Париж», когда пугал их поздний час или приходило время закрывать... на верхней ступеньке стоял военный, он держал подсвечник со свечками, пьяный, в расстегнутом мундире, волосы свисали на лоб, он поднимал на прощание подсвечник, а когда увидел нас, спустился на самый порог и спросил старшего охраны, который отдавал ему честь, кто мы такие? И старший ответил, что мы хотели бы с ним поговорить... и убийца сказал, чтобы я перевел все, что он мне говорил, что он десять лет отсидел в тюрьме и теперь пришел в Лидице домой, и не нашел ни Лидице, ни матери, и что он хочет знать, что случилось с его маменькой? Начальник засмеялся, с наклоненной свечки, будто слезы, капали крупинки горячего воска... и стал подниматься по лестнице вверх, но потом заорал: «Halt!» Двери охраны открылись, начальник опять спустился и спросил, за что ты получил десять лет? И убийца ответил, что убил отца... Начальник поднял подсвечник с этими свечками, все еще капающими воском, и осветил лицо убийцы, и вот, он будто бы ожил, будто обрадовался, что судьба в эту ночь послала ему того, кто пришел спросить о своей маменьке, кто убил своего отца и кто оказался в положении, в какое часто попадал сам начальник, когда убивал по приказу и по свободному выбору... и вот, я, который обслуживал императора и часто становился свидетелем, как невероятное становится реальным, я увидел, как государственный имперский убийца, убийца тысяч и тысяч, украшенный наградами, которые звенели у него на груди, поднимается по ступенькам вверх, а за ним шагает обыкновенный убийца, убийца отца, я хотел уйти, но старший охраны взял меня за плечи, показал на ступеньки и грубо повернул к ним... И вот, я сидел у большого стола перед остатками угощения, такие столы бывали после свадьбы или выпускных экзаменов, остатки торта и начатые, недопитые и допитые бутылки, в центре сидел пьяный эсэсовец и выпытывал снова и снова о том, а я переводил, как все произошло у того ствола ореха десять лет назад, но больше всего начальник радовался тому, какая совершенная постановка дела в Панкраце, что заключенный не узнал, что в Лидице и с Лидице произошло... И еще раз в тот вечер невероятное стало реальным, меня, спрятавшегося за ролью переводчика, с разбитым, но уже заживающим лицом, он не опознал, но я узнал в начальнике гестапо одного из гостей на моей свадьбе, того господина, который меня не поздравил и не подал руки, в тот раз я протянул бокал и щелкнул каблуками свадебных лакированных штиблет, но так и остался стоять с вытянутой рукой и бокалом, чокнутый от своего счастья, но ответа я не получил, в тот раз я был так страшно опозорен, что покраснел до самых корней волос, так же опозорен, как тогда, когда не захотел со мной выпить пан Шроубек, владелец отеля, и пан Скршиванек, который обслуживал английского короля... и теперь судьба подкинула мне еще одного из тех, кто не заметил моего доброго намерения в застольном приятельстве... вот он сидит передо мной и бахвалится, что может поднять с постели, разбудить какого-то начальника архива, и потом вместе с нами берет регистрационную книгу, перелистывает у стола с остатками угощения, переворачивает и макает страницы в различные соусы и ликеры, пока не находит нужную, чтобы прочитать, что случилось, и сообщает, что маменька убийцы в концентрационном лагере и до сих пор возле ее имени нет ни даты, ни крестика, означающих, что она умерла.

Когда на другой день я вернулся в Хомутов, оказалось, что я уже уволен, они получили сообщение, и всего лишь подозрения было достаточно, чтобы мне укладывать чемоданы, еще я нашел письмо, что Лиза уехала к Зигфриду и к дедушке в Хеб в ресторан «У города Амстердама», чтобы я приезжал к ним, чемоданчик она взяла с собой, и вот, я добрался на машине почти до самого Хеба, но тут пришлось подождать, потому что объявили о налете на Хеб и Аш, и когда я лежал с солдатами в траншее, то услышал приближавшееся гудение, словно размеренно и ритмично работал какой-то станок, такое гудение, что привиделся и почти возник передо мной мой сыночек, я видел, как каждый день и, конечно, сегодня тоже, ведь я купил ему пять кило восьмидюймовых гвоздей, как он ползает и размеренно и ритмично сильными ударами молотка с одного раза всаживает в пол гвоздик за гвоздиком, с таким восторгом, будто сажает редиску, сажает шпинат... Налет кончился, я сел в военную машину, и когда мы приближались к Хебу, по обочине шли поющие люди, пожилые немцы, и пели какие-то веселые песни, пели, наверно, насмотревшись всего, одурев или помешавшись, а может, у них такая привычка в несчастье петь веселые песни, а потом уже нам навстречу летели пыль и золотистый дым, мы видели в канавах вдоль дороги убитых, навстречу нам летели улицы с горевшими домами, санитарные взводы вытаскивали полузасыпанных людей, медицинские сестры опускались на колени и перевязывали головы и руки, со всех сторон раздавались стоны и причитания, а я вспомнил, как проезжал тут в коляске и в машине, на свадьбу, как заметил тогда, что они опьянены победой над Францией и Польшей, и теперь я видел те же красные флаги со свастикой, которые сладострастно лизал огонь, эти флаги и знамена горели с треском, будто они особенно вкусны для огня, огня, поднимавшегося по красному сукну вверх, и обгорелый край заворачивался, будто хвост морского конька... и потом я стоял перед горевшей и осыпавшейся стеной отеля «У города Амстердама», тянул легкий ветерок и уносил бежевое облако дыма и пыли, я видел, как на последнем этаже, как сидит там мой сыночек и продолжает точными ударами вбивать в пол гвозди, я видел, какая сильная у него правая рука, и самые сильные в ней запястье и локоть, как у теннисиста, я видел двигавшийся бицепс, который одним ударом вбивал гвоздики в пол, будто не падали бомбы, будто ничего на свете не происходило... И вышло так, что на следующий день, когда все вернулись из убежища, не пришла Лиза, моя жена, говорили, что вроде бы она осталась где-то во дворе, я спрашивал о маленьком поцарапанном чемоданчике, говорили, что Лиза все время держала его при себе... и вот, я взял кайло и целый день искал во дворе, на следующий день я дал сыночку пять кило гвоздей, и он весело вбивал их в пол, в то время как я искал свою жену, а его маменьку, и только на третий день натолкнулся на ее туфли, медленно, потому что Зигфрид кричал и плакал, что у него нет гвоздиков, никто не приносил ему новых, и он бил молотком по головкам уже забитых, медленно я вытаскивал из развалин и мусора свою Лизу и когда добрался до половинки ее тела, то увидел, как, свернувшись в клубочек, она защищала своим телом фибровый чемоданчик, который я прежде всего заботливо спрятал, и потом выкопал свою жену, но без головы. Воздушной волной ей оторвало голову, которую мы искали еще два дня, а сыночек продолжал бить молотком и вбивать гвозди в пол и в мою голову. И вот, на четвертый день я взял чемоданчик и, не попрощавшись, ушел, и позади меня затихали удары молотка и звук вбиваемых гвоздей, эти удары я слышал потом почти всю свою жизнь, потому что в тот вечер должны были приехать за моим сыночком Зигфридом из общества для помешанных детей, а Лизу мы похоронили в братской могиле, даже будто и с головой, но это была только намотанная на туловище шаль, чтобы люди не подумали бог весть что... хотя ради этой головы я перекопал весь двор.

Хватит вам? На этом сегодня закончу.

КАК Я СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ

Послушайте-ка, что я вам теперь скажу.

Тот чемоданчик с редкими марками принес мне счастье. Но не сразу, потому что после окончания войны я попал под малый декрет [1], хотя я и сообщил адрес того начальника гестапо, того убийцы стольких людей, который убежал и спрятался где-то в Тироле, а я у своего тестя в Хебе выведал место его пребывания, тогда Зденек получил разрешение от американской администрации и на машине с двумя военными поехал за ним, а тот отрастил бороду и косил луг, переодетый в тирольские штаны и рубашку. И хотя его посадил я, все равно «соколы» из Праги отправили меня в тюрьму не за то, что я женился на немке, а за то, что в то время, когда казнили тысячи чешских патриотов, я стоял перед нацистским управлением крови и немецкой чести, и они подвергали меня осмотру, я, активный член «Сокола», добровольно позволил осматривать себя, способен ли я на половую жизнь с германской арийской женщиной, и вот, за это мне дали по малому декрету полгода... потом я продавал марки и получал за них такие суммы, что мог бы устилать ими десять полов в своей квартире, и когда я набрал сумму, покрывавшую сорок полов, я купил отель на окраине Праги, отель, в котором было сорок номеров... Но в первую же ночь мне послышалось, что на верхнем этаже, в мансарде, кто-то каждую минуту с ужасным шумом плотницким топором вбивает гвозди в пол номера, и потом каждый день не только в том номере, но и во втором, и в третьем, в десятом и даже, наконец, в сороковом — во всех сразу и всюду, по каждому полу на четвереньках ползает мой сыночек, сорок сыночков, и каждый мощным взмахом вбивает в пол гвозди, в один пол за другим, и так ежедневно до сорокового дня... и когда я на сороковой день, оглушенный ударами, спрашивал, не слышит ли кто-нибудь удары молотком, то никто не слышал, один я, и тогда я этот отель поменял на другой, специально выбрал всего из тридцати номеров, но все повторилось и там, и тогда я рассудил, что деньги за почтовые марки были неправедные, что это были деньги, отнятые насильно, и человека при этом убили, может, это были марки какого-нибудь колдуна-раввина, потому что удары и гвозди, вбиваемые в пол, в сущности, были гвозди, вбиваемые в мою голову, при каждом ударе я чувствовал, как гвоздь проникает мне в череп, при втором ударе, как он вошел в череп до половины и потом весь, и под конец я не мог даже сглотнуть, потому что эти длинные штыри в конце концов доходили до самого горла, но я с ума не сошел, потому что у меня была цель — иметь отель и сравняться со всеми хозяевами отелей, и я не хотел и не мог отступить, ведь я жил только одной мечтой, что когда-нибудь достигну, к примеру, такого положения, как у владельца отеля пана Брандейса, не обязательно чтобы у меня были золотые приборы на четыреста гостей, как у него, пусть лишь сто золотых приборов, зато у меня будут жить самые знаменитые иностранцы... и тогда я начал строить отель, совершенно не такой, как остальные отели в Праге, я купил заброшенную каменоломню и начал дополнять и улучшать все, что там было, как в отеле «Тихота», в бывшей кузнице, я задумал устроить огромную кофейную с глиняным полом и двумя очагами, я оставил и четыре маленькие наковальни со всеми молотками и всеми клещами, висевшими на черных стенах, в этих очагах и кузнечных горнах на решетках на глазах у гостей будут жариться шашлыки и охотничье жаркое, я купил кожаные кресла и столы, все по совету архитектора, чокнутого, который все, о чем мечтал сам, выполнял для меня, и он приходил в такой же восторг, как и я, и вот, в тот же день, как мы устроили эту кофейную, я лег в ней спать, в первую ночь я слышал удары, но они были совсем слабенькие, в глиняный пол эти гвозди входили быстро, как в масло, так что удары в моей голове отдавались приглушенно, и я с еще большим желанием взялся строить гостиничные номера, маленькие кельи, устроенные в длинном бараке, наподобие барака в концлагере,

[1] Имеется в виду закон, согласно которому люди, в той или иной мере сотрудничавшие с фашистами, должны были понести наказание.

тут прежде были раздевалки для рабочих, но я велел переделать их в номера, в тридцать номеров, и на пробу я велел сделать пол из грубых, шершавых квадратиков кафеля, такой пол, какой делают в Италии и Испании, и всюду, где бывает жарко, и в первый день я решил проверить, стал прислушиваться, но услышал, как эти гвоздики лишь скользят по моей голове, выбивают искры, такой твердый был этот кафель, и потом, так и не пробив мой череп, эти искры пропали, а я выздоровел и начал спать, как раньше... строительство шло так быстро, что через два месяца я открыл отель и назвал его «У разлома», потому что во мне тоже что-то разломилось и отпало. Это был действительно первоклассный отель, и жили тут только те, кто заранее заказывал номер, отель стоял в лесу, и номера полукругом огибали голубое озеро на дне каменоломни, а на гранитной скале, возвышавшейся на сорок метров, я велел альпинистам посадить альпийские растения и декоративные кусты, какие растут в подобных условиях, и еще над озером был подвешен стальной канат, один его конец закрепили на вершине скалы, а другой спускался до самого низа, каждый вечер у меня в отеле был аттракцион, я нанимал артиста, который брался за ролик, стальное кольцо с продетым в него шестом, выжидал момент, отталкивался от скалы, съезжал по канату вниз, а над озером отпускал ролик, который катился до самого низа, артист в подсвеченном фосфоресцирующем костюме на мгновение замирал в воздухе, делал сальто, потом, выпрямившись, с вытянутыми над головой руками ввинчивался в глубину озера, чтобы потом не спеша, ритмично, в облегающем фосфоресцирующем костюме плыть к берегу, на котором стояли столики и кресла. Все было белое, я все велел покрасить белым, белый теперь стал моим цветом, такой я устроил Баррандов [1], только у меня получилось оригинальнее, я мог теперь соперничать с каждым, я бы им сказал... вот так, идею с роликом выносил официант-коротышка, который однажды после обеда поднялся наверх, ухватился за этот ролик, съехал вниз и отпустил его над озером, гости закричали от ужаса, кто вскочил, кто упал в кресло, все кресла были в стиле Людовика, а официант-коротышка, во фраке, выпрямился, нашел в воздухе равновесие и головой ввинтился в озерную глубину, озеро будто поглотило меня.... и в ту же минуту я понял, что такое должно быть тут каждый день и что вечером костюм надо подсвечивать, я не мог на этом прогореть, даже если бы захотел, потому что такого не было ни у кого не только в Праге, но и во всей Чехии, а может, во всей Центральной Европе... как я потом узнал — и во всем мире, потому что однажды мне доложили, что у нас поселился писатель по фамилии Стейнбек... он выглядел как морской капитан или пират, и ему тут так понравилось, ту кофейную я переделал в ресторанный зал, и этот огонь, и эти повара, работавшие прямо перед гостями, и то, что они заканчивали приготовление шашлыков и охотничьего жаркого прямо тут, и гости от того, что смотрели на них, начинали испытывать такой голод и такой аппетит, что были похожи на детей, так вот, этому писателю больше всего понравились разные станки, оставшиеся от каменоломни, запыленные мельницы для дробления гранита и обнаженные конструкции лесов, тут можно было видеть все, точно на какой-то выставке мельниц или на выставке, где показывают автомобили в разрезе, чтобы виден был мотор, так вот, этот писатель был просто околдован разными станками, стоявшими на равнинке перед каменоломней, откуда была видна вся выставка, эти станки стояли там будто десятки скульптур, придуманных спятившими скульпторами, всякие брошенные фрезы и токарные станки, и вот, этот писатель Стейнбек, так его звали, велел поставить белый столик с ажурными креслами и стульями и выпивал тут после обеда одну и вечером еще одну бутылку французского коньяку... окруженный этими станками, а под ним внизу мельница, он смотрел вдаль на такой скучный пейзаж, там, где Большие Поповичи, но чем-то тому

---

[1] Баррандов — холм на окраине Праги, район вилл, построенный отцом нынешнего президента Чехо-Словакии Вацлава Гавела; там также находятся киностудия и самый роскошный в Праге ресторан.

писателю этот пейзаж показался таким красивым, а эти станки таким искусством, что он сказал мне, мол, такого еще не видел, в таком отеле еще никогда не жил, что такое в Америке может себе позволить разве какой-нибудь знаменитый актер, Гарри Купер или Спенсер Тресси, а из писателей один Хемингуэй, и он спросил, сколько бы я хотел за это, и я сказал, два миллиона крон... он подсчитал что-то на столе и попросил, чтобы я пришел, вытащил чековую книжку и сказал, что он покупает и предлагает мне чек на пятьдесят тысяч долларов... и я несколько раз переспрашивал, и он всякий раз добавлял, чек на шестьдесят, на семьдесят, на восемьдесят тысяч долларов... но я видел и знал, что этот отель не могу продать и за миллион долларов, что он для меня все, потому что этот отель «У разлома» — самый большой взлет моих сил, моих стремлений, теперь я стал первым среди всех владельцев отелей, потому что таких отелей, как у пана Брандейса, как у пана Шроубека, в мире сотни и тысячи, но такого, как у меня, нет ни одного... И вот, однажды приехали на машине самые крупные пражские владельцы отелей, включая пана Брандейса и пана Шроубека, они заказали ужин, метрдотель и младшие официанты приготовили им стол с самым большим вниманием и вкусом, только ради них я устроил снизу подсветку скалы десятью прожекторами, спрятанными под рододендронами, и вся скала была будто в зареве, и от этого выступили острые грани и фантастические тени, и цветы, и кустики, и я решил, что, если эти хозяева отелей намерены примириться, принять меня в свою среду, предложить мне членство в гильдии владельцев отелей, я забуду обо всем, точно так же, как будто бы забыли и они. Однако они не только делали вид, что никогда меня не видели, но и сидели спиной ко всем красотам моего заведения, и я вел себя точно так же, я чувствовал себя победителем, ведь я убедился, что они повернулись спиной к исключительности моего отеля только потому, что узнали и поняли, что теперь я дотянулся и стал выше их, ведь у меня останавливался не только Стейнбек, но и Морис Шевалье, за которым приехало и поселилось в окрестностях каменоломни столько женщин, Шевалье принимал их по утрам в пижаме, и они кидались на него, эти поклонницы, раздевали певца, на кусочки разрывали пижаму, чтобы каждая унесла на память полоску его пижамы, если бы они могли, они разорвали бы и самого Шевалье и унесли бы на память кусочек мяса, каждая по своему вкусу, но судя по их характерам почти все вырвали бы из знаменитого певца прежде всего сердце, а потом уж его мужскую плоть... и этот Шевалье приволок за собой столько газетчиков, что фотографии моего «У разлома» появились не только во всех наших, но и в иностранных газетах, я получил вырезки из «Франкфуртер альгемайне», и «Цюрихер цайтунг», и «Цайт», и в самой «Геральд трибюн» был мой отель и в центре плато сумасбродные женщины вокруг Шевалье, а позади и вокруг них эти скульптуры из инструментов и станки, окруженные белыми столиками и стульями, у которых спинки сделаны в виде стилизованных усиков винограда, выкованных художниками-кузнецами из железных полосок... потому, в сущности, и приехали эти хозяева отелей, хотя со мной и не примирились, они приехали только ради того, чтобы посмотреть, и то, что они увидели, было намного сильнее и красивее, чем они представляли, и главное, еще потому, что теперь, когда они увидели и поняли, что каменоломню со всем, что в ней оставалось, я купил за гроши, они возревновали, ведь я как купил, так все и оставил, как было, а перестроил только внутри, и теперь любой, кто хоть что-то понимал, признавал и ценил меня, точно я был какой-то художник... и это был мой высший взлет, то, что сделало из меня человека, который недаром прожил. Я и сам только потому начал смотреть на мой отель как на художественное произведение, как на мое творение, что так видели его другие... у меня открылись глаза, и я, правда, уже потом, когда уже было поздно, но все же понял, что, в сущности, эти станки и есть скульптуры, красивые скульптуры, которые я бы не отдал ни за какие сокровища, я даже думал, что этот мой объект в каменоломне подобен тому, что собрал путешественник Голуб, что собрал этнограф Напрстек, и еще придет время, когда тут на каждом станке, на каждом камне и на всем будет наклеена

табличка «памятник истории»... и все же я чувствовал себя униженным этими хозяевами отелей, потому что все равно я не принадлежу к их обществу, все равно я им неровня, хотя я и выше их, по ночам я часто жалел, что нет больше старой Австрии, были бы маневры, поселился бы тут сам император или какой-нибудь его эрцгерцог, я бы его обслуживал, готовил разные блюда, и он, конечно бы, повысил меня до дворянского звания, не высоко, но так, чтоб я был барон... И я так мечтал, пока не пришла страшная жара, и на полях все высохло, и растрескалась земля, и дети бросали записочки в трещины, образовавшиеся в земле, а я мечтал о зиме, когда выпадет снег и придут морозы, как я отполирую гладь озера, и на это озеро поставлю два столика, и на них два старых граммофона, один с голубой и другой с розовой трубой, похожей на большой цветок, куплю старые граммофонные пластинки и буду играть только старинные вальсы и забытые мелодии, и в кофейной будет пылать в очаге огонь, и на берегу озера в металлических корзинах будут гореть поленья, и гости будут кататься на коньках, я куплю старые или велю сделать коньки на ремешках, и кавалеры будут пристегивать дамам коньки, они присядут на корточки, а на коленях у них дамские ножки; и я буду подавать горячий пунш... и пока я так мечтал, газеты и политические партии спорили, кто будет оплачивать засуху, во время которой мне так прекрасно мечталось о зимних праздниках в отеле «У разлома», а в парламенте депутаты и члены правительства ссорились из-за того, кто будет оплачивать засуху, и сошлись на том, что это сделают миллионеры, и мне их решение доставило большое удовольствие, потому что я тоже миллионер, и я надеялся, что теперь мое имя появится в газетах, что оно будет рядом со Шроубеком и Брандейсом и остальными и что эту засуху послала мне моя счастливая звезда, а это несчастье — мое счастье, благодаря ему я почувствовал себя там, где мечтал быть во сне, в котором эрцгерцог повысил меня в дворянское звание, и теперь я, коротышка, ведь я всегда выглядел как мальчик-официант, стану высоким, я миллионер... Но потом уплывал месяц за месяцем, и мне никто ничего не присылал, никто не требовал, чтобы я заплатил миллионерский налог, и тогда я купил два граммофона и вдобавок велел привезти прекрасный оркестрион, я купил не только оркестрион, но и старую карусель с такими большими качающимися лошадками и оленями, и ланями и велел эту карусель разобрать, а коней и оленей на прежних пружинах поставить на парапете вокруг озера, и каждый гость мог сесть на них с супругой, словно на какой-то шезлонг, такие это были французские стулья, поставленные лицом друг к другу, такие маленькие канапе, где можно сидеть с барышней и беседовать, и вот, я поставил по два оленя и по два коня рядом, будто на какой-то галантной верховой прогулке, и вправду это прижилось, гости садились с дамами на коней и оленей, наигрывал оркестрион, гости качались на этих деревянных зверюшках с прекрасными чепраками и красивыми глазами и вообще, потому что эта карусель была немецкая, принадлежавшая какому-то богатому владельцу тира и луна-парка... И вот, однажды ко мне пришел Зденек, он стал большим паном в районе, а может, и в крае и совершенно переменился, он стал совсем не такой, как бывало, он качался на коне и смотрел вокруг, и когда я присел на соседнюю лошадку, он так спокойно объяснил и потом в доказательство взял сложенный лист и, прежде чем я мог его удержать, медленно разорвал этот лист, в котором было написано, что я миллионер и должен заплатить миллионерский налог, потом Зденек спрыгнул с коня, бросил в огонь эти обрывки бумаги, этот прекрасный, почти дворянский мой указ, он печально так посмеялся надо мной, допил минеральную воду, Зденек, который пил только крепкий алкоголь, и с грустной улыбкой он уходил от меня, его ждала роскошная машина, черный лимузин, чтобы опять отвезти туда, откуда он приехал, куда-то в политику, в которой он работал, в которую, наверно, верил, которая его поддерживала и которая, должно быть, была прекрасной, если могла заменить все сумасбродные выходки, на которые он тратил все деньги, какие брал с собой, всегда какое-нибудь филантропическое коленце, будто эти деньги жгли его, и он спешил вернуть их людям,

которым, как он думал, эти деньги должны принадлежать... и потом события закрутились так, как я мечтал, в отеле «У разлома» я устраивал сенсационные вечера и послеобеденные развлечения, в отеле «У разлома» граммофоны и катание на коньках, костры в очагах кофейной и вокруг замерзшего озера, но гости, которые приезжали, были печальные, а если веселые, то как-то не так, это была та веселость, какую я знал, это была такая деланная веселость, как у немцев, когда они радовались, но знали, что со своими женами и возлюбленными видятся в «Корзиночке» последний раз, и потом прямо на фронт... Вот так и мои гости прощались со мной, подавали руку и махали из машин, будто уезжали навсегда и уж никогда сюда не приедут, а если приезжали, так опять было то же самое, они были грустные, подавленные, потому что все в политике перевернулось, хотя досюда еще не так доходило, был февраль [1], и все мои гости знали, что им конец, они проматывали что могли, но безмятежность и радость потерялись, я тоже перенял у них эту печаль, перестал, как бывало, после каждого дня ночью, заперев двери и опустив занавеси, раскладывать, будто пасьянс, раскладывать, будто карты, ежедневную выручку в стокроновых бумажках, которую каждое утро я относил в банк, именно в те дни я положил уже миллион крон... и вот, пришла весна, и мои гости, ведь не все немецкие офицеры возвращались в «Корзиночку», так и мои гости, мои почетные посетители, перестали приходить, и я узнавал, что им конец, что они арестованы, посажены в тюрьму, что некоторые убежали за границу... но приходили другие гости, выручка стала еще больше, а я думал, что же случилось с теми, кто бывал у меня каждую неделю, а из них сегодня пришло только двое, и эти двое мне сказали, что они миллионеры и завтра их осудят, что им велели взять с собой крепкие ботинки и одеяла, и запасные носки, и еще еду, что их отвезут куда-то на сборный пункт и оттуда в лагерь, потому что они миллионеры... и я обрадовался, хорошо, что у меня тоже миллион, я принес сберегательную книжку и показывал этим двум гостям, у одного был завод спортивных снарядов, а у другого фабрика искусственных зубов, я показал им сберегательную книжку, пошел взял вещевой мешок, крепкие ботинки на шнурках, запасные носки, еду в консервах, я тоже приготовился, что за мной придут, потому что фабрикант искусственных зубов рассказал, что все хозяева пражских отелей уже получили такие повестки... И к утру они уезжали и плакали, потому что им не хватило отваги перебежать границу, они уже не хотели рисковать, они говорили, что Америка и Объединенные Нации этого не допустят, что они все свое получат назад, вернутся в свои виллы, к своим семьям... Я ждал день, потом два, потом неделю, я получал из Праги известия, что все миллионеры уже в сборном лагере, что этот лагерь в училище для священников в монастыре Святого Яна под Скалой, в огромном монастыре, где был пансионат для будущих священников, но теперь их выселили... И вот, я решил, что пойду туда, но как раз в тот день пришли из района и вручили мне тактичное сообщение, что национальный комитет забирает отель «У разлома» и что я пока остаюсь в нем как управляющий, что все имущественные права переходят к народу... Но я обозлился, я знал, как, наверное, все вышло, опять Зденек, и вот, я отправился в район и сидел в канцелярии у Зденека, он ничего не говорил, только грустно улыбался, взял со стола листок и на глазах у меня опять его разорвал, а мне сказал, что мою повестку он порвал на свою ответственность, потому что в тот раз, когда я смотрел на часы, я все взял на себя, но я ответил, что такого от него не ожидал, я думал, что он мой товарищ, а он против меня, потому что я тот, кто всю жизнь не хотел ничего, не прилагал усилия ни к чему, кроме одного-единственного — быть хозяином отеля, быть миллионером... Я ушел и той же ночью стоял перед воротами освещенного училища для священников, ворота караулил милиционер с пистолетом как у военного, и я ему заявил, что я миллионер, владелец отеля «У разлома» и хочу

[1] В феврале 1948 года в Чехословакии на выборах победили демократические силы во главе с коммунистами, началась национализация.

переговорить с начальником о важном деле... милиционер поднял трубку, и через минуту меня впустили в ворота, потом в канцелярию, где сидел другой милиционер, но без пистолета, перед ним лежали списки и повестки, и он, не отрываясь, пил пиво, когда допивал одну бутылку, бросал ее под стол и вынимал из ящика следующую, открывал и жадно пил, будто делал только первый глоток... я спросил, не потеряли ли они какого-нибудь миллионера.. мол, я не получил повестку, хотя тоже миллионер... он посмотрел в бумаги, карандашом водил по именам, потом сказал, значит, я не миллионер и могу спокойно идти домой... но я говорю, что это ошибка, что я миллионер... но он взял меня за плечи, повел к воротам и выталкивал, и орал, раз у меня в списках вас нет, значит, вы не миллионер! Я вытащил сберегательную книжку и показываю, что у меня на книжке один миллион сто одна крона и десять геллеров... и говорю с победным видом, а это что? И он вытаращил глаза на мою сберкнижку... я стал клянчить, вы бы меня все-таки не прогоняли... Тогда он смилостивился и втащил меня в семинарию, и объявил, что я интернирован, и записал все мои данные и нужную информацию... Этот интернат для будущих богословов выглядел и вправду как тюрьма, как казарма, как общежитие для бедных студентов, одно только, что на лестнице на каждом повороте, между окнами, всюду висело распятие вперемежку со сценами из жизни святых. И почти на каждой картине изображены какие-нибудь муки, ужасные пытки, поданные художником с такой точностью, что жизнь четырехсот миллионеров вчетвером или вшестером в одной келье казалась сущим пустяком. Впрочем, я ждал, что тут будут такой же террор и злоба, как после войны, когда я отбывал в тюрьме свои полгода по малому декрету, но вышло наоборот, тут, в этом училище Святого Яна, тут была комедия. В трапезной устроили суд: пришли милиционеры с пистолетами как у военных и с красными лентами через плечо, ремни у них все время спадали, форма была не по мерке, а будто нарочно маленьким — велика, а высоким — мала, поэтому они предпочитали ходить расстегнувшись и судили нас так, что каждый миллионер за каждый миллион получал один год, я за свои два миллиона получил два года, пан фабрикант спортивных снарядов за четыре миллиона — четыре года, больше всех получил владелец отеля Шроубек, десять лет, потому что у него было десять миллионов. И самая большая трудность заключалась в том, по какой статье присудить нам эти сроки и национализацию, так же как по вечерам стало ужас какой проблемой нас сосчитать, каждый вечер кого-то не хватало, может, потому, что мы ходили в соседнюю деревню с кувшином за пивом, а может, потому, что наши караульные все время пили, вот они и не могли нас сосчитать, даже если и начинали сразу после обеда. Тогда они выбрали метод считать десятками, один из караульных хлопал в ладоши, другой клал камушек, чтобы потом, когда сосчитают последнего, подсчитать камушки и прибавить к результату нуль и последнюю цифру, которая не дотянула до десяти. Но всякий раз нас было то больше, то меньше, а если были все и число интернированных миллионеров несколько раз совпадало и было записано, и все вздыхали с облегчением, то как раз в эту минуту приходили еще четыре миллионера и приносили ящик пива и еще кувшин, и тогда, чтоб не путаться, их объявляли вновь прибывшими, и каждый опять получал срок по числу миллионов, о которых заявил, вдобавок к уже записанным годам. Хотя это и был интернат, но забора тут не было. У ворот сидели милиционеры, и миллионеры уходили и возвращались через сад, но, возвращаясь, им полагалось пройти через ворота, которые милиционеры всякий раз открывали и закрывали, и запирали на ключ, хотя вокруг не было ни забора, ни стены, потом и милиционеры, чтобы сократить дорогу, ходили через сад, но их мучила совесть, и они возвращались к воротам, подходили к ним с ключом изнутри, из сада, отпирали и входили, снова запирали, обходили сбоку запертые ворота и возвращались в интернат. Вначале казалось, что будут трудности с едой, но опасения были напрасными, потому что начальник и милиционеры ели с удовольствием то, что привозили из милицейских казарм, а миллионеры скармливали это поросятам, которых купил фаб-

рикант искусственных челюстей, сначала их было десять, потом стало двадцать, и все радовались, ожидая праздника свежей свинины, потому что среди миллионеров нашлись и специалисты по копченостям, которые обещали такие деликатесы, что милиционеры заранее облизывались и сами вносили рационализаторские предложения, какие чудеса можно сделать из свежей свинины. Потом блюда тут готовили не такие, как в интернате для будущих священников, а скорее такие, как в богатых монастырях, какие готовили, к примеру, для крестоносцев. Если у какого-нибудь миллионера кончались деньги, то начальник милиционеров отправлял его домой за деньгами, на первых порах с ним посылали милиционера, переодетого в штатское, но потом достаточно было дать слово, и интернированный мог ехать в Прагу за деньгами, снять сбережения с книжки, со своего миллиона или миллионов, потому что начальник давал справку, что эти деньги пойдут на общественно законные цели. Короче говоря, в интернате готовили вкусно, я составлял меню и давал его на одобрение начальнику милиционеров, чтобы он любезно сделал замечания, потому что миллионеры считали милиционеров своими гостями и, конечно, в трапезной мы сидели все вместе... миллионер Тейнора получил однажды разрешение съездить в Прагу за музыкой, за венским квартетом, и привезти музыку на такси, поездки в Прагу на такси вообще вошли тут в привычку и заканчивались у развилки, так вот, музыканты вошли в миллионерский концлагерь, обойдя запертые ворота, разбудили охрану, потому что была уже полночь, снова обошли ворота и встали снаружи, но заспанный охранник никак не мог их открыть, тогда миллионер обошел ворота, взял ключ, вышел наружу и оттуда отпер ворота, но ключ оказался какой-то испорченный, и никак не удавалось ворота запереть, тогда миллионер снова обошел ворота, запер их и передал охраннику ключ... Я, бывало, думал, жаль, что Зденек не миллионер, он был бы тут в своей стихии, он бы не только свои, но и деньги всех других растратил, тех, у кого нет фантазии, как с этими миллионами поступить, он бы такое с их согласия придумал... Через месяц все осужденные миллионеры стали загорелыми, потому что мы загорали на склонах Скалы, тогда как милиционеры остались бледными, потому что они или стояли у ворот, или сидели в кельях и составляли донесения, они не могли перечислить всех даже по фамилиям, потому что некоторые фамилии, такие как Новак и Новый, повторялись тут по три раза, и другие тоже, и потом им все время приходилось быть при оружии, и все время у них падали пистолеты и сумки с патронами, и они подтирали и переписывали свои донесения, которые им в конце концов составлял какой-нибудь владелец отеля, так же как он составил бы меню. От католического училища тут осталось хозяйство, десять коров, и надоя из их вымени не хватало для утреннего кофе, а здесь подавали натуральный кофе с молоком, и к нему, как завел пан владелец отеля Шроубек, полагалась рюмка рому, так он научился в кафе «Sacher» в Вене, поэтому лакокрасочный фабрикант прикупил еще пять коров, и теперь молока было в достатке, потому что некоторые не выносили кофе с молоком и утром выпивали только рюмочку рома или пили этот ром прямо из кувшинчика, такого силезского кувшинчика с широким горлышком, чтобы вырвать, потому что они ели среди ночи. Как было прекрасно, когда раз в месяц приходили на свидания члены семьи... для этого начальник купил бельевые веревки и натянул их вокруг воображаемой стены, а где веревки не хватало, сам провел каблуком черту, которая отделяла интернированных от интерната и окружающего мира... и вот, приходили жены с детьми и рюкзаками, и сумками с едой, и венгерской салями, и консервами иностранных фирм, хоть мы и пытались сделать измученные лица, но были такие загорелые и откормленные, что если бы кто пришел и ничего не знал, то подумал бы, что тюрьма снаружи, что заключенные те, кто пришел на свидание, конечно, родственники переносили положение хуже, чем сами миллионеры. И так как нам не удавалось все съесть, то мы, миллионеры, делились с милиционерами, которым все казалось таким вкусным, что они добились у начальника разрешения на свидания два раза в месяц, раз в две недели... А потом вышло так, что если

у нас, всех вместе, не было тридцати или даже пятидесяти тысяч, то начальник разрешил, чтобы знающие миллионеры выбирали редкие книги из монастырской библиотеки и на машине отвозили их в Прагу к букинистам... потом пришли и к тому, что можно бы продавать и простыни, и белье, и приданое для будущих священников из пансионата Святого Яна под Скалой, на склонах которой мы загорали и давали после обеда храпака... но продавать было уже почти нечего, потому что настоящие миллионеры давно поняли, давно приглядели эти красивые простыни, эти длинные ночные рубашки, сотканные в горных селах на старинных станках, они давно уносили в чемоданах эти красивые полотенца, целыми дюжинами, тут таким добром полны были склады, потому что каждый, кто выходил отсюда как будущий священник, каждый получал приданое, и теперь это добро никто не учитывал, никто за ним не присматривал, наоборот, его отдали в распоряжение милиционеров и миллионеров, чтобы в этом сборном миллионерском лагере не вспыхнула какая-нибудь заразная болезнь, какая-нибудь холера или дизентерия либо тиф... и потом пришло к тому, что отпуск брали и миллионеры, так нам доверяли, потому что знали, что мы не убежим, а если бы и убежали, так нам самим бы дороже обошлось; мы даже привели сюда миллионера, одного хорошего знакомого, чтобы он отдохнул от семьи... и вот, милиционеры переодевались в штатское, а их форму брали мы, миллионеры, и охраняли сами себя, и когда нам поручали в воскресенье или с субботы на воскресенье службу, такую миллионерскую вахту, так мы все наслаждались, потому что это была комедия, какой не придумал бы и Чаплин, после обеда мы играли в ликвидацию лагеря, миллионер Тейнора, переодетый в начальника охраны, объявлял, что лагерь ликвидируется, миллионеры могут идти по домам, но они прятались, а другие миллионеры, переодетые в милиционеров, их уговаривали, рисовали им, как прекрасно снаружи на свободе, как не будут они там сопеть и потеть под кнутами милиционеров, но будут жить свободной жизнью миллионеров, но те и слушать не хотели, тогда миллионер Тейнора, переодетый в начальника милиционеров, которых изображали миллионеры, объявил в воротах решение о насильственной ликвидации лагеря, и мы вытаскивали из келий тех, у кого было по десять и восемь миллионов и кому дали по десять и восемь лет, потом искали ключи к воротам и не могли их отпереть, тогда миллионеры обежали ворота и отперли их снаружи и вошли через них внутрь, и мы все смотрели и заливались хохотом, когда миллионеров, которых вели милиционеры, вытащили наружу и заперли за ними ворота, и миллионеры полезли на самую вершину Скалы, там осмотрелись, одумались и вернулись, и стучались в ворота тюрьмы, на коленях просили миллионеров, переодетых в милиционеров, чтобы те предоставили им убежище... я тоже смеялся, но только так, для вида, потому что, хотя я и попал к миллионерам, все же с ними не сравнялся, пусть я даже спал в одной келье с хозяином отеля паном Шроубеком, все равно я оставался для него чужим, я даже не смел подать ему упавшую ложку, я поднял ее и держал, и так стоял в нашей столовой с протянутой ложкой, как годы назад с рюмкой, в тот раз, когда никто не захотел со мной выпить, и пан владелец отеля пошел за другой ложкой, и ел суп этой ложкой, а ту, которую я положил возле его тарелки, ту ложку он брезгливо оттолкнул салфеткой, и она упала на пол, все смотрели, как пан владелец отеля эту ложку ногой отпихнул от себя так, что она отлетела под сундук со священническими одеяниями... Я смеялся, но мне было не до смеха, потому что когда я начал рассказывать о своем миллионе, о своем предприятии «У разлома», так все миллионеры молчали и смотрели по сторонам, они не признавали моего миллиона, моих двух миллионов, и я понял, что они лишь терпят меня в своей среде, будто я недостоин их, потому что у миллионеров их миллионы были уже давно, до этой войны, тогда как я человек, разбогатевший в войну, которого в свою среду они принять не только что не хотели, но и не могли, потому что я выскочка, нувориш, точно так же, наверно, вышло бы в том моем сне, если бы эрцгерцог назначил меня и повысил до дворянского звания, и сделал бароном, от этого бароном я бы

вовсе не стал, потому что остальное дворянство меня бы в свою среду не приняло, как теперь меня не приняли в друзья миллионеры, больше того, год назад, на свободе, я еще мог тешить себя надеждой, что однажды они посчитают меня за своего, я был даже убежден в этом, мол, как владелец ресторана «У разлома» я с ними сравнялся, теперь они и руку подадут мне, и поговорят по-приятельски, но это было бы только так, для вида, как каждый богатый человек старается расположить к себе метрдотеля, он даже просит, чтобы тот принес еще один бокал, и такой метрдотель вместе с богатым посетителем пьет... но если этот богатый человек встретит метрдотеля на улице, он не остановится, не поговорит с ним, просто считается хорошим тоном, чтобы у тебя был знакомый метрдотель, потому что с ним или с хозяином заведения полезно быть в добрых отношениях, потому что от него зависит, какое блюдо тебе подадут, в каком номере поселят, и потом за то, что с метрдотелем выпили за общее здоровье и перемолвились парой любезных слов, метрдотель обязан хранить секреты, молчать... И тут я увидел, как собираются эти миллионы, как они собирались, бывало, пан Брандейс велел делать картофельные клецки для всего персонала, экономил на мелочах, вот и тут он первым увидел и понял, как воспользоваться этими красивыми полотенцами и простынями, как ухитриться пронести их через ворота в чемодане и переправить домой, не потому что они ему нужны, но его миллионерский дух не позволял оставить без внимания возможность, которая сама идет в руки, а может, он тренировал свой миллионерский дух, как ему даром завладеть этими красивыми вещами из приданого будущих священников. А в это время я ухаживал за голубями, от монастыря осталось двести пар почтовых голубей. Начальник определил, чтобы я чистил голубятню, давал голубям воду и объедки... Каждый день после обеда я ездил на кухню с тележкой за объедками... И еще чуть не забыл сказать, что начальник так объелся мясом, что затосковал по картофельным оладьям и по блинам со сметаной, со сливовым повидлом и тертым сыром. А у миллионера портного Барты как раз было свидание, и вот, он предложил начальнику, мол, его жена из деревни, так пусть она печет тут разные блины вроде как кухарка... так появилась тут первая женщина, но мы все тоже переели мяса, поэтому в тюрьму пришли еще три жены, три миллионерши и пани Бартова как главный специалист по мучным блюдам, потом выпустили миллионеров, которые доказали, что у них австрийское и французское подданство, таким образом десять келий опустели, тогда миллионеры пришли к заключению, что могли бы эти камеры снимать для жен, которые раз в неделю приезжали бы к ним на свидание, потому что это не гуманно, если человек женат, отказывать ему во встречах с законной женой. И вот, каждую неделю чередовалось по десять красивых женщин, и потом я даже обнаружил, что это не жены, а женщины из бывших баров, я сам узнал двух клиенток, уже в годах, но все еще красивых, красавиц, которые ходили в павильон визитов отеля «Париж», в четверг, когда приходили биржевики... но я полюбил этих моих голубей, двести пар голубей, которые были такими точными, что ровно в два часа сидели на гребне монастырского здания, откуда была прямо видна кухня, из которой я выезжал с тележкой, и на тележке два мешка с объедками, остатки овощей и вообще, и я, который обслуживал эфиопского императора, кормил голубей, которых никто кормить не хотел, такая работа не для миллионерских ручек, а я выезжал точно в тот момент, когда било два часа, и если бы не било, так точно в тот момент, когда солнечные часы на стене костела показывали два часа, и едва я выезжал, как все четыреста голубей спускались с крыши и летели мне навстречу, такая тень летела вместе с ними и шелест перьев и крыльев, будто из мешка высыпали соль или муку, и голуби садились на тележку, а те, что там не умещались, садились мне на плечи и летали в воздухе, и толкались крыльями возле моих ушей, заслоняли мне почти весь свет, будто я попал в середину огромного шлейфа, который тянулся и сзади меня, и передо мной, и меня целиком накрывал этот шлейф из машущих крыльев и восьмисот красивых, как черника, глаз, и мне приходилось держать дышло обеими руками,

миллионеры, верно, лопались от смеха, когда видели меня, усеянного голубями, когда я втаскивал тележку во дворик, где они набрасывались на свою еду, и потом так долго клевали, пока не опустошали эти два мешка и кастрюли, будто метлой вычищали, однажды я опоздал, начальник дегустировал итальянский суп с пармезаном, и я ждал, пока освободится кастрюля, тут я услышал, как бьет два часа, и, едва отзвенел второй удар, в открытое окно кухни влетели голуби, все четыреста голубей, они окружили всех, кто там был, выбили ложку у начальника лагеря для миллионеров, я быстро выбежал, и за порогом голуби усыпали меня, клевали нежными клювиками, я бежал и закрывал руками лицо и голову, а когда споткнулся и упал, они летали надо мной и садились на меня, я сел и увидел себя со стороны, как окружен голубями, которые ласкаются ко мне, для которых я Бог, дарующий жизнь, и я заглянул в прошлое, в свою жизнь и увидел себя теперь, как я окружен посланцами божьими, голубями и голубками, точно какой-то святой, точно избранник небес, когда миллионеры смеялись надо мной, я слышал смех и крики, и насмешки, за меня заступилось голубиное посольство, и я теперь поверил, что невероятное опять стало реальным, пусть бы у меня было десять миллионов и три отеля, но эта ласка и поцелуи клювиков голубей и голубок, это послано мне с небес, которым, наверно, во мне что-то понравилось, такое же я видел на иконах, что есть в алтарях, и на картинах, украшавших крестный путь, которым мы ходили в свои камеры. Но прежде я ничего не видел, ничего не слышал, я только хотел быть тем, кем никогда не мог стать, миллионером, и хотя у меня было два миллиона, настоящим миллионером я стал тут, когда впервые увидел, что эти голуби мои друзья, что они предсказание вести, которая еще ко мне придет, что теперь со мной случилось то, что было с Савлом, когда он упал с коня и явился ему Бог [1]... и вот я раздвинул биение восьмисот крыльев и вышел из трепетавших перьев, будто из сережки плакучей ивы, и побежал, тащил тележку с двумя мешками объедков и кастрюлями с остатками овощей, и голуби опять садились на меня, и в облаке голубков, бивших крыльями, я медленно тянул тележку к дворику, и встала передо мной на этот моем пути еще одна картина, явился мне Зденек, не тот политический функционер, но старший официант из отеля «Тихота», как однажды в выходной день мы пошли на прогулку и в березовой роще увидели, как бегает между деревьями низенький человечек со свистком, он свистел, показывал рукой, отталкивал деревья и кричал на них: «Что вы опять себе позволяете? Пан Ржига, еще раз — и вы покинете поле!» И опять бежит от дерева к дереву, Зденек веселился, а я ничего не понимал, и потом Зденек объяснил, что это футбольный судья, пан Шиба, в тот раз никто не хотел бегать со свистком на матче «Спарта» — «Славия», потому что там каждую минуту кого-то оскорбляли, вот никто и не хотел, и тогда пан Шиба сказал, что свистеть будет он... и он тренировался в лесу среди берез и вносил переполох в березовую рощу, и карал, и грозил исключением Бургру и Брайну, но больше всего кричал на пана Ржигу, мол, еще раз, и тот покинет поле... и вот, после обеда Зденек из дома для душевнобольных с легкими расстройствами повез на экскурсию полный автобус тронутых, которые собирались в деревню на престольный праздник, где могли кататься на каруселях и качаться на качелях в своей полосатой одежде и шляпах, и Зденек купил в пивной бочку пива, и с насосом и одолженными кружками повез их в березовую рощицу, там они открыли эту бочку и пили, а пан Шиба бегал среди березок и свистел, больные смотрели и потом поняли, и сделались болельщиками, и кричали, и подбадривали всех знаменитых игроков «Спарты» и «Славии», они даже заметили, что Брайн пихнул Планичку головой, и шумели до тех пор, пока не вывели этого Брайна с поля... и наконец после того, как пан судья три раза оттолкнул Ржигу и три раза остановил его, ничего не оставалось, как вывести футболиста с поля за грубую игру против Иезбера, и сумасшедшие

[1] Савлу, гонителю христиан, по дороге в Дамаск явился Иисус Христос, Савл прозрел, принял христианство и стал известен как апостол Павел (См. Библия, Деяния Святых Апостолов, гл. 9).

кричали, и когда мы допили бочку пива, не только они, но и я видел вместо березок бегающую двухцветную и красную форму, все в таком стремительном темпе, а судья, крохотный пан Шиба, все свистел... и болельщики в конце вынесли его на плечах с поля за такое прекрасное судейство матча... через месяц Зденек показал мне статью о судействе пана Шибы, который выгнал с поля Брайна и Ржигу, и вообще своим энергичным свистком спас встречу... И так постепенно невероятное становилось реальным, круг замыкался, я начал возвращаться в пору своего детства, юности, снова я был мальчиком-официантом, удаляясь от прошлого, я возвращался к нему. Еще несколько раз я стоял лицом к лицу с самим собой, но не потому, что мне хотелось, события вынуждали меня оглядываться на свою жизнь, как ждал я с бабушкой у открытого окна ее каморки над окном туалета Карловых бань, откуда каждый четверг и пятницу коммивояжеры выбрасывали грязное белье, которое порой на черном фоне вечера разводило руки, будто кто-то распинал на кресте белые рубашки, иногда кальсоны, но потом оно падало вниз на огромное мельничное колесо, откуда бабушка стаскивала его багром, чтобы выстирать, подштопать и продать рабочим на стройке. В этот интернат миллионеров пришло сообщение, что мы тут последнюю неделю, потом нас отправят на работу, а самые старые пойдут по домам. И вот, мы устраивали прощальный ужин, нужно было собрать побольше денег, я получил отпуск и с фабрикантом искусственных челюстей отправился к нему на дачу, где у него были спрятаны деньги... Такое невероятное для меня переживание, добрались мы до этой его дачи уже ночью, приставили лестницу и при свете фонарика подняли дверь в потолке, фабрикант забыл, в каком чемодане он хранит свои сто тысяч, и я открывал один за другим совершенно одинаковые чемоданы, и когда я открыл последний большой чемодан и посветил в его утробу, я ужаснулся, хотя и мог ожидать такое у фабриканта искусственных челюстей, в чемодане были эти самые искусственные зубы и десны, так много, розовое нёбо, десны с белыми зубами, сотни искусственных челюстей, я стоял на лестнице и так испугался, как пожирающие мясо растения выглядели эти зубы, стиснутые и крепко сжатые, некоторые полуоткрытые, другие открытые, будто эта искусственная челюсть зевала, даже выворачивалась из петли сустава, и я начал падать навзничь, сначала опрокинул на себя чемодан, потом почувствовал на руках и на лице холодные поцелуи зубов, я совсем вырубился, выронил фонарик, упал на пол, а на меня сыпались эти зубы, я лежал засыпанный, вся грудь в искусственных челюстях, и начала меня бить такая дрожь, что я даже не мог кричать... и все же я перевернулся на живот и потом так быстро-быстро выбежал на четвереньках из-под этих зубов, будто какой-то зверь, будто какой-то паук... на дне чемодана как раз и лежали те тысячи, и фабрикант аккуратно собирал все эти зубы, сметал их в совок и ссыпал в чемодан, потом перевязал веревкой и опять затащил этот чемодан туда, где я его открывал... мы заперли чердак и молча вернулись на вокзал. Тот наш последний ужин был почти такой же, как свадебные торжества в отеле «Париж», я заскочил в свою пражскую комнату за новым фраком, и, главное, я взял тот орден, который получил от эфиопского императора, и ту ленту через грудь, мы купили цветы и много веточек аспарагуса для украшения стола, и весь день пан владелец отеля Шроубек и пан Брандейс украшали столы в столовой для священников, и пан Брандейс жалел, что не может добавить для красоты свои золотые приборы, мы пригласили всех милиционеров и начальника, это был такой добрый папочка, вчера вечером он встретил нас возле деревни и когда спросил, куда мы идем, пан Брандейс говорит, пойдемте, пан начальник, с нами, мы идем потанцевать, но он не пошел, только покачал головой и удалился с ружьем, которое нес, будто рыболовную удочку, ужасно ему мешало это военное ружье, оно так не подходило ему, он уже мечтал о том, как опять пойдет работать на шахту, только передаст для ликвидации этот миллионерский лагерь... А я опять стал официантом, надел фрак, но уже совсем по-другому, чем надевал его прежде, так, будто просто костюм, я уже был где-то еще, без всякого интереса приколол я звезду к груди фрака, нацепил

голубую ленту, теперь я не тянулся вверх и не задирал голову, чтоб быть на пару сантиметров выше, мне было все одно, и не хотел я сравняться с владельцами отелей — миллионерами, я как-то завял и смотрел на этот торжественный ужин как бы с другой стороны, без интереса приносил блюда, хотя вместе со мной в зале ходили пан хозяин отеля Шроубек и пан Брандейс, тоже во фраках, я вспомнил о своем отеле «У разлома», но не пришло ко мне сожаление, что он уже не мой, как еще раньше сообщили мне в повестке, но вообще-то это был печальный вечер, все были грустные и степенные, будто на настоящей Тайной Вечере, какой я видел ее на картинах, и здесь в трапезной всю стену закрывала такая картина, на закуску мы ели омаров и запивали южноморавским белым вином, и постепенно, сначала только я, потом и остальные, поднимали глаза к этой картине Тайной Вечери, и чем дальше, тем больше мы становились похожи на тех апостолов, и когда принесли жаркое а-ля Строганофф, начала нами овладевать меланхолия, и в такую свадьбу в Кане Галилейской превращался этот ужин, и миллионеры чем больше пили, тем будто трезвее становились, а когда мы пили кофе и коньяки, стало совсем тихо, и милиционеры, у которых был свой стол, тот стол, за которым прежде, бывало, ели преподаватели и профессора священнического училища, и те становились печальными, потому что знали, что в эту полночь мы видимся в последний раз, что и для них это было прекрасное время, некоторые желали бы тут быть целую вечность... и вот, вдруг из монастыря, где из тридцати монахов оставили одного хромого брата, раздался звон колоколов, сзывающий на полночную мессу, это хромой брат начал службу для миллионеров-католиков, в часовню пришло всего несколько человек, уложив чемоданы и мешки, и хромой брат с чашей в руках осенил крестным знамением верующих, потом отложил чашу, ни с того ни с сего поднял руки, и орган загремел, и брат начал петь «Святой Вацлав, князь земли чешской...», даже в трапезную проникали его голос и раскаты органа, взглянули мы, католики и некатолики, на картину Тайной Вечери Бога, и так все совпадало с нашим печальным и тоскливым настроением, и все один за другим поднялись... побежали через двор и открытые ворота на желтый свет свечи, мы вбегали в часовню и не опускались, а падали на колени, и даже не падали, а бросало нас что-то, что сильнее нас, миллионеров, что-то в нас, что сильнее денег, что ждет и возносит тут уже тысячу лет... не даст погибнуть и в будущем... мы пели и стояли на коленях, некоторые падали ниц, я стоял на коленях и глядел на эти лица, это были совсем другие люди, я бы их не узнал, ни на одном лице не осталось отпечатка миллионов, но все они были будто осенены чем-то высшим и прекраснейшим, самым прекрасным, что есть в человеке... и хромой брат тоже вроде не хромал, хотя прежде он так припадал на ногу, точно волочил за собой тяжелые крылья, в своей белой рясе он казался ангелом, хромавшим под грузом свинцовых крыльев... мы так и стояли на коленях, а кто-то падал ниц... а этот брат поднял чашу и осенил нас крестным знамением, и когда он так перекрестил нас, то прошел с золотой чашей в руках между стоявшими на коленях и зашагал через двор, и в ночной темноте его ряса светилась, как светился фосфором костюм артиста, который делал сальто и летел на ролике со скалы в озеро в отеле «У разлома», чтобы поглотила его вода, так этот брат поглощал облатки святого причастия, когда осенял нас крестным знамением... Потом часы пробили двенадцать, и мы начали прощаться, проходили через открытые ворота, милиционеры и их начальник каждому сердечно пожимали руку, эти шахтеры из Кладно, и мы растворялись во тьме и тащились к вокзалу, потому что интернат распустили и нам сказали, чтоб мы шли по домам, все равно получили ли срок десять лет или только два, имели ли мы десять миллионов или всего лишь два... а я всю дорогу думал о голубях, как в два часа эти двести пар голубей будут ждать, а я не приду. Так я ехал, и голова моя была полна мыслями о голубях, ехал домой, но не в Прагу, а в отель «У разлома», я шел по тропинке и мог бы уже видеть за лесом освещенный отель, но там было темно... Когда я подошел к скульптурам и мельницам для гранита, то даже не испугался, отель стоял запертый,

въездные ворота заперты, новые, из досок сбитые ворота кто-то закрыл на большой висячий замок. Я обошел забор и по холмику с цветущим вереском спустился в середину каменоломни. Какой беспорядок, стулья выпачканы, погнуты... я взялся за ручку двери в кофейную, она открылась. Ресторана как не бывало, все куда-то вывезли, только в горне еще тлел огонь, а от кухонной посуды осталась только пара обыкновенных кофейников... с каждым шагом я с какой-то прямо радостью убеждался, что нет того красивого отеля «У разлома», за который сам Стейнбек хотел выписать мне чек на пятьдесят, на шестьдесят, на восемьдесят тысяч долларов, но я этого не сделал, и хорошо, что не сделал, и также хорошо, просто прекрасно получилось, что, если уж я не могу быть тут хозяином, так пусть уходит со мной и этот отель, который теперь будет, наверно, каким-нибудь плавательным бассейном, потому что вместо полотенец висели купальные простыни, и на веревке, натянутой от угла к углу, висели плавки... И еще то, чего тут раньше не было, а я сразу же отметил, что к потолку подвесили в горизонтальном положении голую скульптуру женского манекена с витрины какого-то дома одежды... Я поднялся по лестнице, исчезли ковры, исчезли и стеклянные канделябры над каждой дверью. Я взялся за ручку, дверь открылась, зажег свет, но номер оказался пустым, и я замер, пусть все будет так, как я оставил, и хорошо, что, в сущности, вместе со мной исчез и весь отель «У разлома», и ни у кого уже не хватит сил сделать его таким, каким сделал я, только в воспоминаниях те, кто его видел, когда им захочется или под впечатлением минуты, могут вспомнить, как тут было, или разместить здесь свою мечту, свой отель «У разлома», или встречаться в моем отеле с самыми красивыми девушками, или каждый мой гость может съехать в мечтах на том ролике с семидесятиметровой высоты и посреди озера отпустить его, на секунду замереть и потом головой вниз лететь к поверхности воды, или же, во сне все может быть, отпустить ролик и парить в воздухе над озером, точно птица, шелестящая крыльями, как это умеет жаворонок, которого поддерживает только ветер, и потом придется вернуться назад, как в фильме, который крутят с конца к началу, на вершину скалы, туда, откуда, держась за ролик и за шест, минуту назад съехал в пропасть, скрытую зеркалом воды, на дно...

И довольный, я ушел и когда приехал в Прагу, меня ждало уведомление, в котором предлагалось выбрать: буду ли я отбывать наказание в Панкраце, и тогда мне надо туда явиться, или по своему усмотрению могу выбрать лесную бригаду, но с одним условием, чтобы работать в пограничной области [1]. После обеда я отправился в канцелярию и согласился на первую же бригаду, какую мне предложили, и был счастлив, и мое счастье стало еще больше, когда я обнаружил, что у меня отвалился каблук, протер я этот кусок кожи, под которым были спрятаны последние две марки, последние большие деньги, что остались мне от моей жены Лизы, которая привезла эти марки из Лемберга, Львова, после того как сожгли гетто и ликвидировали евреев. Когда я гулял по Праге, не было на мне галстука, и не хотелось мне быть ни на сантиметр выше, и не выбирал я отели, мимо которых проходил по Першикопу и на Вацлавской площади и которые хотел бы купить, я даже злорадно радовался тому, что случилось со мной. Я желал себе, что бы со мной вышло так, как оно и вышло, и теперь моя дорога будет уже только моей дорогой, теперь я уже не должен кланяться и говорить, и всегда быть готовым сказать «добрый день» и «доброе утро», и «добрый вечер», и «целую ручки», теперь я уже не должен следить за персоналом, а если бы я сам был персоналом, так мне не надо следить, чтоб не заметил шеф, когда я сел, когда закурил сигарету, когда взял кусок вареного мяса, и я так радовался, что завтра уеду куда-то далеко, далеко от людей, конечно, люди там будут, но там будет то, о чем я, бывало, мечтал, как все, кто работает при свете лампочек, что когда-нибудь я отправлюсь на природу, когда-нибудь, уже на пенсии, посмотрю, как выглядит лес и как

[1] После второй мировой войны из пограничных с Германией областей Чехословакии были выселены все лица немецкого происхождения, и эти земли какое-то время оставались незаселенными.

выглядит солнце, которое весь день и всю жизнь светит мне в лицо так, что мне приходится прятаться от него под шляпой или в тени... когда я был официантом, я любил всех швейцаров, всех дворников, истопников центрального отопления, которые хотя бы один раз в день выбегали на улицу перед домом и задирали голову, и смотрели из рвов пражских улиц на полоску неба, на облака, вообще на то, какое время показывает природа, а не часы. И у меня было чувство, что опять невероятное становится реальным, и в это невероятное я верил, в эту потрясающую неожиданность, в это удивительное, какой была моя звезда, которая вела меня через жизнь, наверно, лишь ради того, чтобы доказать самой себе, что впереди всегда ждет что-то поразительное, и у меня вся время перед глазами сияет отсвет этой звезды, и я верил в нее, чем дальше, тем больше, потому что как вознесла она меня даже в миллионеры, так теперь, когда я был сброшен с небес на самые четвереньки, так теперь, я это видел, моя звезда светила мне еще ярче, чем прежде, и только теперь я могу заглянуть в самое ее сердце, в сердцевину, моим глазам от всего, чего я пережил, надо было так ослабеть, чтобы хватило силы перенести и пережить еще больше. Мне надо было ослабеть, чтобы больше видеть и понимать. Так оно и вышло! Когда я приехал на станцию и потом прошел километров десять по лесу пешком, далеко за Краслице, и когда начал уже отчаиваться, как раз и открылась мне заброшенная лесная сторожка, и я, когда увидел эту сторожку, так думал, что сойду с ума от радости, так меня эта сторожка проняла, она осталась от немцев и была такой, какой представляет сторожку человек, который рос в городе и в городе жил, если кто-нибудь скажет «сторожка». Я сел на скамеечку под ветви одичалого винограда, оперся на бревенчатую стену и слушал, как тикают в глубине сторожки настоящие часы с кукушкой, которых я никогда не видел, я слышал ход их деревянных механизмов и колесиков и звяканье цепочки, подтягиваемой гирьками, и я смотрел в просвет между двумя холмами на равнину, на которой уже не было ухоженных полей, еще когда я шел, так наугад определял, где раньше сажали картошку, где сеяли овес или жито, но все уже заросло так же, как и брошенные деревни, мимо которых я проходил, будто я попал на тот свет, и на развилке я увидел, что одна деревня так и называлась... и всюду среди разрушавшихся строений и заборов торчали могучие одичалые ветви и веточки созревающей смородины, и вот, я набрался смелости и хотел было войти в некоторые дома, но не вошел, я останавливался перед ними в священном ужасе, не мог я переступить порог там, где все разрублено на куски, мебель опрокинута, будто кто-то дрался со стульями и положил их на обе лопатки, будто кто-то бил стулья двойным нельсоном...кто-то разрубал топором балки, кто-то открывал топором запертый сундук... а в одной деревне паслись коровы, был полдень, и коровы брели, наверно, домой, я пошел с ними, и коровы прошагали по аллее старых лип, из-за которых выглядывала башня барочного замка... и когда деревья расступились, открылся красивый замок с крышей, выложенной до гребня квадратиками необожженной смальты, наверно, ренессанс, подумал я, и коровы вошли через высаженные ворота в замок, я за ними, может, они заблудились, сказал я себе, но у коров в замке был хлев... большой рыцарский зал, в который вели широкие лестницы, и коровы поднялись на второй этаж в этот зал под хрустальную люстру с красивыми сценами из жизни пастухов, но все нарисовано так, будто дело происходило где-то в Греции, потому что женские и мужские фигуры были одеты не по здешней погоде, должно быть, где-то на юге Европы или еще дальше, в Земле Обетованной, потому что все одежды походили на те, какие на картинах носил Иисус Христос и люди, которые с ним в те времена жили, и еще между окнами висело большое зеркало, и эти коровы с удовольствием и долго рассматривали себя, и я на цыпочках спустился по лестнице, обходя коровьи лепешки, и увидел, что это, наверно, начало того будущего, когда невероятное становится реальным. Еще, я считал себя избранным, потому что понимал, что если бы тут вместо меня был кто-то другой, он бы ничего не увидел, а я получал удовольствие от того, что видел, и даже обрадовался, что вижу

такое запустение, от которого прихожу в ужас, так каждый человек боится преступления и остерегается несчастья, но если где-то что-то случится, то каждый, кто может, идет туда и смотрит, и разглядывает топор в голове, старушку, которую переехал трамвай, но я ходил тут и не убегал, как убегают другие при виде несчастья, и я радовался, что все так, как есть, я даже решил, что этих несчастий и мучений, и этого вырождения мне мало, что такого могло бы не только на меня, но и на весь мир навалиться и больше... Так я сидел возле сторожки, и потом пришли двое, и я понял, что это, конечно, те, кто тут живет, с кем я проведу целый год, а может, больше... я сказал, кто я и куда меня послали, и мужчина с седыми усами, едва взглянув на меня, ответил, скорее пробурчал, что он профессор французской литературы... и показал на красивую девушку, в которой я сразу угадал, что, конечно, это девушка из исправительного заведения или такая, какие, бывало, стояли у Прашны браны, какие ходили к нам, когда закрывалась биржа, по ее движениям я даже представил, как она выглядит голая, какие волосы у нее под мышками и какие под животом, я даже удивился себе и увидел в этом хорошее предзнаменование, что эта рыжая девушка после стольких лет пробудила во мне мечту медленно раздевать ее, и если не на самом деле, то хотя бы глазами. И она сказала, что попала сюда в наказание за то, что любит по ночам танцевать, и зовут ее Марцела, и что она была ученицей на шоколадной фабрике «Орион» у Маршнера. На ней были мужские штаны все в смоле и хвойных иголках, и в волосах тоже иголки, ее всю облепили иголки... и на этом профессоре, и на ней были резиновые сапоги, из которых высовывались портянки, и профессора тоже облепила сосновая и еловая смола, и оба пахли, словно какой-то луг или полянка. Они вошли в сторожку, я за ними, и такого бардака я не видел и в тех разгромленных, оставленных немцами домах, где кто-то с топором искал клад или взламывал замки, чтобы влезть в шкаф или сундук... стол весь завален окурками и спичками, пол тоже, будто локтем постоянно сбрасывали все, что оставалось на столе из еды. Профессор сказал, что я буду спать на втором этаже, и сразу отвел меня туда, и открыл ручку двери резиновым сапогом, ногой. Я оказался в красивой светелке, вся она была из дерева, с двумя окнами, к которым ластились ветки и усики виноградной лозы, я открыл двери и попал на галерею, тоже деревянную, по которой можно было обойти вокруг дома и поглядеть на все стороны света, все время меня обвивали веточки одичалого винограда, я сел на сундучок с взломанным замком, сложил руки на коленях, и захотелось мне ликовать, и захотелось мне что-нибудь сделать... открыл я чемодан и в честь того, что тут увидел и что меня ждало, приколол свою голубую ленту и пришпилил ту позолоченную звезду, и в таком виде спустился в большую комнату, профессор положил ноги на стол и курил, рыжая девушка расчесывала волосы и прислушивалась к тому, что говорил ей профессор, он обращался к ней «барышня», и эту «барышню» повторял чуть не после каждого слова, и уже от того, что скрывалось за словом «барышня», он весь дрожал, и я подумал, может, он уговаривает ее... и вот, я вошел, и потому что мне было все одно и все тут одинаково драгоценно, я прошел театральным шагом с поднятыми руками, будто на выставке, и показал себя со всех сторон... потом сел и спросил, надо ли мне идти с ними после обеда на работу... профессор засмеялся, у него были красивые глаза, и сказал, потомство злое, глупое и преступное... а потом добавил, словно и не заметил моего ордена, что мы пойдем на работу через час... и продолжал разговор с рыжей барышней, и я не удивился, что он говорил ей французские слова la table, une chaire... maison... [1] и она их повторяла, и произношение у нее было неправильное, и он ей с огромной нежностью говорил: «Нана, дура, вот расстегну ремень и нашлепаю тебя по попе, и не кожей, а вот этой пряжкой...» [2] и опять нежно повторял ей французские слова, терпеливо повторял, а глазами и голосом будто гладил ее, эту

[1] Стол, кафедра, дом.

[2] Профессор называет Марцелу Нана, имея в виду героиню одноименного романа Э. Золя «Нана».

девушку с шоколадной фабрики «Орион» фирмы Маршнера... которая, наверно, опять повторяла эти слова плохо, мне показалось, что эта Марцела упрямится, что ей не хочется учиться, что она знает, но нарочно говорит так, чтобы профессор ее нежно корил, потомство глупое, злое и преступное, и когда я открывал дверь, пан профессор сказал мне: «Спасибо!» А я всунул в дверь голову и говорю, я обслуживал эфиопского императора... и провел ладонью по голубой ленте. Им пришлось одолжить мне запасные резиновые сапоги, потому что места тут сырые, по утрам выпадало столько росы, что она рассеивалась, точно занавес, такими четками падала на каждую веточку и капала, будто порванное ожерелье. С первого дня работа оказалась у меня замечательная. Мы вернулись к ели, красивой ели, которую уже до половины обступила сосновая и еловая поросль, и мы отсекали эту поросль все выше и выше, пока не пришли двое рабочих с ручной пилой, и пан профессор сказал мне, что это не обыкновенная ель, а резонансная, и в доказательство вытащил из сумки камертон, ударил им об ствол и приставил мне к уху, и камертон красиво зазвучал и издавал прозрачные звуки, полные концентрических цветных колец, и потом посоветовал, чтоб я приложил ухо к стволу и послушал эти райские звуки... и так мы оба стояли и обнимали резонансную ель, девушка сидела на пеньке и курила, и выказывала не равнодушие, а так, будто все ей наскучило и обрыдло, она обращалась глазами к небу, словно жаловалась ему, с кем тут, в этом мире, ей приходится скучать, я сполз на землю и обнимал на коленях этот ствол, который гудел сильнее, чем телеграфный столб, когда рабочие опустились на колени, чтобы ее повалить, я влез на ветви, уложенные до половины елового тела, и прислушивался, как врезается пила и поднимается от ели вверх громкая жалоба, и так грациозно поднимается, что я слышал, как губит ее непрестанный звук пилы, как жалуется ствол, что вгрызается в его тело пила... и потом пан профессор гаркнул, чтоб я спустился вниз, я соскользнул, и через минуту ель наклонилась, закачалась, постояла, наклонившись, минутку, и потом быстро и с жалобой упала от самых корневищ, и будто распахнутыми для объятий руками, задержали ее сложенные ветки, которые замедлили ее падение, и, как сказал пан профессор, уберегли, не дав расколоться и умолкнуть музыке еловых колец; потому что таких елей, как эта, мало и что теперь дело за нами, ее надо обрубить, аккуратно и по плану, который у него с собой, распилить и опять же аккуратно на перинках, таких, будто сметки от пряжи, отвезти на фабрику, где эту ель распилят на доски, на досточки, на тоненькие дощечки, из которых на фабрике делают скрипки и виолончели, музыкальные смычковые инструменты, но главное, найти досточки, которые навсегда законсервировали в себе еловую музыку... И вот, я прожил тут уже месяц, потом два, мы подготавливали сметки, чтобы музыкальные резонансные ели легли так, как мама кладет на перинку ребеночка, и не переломали эти звуки, заключенные в их акустическом стволе, и каждый вечер я слушал, как ужасно пан профессор сердится, как ругает нас грубыми словами, и не только эту девушку, но и меня, мы побывали идиотами и дураками, гиенами пятнистыми и скунсами визгливыми, бранит, чтобы побыстрее научить французским словам. И пока я варил ужин в кафельной печи, какие бывают в горах, и зажигал керосиновые лампы, я прислушивался к красивым словам, к тем, что постоянно плохо получались в устах рыжей девушки, которую отправили с шоколадной фабрики в лес за то, что любила веселиться, любила спать каждый раз с новым парнем, как она говорила нам, и вообще ее исповедь не отличалась от тех, какие я слышал от таких девушек с улицы, разница была только в том, что эта девушка все делала с удовольствием и даром, только ради любви, только ради минутной радости от того, что минуту, а может, и целую ночь, кто-то ее любит, и этого ей было достаточно, чтоб быть счастливой, тогда как тут ей приходилось работать и вдобавок еще целый вечер учить французские слова, не потому, что она хотела, но потому, что ей было скучно, и она не знала, как убить такой долгий вечер, если не с кем... на второй месяц пан профессор начал читать лекции по французской литературе двадцатого века,

и тут наступила такая перемена, что мы оба были счастливы... Марцела стала проявлять интерес, пан профессор целый вечер рассказывал ей о сюрреалистах и о Робере Десносе, и об Альфреде Жарри, и о Рибемоне де Сене, о красавцах Парижа и красавицах... и однажды показал нам сборник, он назывался «Роза для всех» [1], и каждый вечер читал и переводил по одному стихотворению, а на работе мы его разбирали, образ за образом, все было так неясно, но когда мы его разбирали, то добирались до содержания, и я слушал и начал читать книжки, трудные стихи, которые никогда не любил, а теперь их читал и понимал так, что часто давал свое толкование, и пан профессор говорил: «Болван, идиот, откуда вы это знаете?» И я чувствовал себя так, будто я кот, и мне почесали шейку, так одобрительно звучали слова, когда пан профессор кого-то ругал, наверно, я начинал ему нравиться, потому что он ругал меня, как Марцелу, с которой на работе говорил уже только по-французски... и вот, однажды я поехал на фабрику с музыкальным деревом и когда его сдал, то получил зарплату, купил еды и муку с крупой, и еще бутылочку коньяку, и букет гвоздик и уже собирался домой, но на углу фабрики начался дождь, и тогда я спрятался под дерево и потом забежал в такую старую уборную, чтобы укрыться там от страшного ливня, который барабанил по дощечкам крыши этой старой уборной, но это была не уборная, а будка, такой домик для военного караула, тут, должно быть, раньше сидела охрана, я заметил, что и щели по бокам домика забиты досточками, чтобы не дуло... и вот, я сидел там, оглядывался, стучал по досточкам, которыми была обита крыша и боковая стена... и когда дождь перестал, я вернулся на фабрику музыкальных инструментов, два раза меня выгоняли, но я все же пробился к директору, повел его за фабрику, за разрушенный склад, и все вышло так, как я и предвидел, десять драгоценных дощечек бог весть какой давности, которыми кто-то давным-давно оббил этот караульный домик от сквозняков... как я догадался, что это музыкальное резонансное дерево? удивился директор... я обслуживал эфиопского императора, говорю, но директор рассмеялся и похлопал меня по спине, и захлебывался от смеха, и повторял, вам повезло... я тоже улыбался, потому что, наверно, я так изменился, что никто бы уже во мне и не узнал того, кто и вправду обслуживал эфиопского императора...

Но теперь я судил обо всем по-другому, я научился подшучивать над собой, мне уже хватало самого себя. Присутствие людей начинало меня тяготить, я чувствовал, что даже говорить мне хочется только с самим собой, что это будет самый милый и самый приятный для меня собеседник, мое второе «я», тот сидевший во мне побудитель и воспитатель, с которым теперь я вступал в беседу все с бóльшим и бóльшим удовольствием. Может, подействовало на меня и то, что я слышал от пана профессора, который преодолевал себя в брани, никакой извозчик не умел так ругаться ни на коней, ни на людей, как пан профессор французской литературы и эстетики... и при этом рассказывал нам обо всем, что интересовало и его, рассказывал каждый вечер, едва открывал дверь и пока не засыпал, пока не засыпали мы, так до последней минуты он рассказывал, что такое эстетика и что такое этика, и о философии и философах, и о философах, не исключая Иисуса Христа, всегда говорил так, будто это банда разбойников и негодяев, и убийц, и прохвостов, и если бы их не было, так было бы человечеству лучше, но и само человечество... потомство злое, глупое и преступное, и вот, наверно, этот профессор убедил меня в том, что нужно быть одному, что вечер дан для того, чтобы смотреть на звезды, а полдень — лишь глубокий колодец... и вот, я решился, однажды встал, пожал всем руку, поблагодарил за все и ушел в Прагу, и так я уже пересидел тут почти полгода, но пан профессор и эта его девушка говорили между собой исключительно и только по-французски, и все время им было о чем говорить, пан профессор начинал рассказывать, едва проснувшись, он готовился, как лучше обругать эту похорошевшую девушку и как удивить ее очередными подробностями, которые ему приходилось подготавливать,

[1] Робер Деснос, Альфред Жарри, Жорж Рибемон де Сень — французские поэты. «Роза для всех» — сборник стихов французского поэта Поля Элюара.

потому что, как я видел, он влюбился в нее в этой пустыне не на жизнь, а на смерть, и потому что я когда-то обслуживал эфиопского императора, я понял, что эта девушка будет его судьбой, хотя когда-нибудь и бросит его, когда узнает все, чему нехотя училась, и что ее однажды осветило, и отчего она стала красивая... в один из вечеров она повторила совсем в другом значении, а не в том правильном, какое пан профессор когда-то сказал ей, вроде бы цитату Аристотеля, которого упрекали в том, что он украл ее у Платона... и Аристотель сказал, что жеребенок лягнет кобылу, когда высосет все молоко. Да, уладил я последние формальности с моим новым местом работы, о котором думал, что оно будет последним, наверно, последним оно и будет, ведь я себя знал, я же обслуживал эфиопского императора, и пошел на вокзал, а навстречу Марцела, задумавшись, волосы стянуты в косичку, и хвостик перевязан фиолетовым бантиком, идет погруженная в какие-то мысли, я глядел на нее, но она прошла, не заметив меня, прохожие оглядывались на нее, как и я, под мышкой она держала книгу, эта бывшая девушка с шоколадной фабрики «Орион» Маршнера... я скривил голову и ухитрился прочесть, что название этой книжки «Histoire du Surréalisme» [1], она прошагала мимо, и я засмеялся, и с удовольствим зашагал тоже, я представил эту упрямую и грубую девку, которая разговаривала с профессором так, как привыкла в своем Коширже [2], и которую профессор научил всему, что подобает даме... теперь она прошла мимо меня, как университетский студент проходит отдел библиотеки для неучей, и я точно знал, что эта девушка не будет счастливой, что ее жизнь будет печально-прекрасной, что для мужа жизнь с ней будет мучительной, но и полной...

Эта Марцела, эта девушка с шоколадной фабрики «Орион» фирмы Маршнера, часто являлась мне такой, какой я встретил ее, с книгой под мышкой, я думал об этой книге, о том, что, видимо, перетекло с ее страниц в эту задумчивую и упрямую голову, и вообще я видел только эту голову с красивыми глазами, которые еще год назад не были красивыми, и все тот профессор, он сделал из этой девушки красавицу с книгой, я видел, как ее пальцы благоговейно и почтительно раскрывают обложку, чистые пальцы трогают страничку за страничкой, будто берут облатку для святого причастия, я видел, как, прежде чем взять книгу, она идет вымыть руки, потому что она несла эту книгу так, сам способ, каким она несла ее, бил в глаза своей благородной и почтительной святостью, когда она в тот раз шагала в задумчивости, то походила на музыкальную резонансную ель, вся ее прелесть была внутри, изнутри через камертон глаз эта музыка находила отзвук в глазах человека, способного видеть ее такой, какой она неожиданно стала, в какую преобразилась, будто из горлышка бутылки иная сущность вещи потекла в другую сторону, вовнутрь, и эта иная сущность вещи прекрасна. И я при каждом воспоминании о том, как шла эта девушка с шоколадной фабрики, устилал всю ее, а если бы мог, и на самом бы деле устлал, целыми букетами, лепестками и цветами пионов, я обложил бы ей голову веточками ели и сосны, и опавшими листьями омелы, я, который видел у женщин исключительно и только ту часть, которая идет от пояса книзу, я благодаря этой девушке поднял глаза вверх и увидел свою мечту в красивой шее и красивых руках, открывавших книгу, в глазах, которые источают ту красоту, какая так явно разливалась по всему девичьему лицу, была в каждой морщинке, в каждом изгибе бровей, в легкой усмешке и дразнящем движении пальчика, все черты лица, очеловеченного французскими словами и французскими фразами, и потом беседой, и потом вниканием в сложные, но прекрасные стихи красивых молодых мужчин, поэтов, которые волшебно выявляли в человеке человеческое,— это все было для меня явью, невероятное становилось реальным... девушку с шоколадной фабрики «Орион» фирмы Маршнера, ее головку я обрамлял всеми цветами Святой Богородицы, которые придумывал для нее, чтобы ее украсить... Всю дорогу в поезде я думал об этой девушке, я улыбался, сам становился

[1] «История сюрреализма» *(франц.)*.
[2] Коширже — рабочий район Праги.

ею, на всех вокзалах, на всех движущихся стенах вагонов, на ближайших путях я мысленно приклеивал плакат с ее изображением, я даже сам себя хватал за руку и прижимал ее к себе, будто держал ее руку, я оглядывал лица попутчиков, никто не понимал, что везу я с собой и в себе, никто по моему лицу не догадался бы, что я увожу с собой и в себе, и когда я вышел на последней станции и потом еще ехал в автобусе по красивым местам, так похожим на те, где я валил резонансные ели, которые сначала обкладывал высоко настеленными ветками, будто перинами, я рисовал и дорисовывал портрет девушки с фабрики «Орион» фирмы Маршнера, я представлял ее, видел, как знакомые покрикивают на нее; как ведут себя или стараются вести так, как вели себя с ней, когда она отправилась на работу в лесную бригаду, как жаждут, чтобы она разговаривала с ними, как раньше, только животом и ногами, лишь той нижней половиной, которую отделяет тонкая резинка на ее штанишках, и никто не понимает, что она отдала предпочтение той части тела, что идет вверх от этой разделительной резинки... И вот, я вышел из автобуса в Сирни, спросил, где контора ремонта дорог, и представился, что я тот, который будет целый год дорожным мастером где-нибудь далеко, почти в горах, на участке, где никто не хочет работать... И после обеда я получил лошаденку и телегу, мне посоветовали, чтоб я купил козу, и подарили овчарку, и вот, я отправился с лошаденкой, на телеге лежал мой багаж, а сзади на веревке коза, и пес со мной подружился, я купил ему колбасы, и я ехал по дороге, все время отлого поднимавшейся в гору, мне открывались пейзажи с могучими елями и высокими соснами, сменявшимися молодняком и зарослями за развалившимися заборами и оградами, решетки которых рассыпались, будто сухое печенье, планки заборов медленно гнили и превращались в гумус, из которого росла малина и хищные побеги ежевики, я шагал рядом с кивающей головой лошаденки, это была такая лошадь, как в шахтах, должно быть, она работала где-то под землей, потому у нее такие красивые глаза, какие я видел у истопников и людей, работающих днем при свете лампочек или шахтерских ламп, глаза, какие бывают у людей, выбравшихся наверх из шахты или только что выбежавших из котельной, чтобы посмотреть наверх, как прекрасно небо, потому что для таких людей любое небо прекрасно. Начались брошенные людьми места, лесные домики немецких рабочих, которые уехали, перед каждым я останавливался и стоял на пороге по грудь в крапиве и одичалой малине, сквозь ветви я смотрел в кухни и комнаты, уже зараставшие травой, почти в каждом доме висели лампочки, и я пошел, ориентируясь по проводам, и вышел к ручейку, где увидел обломки маленькой электростанции с крохотной турбиной, приводимой в движение водой, электростанции, сделанной рабочими руками тех, кто здесь валил лес, лесорубов, которые тут жили, а им пришлось уехать, потому пришлось уехать, что их выселили, как и тех богатых, которых я хорошо знал и которые занимались политикой, эти богатые были заносчивы и бесцеремонны, и хвастливы, и жестоки, и полны гордыней, она их, в конце концов, и сразила, это я понимал, но я не понимал, почему пришлось уехать рабочим рукам, а вместо них теперь не работает никто, почему в беде люди, у которых не было ничего, кроме тяжелого труда в лесу и маленького поля на опушке, рабочим, которым некогда было заноситься и хвастаться, конечно, они были послушными, потому что их научила та жизнь, в которую я заглянул и которой шел навстречу. И тут меня осенило, я открыл коробку с той золотой звездой, перетянул вельветовый пиджак светло-голубой лентой и отправился дальше, теперь сбоку у меня сверкала звезда, и я шагал в ритме кивающей шеи лошаденки, которая каждую минуту оборачивалась, смотрела на мою ленту и ржала, и коза блеяла, и овчарка на меня радостно залаяла и чуть не сорвала эту мою ленту, и вот, я снова остановился, отвязал козу и пошел поглядеть на другие дома, тут была какая-то пивная, трактир в лесу, с огромным залом, который, к моему удивлению, не отсырел, с маленькими окнами, наверно, все тут сохранилось, как прежде, и запыленные кружки на полках, и бочка с насосом на чурбаках, и деревянный молот, чтоб начать бочку... когда я выходил, то почувствовал чей-то взгляд, это была кошка,

которая тут осталась, я позвал ее, она замяукала, я вернулся с колбасой и на корточках манил ее, кошке хотелось, чтобы я ее погладил, но она одичала и отвыкла от человеческого запаха, и потому все время отскакивала от меня в сторону, я положил колбасу, и она жадно ела, я протянул руку, но кошка отскочила, выгнула спину и зашипела... я вышел на свет, коза уже напилась из ручья, я взял ведро, набрал воды и подал лошаденке, и когда она напилась, мы тронулись в путь, на повороте я оглянулся, чтобы посмотреть, как выглядят эти места, так прежде я никогда не пропускал идущих мимо красивых женщин и вечно на них оглядывался, а тут увидел, что кошка из той пивной бежит за нами, и углядел в этом доброе предзнаменование, я щелкнул бичом и закричал, это какая-то радость рвалась у меня из груди, и ни с того ни с сего я запел, сначала робко, потому что не пел всю свою жизнь, всю жизнь не приходило мне, все эти десятилетия не приходило мне в голову, что я могу запеть... и теперь я пел, выдумывал слова, которыми заполнял забытое в этих песнях, пес завыл, сел и долго выл, я дал ему кусок колбасы, и он потерся об мои ноги, но я продолжал петь, будто бы самим пением, не песней, выражал себя, выражал уже только криком, который считал песней, я пел так же, как выл пес, но чувствовал, что этим пением высыпаю из себя коробки и ящики, полные завалявшихся векселей и ненужных писем и открыток, что из моего рта вылетают обрывки старых, наполовину порванных, одна на другую наклеенных афиш, которые все вместе образуют бессмысленные тексты, где отчеты с футбольных матчей смешиваются с объявлениями о концертах, плакаты с выставок сливаются с афишами о выступлениях духовых оркестров, все это оседает так, как дым и копоть в легких курильщика. И вот, я пел и чувствовал себя так, будто я отхаркивался и отплевывался, очищая засорившееся горло и гортань, будто я пивной насос, который хозяин пропаривает и чистит струей воды, у меня было чувство, будто я комната, где жили два поколения семьи и где со стен сорваны обои, наклеенные одни на другие в несколько слоев... Я ехал по дороге, и никто даже не мог меня слышать, куда бы я ни посмотрел, всюду одна природа, с пригорка я видел исключительно и только леса, и то, что напоминало о человеке, о его труде, постепенно и целиком поглощал лес, от полей остались только камни, дома захватывали трава и репейники, корни одичалой сирени поднимали цементные полы и половицы и отбрасывали их в стороны, и дикая сирень расправляла листья и раскидывала ветви, в ней оказалось больше силы, чем в домкратах, гидравлических подъемниках и прессах. И так мимо кучек щебня и бутового камня я подъехал к большому строению и понял, что тут рядом с дорогой мне будет хорошо, ведь мне сказали, что я должен посыпать шоссе гравием и поддерживать его в порядке, хотя нынче никто не ездит по этому шоссе и не будет ездить, и шоссе поддерживается лишь на случай, если что-нибудь произойдет и если летом понадобится перевозить дрова. И вдруг я услышал такую человеческую жалобу, музыку скрипки и снова такой напевный плач, что повернул на голос и тут только заметил, что лошаденка, которую я напоил и положил постромки на хомут, что лошаденка, и коза, и пес пошли за мной, и увидел трех человек. Это были цыгане, те, которых я приехал сменить, и я увидел, и то, что я увидел, было удивительно, то самое невероятное, что становилось реальным... старая цыганка сидела, как все кочевники, на корточках у маленького костра и палочкой помешивала в кастрюле, ручками упиравшейся в два камня, одной рукой она помешивала, локоть другой поставила на колено и ладонью поддерживала лоб, и на тыльную сторону ладони падала прядка спутанных черных волос... и старый цыган сидел на земле с раскинутыми ногами и мощными ударами молота вбивал в дорогу ровно насыпанный гравий, и над ним, наклонившись, стоял молодой мужчина в черных штанах, узких в бедрах и расклешенных книзу, он играл на скрипке какую-то страстную думу, такую цыганскую песню, которая, наверно, усиливала в старике какое-то настроение, потому что он восклицал «ай-яй-яй» и взвизгивал в долгом тоскливом плаче, и под впечатлением этой музыки он вырвал полную горсть волос и бросил ее в костер, и опять вбивал камни, в то время как его сын или зять

играл на скрипке и старуха варила какую-то еду. И я увидел, что меня ждет, что я буду тут один, никто не будет мне ни варить обед, ни играть на скрипке, я буду тут только с лошаденкой, и козой, и псом, и кошкой, которая все время шла за нами в почтительном отдалении... Я кашлянул, старушка обернулась и посмотрела на меня, как на солнце... и старик бросил работу, и молодой мужчина отложил скрипку и поклонился мне... я говорю, что вот приехал как дорожный рабочий... старик и старуха встали и поклонились мне, подали руку и сказали, что у них все собрано, и только теперь я заметил, что в зарослях стоит подвода, такая легкая цыганская телега с высокими колесами, и они сказали, что в этом месяце я первый человек, которого они увидели... и я спросил, серьезно? но не поверил им... и молодой мужчина взял с подводы футляр, открыл его и, будто ребенка в колыбельку, осторожно так положил скрипку и еще осторожнее укрыл ее бархатной накидкой, одеяльцем с вышитыми инициалами, украшенными нотами и буквами какой-то песни... он поглядел на свою скрипку, погладил одеяльце и закрыл футляр, потом вспрыгнул на подводу, взял вожжи, и старый дорожник сел тоже, между собой они устроили старуху и поехали по разбитой и отремонтированной дороге, и остановились перед строением, оттуда еще вынесли одеяла и перины, несколько горшков и котел, я уговари-

вал их, чтоб остались на ночь, но они спешили, не могли уже дождаться, как они говорили, чтобы снова увидеть хоть одного человека, чтобы увидеть людей... и я спрашиваю, а как тут было зимой? «Ой-ой-ой,— заойкал старый цыган,— плохо, съели мы козу, потом собаку и кошку»,— и он поднял руку, и сложил три пальца как для присяги, и сказал: «Три месяца тут не было человека, и засыпало нас, пан, снегом»... старушка плакала и повторяла: «и засыпало нас снегом», и все ударились в плач, и молодой человек вытащил скрипку и заиграл печальную песню, и старый цыган дернул вожжи, и конь напряг подпругу, и молодой цыган играл стоя цыганские романсы, расставив упруго ноги, с унылым лицом, и бабушка цыганская и цыганский старик тихонечко плакали, восклицали «ай-яй-яй» и кивали мне лицом, полным страданий и морщин, кивали мне и движением руки давали понять, что они жалеют меня, даже отвергают меня, обеими руками они отбрасывают меня не от себя, но от жизни, будто бы этими руками засыпали меня, хоронили меня... и на пригорке старик поднялся, и опять вырвал клок волос, и подвода съезжала с пригорка, и рука лишь выбросила этот клок волос в доказательство, наверно, великого отчаяния и жалости ко мне... я вошел в большой зал брошенной пивной, чтобы осмотреться, где буду жить, когда я так обходил постройки, хлевы, дровяной сарай, сеновал, то даже не замечал, что за мной шагали лошаденка, коза, пес и позади кошка... Я отправился к колонке за водой, чтобы умыться, а за мной с серьезным видом шагали лошаденка, коза, овчарка и кошка... я обернулся и посмотрел на них, они глядели на меня, и я понял, что они боятся, как бы я не бросил их тут, я улыбнулся и погладил одного за другим по голове, кошке тоже хотелось, но сила робости просто пулей отбросила ее...

Дорога, которую я поддерживал в порядке и засыпал щебнем, который сам должен был и дробить, эта дорога походила на мою жизнь, позади меня она зарастала сорняками и травой точно так же, как зарастала и впереди меня. Только тот участок, где я работал, только там были явны следы моих рук. Ливневые грозы и постоянные дожди смывали почву вместе с песком и гравием и заливали мою работу, но я не сердился, и не ругался, и не проклинал судьбу, а терпеливо отправлялся на работу и весь летний день с тачкой и лопатой возил песок и гравий, но не для того, чтобы улучшить дорогу, а для того, чтобы еще раз проехать с подводой и лошаденкой. Однажды после дождя смыло целый поворот, и мне понадобилась почти неделя, чтобы попасть туда, где я закончил ремонт неделю назад, но с тем большей сосредоточенностью я отправлялся утром на работу, поставленная цель — попасть в другой конец моего маленького шоссе — убавляла усталость. И когда через неделю я смог проехать, и даже на подводе, я с гордостью смотрел на свою работу, которую будто и не делал, только вернул шоссе в прежнее состояние, никто бы не поверил и никто бы не

похвалил меня, никто бы не засчитал мне эти шестьдесят часов работы, только пес, и коза, и лошадь, и кошка, но они не могли выдать мне свидетельства. Но прошло время, когда я выставлялся на глаза людям и получал похвалу, это все спало с меня. Так почти целый месяц я ничего не делал, только надрывался от солнышка до солнышка, чтобы поддерживать дорогу в том состоянии, в каком она была, когда я принялся за работу. Впрочем, чем дальше, тем больше я считал ремонт этой дороги ремонтом своей жизни, и когда прошлое являлось передо мной, мне казалось, будто все случилось с кем-то другим, будто вся моя жизнь и даже я сам — герои романа, книги, которую написал кто-то другой, но ключ к этой книге жизни есть только у меня одного, единственный свидетель моей жизни я сам, даже если моя дорога и зарастала с начала и до конца сорняками. Но воспоминаниями, будто кайлом и лопатой, я сохранял проезжей дорогу в прошлое моей жизни, чтобы мысленно я мог попасть туда, куда захотелось, вспомнить то, что вздумалось. Когда я заканчивал починку дороги, тогда отбивал косу и косил по обочинам траву, в хорошую погоду сушил сено и снова косил, а после обеда отвозил это сено на сеновал, я готовился к зиме, о которой мне сказали, что она тянется тут почти шесть месяцев... Раз в неделю я запрягал лошаденку и отправлялся за покупками, я поворачивал вместе с дорогой и с отремонтированного шоссе постепенно съезжал на проселок, по которому никто не ездил, я оглядывался и видел следы колес телеги и после дождя следы подков лошади, миновав две брошенные деревни, я попадал на настоящее шоссе, на его лице я видел морщины грузовых машин и в пыли у обочины отпечатки шин велосипедов и мотоциклов, транспорта рабочих лесного управления и солдат, которые по этому шоссе отправлялись на работу и на патрулирование или возвращались домой. Когда я покупал в лавке консервы и колбасу, и большой каравай хлеба, я останавливался у пивной, жители деревни и хозяин подсаживались и допытывались у меня: нравится ли мне в горах, в этих обезлюдевших местах? И я с восторгом объяснял им, что в жизни нигде и никто такого, как у них, не видел, я рассказывал так, будто попал сюда проездом на машине или экскурсантом всего лишь на два-три дня, я говорил как турист, как человек, восхищенный природой, как горожанин, который всегда, едва приедет в деревню, так и начинает болтать романтическую бессмыслицу о том, как красивы леса, как прекрасны в облаках вершины гор и с каким удовольствием он якобы поселился бы тут навсегда, так тут прекрасно... В этой пивной я сбивчиво рассуждал о том, что есть у красоты и другая сторона, что красота этого края гор и лесов, что эта красота зависит от того, как умеет человек любить и неприятное, заброшенное, любить этот край и в те часы, дни и недели, когда идет дождь и когда быстро темнеет, когда человек сидит у печки и думает, что уже десять вечера, а еще только полседьмого, любить беседу с самим собой и разговор с лошадью, собакой и кошкой, и козой, но все же когда человеку милей всего говорить с самим собой, сначала тихо, будто играть в какой-то кинематограф, вспоминать и перебирать картины прошлого, но потом, подобно мне, он начинает сам с собой беседовать, советовать себе, спрашивать, самому себе задавать вопросы, выслушивать ответы, сам у себя выведывать самое тайное, будто прокурор выдвигать против себя обвинения и защищаться, и, так попеременно разговаривая с самим собой, добираться до смысла жизни, не к тому, что было и случилось уже давным-давно, но к тому, что впереди, спрашивать, что это за дорога, которую я одолел и которую еще предстоит одолеть, и мне кажется, что еще есть время через размышления обрести такой покой, который защитит человека от желания убежать от одиночества, убежать от самых главных вопросов, которые человек должен иметь силу и смелость задавать себе... И вот, я, дорожный рабочий, каждую субботу до самого вечера сидел в пивной, и чем дольше я в ней сидел, тем больше выкладывал людям, тем чаще вспоминал о лошаденке, стоявшей перед пивной, об искрящемся одиночестве в том моем новом доме, я видел, что люди затемняют мне то, что я хотел бы узнать и познать, что люди впустую растрачивают часы и дни, как, бывало, растрачивал я, они отод-

вигают те вопросы, на которые однажды им придется ответить, если будет у них то счастье, что перед смертью останется на это время... в сущности, в этой пивной я всегда приходил к мысли, что суть жизни в расспрашивании самого себя о смерти, как я буду вести себя, когда придет мой час, что, в сущности, это не просто расспрашивание самого себя о смерти, но это разговор перед лицом бесконечности и вечности, что сам поиск понимания смерти есть начало мышления в прекрасном и о прекрасном, потому что наслаждение бессмысленностью своей дороги в любом случае заканчивается преждевременным с точки зрения вечности уходом, это наслаждение и переживание своей гибели, оно наполняет человека горечью, а значит, красотой. И вот, в этой пивной я уже стал посмешищем для всех, я допытывался у каждого, где бы он хотел быть похоронен, и все сначала пугались, но потом смеялись до слез и спрашивали в свою очередь меня, где бы я хотел быть похоронен, если выпадет мне такое счастье, что найдут меня вовремя, потому что предпоследнего дорожного рабочего нашли только весной, и он был весь обглодан землеройками, мышами и лисами, и похоронили всего лишь связку костей, вроде пучка спаржи или набора говяжьих костей. И я с удовольствием рассказывал о своей могиле, если я умру тут и если станут хоронить хотя бы одну необгрызанную кость да череп, оставшиеся от меня, то я хотел бы быть похороненным на том кладбище, что на вершине, чтобы лежать на гребне склона и чтобы мой гроб раскололся по этой разделительной линии, и чтобы стекало в дождь то, что от меня осталось, на две стороны света, чтобы ручейки воды уносили часть меня в Чехию, а другую часть чтобы ручейки уносили через колючую проволоку границ в Дунай, что я желал бы быть гражданином мира, поэтому после смерти пусть Влтава уносит меня в Лабу и оттуда в Северное море, а другую, оставшуюся от меня часть пусть Дунай уносит в Черное море, и через оба моря я попаду в Атлантический океан... посетители пивной затихали, таращили на меня глаза, а я вставал и уезжал домой, эти вопросы развлекали всю деревню, а я так отвечал почти всякий раз, как приезжал, всегда под конец они задавали мне эти вопросы, они спрашивали, что, если бы вы умерли в Праге? а в Брно? а что, если бы вы умерли в Протеёве, что, если бы вас сожрали волки? И я всякий раз придумывал все так, как следовало бы по лекциям профессора литературы, мол, человек не исчезает ни духовно, ни физически, он только меняется, с ним происходит метаморфоза, однажды с Марцелой они разбирали стихотворение поэта, которого называли Сэндберг [1], о том, из чего состоит человек, что в нем есть фосфор, а из этого фосфора получилось бы десять коробок спичек, что в нем есть железо, а из этого железа можно выковать гвоздь, на котором человек мог бы повеситься, что в нем есть вода, а на этой воде можно бы сварить десять литров супа из потрошков... я рассказывал об этом жителям деревни, и они пугались и боялись меня, и морщились от того, что их ждет... поэтому они предпочитали мои рассказы о том, что будет с ними, если они умрут тут. И вот однажды ночью мы пошли на кладбище на холме, и я показал им свободные места, откуда, если будут там похоронены, они попадут одной половиной в Северное море, а другой половиной в Черное море, главное, положить гроб поперек холма, как на гребень крыши... Потом я возвращался с покупками домой и дорогой размышлял, всю дорогу я развлекался, снова перебирал все, что за день наговорил и сделал, и спрашивал себя, правильно ли я сказал или сделал, и правильным я считал только то, отчего мне самому было весело, не так весело, как детям или пьяным, но так, как учил меня пан профессор французской литературы, веселье как метафизическая потребность, если человека что-то веселит, так это и есть оно, вы потомство злое, глупое и преступное, и он нас так ругал, чтобы привести туда, куда хотел, чтобы весельем была для нас поэзия, предметы и события прекрасные, и красота, влияние и назначение которой всегда направлены к вечности, потому что влияние и значение красоты всегда направлены к трансцендентному, то есть

[1] Карл Сэндберг (1878—1967) — американский поэт.

в бесконечность и вечность. Еще для этого моего жилища, шинка, пивной, которая была одновременно и танцевальным залом на случай, если бы я уже не мог иначе и мне бы страстно захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной, чтобы пришел хоть какой человек, так вот, еще до зимы я собрал в деревне большие старые зеркала, несколько штук, мне отдавали их даром, люди рады были от них избавиться, говорили, что, когда в них смотрят, так в зеркале появляются жившие тут немцы, я обложил их одеялами и газетами... и привез домой, целый день я вбивал в стены колышки и на эти колышки навешивал зеркала, всю стену я завесил зеркалами... и тут я уже был не один, когда я возвращался домой, всегда радовался, как пойду сам себе навстречу, сам себе поклонюсь в зеркале и пожелаю доброго вечера, и до той поры, пока не пойду спать, тоже буду не один, будет нас тут двое, что из того, что мы будем делать одинаковые движения, с тем большей реальностью я могу задавать себе вопросы... и когда я ухожу, поворачиваюсь спиной, куда девается тот в зеркале, мой двойник, он в каждом зеркале, и все же ухожу и удаляюсь из комнаты я один... этот образ я не сумел додумать, почему, когда ухожу, я не вижу себя, почему опять вижу свое лицо, только когда поверну голову, но не свою спину, для этого нужно бы еще где-то зеркало. Так у меня начало появляться осязательное впечатление от вещей, которые были невидимы, но присутствовали, невероятное становилось реальным, когда бы я ни возвращался после субботних покупок или с зарплатой, я останавливался у подножия холма, где наверху кладбище, спускался к ручейку, в который по бокам вливались струйки родников и ручейков еще более маленьких, и здесь в этом месте непрестанно падала со скалы вода, и я каждый раз умывался, обмывал лицо, вода была холодная и прозрачная, и я мог представить, как все время сверху с кладбища и до самого ручейка стекают соки тех похороненных, конечно, прежде чем попасть сюда, они были перегнаны и процежены прекрасной землей, которая умеет делать из трупов гвозди, на которых можно повеситься, и прозрачную воду, которой я умываю лицо, так же как через много лет где-нибудь кто-то будет умывать лицо моей метаморфозой, кто-то чиркнет спичку из фосфора моего тела.. и я всегда не мог удержаться и пил воду из этого ручейка под кладбищем, сначала я эту воду пробовал, будто дегустатор вино, и так же как врач знает целебные ванны, и знаток вин обнаружит в рислинге запах паровозов, проезжавших ежедневно сотнями мимо виноградников, или запах костра, который каждый день разводят виноградари, чтобы подогреть завтрак или обед, и точно так же как дым можно распознать в букете рислинга, так и я пробовал покойников, давно похороненных там на погосте, наверху, я пробовал их, наверно, для того же, для чего привез зеркала, только ради того, чтобы сберечь отражения смотревшихся в них немцев, которые уехали годы назад, но их запах еще хранится в этом зеркале, в которое я каждый день подолгу гляжу, в котором я прохаживаюсь и так же, как в воде, угадываю покойников, я прохаживаюсь и касаюсь, будто струн, портретов, вряд ли видимых, но для человека, для которого невероятное стало реальным, эти люди реальны, и я спотыкался о портреты девушек в дирндлах, о мебель позади них, о сцены из жизни немецких семей... И эти деревенские жители, которые подарили мне зеркала, а я за это дал им поглядеть в зеркало будущего, что ждет их на кладбище, так вот, они перед самой Родительской субботой застрелили моего пса, я его научил, собственно, он научился сам, как-то раз я повесил на шею ему сумку с тем, что он пойдет со мной за покупками, но увидел, что он побежал по дороге к деревне без меня, тогда я написал на пробу записку что надо, и он побежал и через два часа вернулся и положил сумку с покупками... вот, вместо того чтобы ездить с лошаденкой, почти через день я посылал овчарку с сумкой, чтобы она принесла покупки... и вот, однажды, когда эти деревенские знакомые напрасно прождали меня и приметили моего пса, что он несет покупки вместо меня, вот они и застрелили мою собаку, чтобы я приходил к ним в пивную... и я плакал, неделю я оплакивал овчарку, и потом, только я запряг лошадь, как выпал первый снег, я отправился за зарплатой и большими закупками на зиму, деревенским жителям я все простил, потому что они скучали без меня, они уже не смеялись надо мной, потому что по-другому эти,

высокие, не могли, не могли без меня в пивной жить, они сказали, что нет у них другой радости, они не желали мне смерти, но хотели, чтобы раз в неделю я приезжал к ним, потому что церковь далеко, а я умею говорить лучше, чем священник... Пес еще вернулся ко мне, они прострелили ему плечо, но он еще приплелся с покупками, я успел его погладить, принести кусочек сахара как признание и награду, но этот кусочек он уже не взял, он положил голову мне на колени и медленно так умирал, над нами склонилась лошадь, принюхивалась к собаке, пришла и коза, и кошка, которая спала вместе с овчаркой, но мне никогда не позволяла себя погладить, и больше всего она, наверно, любила меня на расстоянии, когда я разговаривал с ней, она ложилась на спину, извивалась и крутилась, и тянулась ко мне и глазами и коготками, будто я почесывал ей шейку или гладил шерстку, но стоило мне протянуть руку, всякий раз эта сила робости буквально пулей отбрасывала ее в сторону от моих пальцев... кошка пришла и, как обычно, притулилась к боку овчарки, потом я положил на нее ладонь, а она так и глядела в угасающие глаза собаки, и я ее гладил, она взглянула на меня, и было для нее так ужасно, что я ее гладил, но она преодолела свой ужас, потому что умирал ее друг, она предпочла закрыть глаза и уткнуться в собачью шерсть, чтобы не видеть того, что приводило ее в ужас, но о чем она мечтала.

Однажды под вечер в задумчивости я отправился за водой к колодцу, и вот, когда я так шел, сначала почувствовал, а потом увидел, что на опушке леса, опершись рукой на дерево, стоит Зденек, тот знаменитый бывший официант, тот мой товарищ из отеля «Тихота», который теперь пристально смотрит на меня... И я, который обслуживал эфиопского императора, сразу понял, он приехал только ради того, чтобы посмотреть на меня, что он не хочет, да и не нужно ему говорить со мной, он хочет только увидеть меня, как я вошел в свою одинокую жизнь, потому что Зденек теперь большой пан в политике, он окружен уймой людей, но я знал, что он, наверно, так же одинок, как и я... Я качал воду, животные смотрели на мою работу, и я чувствовал, что за всеми моими движениями наблюдает Зденек, тогда я сделал вид, что уставился на бадью, в которую накачивал воду, и будто бы Зденека не вижу, но я чувствовал, что Зденек тоже чувствует, что я знаю, что он в этом лесу. И я нарочно медленно нагибался, поднимал бадью за ручку, я давал Зденеку время хотя бы чуть шелохнуться, ведь тут каждое движение слышно на сто метров, слышен каждый звук, таким способом я спрашивал его, хочет ли он что-нибудь сказать мне, но ему не нужно было говорить со мной, ему достаточно и того, что я есть на свете, потому что он заскучал обо мне, так же как я много раз вспоминал о нем. И вот, я поднял две бадейки и спустился к дому, за мной шагала лошаденка, за ней коза и кошка, я аккуратно так ставил ноги, вода из бадеек выплескивалась мне на резиновые сапоги, и я знал, что, когда поставлю бадейки на завалинку и обернусь, Зденека уже не будет, удовлетворенный, он вернется к правительственной машине, которая ждет его за лесом, вернется к своей работе, которая, конечно, тяжелее, чем это мое бегство в одиночество. Я вспомнил пана профессора литературы, как он говорил Марцеле, что настоящий человек и гражданин мира — это тот, кто умеет стать анонимным, кто может освободиться от своего фальшивого «я». И когда я поставил бадейки и обернулся, Зденек уже ушел. И я согласился, что так и должно быть, только так мы и могли поговорить, хотя каждый из нас был где-то на своем месте, так без слов мы высказали друг другу, что у каждого на сердце и какой у нас взгляд на мир. В этот день начал падать снег, хлопьями, большими, как почтовые марки, тихий снег, который к вечеру сменила метель. Источник прозрачной и в любое время одинаково холодной воды по-прежнему струился в погребе по выбитому в камне желобу, хлев был возле лестницы рядом с кухней. И конский навоз, который по совету деревенских знакомых я оставлял в конюшне, своим теплом обогревал кухню не хуже центрального отопления. Три дня я смотрел на падающий снег, который шелестел, как бабочки в малине, как поденки, как падающие с неба лепестки. Мою дорогу засыпáло снегом все больше и больше и на третий день завалило так, что она слилась с окрестностями,

и никто бы уже не угадал, куда эта дорога ведет. И тогда я вытащил старые сани, нашел бубенчики, которыми каждые полчаса позвякивал, и улыбался, потому что эти бубенчики и их звон подсказывали мне, как я запрягу лошаденку и поеду над своей дорогой, как вознесусь над ней, как будет нас разделять эта снежная подушка, эта перина, этот толстый снежный ковер, это надутое белое покрывало, покрывающее весь край... я чинил сани и даже не заметил, как снег подступил к самому окну, и потом его навалило уже до половины окон. В ту минуту, когда я взглянул и испугался, как поднялось это снежное наводнение, я увидел свою избушку и моих животных, будто мы подвешены на цепях прямо к небу, избушку, отлученную от мира и потому полную до самых краев, как и те зеркала полны отражениями разоренной и забытой жизни, которые из прошлого позвать и вызвать не труднее, чем отражения, которыми я сам устлал эти зеркала или, лучше сказать, которыми была выстлана и среди которых проложена моя дорога, теперь уже засыпанная снегом времени, которое миновало, и одни только воспоминания могут когда угодно нащупать старые образы, так опытная рука нащупает под кожей артерию и определяет, куда текла, течет и в близком будущем будет течь жизнь,.. и в ту минуту я испугался, что если бы умер, то все невероятное, которое стало реальным, оно бы все ушло со мной, как говорил пан профессор эстетики и французской литературы, лучший человек — это тот, кто умеет лучше прояснять... и я почувствовал желание описать все как было, чтобы и другие люди могли прочитать, но когда я говорю, я рисую перед собой вызываемые памятью картины, которые нанизываю, как кораллы, как четки на длинную нить моей жизни, невероятность которой настигла меня в тот миг, когда я глядел и ужасался тому, как падает снег, которого выпало избушке по пояс... И вот, каждый вечер, когда я сидел перед зеркалом, а позади меня на бывшей пивной стойке сидела кошка и головкой толкала мое отражение в зеркале, будто бы это был я, и я глядел на свои руки, и за окнами завывала, точно наводнение, снежная метель, так вот, чем дольше я смотрел на свои руки, я даже поднял их, будто сам себе сдавался в плен, смотрел в зеркало на руки и движущиеся пальцы и видел перед собой зиму, снег, я видел, как буду отгребать снег, отбрасывать его и искать дорогу, и каждый день продолжать, продолжать искать дорогу к деревне, может, и они будут искать дорогу ко мне... и я сказал себе, что днем буду искать дорогу к деревне, а вечером буду писать, искать дорогу в прошлое и потом по ней идти, и отгребать снег, который засыпал мой путь назад... и попробовать так, чтобы словом и писанием я выспрашивал самого себя.

В Щедрый день [1] опять падал снег и завалил дорогу, которую я почти весь месяц с большим трудом искал и подновлял. Такая из снега получилась стенка, такой ров по самую грудь, я даже проходил половину расстояния до пивной и лавки, где был последний раз в Родительскую субботу. Вечером пороша искрилась, будто блестящие бляшки на подвесных календарях, я поставил елочку и напек сладостей. Я зажег елочку и вывел из хлева лошаденку и козу. Кошка сидела у печки на оловянной стойке. Я вытащил фрак, надел его, но он уже не шел мне, пуговицы выскакивали из отвердевших пальцев, и руки от работы стали такими топорными, что я не сумел как следует завязать белую бабочку, я вытащил из чемодана и начистил кремом те штиблеты, которые купил, когда был официантом в отеле «Тихота». И когда я надел голубую ленту и приколол к груди звезду, то звезда засияла сильнее, чем елочка, лошаденка и коза взглянули на меня и испугались, так что мне пришлось их успокаивать. Потом я приготовил ужин, гуляш из консервов с картошкой. Для козы я приготовил гостинец, нарезал в воду яблоки. И лошаденке тоже, она, как всегда по воскресеньям, обедала вместе со мной, стояла у длинного стола, выбирала из миски и хрупала яблоки. Все время у этой лошади было навязчивое ощущение, что я брошу ее тут, уйду от нее. Куда бы я ни шел, она всюду шла за мной, и коза, которая привыкла к лошади, шла за ней, и кошка, которая зависела

[1] Щедрый день — начало Рождественских праздников, 24 декабря.

от козьего молока, шла туда, куда направлялось козье вымя. Так мы ходили на работу и с работы. Когда осенью я косил траву, они все маршировали за моей спиной, даже когда я шел в уборную, животные поворачивали за мной и сторожили под дверями, чтобы не убежал... Вот так, аккурат в первую неделю моего приезда сюда, когда явилась мне та девушка с шоколадной фабрики «Орион», я так затосковал, так захотелось мне ее увидеть, мне казалось, что она так и ходит с книгами под мышкой на эту шоколадную фабрику, такая меня сдавила тоска, уложил я все необходимое и еще до рассвета отправился в деревню и там ждал автобуса, но когда он подъехал и я уже поставил ногу на ступеньку, то увидел, как по дороге от моего дома бежит лошаденка, за ней собака, и позади ковыляла коза... и прямо ко мне, и так на меня глядели эти животные, и так тихо меня просили, чтобы я не бросал их, и когда они меня окружили, то появилась еще и та одичалая кошка и вскочила на скамейку, куда я ставил кувшин с молоком, автобус уехал, а я вернулся с животными домой, которые с той поры не спускали с меня глаз, но старались каким-то образом развеселить, кошка прыгала будто какой-то котенок, коза пыталась со мной бодаться, и в шутку скакала на двух ногах, и хотела боднуть меня в голову, только лошаденка ничего не умела, но каждую минуту брала меня нежными губами за руку, глядела на меня, а из глаз у нее хлестал ужас... После ужина, как, впрочем, и каждый день, лошаденка улеглась у печки и сладко вздыхала, коза легла возле нее, а я продолжал писание своих картин, я задумался, первое время эти картины проступали так неясно, я даже описал какую-то ненужную картину, но в один прекрасный день я вдруг расписался, теперь я исписывал страницу за страницей, картины все время менялись, все быстрее и быстрее, и я не успевал их описывать, эти забегающие вперед картины не давали мне спать, я не слышал, буря ли на улице, луна ли светит так, что трещат оконные стекла, и только день за днем расчищал дорогу, разгребая снег, я думал о вечерней дороге, когда возьму перо и начну писать, днем я продумывал все заранее и вечером только описывал то, о чем думал во время работы, вечера ждали и животные, потому что звери любят покой, эта скотина только сладко вздыхала, я подкладывал в печку старый пень, и пламя тихо тлело, и дым со вздохом улетал в трубу, и под дверями пробегал ветер... В ночь под Рождество в окнах появились огни. Я отложил перо. И невероятное стало реальным. Я вышел на улицу, и там на санях с плугом пробились ко мне деревенские знакомые, несколько тех убогих, неудачливых горемык, которые просиживали вечера в пивной и которые затосковали без меня так, что застрелили мою овчарку, а теперь с плугом и на санях добрались даже сюда... я позвал их в пивную, в это мое нынешнее жилище... они таращили на меня глаза, и я заметил, чему они удивляются. «Где ты это взял? Кто тебе дал? Почему ты так разоделся?» Я сказал, садитесь, господа, вы мои гости, ведь я бывший официант, а они испугались и вроде пожалели, что приехали... «А эта лента и орден?» Я говорю, мол, получил их много лет назад, потому, что я тот, который обслуживал эфиопского императора... «А кого обслуживаешь теперь?» — перепугались они. Теперь, как видите, вот мои гости, и я показал на лошаденку и козу, но те уже встали и хотели уйти, и стучали и били в двери, я им открыл, и они одна за другой пошли по лестнице в свой хлев. Но этот фрак, и сверкающая звезда, и голубая лента так перепугали деревенских знакомых, что они остались стоять, поздравили меня, пожелали приятно провести праздники и пригласили меня, чтобы я приехал на святоштепанский обед [1]. Я видел в зеркалах их спины, и когда из оконных стекол исчезали огни и фонари, и отзвенели бубенчики, и с натугой проскрипел по снегу скрепер, я остался перед зеркалом один, я смотрел на себя и чем больше глядел, тем больше пугался, будто был в гостях у кого-то незнакомого, у кого-то, кто сошел с ума... я подышал на себя, даже поцеловал себя в этом холодном стекле, потом выставил локоть и протирал запотевшее стекло рукавом фрака до тех пор, пока снова не увидел себя в зеркале,

[1] День Святого Штепана — один из праздничных рождественских дней в Чехии.

стоявшего с зажженной лампой, будто с бокалом, поднятым для тоста. И за моей спиной тихо открылись двери, я помертвел... и вошла лошаденка, за ней коза, кошка вскочила на оловянную стойку у печки, и я порадовался, что деревенские знакомые пробились сквозь снег ко мне, что пришли ко мне, что испугались меня, потому что мне надо быть кем-то исключительным, потому что я и вправду ученик метрдотеля пана Скршиванека, который обслуживал английского короля, и я имел ту честь, что обслуживал эфиопского императора, и он навсегда отметил меня орденом, и этот орден придал мне силы, чтобы я написал для читателей эту историю... как невероятное стало реальным.

Хватит вам?

На этом и вправду закончу.

СЛОВО В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта книга написана под ярким летним солнцем, которое раскаляло пишущую машинку так, что по нескольку раз в минуту что-то заедало, будто она заикалась. Невозможно было смотреть на отсвечивавшие белые четвертушки бумаги, и мне не удавалось прочитать то, что я написал, стало быть, опьяненный светом, я работал не глядя, как автомат, свет солнца так слепил меня, что я видел лишь очертания искрящейся машинки, жестяная крыша за несколько часов так накалялась, что исписанные страницы сворачивались от жары в трубочку. И к тому же события, которые в последний год навалились на меня так, что у меня не было даже времени зарегистрировать смерть матери, вот эти события и принуждают меня оставить книгу такой, какой она получилась с первого раза, и надеяться, что когда-нибудь у меня будет время и мужество снова и снова возиться с текстом и перерабатывать его ради истинной классичности, или же — под влиянием минуты и догадки, что можно и сберечь эти первые спонтанные образы,— взять ножницы и выстригать те образы, которые и спустя время сохранят еще свежесть. А если меня уже не будет на свете, пусть это сделает кто-то из моих друзей. Пусть настригут маленький роман или большой рассказ. Так!

P. S. Тот летний месяц, когда я писал эту книгу, я прожил в умилении от «художественного воспоминания» Сальвадора Дали и фрейдовского «ущемленного эффекта, который находит выход в речи».

От переводчика

Владимир Набоков как-то заметил, что если бы ему сказали, что «Госпожа Бовари» — роман о разложении мелкой буржуазии во Франции середины прошлого века, то вряд ли бы он стал читать его. Точно так же и с романом Богумила Грабала «Я обслуживал английского короля». Если видеть в нем только описание судьбы «маленького человека», попавшего под жернова взбесившейся истории, то будет совершенно непонятно, почему вышедшее в Праге ротапринтное издание романа тиражом в тысячу экземпляров (после 1968 года в Чехословакии книги Б. Грабала почти не печатали) очень быстро перевели на многие европейские языки. Почему в благополучной Швеции и взбудораженной Польше 70-х годов роман Б. Грабала стал настольной книгой тысяч читателей? Почему богемисты Швейцарии и Соединенных Штатов пишут монографии о творчестве Грабала, диссертации о значении многоточия в романе «Я обслуживал английского короля», о смысле первой фразы в начале каждой главы? Действительно, почему? Ведь о судьбе злосчастного «маленького человека» созданы сотни томов в десятках стран, наверно, на всех языках.

Ответов на этот вопрос может быть очень много, потому что Б. Грабал позволяет каждому прочитать роман по-своему. Читатель уже мог познакомиться с предваряющими эту публикацию соображениями чешского критика Радко Пытлина. Мне как переводчику хотелось бы предложить возможное объяснение.

Грабал замаскировал своего героя под маленького человека, даже наделил его крохотным ростом скорей всего для того, чтобы облегчить читателю разгадку, чтобы

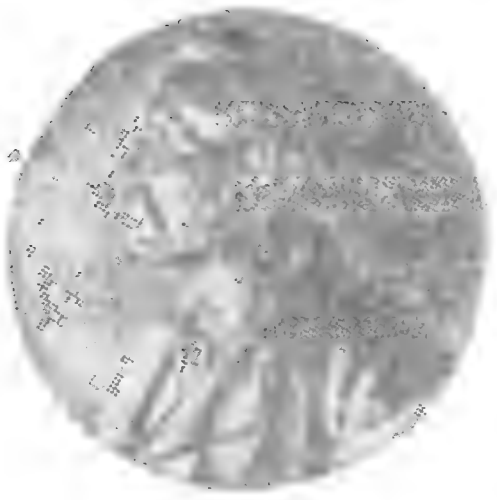
события, происходящие вокруг героя, не заслонили приключений его души. С первых же страниц коротышка-официант, прикарманивая сдачу, проявляя усердие в зале ресторана, лелеет в своей душе мечту совсем о другом. Он пускается в невероятные похождения (порой лишь мысленно) в погоне за красотой. Он ищет красоту в эротике и ухитряется превратить посещение провинциального публичного дома в праздник настоящей красивой любви, он ищет красоту в деньгах и относится к своему ресторану как к произведению искусства, он ищет красоту в почете и престиже и добровольно приходит в лагерь для интернированных миллионеров. Он ищет красоту в образцовой работе и сам будто бы даже приближается к желаемому идеалу, обслуживая эфиопского императора. Но сидящий в нем побудитель и воспитатель, а вовсе не внешние обстоятельства подсказывает ему, что он сбился с пути.

Встреча с профессором эстетики, приобщившим его к французской поэзии, помогает ему нащупать свою дорогу.

Герой Грабала в постоянном напряжении, каждый его день наполнен борьбой, но не «с» (фашизмом, властями, бюрократизмом и т. п., как мы привыкли по произведениям соцреализма), а «за». За свое «я», за его независимость. Коротышка-официант сначала неосознанно, но потом, плутая и заблуждаясь, учится видеть красоту в каждодневном, обычном, реальном, иногда ужасном и безобразном. Не придуманная, искусственно созданная, а только реальная и будничная красота истинна, и только она открывает путь к свободе. К той свободе, которая восхищает нас в Пушкине и Гёте. И в Грабале. Внутренней свободе вопреки любым ударам судьбы и перипетиям истории. Такая свобода, говорит Грабал, не приносит счастья, но делает жизнь печальной и полной, а значит, прекрасной.

Красота вроде бы пока и не спасла мир, но она спасла одного маленького человека, может, поэтому и роман о его поисках красоты в жизни полюбили тысячи читателей во многих странах.

Д. ПРОШУНИНА



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1907 г.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

IF

(Вглубь одного стихотворения)

С английского

Четыре строфы

У этого стихотворения — своя судьба. Драматическая судьба.

Оно было напечатано в октябрьском номере «Американ мэгэзин» за 1910 год и тут же обрело громкую известность. Удивляться нечему: помимо поэтических достоинств текста, сказалась слава его автора. Звезда Киплинга тогда стояла в зените. Среди современных ему английских поэтов никто не добился настолько широкого признания. Рассказами Киплинга зачитывались на пяти континентах.

Нобелевская премия только удостоверила его — и без таких знаков престижа — высокий литературный авторитет. Кстати, за всю историю этой премии не было среди писателей лауреата моложе, чем Киплинг. Шведская академия провозгласила его живым классиком в сорок два года.

От него ждали необыкновенных свершений. Считалось, что этот талант только начинает раскрываться в полную силу. Запас впечатлений, накопленных Киплингом за два с половиной десятилетия колониальной службы и бесчисленных репортерских поездок по всему свету, казался неисчерпаемым. Нешаблонность его ощущения мира не переставала поражать.

Никому бы в ту пору не пришло на ум, что все лучшее Киплингом уже написано. Что начинается самоповторение, которое под конец прискучит даже самым пламенным его поклонникам.

Трудно сказать, чувствовал ли он сам, что его творческие возможности почти исчерпаны. Но в том, что стихам, опубликованным в октябре 1910 года, он придавал особое значение, сомневаться не приходится. Ведь они в своем роде «Памятник», как у Горация, Державина, Пушкина. Свой — ставший классическим — перевод М. Лозинский озаглавил «Заповедь» [1]. Подошел бы и другой заголовок, пусть лексически произвольный,— «Завещание». Он оправдан, если вникнуть в смысл четырех строф. Да и случилось так, что они действительно стали поэтическим завещанием Киплинга, хотя он прожил еще четверть века с лишним. И выпустил не одну книгу.

Их, правда, читали без былых восторгов. А чаще просто игнорировали. Популярность Киплинга, в последний раз достигшая высокой отметки с началом мировой войны, затем резко упала, сменившись равнодушием. К нему стали относиться преимущественно как к писателю для подростков. Подобное случалось со многими писателями: Дефо, Свифт, Марк Твен — только самые наглядные примеры. Но Киплинга не утешали эти аналогии.

Он тяжело пережил перемену своей литературной репутации. Не сказать, чтобы она произошла беспричинно. Пересматривая огромный том его «Полного собрания стихотворений», все время ловишь себя на мысли: многое ли сохранилось как живая, читаемая поэзия? Баллады? Их десятки, но теперь вспоминают разве что «Мэри Глостер», «Томлинсона» да «Томми Аткинса». Последние два имени сделались нарицательными, конечно, не по капризу случая. «Песенки о службе», как назвал Киплинг свой первый, еще в Бомбее им изданный сборник 1886 года, а точней — миниатюры о солдатском ремесле? Несомненно, среди них есть жемчужины. Кто забудет описанный Киплингом холерный лагерь, или пыль фронтовых

[1] Опубликован в 1936 году; среди других публиковавшихся переводов отметим работы С. Я. Маршака («Если») и В. Л. Топорова («Будь верен ты») — см. Английская поэзия в русских переводах. XX век. М., Радуга, 1984. *(Прим. автора статьи).*

дорог Южной Африки, или брод через речку Кабул? А с другой стороны, из-за бесконечных подражаний уже утрачено то ощущение ослепляющей новизны, которое когда-то заставило на всех углах заговорить об этих подчеркнуто непритязательных зарисовках колониальной и армейской будничности. И лишь немногие из них остались недоступными имитаторам, потому что печать авторской индивидуальности слишком резка, слишком отчетлива.

Жертвой имитации, а стало быть, опошления, конечно, может оказаться любой поэт, но Киплинг имитацию словно бы провоцировал, и это плачевным образом сказалось на отношении к нему критики, а потом и обычных читателей. Во многом и стремительный взлет его славы, и последующее быстрое охлаждение недавних почитателей объяснялось самим характером его поэтических установок. Он принес в литературу живой опыт человека, хорошо знающего, что собою представляет невзрачная и полная лишений повседневность какого-нибудь затерянного в тропиках форта, над которым плещется британский флаг. Он не понаслышке мог поведать о буднях солдата или мелкого чиновника в колониях: среди чужого и враждебного окружения, в постоянной готовности лицом к лицу встретить смертельную угрозу, таящуюся за каждым поворотом проложенной через джунгли тропы. То, что впоследствии назовут пограничной ситуацией, знакомой людям, которые в минуты жестоких социальных встрясок были обречены существовать на шатком рубеже между жизнью и смертью, для Киплинга было не отвлеченностью, а привычным бытием. Вот откуда необманывающее впечатление и новизны, и этической значительности лучшего, что им создано. Вот откуда и вера Киплинга в понятия долга, ответственности, товарищества, духовной стойкости — фундаментально важных для него понятий, о которых в то время не слишком серьезно задумывались.

XX век, однако, придаст этим понятиям зримую актуальность, испытывая их в обстоятельствах глубоко драматических, как те, которые и нам достались совсем недавно, в августе 1991 года. И памятуя о такой актуальности, странно читать у критиков, что Киплинг со своим жестким этическим пафосом безнадежно выпал из времени. Разумеется, не каждый примет киплинговские идеалы. Он часто прямолинеен: слово «долг» для него почти то же, что «приказ», а непоколебимая приверженность имперскому знамени заставляет его героизировать исторически обреченное дело, которому приносятся напрасные жертвы. Все так, и тем не менее нельзя отказать Киплингу в том, что он впрямую — а часто и первым — коснулся коллизий, над которыми мы и по сей день бьемся, не находя согласия друг с другом. А еще говорят, будто он всего лишь «детский писатель».

Бытующее представление о его художественной устарелости столь же недостоверно. У Киплинга был незаемный взгляд на литературу: можно его принять, можно и отвергнуть, но не надо делать вид, будто ему важна была одна пропаганда, а поэтика — не важна. Это очень несправедливо. Суровая, а для многих шокирующая правда в соединении с открытой проповедью ценностей, не допускавших для Киплинга никакой инверсии,— так он постигал назначение писателя, отвергнув любого рода литературную изысканность, которая в его лексиконе презрительно именовалась плетением словес, и только. Мир Киплинга — графический, черно-белый мир: без полутонов, почти без оттенков. Предельная ясность была его идеалом, которому подчинено все — ритм, строфика, поэтическое слово. Минимум абстракций, как можно больше вещественности и зримости; невольно вспомнишь раннего Мандельштама: «Как на фаянсовой тарелке // Рисунок, вычерченный метко...» Точность глаза, едва ли превзойденная в английской поэзии нашего века, и уж точно непревзойденная смелость в назывании предметов неметафорическими, словарными именами.

В знаменитых стихах осени 1910 года речь идет о категориях этики, которыми Киплинг особенно дорожил, но весь образный ряд выстроен под знаком наивозможной конкретности. Жизнь уподоблена игре, схожей с орлянкой, которая знакома каждому (pitch-and-toss — столбик монет, в который бросают монету потяжелее, чтобы перевернуть стоящие в столбике монеты «на орла»). Обязанность человека не поддаваться искусу Успеха и не падать духом в годину Несчастья выражена призывом «напрячь сердце, и нервы, и мышцы». Сплошные императивы и модальные глаголы, словно бы Киплинг, презрев стихи, просто читает поучение. А вместе с тем — ритмическая четкость, доведенная до совершенства; ни одной неточной рифмы; до последней мелочи продуманный подбор односложных и двухсложных слов, с тем чтобы цезуры, обязательные почти в каждой строке, подчеркивали категоричность содержащихся в ней утверждений, а редкие пиррихии («allowance», «unforgiving»), разбивая монотонность, выделили смысловые ударения.

На фоне таких английских современников, как Томас Харди или Альфред Эдвард Хаусмен, а уж тем более на европейском фоне пышно доцветавшего символизма стихотворение Киплинга кажется достоянием совсем другой эпохи. Может быть, минувшей —

просветительской, предромантической. Но точнее сказать, что он опережал свое время. Смысл исканий Киплинга по-настоящему поймут не его литературные сверстники, а поэты следующего поколения. Для меня несомненно, что Гумилев и его «Цех поэтов» шли по стопам Киплинга, парадоксальным образом обретшего в России гораздо более глубокий отзвук, чем у себя на родине. Впрочем, так ли уж это парадоксально?

На родине критика не могла простить Киплингу — даже во дни его славы — ошеломляющей простоты, которая исключает всякие разговоры о зашифрованности образов и глубоко спрятанном подтексте. Эта простота противоречила духу времени, объявившего искусство разновидностью теургии, а поэта — искателем абсолютной Красоты, спрятанной под покрывалом Майи. Киплинг решительно двинулся против течения. Он не признавал ни панэстетизма, ни мифопоэтической философии бытия, освященной авторитетом Ницше, ни символистских поисков соответствия посюстороннего мира — «иным мирам». Он добивался сочетания почти несоединимых начал: фактографической правды и высокой притчевости или нескрываемого назидания — и, вопреки канону, утверждавшему, что в поэзии такой синтез невозможен, у него получались не прописи, не унылые басни, а стихи, полные мощного внутреннего напряжения: как в четырех строфах, написанных осенью 1910 года.

Эпигоны, выучившись имитировать киплинговскую мнимую безыскусность, довольствовались либо плоским натурализмом, либо ходульной и безжизненной романтикой, но эпигонов было слишком много, чтобы не пострадала репутация самого Киплинга. Своей еще прижизненно утвердившейся известностью ефрейтора, которого природа зачем-то наделила настоящим художественным даром, он в гораздо большей степени обязан ученикам, чем собственным идейным пристрастиям «государственника» и патриота, для которого Британия права всегда и во всем. Такая слава приросла к нему накрепко. И тут вступили в дело уже иные, внелитературные обстоятельства.

О них выразительнее всего сказал Ричард Олдингтон в «Смерти героя». Читавшие роман помнят, что в нем цитируется: «Тогда, мой сын, ты будешь Человек» — с единственной целью прокомментировать строку от имени уцелевших на фронтах первой мировой войны. Комментарий уничижителен — стихи, которые заставляли учащенно биться сердца стольких подростков, не знавших, что их ждут траншеи на Марне, эти стихи учили жестокости и объявляли джентльменом лишь того, кто способен убивать, не дрогнув. Словно бы Киплинг повинен в том, что атобиографического героя Олдингтона — и сколько других! — воспитывали садисты вроде старшины Брауна, а судьбой этого поколения стала верденская мясорубка. Словно бы литература в самом деле первой должна держать ответ за то, что жизнь так уродлива и беспощадна.

«Смерть героя» была исповедью поколения, вернувшегося из окопов искалеченным, озлобленным и жаждущим расчета с обществом, которое внушало ему ненависть. Требовался виновник трагедии, постигшей это поколение; Киплинг, недавний кумир, был слишком очевидной мишенью. Изменилось общественное умонастроение, и все, во что он свято верил, было признано фикцией, дурманом, опасной ложью. Чуть ли не молившиеся на него теперь состязались в оскорбительных выпадах. Так продолжалось долго, вплоть до 60-х годов, до знаменитого фильма Линдсея Андерсона «If», где киплинговское заглавие понадобилось, чтобы показать, какими неисцелимыми травмами заканчивается воспитание в духе возвещенных Киплингом истин.

Но эти истины не зависят от перепадов интеллектуальной моды, потому что рождены опытом жизни, а не апологетикой идейных устремлений, пусть даже очень близких авторскому сердцу. Из апологетики чаще всего рождается плакат. А Киплинг написал стихотворение, которое войдет в любую антологию английской поэзии — даже самую строгую по принципам отбора.

Такие стихи, даже если они, по первому впечатлению, прозрачно ясны, на деле содержат в себе очень глубоко спрятанные смысловые оттенки, выявляющиеся с новым серьезным прочтением. Думаю, сопоставление нескольких русских версий киплинговского шедевра убедит в этом каждого непредвзятого читателя. И пусть не смутят его различия — вплоть до несовпадающих заглавий. Тут не домыслы переводчиков «поверх» оригинала, а возможности, предлагаемые самим оригиналом.

Остается добавить, что тот, к кому, считалось, непосредственно обращены эти четыре строфы, сын Киплинга, погиб в 1915 году на фронте во Франции. От этого удара Киплинг так и не оправился до конца своих дней.

А. ЗВЕРЕВ.

If

If you can keep your head when all about you
    Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
    But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
    Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
    And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream — and not make dreams your master;
    If you can think — and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
    And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
    Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
    And stoop and build'em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
    And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
    And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
    To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
    Except the Will which says to them: «Hold on!»

If you can talk with crowds and keep your virtue,
    Or walk with Kings — nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
    If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
    With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
    And — which is more — you'll be a Man, my son!

Заповедь

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело.
И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,—
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Перевод М. ЛОЗИНСКОГО

Когда

Когда ты тверд, а все вокруг в смятенье,
Тебя в своем смятенье обвинив,
Когда уверен ты, а все в сомненье,
А ты к таким сомненьям терпелив;
Когда ты ждешь, не злясь на ожиданье,
И клеветой за клевету не мстишь,
За ненависть не платишь той же данью,
Но праведным отнюдь себя не мнишь;

Когда в мечте не ищешь утешенья,
Когда не ставишь самоцелью мысль,
Когда к победе или к пораженью
Ты можешь равнодушно отнестись;
Когда готов терпеть, что станет подлость
Твой выстраданный идеал чернить,
Ловушкой делать, приводить в негодность,
А ты еще готов его чинить;

Когда согласен на орла и решку
Поставить все и тотчас проиграть,
И тотчас же, мгновенья не помешкав,
Ни слова не сказав, сыграть опять;
Когда способен сердце, нервы, жилы
Служить себе заставить, хоть они
Не тянут — вся их сила отслужила,
Но только Воля требует: «Тяни!»

Когда — хоть для тебя толпа не идол —
При короле ты помнишь о толпе;
Когда людей ты понял и обиды
Не нанесут ни враг, ни друг тебе;
Когда трудом ты каждый миг заполнил
И беспощадность Леты опроверг,
Тогда, мой сын, Земля твоя — запомни! —
И — более того — ты Человек!

Перевод ВЛ. КОРНИЛОВА

Если сможешь

Сумей, не дрогнув среди общей смуты,
Людскую ненависть перенести
И не судить, но в страшные минуты
Остаться верным своему пути.
Умей не раздражаться ожиданьем,
Не мстить за зло, не лгать в ответ на ложь,
Не утешаясь явным или тайным
Сознаньем, до чего же ты хорош.

Умей держать мечту в повиновенье,
Чти разум, но не замыкайся в нем,
Запомни, что успех и пораженье —
Две лживых маски на лице одном.
Пусть правда, выстраданная тобою,
Окажется в объятьях подлеца,
Пусть рухнет мир, умей собраться к бою,
Поднять свой меч и биться до конца.

Сумей, когда игра того достойна,
Связать судьбу с одним броском костей,
А проиграв, снести удар спокойно
И без ненужных слов начать с нулей.
Сумей заставить сношенное тело
Служить сверх срока, не сбавляя ход.
Пусть нервы, сердце — все окаменело,
Рванутся, если Воля подстегнет.

Идя с толпой, умей не слиться с нею,
Останься прям, служа при королях.
Ничьим речам не дай звучать слышнее,
Чем голос истины в твоих ушах.
Свой каждый миг сумей прожить во славу
Далекой цели, блещущей с вершин.
Сумеешь — и Земля твоя по праву,
И, что важней, ты Человек, мой сын!

Перевод А. ГРИБАНОВА

Из тех ли ты...

Из тех ли ты, кто не дрожал в сраженье,
Но страх других себе в вину вменил,
Кто недоверие и осужденье
Сумел признать, но доблесть сохранил?
Кто бодро ждал и помнил, что негоже
Неправдою отплачивать лжецу
И злом злодею (но и этим тоже
Гордиться чересчур нам не к лицу).

Ты — друг Мечты, но средь ее туманов
Не заблудиться смог? И не считал,
Что Мысль есть Бог? И жалких шарлатанов —
Триумф и Крах — с улыбкой отметал?
И ты сумеешь не придать значенья,
Когда рабы твой труд испепелят
И смысл высокий твоего ученья
Толпа на свой перетолкует лад?

Рискнешь в игре поставить состоянье,
А если проиграешь все, что есть,—
Почувствуешь в душе одно желанье:
Встать от игры и за труды засесть?
Послушна ли тебе и в боли дикой
Вся армия артерий, нервов, жил?
Воспитана ли Воля столь великой,
Чтоб телу зов ее законом был?

Ты прям и прост на королевской службе?
С простолюдином кроток? Справедлив
К достойному назло вражде и дружбе?
Властителен порой, но не кичлив?
И правда ли, что даже малой доли
Своих часов, минут ты господин?
Ну что ж! Земля твоя — и даже боле
Тебе скажу: ты Человек, мой сын!

Перевод АЛЛЫ ШАРАПОВОЙ

ДОНАСЬЕН АЛЬФОНС ФРАНСУА ДЕ САД

Из книги «Преступления любви»

Перевод с французского Е. МОРОЗОВОЙ

Эжени де Франваль

ТРАГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Подвигнуть человека к исправлению нравов, указав ему надлежащий путь,— единственная причина, побудившая нас рассказать эту историю. Пусть те, кто идет на любую недозволенность для удовлетворения своих вожделений, прочтя ее, поймут, сколь велика опасность, следующая за ними по пятам! И да убедятся они, что ни надлежащее воспитание, ни богатство, ни таланты, ни щедрости природы не в состоянии отвратить человека от порока, если они не подкреплены благонравием, добродетельным поведением, благоразумием и скромностью, и лишь сии последние добродетели способны подчеркнуть выгоды первых; об этих истинах мы и желаем напомнить. И да простят нас за отвратительные подробности ужасного преступления, о котором вынуждены мы поведать. Ибо разве возможно внушить отвращение к пороку, не обладая мужеством обнажить его гнусные язвы?

Редко случается так, чтобы человек одновременно был наделен всем, что требуемо для его благоденствия. Щедро одаренного природою обделяет фортуна. Судьба осыпает милостями пасынка природы. Очевидно, Небо само напоминает нам, что для каждого существа, даже самого утонченного, законы равновесия суть главные законы Вселенной, которым подчиняется все сущее, все живое, все произрастающее.

Франваль, проживая в Париже, городе, где он родился, обладал 400 тысячами ливров ренты. Кроме того, он был прекрасно сложен, наделен необычайно приятной внешностью и самыми разнообразными талантами. Но под привлекательной оболочкой скрывались всевозможные пороки, и, по несчастью, те, что, войдя в привычку, неминуемо приводят к преступлению. Разнузданное, не поддающееся описанию воображение было первейшим недостатком Франваля. Именно от этого еще никому не удалось избавиться, и чем слабее человек, тем более подвержен он его воздействию. Чем меньше у него возможностей для осуществления замыслов своих, тем больше начинаний он измысливает. Чем менее мы действуем, тем более мы выдумываем. Каждый возраст несет с собой новые затеи, и наступающее пресыщение ведет лишь к новым утонченным извращениям.

Как мы уже сказали, всеми достоинствами, столь свойственными юности, всеми украшающими ее талантами Франваль обладал в избытке. Однако исполненный презрения к религиозным и моральным обязанностям, он не прислушивался к наставлениям учителей, и качества эти пропадали втуне.

В тот век, когда самые опасные книги попадали в руки детей столь же просто, как в руки их отцов и гувернеров, когда безрассудство возведено было в ранг философской системы, неверие почиталось за доблесть, а распущенность заменила игру ума, характер юного Франваля вызывал лишь легкую усмешку. Возможно, иногда его и бранили, но лишь затем, чтобы после осыпать похвалами. Отец Франваля, большой поклонник новомодных веяний, первый подтолкнул сына о с н о в а т е л ь н о задуматься над неподобающими для его возраста

предметами. Он сам предоставлял сыну книги, способствовавшие скорейшему его развращению. Разумеется, что при этом никто из учителей не осмеливался проповедовать принципы, отличные от тех, что исповедовал хозяин дома, коему они были обязаны подчиняться.

Как бы то ни было, Франваль рано лишился родителей. А когда ему исполнилось девятнадцать лет, умер его старый дядюшка, завещав ему все свое состояние при условии, что племянник скоро женится.

Располагая, таким образом, изрядным состоянием, господин де Франваль легко мог выбрать себе невесту. Неоднократно представлялась ему возможность сделать выгодную партию; но он умолял дядюшку, пока тот еще был жив, найти ему девушку моложе его и не обремененную многочисленными родственниками.

Чтобы угодить племяннику, старик обратил внимание на некую мадемуазель де Фарней, дочь покойного банкира, проживавшую вдвоем с молодой еще матерью, владевшей 60 тысячами ливров ренты, имевшую всего пятнадцать лет от роду и самую миловидную внешность, которую только можно было найти тогда в Париже... один из тех девственных ликов, отмеченных печатью непорочности и целомудрия, чьи нежные черты исполнены хрупкой прелести... Ее роскошные волосы волнами ниспадали до пояса, огромные голубые глаза излучали кротость и смирение, стан был тонок, гибок и легок, нежная кожа благоухала свежестью розы.

Наделенная многими дарованиями, умом живым, однако же склонным к меланхолии, она была преисполнена той тихой грусти, что свидетельствует о пристрастии к чтению и уединению. Подобными качествами природа, кажется, награждает единственно те создания, коих сама же и обрекает на несчастья, и, словно желая сделать несчастья эти для них менее горестными, наделяет избранников своих трогательной способностью извлекать мрачное наслаждение из слез отчаяния, проливаемых ими под ударами жестокой судьбы, и ценить таковое счастье несоизмеримо выше любых суетных и праздных удовольствий.

Госпожа де Фарней, тридцати двух лет от роду, наделенная, как и дочь ее, умом и привлекательностью, однако же была весьма строга и осторожна. Желая счастья своему единственному дитяти, она опросила весь Париж, стремясь узнать мнение общества об этом браке. А так как родственников у нее не было и получить совет она могла лишь от нескольких приятелей, которым, в сущности, было все равно, то ее быстро убедили, что молодой человек, прочимый ее дочери в мужья, несомненно, является наилучшей партией в Париже, и она совершила бы непоправимую глупость, не воспользовавшись предоставляемой возможностью. Дело было сделано, и молодые люди, достаточно для того состоятельные, сразу же после свадьбы зажили собственным домом.

В сердце юного Франваля не было места ни легкомыслию, ни беспорядочности, ни опрометчивости, ни одному из тех мальчишеских пороков, что препятствуют превращению юноши в зрелого мужчину. Обладая твердой волей и стремлением к порядку, Франваль имел тем самым все необходимые качества для управления домом и с этой стороны наилучшим образом был подготовлен к семейному счастью. Его пороки были совершенно иного рода, не безумства юности, но изъяны, присущие зрелому возрасту: лицемерие, склонность к интригам... к коварным выпадам, к злоязычию, способность вводить людей в заблуждение, эгоизм, изворотливость, лукавство — все это скрывалось под маской любезности и достоинств, уже нами упомянутых, к тому же приправленных красноречием, гибкостью ума и необычайно привлекательной внешностью. Таков был портрет человека, чей оригинал мы стремимся описать.

Мадемуазель де Фарней, знакомая, согласно обычаю, до заключения брака со своим супругом едва ли более месяца, была ослеплена этим фальшивым блеском и с готовностью принесла себя ему в жертву. Ей не хватало дня, чтобы налюбоваться на Франваля, она боготворила его, и восхищение ее было столь велико, что нелепо было даже помыслить о превратностях судьбы, способных разрушить столь сладостное для нее супружество, ставшее, по ее собственным словам, единственным смыслом ее жизни.

Франваль же, будучи философом в отношениях с женщинами, как,

впрочем, и во всем ином, был поразительно хладнокровен к своей очаровательной жене.

«Принадлежащая нам женщина,— говорил он,— является индивидом, чье подчинение нам закреплено обычаем. Необходимо, чтобы она была покорна, преданна... достаточно благоразумна, хотя я и не склонен разделять предрассудки о бесчестии, пятнающем нас в случае, если супруга вознамерится подражать нашим бесчинствам. Совершеннейше нельзя примириться лишь с тем, чтобы кто-либо вообразил, что похитил у нас права наши. Все же остальное в равной мере ни в чем не умаляет семейного счастья».

При муже, исповедующем подобные взгляды, нетрудно предсказать, что путь несчастной девушки, связанной с ним нерасторжимыми узами, не будет усыпан розами. Утонченная, чувствительная, безупречно воспитанная, окрыленная любовью, устремленная навстречу желаниям единственного в мире мужчины, занимающего все ее мысли, госпожа де Франваль в первые годы супружеской жизни не подозревала, что цепи, ее опутывающие, были цепями рабства. Отрадно было видеть, как она все внимание свое, все усердие направляет на то, чтобы в те короткие минуты, когда супруг снисходит до ее ласк, он нашел бы по крайней мере все то, что она почитала необходимым для счастия возлюбленного своего Франваля.

Лучшим из доказательств, что Франваль не всегда уклонялся от супружеского долга, являлось то, что уже в первый год замужества жена его, будучи шестнадцати с половиною лет от роду, произвела на свет дочь, еще прекраснее, чем она сама, и которой отец с первых же дней дал имя Эжени. Эжени, одновременно мерзейшее и прекраснейшее творение природы.

Господин де Франваль, лишь только дитя появилось на свет, стал осуществлять в отношении его свой гнуснейший замысел, для чего тут же и разлучил его с матерью. До семи лет Эжени находилась под присмотром доверенных женщин Франваля, ограничивавших свои заботы наблюдением за положительным развитием характера девочки и обучением ее чтению, однако строго остерегавшихся внушать ей какие-либо принципы религии или морали, которым обычно обучают детей в этом возрасте.

Госпожа де Фарней и ее дочь, необычайно уязвленные подобным поведением, стали упрекать господина де Франваля. Тот же спокойно ответил, что желает видеть свою дочь счастливой и не намерен забивать ей голову пустыми домыслами, внушающими людям лишь страх и совершенно бесполезными. Девушка, чья единственная потребность состоит в умении нравиться, вполне может обойтись без сих призрачных постулатов, вздорность которых лишь омрачит безмятежную жизнь ее, не обогатив при этом ни ум ее, ни красоту. Подобное заключение в высшей степени не понравилось госпоже де Фарней, ибо, начав сторониться мирских утех, она все более погружалась в благочестивые помыслы.

Набожность — непременная слабость, охватывающая нас с приближением старости или по наступлении тяжкой болезни. В кипении страстей неумолимое грядущее обычно мало заботит нас, но когда грозное дыхание его становится ощутимым... когда конец неотвратим... когда все покинули нас, мы вновь обращаем свои помыслы к Богу, о котором нам рассказывали в детстве, и если, по утверждению философов, это заблуждение столь же ошибочно, как и все прочие, оно по меньшей мере не столь опасно.

Теща Франваля, не имея родственников, не уверенная в себе, и, как мы уже сказали, сообразующая свои действия с советами, полученными от случайных знакомых... кои тут же исчезают, едва лишь мы пытаемся призвать их к ответу, поставленная перед необходимостью начать борьбу против собственного зятя, столь любезного, молодого, обладающего безупречной репутацией, после долгих размышлений решила, что для человека, который мог бы разорить ее дочь и приказать заточить ее внучку, довольно будет упреков, без применения открытых враждебных действий. Но так как соизмеряла она по себе, то все ее увещевания оказались напрасными, и она не осмеливалась их возобновить.

Франваль, уверенный в своем превосходстве, убедившись, что он внушает страх, отбросил всяческие стеснения и, довольствуясь поверхностным со-

блюдением приличий по отношению к обществу, устремился прямо к гнусной своей цели.

Когда Эжени исполнилось семь лет, Франваль привез ее к жене. Нежная мать, не видевшая дитя свое с самого его рождения, осыпала его бессчетными ласками, часами прижимая к груди, обливая слезами и покрывая поцелуями. Она допытывалась о наклонностях девочки, но Эжени могла лишь бегло читать, имела отменное здоровье и была прекрасна как ангел. Еще одним разочарованием для госпожи де Франваль стало полнейшее отсутствие у дочери ее основ религиозного воспитания.

— Но, сударь,— обратилась она к мужу,— позаботившись о земной жизни дочери нашей, разве не думаете вы о том, что для нее, как и для всех нас, жизнь эта есть лишь миг, за которым следует погружение в вечность, погибельное для нее, если вы лишите ее того, что позволит ей насладиться вечным покоем у ног Верховного Существа, коему она обязана своим сотворением.

— Если Эжени и невежественна в этом вопросе,— ответил Франваль,— потому что от нее тщательно скрывают ваши прописные истины, сударыня, она ни в коем случае не станет от этого несчастней. Ибо если ваши правила истинны, то Верховное Существо слишком справедливо, чтобы покарать ее за невежество, а если они ложны, то какая нужда говорить о них? Что же касается прочих забот о ее воспитании, то прошу вас предоставить их мне. С сегодняшнего дня я сам стану ее наставником и обещаю вам, что через несколько лет ваша дочь превзойдет всех детей равного с ней возраста.

Госпожа де Франваль попыталась было настаивать, употребив не только лишь доводы разума, но и красноречие сердца, подкрепленное обильными слезами. Но Франваль, нимало не смягчившись, казалось, даже не заметил этого. Он приказал увести Эжени, заявив жене, что если она воспротивится тому воспитанию, что собирается он дать дочери, или же попытается внушить ей принципы, отличные от тех, каковые он пожелает ей привить, то она лишится удовольствия видеть дочь, ибо он отошлет Эжени в один из своих замков, где та останется навсегда. Госпожа де Франваль, привыкшая к повиновению, отступила. Она лишь молила супруга не разлучать ее с дорогим для нее существом и, заливаясь слезами, пообещала ни в чем не препятствовать воспитанию, уготованному дочери.

С этого дня мадемуазель де Франваль были отведены превосходные комнаты, расположенные рядом с комнатами ее отца, к ней приставили смышленую гувернантку вместе с помощницей, горничную и двух девочек ее возраста, предназначенных исключительно развлекать ее. К ней пригласили учителей письма, рисования, стихосложения, естественной истории, декламации, географии, астрономии, анатомии, греческого, английского, немецкого и итальянского языков, фехтования, танцев, верховой езды и музыки.

В любое время года Эжени ежедневно вставала в семь часов утра. Побегав по саду, она отправлялась на завтрак, состоящий из большого ломтя грубого ржаного хлеба. В восемь она возвращалась к себе, по пути заходя к отцу, который шутил с ней или наставлял в уловках, непременных для успеха в обществе. До девяти часов она готовилась к учению; затем приходил первый учитель. До двух часов она получала уроки пяти учителей.

Обедала она вместе с двумя своими подругами и первой гувернанткой. Обед состоял из овощей, рыбы, пирожных и фруктов, никогда не было ни мяса, ни супа, ни вина, ни ликеров, ни кофе.

С трех до четырех часов Эжени снова шла в сад, чтобы поиграть со своими маленькими подружками. Они играли с мячом, с воздушным шариком, в кегли, в волан, бегали наперегонки. Одевались они сообразно погоде, ничто не стесняло их движений. Их никогда не заключали в неуклюжие корсеты на китовом усе, равно вредные и для живота и для груди, ибо, препятствуя дыханию юного создания, они развивают болезнь легких.

С четырех до шести часов к мадемуазель де Франваль снова приходили учителя; а так как все учителя не могли явиться в один день, остальные приходили на следующий.

Три раза в неделю Эжени вместе с отцом посещала театры, где они сидели в маленьких отдельных ложах, специально абонированных на год.

В девять часов она возвращалась домой и ужинала. Ей подавали только овощи и фрукты. С десяти до одиннадцати часов четыре раза в неделю Эжени играла со своими служанками, читала романы и затем ложилась спать. Остальные три дня в неделю, когда Франваль ужинал дома, она проводила время в комнате отца, и время это было употреблено на то, что Франваль именовал своими уроками. Именно тогда он внушал дочери свои воззрения на мораль и религию. Он излагал ей взгляды различных людей на эти вопросы и тут же отмечал те, что были приемлемы для него самого.

Многократные проявления живости ума, обширных познаний, бойкого нрава и пробуждающихся страстей легко позволяли судить о том, сколь глубокое воздействие оказала избранная система воспитания на душу Эжени. Но так как гнусный умысел Франваля заключался не в том, чтобы укрепить разум, но в воспламенении чувства, то редкий урок оставлял ученицу равнодушной. И этот ужасный человек нашел чрезвычайно удачный способ понравиться собственной дочери. Весьма незаметно подчинив ее себе, он стал для нее незаменимым собеседником и участником всех ее забав.

Франваль столь стремительно предупреждал малейшие желания дочери, что Эжени даже в самом блистательном обществе не находила никого, кто был бы более ей приятен, нежели ее отец. И прежде чем он сам постиг эту истину, все нежные чувства дружбы и признательности, что зародились в юном сердце сего невинного и слабого существа, обратились исключительно на него, что неминуемо должно было привести к самой пылкой любви.

Для Эжени в мире не существовало никого, кроме Франваля, она видела только его. Все в ней восставало при одной лишь мысли, что кто-либо может разлучить ее с ним. Она не задумываясь принесла бы ему в дар не только честь свою, не только красоту, но, почитая все эти жертвы слишком легковесными, она ради предмета трогательного своего обожания словно самую малость готова была бы отдать всю кровь, самою жизнь свою, если бы нежный друг души ее того потребовал.

Иные чувства, однако, испытывала мадемуазель де Франваль к своей достойной уважения, но несчастной матери. Отец, неустанно повторяя дочери, что госпожа де Франваль, будучи женой его, требует от него столько услуг, что из-за них он часто лишен возможности выразить сердечную привязанность к своей дорогой Эжени, тем самым открыл способ, как неприметно взрастить в душе юной девушки ростки ненависти и ревности, заглушившие чувства почтения и нежности, кои должны были бы зародиться в ней по отношению к столь достойной матери.

— Друг мой, брат мой,— часто говорила Эжени Франвалю, ибо тот желал, чтобы дочь называла его именно так,— эта женщина, что ты называешь своей женой, эта тварь, что, по твоим словам, произвела меня на свет, слишком требовательна, потому что, желая постоянно иметь тебя подле себя, она лишает меня счастья каждодневно видеть тебя... Конечно, ты предпочитаешь ее общество обществу твоей Эжени. Но знай, что я ненавижу всякого, кто пытается похитить у меня твое сердце.

— Нежный друг мой,— отвечал Франваль,— никто в целом мире никогда не будет иметь на меня прав более, чем ты. Узы, существующие между этой женщиной и лучшим твоим другом, эта дань традициям и светским условностям, воспринимаются мною должным образом и не могут возобладать над нашей с тобой привязанностью... Ты моя избранница навеки, Эжени, ты всегда будешь ангелом и светочем дней моих, пристанищем души, побудителем существования моего.

— О! Сколь сладки слова твои! — отвечала Эжени.— Повторяй их почаще, друг мой... Если бы ты знал, как живительна для меня твоя нежность!

И, беря Франваля за руку, она прижимала ее к своей груди.

— Вот, слышишь, она здесь, я чувствую ее,— повторяла она.

— И твои милые ласки подтверждают слова твои,— отвечал Франваль, сжимая ее в объятиях. И так коварный изменник, не испытывая даже самых ничтожных угрызений совести, довершил соблазнение несчастной.

Тем временем Эжени пошел четырнадцатый год, возраст, по мнению Франваля, достаточный, чтобы начать пожинать плоды своего преступного замысла. Трепещи же, читатель!.. Так оно и случилось.

В тот день, когда Эжени сравнялось полных четырнадцать лет, в деревне, вдали от докучных родственников, приказав убрать дочь свою так, как некогда украшали девственниц, избранных служительницами храма Венеры, в одиннадцать часов утра Франваль ввел ее в роскошную гостиную, где затянутые тончайшим газом окна не пропускали яркого дневного света, а мебель утопала в цветах. Посредине возвышался трон, весь увитый розами. Франваль подвел к нему дочь.

— Эжени,— обратился он к дочери, усаживая ее на трон,— будь сегодня моей королевой и позволь мне, преклонив колени, служить тебе.

— Ты хочешь служить мне, брат мой, ты, кому я обязана всем на свете, ты, кто сотворил меня, наставил мой ум... Нет, это ты дай мне припасть к твоим стопам: там мое место, ибо только там я дышу одним дыханием с тобой.

— О несравненная моя Эжени,— воскликнул Франваль, опускаясь подле нее на ложе из цветов, приспособленное для торжества его замысла,— если ты и вправду чем-то мне обязана, если чувства твои столь же искренни, как ты это утверждаешь, то знаешь ли ты средство, способное убедить меня в этом?

— Каково же оно, брат мой? Назови его скорей, чтобы я побыстрее смогла прибегнуть к нему.

— Твою красоту, Эжени, столь щедро отпущенную тебе природой, твои прелести, обладающие неизъяснимым очарованием, должна ты принести мне в жертву, и немедленно.

— О чем ты говоришь? Разве не ты господин всему этому? Разве твое творение больше не принадлежит тебе, и ты решил, что кто-то другой сможет им насладиться?

— Но тебе известны людские предрассудки...

— Ты никогда не скрывал их от меня.

— Однако я не хочу преступить через них без твоего согласия.

— А разве ты не презираешь их так же, как и я?

— Согласен, но я не хочу стать ни твоим тираном, ни твоим соблазнителем. Благодеяния, коих взыскую, желаю я получить единственно по любви. Ты знаешь свет, я не скрыл от тебя ни одного из его соблазнов. Прятать тебя от взоров мужчин, одному наслаждаться зрелищем твоей красоты было бы несправедливо с моей стороны. Если есть в этом мире тот единственный, кто тебе дороже меня, скорей открой его имя, и я отправлюсь за ним на край света, чтобы привести его в твои объятия. Поверь, ангел мой, твое счастье мне во сто крат дороже своего собственного: нежные ласки, даруемые тобою, я приму лишь тогда, когда они станут свидетельством твоей любви.

Итак, решай, Эжени. Сделай шаг сей и возложи невинность свою на жертвенный алтарь. Но сама выбери себе жреца, я же отказываюсь от наслаждений, даруемых этим званием, если дано оно мне будет не по велению души. И если ты предпочтешь другого, то, стремясь остаться достойным твоих чувств, я приведу к тебе того, кого ты полюбишь со всей страстью, заслужив тем твое снисхождение. Не сумев завоевать сердца Эжени, я останусь ее другом, так и не став ее возлюбленным.

— Ты для меня все, брат мой, все,— воскликнула Эжени, сгорая от любви и вожделения.— Кому как не тебе должна я подарить свою невинность, тебе единственному, тебе, кому я поклоняюсь как божеству? Кто еще в этом мире более достоин тех эфемерных прелестей, которых ты жаждешь... и которые уже трепещут под обжигающими ласками рук твоих! Разве ты не видишь, как, охваченная всепожирающим пламенем, я так же, как и ты, стремлюсь к обещанным тобою наслаждениям? О, нежный брат мой, сердечный мой друг, владей же мною, владей, принеси в жертву свою Эжени: там, на алтаре, в твоих страстных объятиях она будет торжествовать вечно.

И распаленный Франваль, обставивший свое поведение с утонченностью, как известно, его натуре не свойственной, лишь для того, чтобы совратить несчастную жертву наиболее изощренным способом, тут же воспользовался доверчивостью дочери. Устранив все препятствия, отчасти в согласии с принципами, внушенными им этой постоянно алчущей новых впечатлений душе, отчасти благодаря тому коварству, с которым довершал он свое обольщение, он осуществил развратный замысел свой и безнаказанно стал похитителем девственности у той, кого самое природное звание его обязывало защищать.

Много дней пребывали они в опьянении друг другом. Эжени, созревшая для любовных утех, побуждаемая всей системой воспитания, предавалась им с неутомимым пылом. Франваль обучил ее всем таинствам любовных игр. Чем ухищреннее становились его уроки, тем крепче он приковывал к себе свою жертву. Она словно отверзала все тело свое навстречу любовнику, обвиняла его в недостаточной извращенности воображения. Ей казалось, что он что-то от нее скрывает. Она сокрушалась о летах своих и невежестве, лишавших ее, как она думала, должной соблазнительности. И, желая получить соответствующее воспитание, она заботилась только о том, чтобы ни одно из средств, распаляющих страсть ее любовника, не осталось ей неизвестным.

Любовники вернулись в Париж, но преступные утехи, коими упивался этот извращенный человек, столь всемерно услаждали и тело, и дух его, что непостоянство, проявляемое им обычно в любовных связях, на сей раз не смогло разорвать нечестивые узы. Он влюбился без памяти, и роковая страсть непременно должна была породить самое жестокое небрежение в обращении с женой...

О несчастная жертва! Госпожа де Франваль, достигнув тридцати одного года, пребывала в самом расцвете своей необычайной красоты. Взор, постоянно печальный из-за снедавшей ее скорби, делал ее внешность еще более притягательной. В слезах, изнемогающая от тоски, с прекрасными волосами, небрежно разметавшимися по словно выточенным из алебастра плечам, с губами, прижатыми в любовном поцелуе к милому портрету неверного тирана-супруга, она походила на одну из прекрасных дев-плакальщиц кисти Микеланджело.

Но еще неведомо было ей, чем завершатся ее мучения. Воспитание Эжени, поддерживающее ее в полном неведении основных заповедей добродетели, о которых упоминалось лишь затем, чтобы вызвать у девушки отвращение; сомнения в том, что священное чувство долга, столь презираемое Франвалем, будет внушено им дочери; редкие часы, когда ей дозволялось видеть девушку; страх, что странная система воспитания дочери повлечет за собой рано или поздно многочисленные преступления; распутство Франваля, наконец, каждодневная его жестокость по отношению к ней... к ней, старавшейся предупредить малейшее его желание, к ней, не знавшей иных забот, кроме как понравиться ему, пробудить интерес к себе — таковы до сего времени были причины ее горя. Каким же ужасом должна была преисполниться эта нежная и чувствительная душа, если бы ей довелось узнать обо всем!

Тем временем обучение Эжени продолжалось. Она сама выразила желание заниматься с учителями, пока ей не исполнится шестнадцать лет, и ее способности, обширные познания, изысканные манеры, совершенствующиеся день ото дня,— все это еще крепче привязывало к ней Франваля. Легко было догадаться, что он никогда никого так не любил, как Эжени.

На первый взгляд в жизни мадемуазель де Франваль ничего не изменилось, кроме часов, отведенных урокам отца. Эти уединенные беседы значительно участились и продолжались до глубокой ночи. Единственным человеком, посвященным в их отношения, была гувернантка Эжени, но она была ей безгранично предана, и на ее скромность можно было положиться.

Некоторые изменения также произошли в трапезах Эжени — теперь она обедала вместе с родителями. Такая перемена в знатном семействе, подобному семейству Франваля, тотчас же привлекла в дом множество поклонников, желавших видеть Эжени своей супругою. Ей было сделано множество предложений. Франваль между тем, уверенный в чувствах дочери и не сомневаясь в тщетности усилий новоявленных претендентов, не думал о том, что подобное обилие предложений, встреченных отказом, может привести к разоблачению их связи.

В одной из бесед с дочерью госпожа де Франваль, страстно жаждавшая такой милости, но удостаивавшаяся ее крайне редко, эта нежная мать сообщила Эжени, что господин де Коленс просит ее руки.

— Вы знакомы с этим человеком, дочь моя,— сказала госпожа де Франваль.— Он любит вас, он молод, любезен, его ожидает богатство, ему нужно лишь ваше согласие... только ваше согласие, дочь моя... Что мне ему ответить?

Удивленная, Эжени покраснела и сказала, что пока еще не склонна

к замужеству, но надо поговорить об этом с отцом: его воля станет для нее законом.

Госпожа де Франваль, усмотрев в ответе простую нерешительность юной девушки, через несколько дней нашла, наконец, возможность переговорить с мужем. Она сообщила ему о намерениях семейства Коленса, а также о собственных планах молодого человека и пересказала ответ дочери.

Разумеется, Франвалю все было известно, однако он не решился напрямую выдать себя.

— Сударыня,— сурово обратился он к супруге,— я требую, чтобы вы оставили Эжени в покое. Старания, предпринимаемые мною для удаления вас от нее, ясно свидетельствуют о моем желании, чтобы все, что имеет отношение к Эжени, никоим образом вас не касалось. И я еще раз повторяю свой запрет... Надеюсь, вы о нем не забудете?

— Но что мне ответить молодому человеку, обратившемуся именно ко мне?

— Вы скажете, что я признателен за оказанную мне честь, но дочь моя имеет врожденные недостатки, препятствующие заключению брачного союза.

— Но, сударь, эти недостатки вымышленные. Почему вы хотите, чтобы я приписала их ей и тем самым лишила вашу единственную дочь счастья, несомненно ожидающего ее в браке?

— Сделали ли брачные узы счастливыми вас, сударыня?

— Не все женщины совершают ошибки, подобные моим, соединив свою жизнь с вашей (и с глубоким вздохом), и не все мужья похожи на вас.

— Жены... лживые, ревнивые, капризные, жеманницы либо святоши... Мужья — коварные, неверные, злодеи либо деспоты... Вот вкратце основные качества человеческих индивидов, сударыня. Не надейтесь встретить исключение.

— Однако все вступают в брак.

— Да, глупцы или легковеры. Как сказал один философ, вступить в брак можно только при одном условии: *когда ты либо не знаешь, что делаешь, либо не знаешь, что делать.*

— Так пусть гибнет мир?

— Как ему будет угодно: истребить растение, приносящее лишь ядовитые плоды, никогда не поздно.

— Эжени вряд ли будет вам признательна за столь суровую заботу о ней.

— А вы считаете, что она находит этот брак привлекательным?

— Ваши желания для нее закон, так сказала она мне.

— Прекрасно! Так вот, сударыня, я приказываю вам отныне выбросить из головы мысль о ее замужестве.

И господин де Франваль вышел, еще раз напомнив жене о своем строжайшем запрете возобновлять какие-либо переговоры о замужестве дочери.

Госпожа де Франваль не преминула сообщить матери о своей беседе с мужем, и госпожа де Фарней, более осведомленная и более тонко разбирающаяся в людских страстях, нежели ее очаровательная и печальная дочь, тут же заподозрила в этом отказе нечто противоестественное.

Эжени чрезвычайно редко виделась с бабушкой. Встречи их продолжались не более часу, всегда в присутствии Франваля. Госпожа де Фарней, желая уяснить для себя обстоятельства дела, вынуждена была, таким образом, специально просить зятя отпустить к ней внучку на целый день, под предлогом избавления последней от терзавшей ее мигрени. Франваль насмешливо ответил, что более всего на свете Эжени боится различных капель и микстур. Однако он согласен ненадолго привезти дочь к бабушке, но в тот же день она должна была вернуться домой, чтобы получить урок физики, изучаемой Эжени с необычайным прилежанием.

Отец с дочерью приехали к госпоже де Фарней, и та не сочла нужным скрыть от зятя своего удивления отказом выдать Эжени замуж.

— Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы позволите вашей дочери откровенно рассказать мне о тех недостатках, кои, по вашему мнению, препятствуют ее бракосочетанию?

— Сударыня, мнимы ли эти недостатки или истинны,— ответил

Франваль, изумленный решительностью тещи,— в любом случае бракосочетание дочери будет мне стоить весьма дорого, а я еще слишком молод, чтобы пойти на такие жертвы. Когда ей исполнится двадцать пять лет, она будет вольна в своих поступках. До той поры она может на меня не рассчитывать.

— А вы, Эжени, во всем ли вы согласны с отцом вашим? — спросила госпожа де Фарней.

— Почти во всем, сударыня,— с твердостью ответила мадемуазель де Франваль.— Господин мой позволяет мне выйти замуж в двадцать пять лет, я же заявляю и вам и ему, что никогда не воспользуюсь подобным позволением... которое, при моем образе мыслей, способствовало бы лишь несчастью судьбы моей.

— Подобный образ мыслей не пристал вашему нежному возрасту, мадемуазель,— сказала госпожа де Фарней.— Во всем этом я усматриваю некое странное воздействие, и мне должно в этом разобраться.

— Желаю вам успеха, сударыня,— усмехнулся Франваль, уводя дочь.— Призовите на помощь ваших попов, чтобы разгадать эту загадку, а когда ваши совместные усилия откроют вам истину, вы, надеюсь, сообщите мне, был ли я прав или же ошибался, противясь замужеству Эжени.

Язвительное замечание о духовных наставниках тещи Франваля было направлено против одного почтенного священника, коего пора представить читателю, ибо скоро тому предстоит принять живейшее участие в событиях.

Речь шла о духовнике госпожи де Фарней и ее дочери, человеке столь добродетельном, что мало кого во Франции можно было бы сравнить с ним. Чистосердечный, щедрою рукой раздающий милостыню, преисполненный кротости и целомудрия, господин де Клервиль, не обладая ни одним из пороков, присущих его сословию, напротив, являл собою воплощение всех его достоинств. Радетель сирому, друг состоятельному, утешитель страждущему, благородный человек этот соединил в себе все достоинства, вызывающие у людей чувствительных восхищение и уважение.

Клервиль, выслушав рассказ госпожи де Фарней, здраво рассудил, что, прежде чем принять чью-либо сторону, необходимо разобраться в причинах, по которым господин де Франваль противится замужеству дочери. И хотя госпожа де Фарней была уверена в существовании тайной любовной интриги, осмотрительный духовник отбросил эти подозрения как слишком оскорбительные для госпожи де Франваль и ее мужа и с негодованием удалился.

— Таковое преступление весьма прискорбно, сударыня,— говорил сей достойный человек.— Слишком ничтожны основания предполагать, что разумный индивид стал бы добровольно устранять преграды стыдливости и добродетели, и лишь с наивеличайшим отвращением могу я заставить себя обвинить кого-либо в подобном.

Оставим же не имеющие подтверждений подозрения в порочности. Зачастую они выдуманы нашим самолюбием и почти всегда являются плодом сомнений, тайно копошащихся в душе нашей. Мы спешим примириться со злом, лишь бы иметь право считать себя лучше, чем мы есть.

Не стоит ли, сударыня, как следует поразмыслив, смириться с тем, что тайный недостаток не станет никому известен, нежели с непростительной поспешностью начать воображать невообразимое, и без достаточных на то оснований запятнать в наших глазах людей, не совершивших иных ошибок, кроме тех, что приписывает им наша гордыня? Не выиграем ли мы все при подобном подходе к делу? Разве предупреждение преступления не является во сто крат более важным, нежели стремление покарать преступника? Не говоря уж о том, что тем самым мы заставим преступника свернуть с его мрачной стези. Ибо оставляя его блуждающим во мраке, разве мы не успокаиваем себя тем, что не видим его?

Скандал неизбежно вызовет огласку, начавшиеся разговоры пробудят нечестивые страсти тех, кто сам склонен к подобного рода проступкам. Ослепление, неотрывно сопровождающее преступление, манит преступника надеждой, что он будет более удачлив, нежели его разоблаченный предшественник. Случившееся послужит ему не уроком, но лишь дельным советом, и он предастся невиданным порокам, на что он, по всей вероятности, никогда бы не

отважился, не будь пагубного примера, ошибочно воспринятого за образец. Ибо понесенное наказание скорее тешит тщеславие, нежели изнуряет своею суровостью.

Таким образом на первом совете было решено лишь доподлинно установить причины противления Франваля замужеству дочери и причины, побуждавшие Эжени разделять его образ мыслей. Было решено ничего не предпринимать, пока не ясна будет подоплека дела.

— Известно ли вам, Эжени,— обратился как-то вечером Франваль к дочери,— что нас хотят разлучить? Как вы считаете, дитя мое, удастся ли им сделать это?.. Смогут ли они расторгнуть сладостные наши узы?

— Никогда... никогда! Не бойся, о нежнейший друг мой, не бойся! Эти узы, столь тебя услаждающие, дороги мне так же, как и тебе. Ведь ты откровенно, ничего не скрывая, разъяснил мне, сколь оскорбительны они для наших нравов. Но, не боясь нарушить обычаи, кои, как известно, зависят от общества и посему не могут считаться священными, я сама пожелала этих уз. С чистым сердцем соткала я их, и не страшись, что я сама их разорву.

— Увы! кто знает?.. Коленс моложе меня... У него есть все, чтобы понравиться тебе. Развей заблуждение, застилающее взор твой, Эжени. Возраст и рассудок скоро возьмут свое, укоры твои болью отзовутся в моем сердце, и я никогда не прощу себе, что сделал тебя несчастной!

— Нет,— твердо ответила Эжени,— нет, я люблю и буду любить только тебя. Я буду самой несчастной из женщин, если мне придется выбрать себе супруга...

Как могу я,— страстно продолжила она,— соединить судьбу свою с человеком, не имеющим, как ты, двойного повода для любви ко мне, как смогу я постигнуть чувства его, его желания... И что, кроме презрения, ждет меня после того, как он забудет меня? Участь ханжи, святоши или девки? О нет, нет! Я навсегда останусь твоей возлюбленной, друг мой. Это желание во сто крат сильнее стремления играть в обществе ту или иную низкую роль...

Но в чем причина переполоха? — с досадою спросила Эжени.— Известна она тебе, друг мой? Кто ее вызвал?.. Твоя жена?.. Конечно же, это она... Ее неумолимая ревность... Да, угроза нашему счастью исходит от нее... Но я ее не осуждаю: все просто... все понятно... чтобы сохранить тебя, можно пойти на все. Чего бы только я не сделала, если бы была на ее месте и у меня захотели бы похитить твою любовь!

Франваль, изумленный и взволнованный, покрывает дочь поцелуями. Та, поощряемая его преступными ласками, дает выход своему бессердечию и с непростительным бесстыдством осмеливается сказать отцу, что единственным средством отвлечь внимание матери от них двоих является подыскать ей любовника.

Подобная изобретательность порадовала Франваля. Однако несравнимо более жестокий, нежели дочь его, охваченный стремлением исподволь вселить в ее юное сердце неутолимую ненависть к жене своей, он ответил, что такая месть была бы слишком мягкой: имеется немало иных средств сделать несчастной женщину, докучающую собственному мужу.

В подобных разговорах прошло несколько недель. За это время Франваль и его дочь решились все же осуществить свой первый замысел, направленный на унижение добродетельной супруги, не без оснований полагая при этом, что, прежде чем перейти к средствам более низменным, следует все же прибегнуть к первому, иначе подыскать любовника, который не только смог бы подсказать дальнейшие способы воздействия на несчастную женщину, но и в случае успеха заставил бы госпожу де Франваль не столь рьяно искать недостатки у других, ибо стало бы очевидным ее собственное несовершенство. Во исполнение этого замысла Франваль перебрал всех знакомых ему молодых людей и после долгих размышлений остановил свой выбор на Вальмоне, показавшемся ему подходящим для выполнения подобной услуги.

Вальмону было тридцать лет, он был красив, умен, обладал богатым воображением, не имел нравственных предрассудков и, таким образом, вполне соответствовал отводимой ему роли.

Как-то раз Франваль приглашает его на ужин и по окончанию, выйдя из-за стола, отводит в сторону.

— Друг мой,— обращается он к нему,— я всегда считал, что в нас много общего: настал момент доказать, что я не ошибся. Я требую от тебя подтверждения твоего ко мне расположения... но подтверждения весьма необычного.

— В чем дело, дорогой мой? Объясни, ты же знаешь, что я всегда готов быть тебе полезным!

— Как ты находишь мою жену?

— Она обольстительна. Если бы ее мужем был не ты, то я давно бы стал ее любовником.

— Подобное соображение весьма трогательно, Вальмон, однако по отношению ко мне подобная щепетильность напрасна.

— О чем ты говоришь?

— Ты, наверное, удивишься... но именно потому, что ты мой друг... именно потому, что я супруг госпожи де Франваль, я требую, чтобы ты стал ее любовником.

— Ты с ума сошел?

— Нет, но прихоть... каприз... Ты знаешь меня давно и должен был бы привыкнуть к моим причудам... Я хочу пробить брешь в этой добродетели и рассчитываю, что именно ты заманишь ее в ловушку.

— Какое безумие!

— Напротив, плод глубоких размышлений.

— Как! Ты хочешь, чтобы я?..

— Да, хочу, требую и перестану считать тебя своим другом, если ты не окажешь мне эту услугу... Я тебе помогу... дам тебе возможности... какие захочешь... и ты их не упустишь. Как только я буду уверен в успехе предприятия, я, если пожелаешь, на коленях буду благодарить тебя за содеянное.

— Франваль, тебе не удастся меня провести: здесь кроется нечто странное... Я не стану ничего делать, пока не узнаю всей правды.

— Разумеется... однако я не думал, что ты столь робок, напротив, считал тебя способным поддержать игру... Ты же все еще во власти предрассудков... воспоминания о временах рыцарства, держу пари?.. Тогда ты оробеешь, словно дитя, когда я расскажу тебе все, и уже более ничего не сможешь сделать.

— Я оробею?.. Воистину я в растерянности от твоих суждений обо мне: знай же, дорогой, что нет в мире такого порока... ни единого, о чем бы ты ни говорил, упоминание о котором хоть на миг смогло бы смутить меня.

— Вальмон, обращал ли ты когда-нибудь внимание на Эжени?

— Твою дочь?

— Или мою любовницу, если так тебе будет более угодно.

— Ах ты нечестивец, теперь я тебя понимаю.

— Наконец-то, впервые в жизни у тебя хватило проницательности.

— О, дьявол! Так ты влюблен?

— Да, друг мой, я как Лот![1] Я всегда был исполнен высочайшего почтения к священным книгам, всегда считал, что, подражая их героям, я заслужу царствие небесное!..

Любезный друг, безумство Пигмалиона меня более не удивляет... Разве мало в мире подобных слабостей? Разве не с этого приходилось начинать, чтобы населить мир людьми? И то, что ранее не было злом, почему оно должно стать таковым сегодня? Какая нелепость!

Хорошенькая девушка не может быть моей только потому, что я совершил ошибку, произведя ее на свет? Потому что она похожа на меня, потому что она одной со мной крови, иначе говоря, потому что в ней есть все, что делает нашу любовь еще крепче,— и вот на такую девушку меня обязывают взирать хладнокровно? Обстоятельства, кои еще сильнее должны привязать меня к ней, становятся причиной моего от нее удаления?.. Ах, какая бессмыслица... какой вздор!

Оставим же глупцам смехотворные эти препоны, они не могут понять возвышенных устремлений наших душ. В царстве красоты царят священные права любви, там нет места ничтожным предрассудкам рода человеческого. Торжествующая любовь уничтожает суеверия, словно лучи солнца рассеивают

[1] Библейский персонаж, Лот вступил в кровосмесительную связь со своими дочерьми во имя продолжения рода (Книга Бытия, 19, 30—36). *(Прим. перев.)*

утренний туман и с ним последние воспоминания о ночном мраке. Так растопчем же ужасные сии предрассудки, вечные враги счастья! И если когда-либо разум поддавался их соблазнам, то искупительною жертвою становились наслаждения... Так отречемся навеки от ненавистных предрассудков!

— Ты меня убедил,— ответил Вальмон,— я готов согласиться, что из Эжени получилась восхитительная любовница. Отличаясь более броской, нежели мать, красотою, если она и по характеру не похожа на твою жену, то томность ее, проистекающая из душевного склада, не должна препятствовать сладострастию, кое порождает ту пикантность, с помощью которой женщины легко нас покоряют и делают себе подвластными. Если в любовном союзе один уступает, то другой требует; что дозволяет один, радостно предлагает другой, и в этом я почитаю наивысшее очарование любовного союза.

— Однако я предлагаю тебе не Эжени, но мать ее.

— А как ты объяснишь этот свой поступок?

— Моя жена ревнива, она стесняет меня, следит за каждым моим шагом, хочет выдать замуж Эжени. Необходимо столкнуть ее на путь порока, дабы прикрыть собственные свои дела. Тебе надо стать ее любовником... Ты позабавился бы с ней некоторое время... а затем изменил и бросил бы ее... мне лишь надо застать тебя в ее объятиях... Я покарал бы ее или же, под страхом разоблачения, заставил бы ее молчать, чтобы сокрыть наши общие проступки... Но никакой влюбленности, Вальмон, будь бесстрастен, привяжи ее к себе, но не дай восторжествовать над тобой. Если к нашей игре примешается чувство, все пропало.

— Не беспокойся, еще ни одной из женщин не удалось затронуть мое сердце.

Итак, наши два негодяя обговорили обстоятельства сделки, и было решено, что через несколько дней Вальмон предпримет первое наступление на госпожу де Франваль, имея дозволение выбирать любой путь, лишь бы тот привел его к успеху... даже разоблачение измен Франваля, как самое могущественное средство, дабы побудить честную женщину к отмщенью.

Эжени сообщили о принятом решении, и оно чрезвычайно позабавило ее. Бесстыдное создание, она осмелилась заявить, что если Вальмон добьется успеха, то для полноты ее собственного удовлетворения следовало бы, чтобы и она сама смогла удостовериться в падении матери, сама убедиться в разрушении этой цитадели добродетели, уступившей порочному соблазну, столь сурово ею порицаемому.

Наконец наступает день, когда достойнейшая, но несчастная женщина должна пасть жертвою гнуснейшего заговора, когда она, оскорбленная и покинутая ужасным своим мужем... брошена им на произвол нечестивца, согласившегося на бесчестный сей поступок...

Какое неслыханное надругательство!.. Какое презрение всяческой морали! За что решила отомстить нам природа, производя на свет столь растленные сердца?..

Пустая болтовня предшествовала ожидаемой сцене. Вальмон считался близким другом Франваля, и поэтому жена его не могла вообразить ничего предосудительного, оставаясь с ним наедине, что, впрочем, бывало уже не раз. Все трое находились в гостиной, Франваль встал.

— Я покидаю вас,— поклонился он,— меня ждет одно важное дело...

Оставить вас наедине с Вальмоном, сударыня,— добавил он со смехом,— это то же, что оставить вас с вашей гувернанткой, он у нас столь благоразумен... но если он начнет забываться, предупредите меня, я не настолько привязан к нему, чтобы уступить ему свои права...

И негодяй удалился.

После нескольких пустых острот, явившихся ответом на реплику Франваля, Вальмон заявил, что за последние полгода друг его сильно изменился.

— Я не осмелился спросить у него о причине,— продолжил Вальмон,— но мне кажется, что его что-то огорчает.

— С уверенностью скажу лишь одно,— ответила госпожа де Франваль,— что сердце его ужесточилось до крайности.

— О Небо, что я слышу?.. Мой друг жесток с вами?

— Если бы он ограничивался лишь этим!

— Так доверьтесь мне, сударыня, вам известна моя преданность... моя неизменная к вам привязанность.

— Гнусные дебоши... преступления против нравственности, всяческого рода извращения... Поверите ли вы этому? Нам предлагают чрезвычайно достойную партию для нашей дочери... он же отказывается.

При этих словах искушенный Вальмон отводит глаза, делает вид человека понимающего... глубоко сострадающего... но робеющего рассказать о том, что ему известно.

— Как, сударь! — восклицает госпожа де Франваль.— Вас это не удивляет? Ваше молчание пугает меня.

— О сударыня, не лучше ли сохранить в тайне то, что может принести горе любимому существу.

— Ваши слова для меня загадка, объяснитесь же, заклинаю вас.

— Как, вы хотите, чтобы я открыл вам глаза на то, о чем даже вспомнить не могу без содрогания? — вопрошает Вальмон, страстно прижимая к сердцу руку прелестной женщины.

— О сударь,— взволнованно говорит госпожа де Франваль,— или ни слова больше, или же объясните, наконец, я требую... Вы поставили меня в чудовищное положение.

— Оно не более чудовищно, нежели мое, сударыня, и вы тому виновницей,— отвечает Вальмон, устремляя пылкий влюбленный взгляд на свою жертву.

— Но что все это значит, сударь? Сначала вы сеете в душе моей тревогу, затем заставляете требовать объяснений и, наконец, осмеливаетесь говорить мне вещи, какие я не могу и не должна выслушивать, лишив меня тем самым возможности расспросить вас о том, что меня крайне волнует.

— Хорошо, сударыня, я подчиняюсь вашему требованию, и даже если мне придется разбить ваше сердце... Знайте же, в чем причина отказа вашего жестокосердного супруга господину Коленсу... Эжени...

— При чем здесь Эжени?

— Сударыня, Франваль ее обожает. Забыв про отцовские чувства, он стал ее любовником и решил не уступать ее никому.

Госпожа де Франваль не ожидала подобного разъяснения. Столь роковой поворот событий поверг ее в беспамятство. Вальмон поспешил ее поддержать, и как только она оказалась в его объятиях, он продолжил:

— Видите, сударыня, какого признания вы от меня требовали... Ни за что на свете не желал бы я...

— Оставьте меня, сударь, оставьте,— ответила госпожа де Франваль, пребывая в состоянии, не поддающемся описанию.— После столь жестокого потрясения мне надо немного побыть одной.

— И вы считаете, что я могу сейчас покинуть вас? Нет, страдания ваши горько отзываются в душе моей, и посему я даже не прошу у вас дозволения разделить их с вами: я нанес рану, так позвольте же мне ее и залечить.

— Франваль, возлюбленный собственной дочери, о, праведное Небо! А это создание, что выносила я под сердцем, с какой кровожадностью разрывает оно его!.. Преступление столь низменное... О сударь, да разве может такое быть?.. Уверены ли вы в том, что говорите?

— Если бы я сомневался, сударыня, я бы промолчал, ибо спокойствие ваше мне во сто крат дороже, нежели ложно поднятая тревога. Супруг ваш сам поведал мне об этом, сделав меня своим поверенным. Но что бы то ни было, умоляю вас, успокойтесь: давайте будем искать не доказательства, но способ разорвать эту интригу. Способ же этот у вас есть...

— Ах, говорите скорей... преступление сие внушает мне отвращение.

— На человека с характером вашего мужа, сударыня, невозможно воздействовать с помощью добродетели. Супруг ваш не верит в женскую непорочность. Ему кажется, что лишь гордыня и сила привычки побуждают женщину хранить нам верность, но никак не стремление угодить нам или подкрепить нашу к ним привязанность...

Простите меня, сударыня, но не скрою от вас, что я почти полностью

разделяю его мнение на этот счет. Никогда не видел я, чтобы жена силою добродетели своей смогла бы побороть пороки супруга. Поведение, подобное поведению самого Франваля, скорее уязвит его самолюбие и вернет его в ваши объятия: в нем непременно проснется ревность, а на людей, постоянно предающихся любви, данное средство действует безошибочно. Ваш муж, видя, что добродетель ваша, столь им презираемая, является плодом рассудка, а не стечения обстоятельств или немощи плоти, воистину станет ценить ее именно тогда, когда увидит вас пренебрегающей ею...

Он воображает... осмеливается утверждать, что у вас никогда не было любовников лишь потому, что никто ни разу не обратил на вас внимания. Докажите же ему, что сие обстоятельство зависит только от вас... От вас зависит отмщение за его презрение и заблуждения. Возможно, вы погрешите против суровых принципов ваших, но скольких бед это помогло бы избежать, сколь способствовало бы возвращению на путь истинный супруга вашего! И разве после столь незначительной обиды, нанесенной боготворимой вами Добродетели, любой из ее почитателей не введет вас снова в храм ее?

О сударыня, лишь к разуму вашему я взываю. С помощью средства, которое я осмеливаюсь вам прописать, вы вернете себе Франваля, навеки сохраните его подле себя. Из чувства противоречия отдаляется он от вас; удаляется, чтобы никогда более не вернуться. Да, сударыня, я смею утверждать, что вы не любите своего супруга, иначе вы не стали бы колебаться.

Госпожа де Франваль, изумленная подобной речью, не проронила ни слова. Наконец, обретя снова дар речи, она напомнила Вальмону прежние его слова.

— Сударь,— вкрадчиво произнесла она,— предположим, что я воспользуюсь полученным от вас советом, но на кого должна я обратить взор свой, чтобы смутить спокойствие мужа?

— О,— воскликнул Вальмон, не замечая расставленной ему ловушки,— прелестный и боготворимый друг мой... на того, кто любит вас больше всех в мире, обожает вас с той минуты, когда впервые увидел вас, кто по вашему приказу готов умереть у ног ваших...

— Прочь отсюда, сударь, прочь! — гневно вскричала госпожа де Франваль.— И не смейте более показываться мне на глаза. Ваша хитрость разгадана. Вы приписываете мужу моему заблуждения, на которые он не способен... лишь для того, чтобы коварством своим соблазнить меня.

Так знайте же, что как бы ни был он виновен, средство, что вы предлагаете, столь отвратительно, что даже в мыслях я не могу согласиться им воспользоваться. Измены мужа никогда не узаконят измену жены, напротив, они должны побудить ее к еще большему благоразумию, чтобы Верховный Судия, посланный Всевышним в города, погрязшие в пороках в ожидании Страшного суда, смог бы спасти ее душу от всепожирающего пламени геенны.

При этих словах госпожа де Франваль вышла и, кликнув лакеев Вальмона, предложила ему удалиться, что он и сделал, сгорая от стыда за свою неудавшуюся попытку.

Хотя прелестная женщина и разгадала козни приятеля Франваля, сообщение его вполне соответствовало собственным ее страхам и подозрениям ее матери. Поэтому она безотлагательно решила сама найти им подтверждение.

Она отправляется к госпоже де Фарней, рассказывает ей обо всем, что произошло, и возвращается домой, полная решимости осуществить задуманное.

Давно уже бесспорной признана истина, что самых злейших врагов имеем мы в лице наших слуг. Вечно ревнивые, вечно завистливые, они, стремясь облегчить цепи рабства своего, поощряют наши пороки, дабы вознестись над нами и хотя бы на миг, теша тщеславие свое, ощутить власть над вершителями судеб своих.

Госпоже де Франваль удалось подкупить одну из служанок Эжени. Обещание обеспеченной старости, легкой работы и заверения в том, что одолжение это послужит достойному делу, побудили девушку пообещать госпоже де Франваль в ближайшую же ночь предоставить той возможность убедиться в несчастии своем.

Урочный час наступил. Несчастную мать приводят в кабинет, смежный с комнатой, где коварный супруг ее каждую ночь подвергает надругательствам и брачные их узы, и самое Небо. Эжени находится там же, вместе с отцом. Множество зажженных свечей должны освещать преступников... Алтарь уже приготовлен, вознесенная на него жертва ждет, жрец следует за ней.... Госпожа де Франваль в отчаянии, любовь ее поругана... Собрав остатки мужества, она распахивает разделяющую их дверь и врывается в комнату. Там, заливаясь слезами, она падает на колени к ногам кровосмесителей.

— О несчастье всей моей жизни,— восклицает она, обращаясь к Франвалю,— разве хотя бы раз заслужила я подобного обращения... от вас, вас, кого я все еще боготворю, несмотря на все оскорбления ваши... Взгляните на слезы мои и не отталкивайте меня. Умоляю вас, пощадите несчастную, уступившую собственной слабости и соблазненную вашими коварными речами... Я поверила, что можно обрести счастье там, где в действительности — пучина порока и преступления...

Эжени, Эжени, неужели хочешь ты поразить грудь, вскормившую тебя? Беги прочь от злодеяния, вся низость которого тебе не ведома!.. Приди сюда... скорей... мои объятия ждут тебя. Смотри, твоя несчастная мать на коленях заклинает тебя не преступать законов человеческих и природных...

Если же уговоры мои напрасны,— продолжала она, выхватывая кинжал, и, заломив руки, направляя его прямо в сердце,— вот то, что избавит меня от позора. Кровь моя да падет на вас, и скорбное тело мое будет последним укором вашему преступлению.

Те, кто уже знаком с нравом Франваля, легко поверят, что изверг этот спокойно взирал на разыгравшуюся сцену, но все еще немыслимо им представить себе Эжени достойной его пособницей.

— Сударыня,— сказала эта развращенная дочь с жесточайшим хладнокровием,— ваши упреки мне безразличны. Мне смешон скандал, устроенный вами супругу вашему. Разве он не волен в своих поступках? И если он не порицает меня, то какое право имеете на это вы? Разве мы подсматриваем за вашей интрижкой с господином де Вальмоном? Разве препятствуем вашим с ним удовольствиям? Так извольте соблюдать наше право свободно предаваться любви или же не удивляйтесь, что я первая буду требовать у супруга вашего заставить вас блюсти его...

С этими словами терпению госпожи де Франваль приходит конец. Весь гнев свой она направляет против недостойного существа, забывшегося и зарвавшегося в словах своих. Поднявшись с колен, госпожа де Франваль в неистовстве бросается на Эжени... Но гнусный, бессердечный Франваль, схватив жену за волосы, оттаскивает ее от дочери, тащит через всю комнату и с силой сталкивает ее с лестницы.

Окровавленная, без чувств падает она на порог комнаты одной из своих служанок, которая, разбуженная жуткими криками, уже открыла дверь навстречу своей хозяйке, чем и спасла ее от ярости тирана, спускавшегося прикончить несчастную свою жертву...

Госпожу де Франваль укладывают в постель, запирают двери спальни, оказывают необходимую помощь. Чудовище же, столь свирепо ее преследовавшее, возвращается к своей отвратительной сообщнице и спокойно проводит с ней ночь, посрамляя тем самым весь род человеческий, ибо даже звери дикие в такой час не смогли бы вызвать большее омерзение... ужас... И мы краснеем от стыда за необходимость поведать вам об этом.

Последняя надежда была отнята у несчастной госпожи де Франваль. Будущее также не сулило благополучного исхода. Ясно было, что сердце супруга ее, самое дорогое ее сокровище, похищено... и кем же? той, кто должна была почитать ее более всех на свете... и от кого она услышала неслыханные по дерзости слова. Она даже засомневалась в том, что выходка Вальмона была лишь гнусной ловушкой, призванной послужить ее падению, а не воистину возможностью, предоставленной ей судьбой, чтобы хоть как-то отмстить за свое поругание.

Ничему нельзя было верить. Франваль, узнав о неудаче Вальмона, заставил его подменить правду вымыслом и по секрету... поведать всем, что он стал

любовником госпожи де Франваль. Было решено подделать письмо, неоспоримое доказательство существования сей гнусной связи, которая между тем была гневно отвергнута несчастной супругой.

От горя и многочисленных ушибов, покрывавших ее тело, госпожа де Франваль тяжело заболела. Жестокосердный супруг ее, с того дня не видевшийся с ней, не удосужившись справиться о ее здоровье, уехал в деревню вместе с Эжени, под предлогом опасности для дочери заразиться от находящейся в доме больной.

Вальмон неоднократно приходил к госпоже де Франваль во время ее болезни, однако ни разу не был принят. Уединившись с матерью и господином де Клервилем, она более никого не желала видеть. Утешения дорогих ее сердцу друзей, их неустанная забота вернули ее к жизни, и по истечении месяца и десяти дней она смогла появиться в обществе. К этому времени Франваль привез дочь в Париж, и они с Вальмоном стали изыскивать оружие, с помощью которого смогли бы отразить удары, грозящие, как им казалось, со стороны госпожи де Франваль и ее друзей.

Злодей наш появился у жены, как только узнал, что она в состоянии принять его.

— Сударыня,— сказал он холодно,— вам известно о моем к вам отношении. Не мне вам объяснять, что только благодаря ему вы пользуетесь доходами Эжени. В юношеской горячности она решила подать жалобу на ваше обхождение с ней. Разумеется, ее можно упрекнуть в отсутствии должного почтения к матери, но она не может забыть, как мать с кинжалом в руке набросилась на нее. Поступок такого рода, сударыня, стань о нем известно властям, несомненно повредил бы и вашей чести, и вашей свободе.

— Я не ожидала, сударь, подобных обвинений,— ответила госпожа де Франваль.— Когда соблазненная вами дочь моя, виновная одновременно в кровосмесительстве, супружеской измене, разврате и самой вопиющей неблагодарности по отношению к той, что произвела ее на свет... Нет, клянусь вам, сударь, что даже после нагромождения всех этих ужасных преступлений у меня нет и мысли обратиться в суд, хотя с моей стороны это было бы естественно. Надобно обладать всем вашим лицемерием, всей вашей низостью, чтобы, дерзко оправдывая преступление, обвинить невинную.

— Мне известно, сударыня, что поводом для вашей сцены послужили отвратительные подозрения, которые вы осмелились выдвинуть против меня. Но досужие домыслы не оправдывают преступлений. То, в чем вы меня подозреваете,— ложь; то, что вы сделали, к несчастью, весьма реально.

Вы удивлены упреками, брошенными вам моей дочерью касательно ваших отношений с Вальмоном. Но, сударыня, она указала на ваше противозаконное поведение лишь после того, как оно стало известно всему Парижу. Связь эта наделала много шума... Доказательства, к несчастью, столь бесспорны, что тех, кто разглашает эту тайну, можно, по крайности, обвинить в неосторожности, но отнюдь не в клевете.

— Меня, сударь,— разгневанно воскликнула добродетельная супруга, приподнимаясь от возмущения,— меня обвинять в связи с Вальмоном?.. Праведное небо! И это говорите вы!

И разражаясь потоком слез:

— Неблагодарный! Вот награда за мою нежность... Вот цена моей беззаветной к тебе любви. Тебе мало, что ты жестоко оскорбил меня, мало, что соблазнил мою дочь, тебе еще надо оправдать собственные преступления, отняв у меня то, что мне дороже жизни...

И несколько успокоившись:

— Вы утверждаете, сударь, что у вас есть доказательства этой связи — так предъявите же их, я требую, предъявите их всем, я заставлю вас предъявить их всему миру, если вы мне в них откажете.

— Нет, сударыня, всему миру я предъявлять их не буду, ибо не принято, чтобы муж сам рассказывал о подобного рода доказательствах. Обычно мужья вздыхают и стараются спрятать их как можно дальше. Но если вы так настаиваете, сударыня, я, разумеется, не смею вам отказать...

И достав из кармана бумажник:

— Смотрите же и читайте внимательно. Слезы или гнев будут равно помехою и не сумеют убедить меня. Поэтому возьмите себя в руки и поговорим спокойно.

Госпожа де Франваль, полностью уверенная в своей невиновности, не знает, что и думать об уготованных ей сюрпризах: страх охватывает ее.

— Вот вам для начала, сударыня,— говорит ей Франваль, опустошая одно из отделений бумажника,— вся ваша переписка с Вальмоном за последние шесть месяцев. Только не обвиняйте молодого человека в неосторожности либо в нескромности: он слишком честен, чтобы проявить небрежение в подобном вопросе. Но один из его лакеев, в коем ловкости было более, нежели в его хозяине внимательности, нашел способ раздобыть мне эти бесценные свидетельства вашей величайшей скромности и вашей прославленной добродетели.

Затем, перебирая разворачиваемые на столике письма, он продолжил:

— Интересно, что среди писем, обычных для охваченной страстью женщины... к весьма любезному мужчине... я бы выбрал одно, показавшееся мне несколько более вольным и определенным, чем другие... Вот оно, сударыня:

«Мой докучливый супруг ужинает сегодня в своем маленьком домике в предместье вместе с этим ужасным созданием... произведенным, как это ни кажется невозможным, на свет мною. Приходите, любезный друг, утешить меня в горе, причиняемом этими двумя чудовищами... Но что я говорю? Разве не оказывают они мне сейчас величайшую услугу, и, поглощенный своей интригой, муж мой не заметит наших отношений? Так пусть же крепит он желанные для него узы, не пытаясь разорвать те, что связывают меня с единственным обожаемым мною человеком».

— Что вы на это скажете, сударыня?

— Скажу, сударь, что я в восторге,— ответила госпожа де Франваль,— ибо каждый раз раскрываются предо мной новые стороны почтенного нрава вашего. Но среди давно распознанных мною качеств пока еще не числила я способностей к подлогу и клевете.

— Так вы отрицаете?

— Вовсе нет, я хочу лишь сама в этом убедиться. Мы выберем судей... людей, достойных доверия, и спросим у них, если вы того пожелаете, какова самая суровая казнь, уготованная за последние два преступления?

— Ого, какое бесстыдство! Ну что ж, это мне более по вкусу, чем стенания... Однако продолжим. То, что у вас, сударыня, есть любовник,— сказал Франваль с легкой усмешкой, достойной снисходительного супруга, раскрывая вторую половину бумажника,— меня не интересует. Но то, что вы, в вашем возрасте, содержите этого любовника, да еще и на мои деньги, согласитесь, не может оставить меня равнодушным... Вот долговые расписки на 100 тысяч экю, уплаченных вами по счетам Вальмона. Извольте, покорнейше прошу вас ознакомиться с ними,— продолжил изверг, не выпуская, однако, бумаг из своих рук...

«Заиду, ювелиру.

Остановите иск, прилагаю чек на две тысячи ливров в счет уплаты долга г-на де Вальмона. Фарней де Франваль».

«Жамету, барышнику, шесть тысяч ливров...» ...Это те самые караковые лошади, на которых разъезжает сейчас Вальмон, вызывая восхищение всего Парижа... Да, а вот еще, обязательство на *триста тысяч двести девяносто три ливра десять су*, из которых вы уже уплатили около двух третей суммы и благородно обязались уплатить оставшуюся... Ну как, убедил ли я вас, сударыня?

— Ах, сударь, подлог слишком очевиден и нимало меня не беспокоит. Лишь одно требуется мне, чтобы посрамить тех, кто плетет против меня гнусные интриги... пусть все эти люди, кому я, как вы утверждаете, вручала расписки, придут и поклянутся, что я когда-либо имела с ними дело.

— Они это сделают, сударыня, не сомневайтесь. Разве стали бы они сами сообщать мне о вашем поведении, если бы не обладали решимостью засвидетельствовать его на суде? Один из них сам должен явиться сегодня сюда и предъявить к оплате очередной счет...

Горькие слезы хлынули из прекрасных глаз несчастной женщины. Мужество оставляет ее, в порыве отчаяния она бьется головой о мраморный столик, и лицо ее заливается кровью.

— Сударь,— взывает она, бросаясь к ногам супруга,— молю вас, прикажите лучше убить меня, но не мучьте так жестоко. Если жизнь моя мешает вашим преступным деяниям, прервите ее одним ударом... не заставляйте меня умирать долго и мучительно... Разве я виновна в том, что любила вас?.. что не смирилась, узнав, что сердце ваше похищено у меня столь жестоким образом...

Так убей же меня, чудовище, убей, вот твое оружие,— восклицает она, хватая шпагу мужа,— бери его, приказываю тебе, и рази без жалости. Пусть смерть моя послужит лучшим доказательством моей невиновности, и там, в могиле, обрету я утешение в том, что ты доподлинно не считаешь меня способной на те низости, в которых сам меня обвиняешь... чтобы скрыть собственные преступления...

И она поникла у ног Франваля. Руки ее были изранены и в крови, ибо ими пыталась она направить обнаженный клинок в грудь свою. По прекрасным плечам ее разметались волосы, орошаемые на груди потоками слез. Никогда еще горе не представляло картины столь душераздирающей и столь выразительной, никогда еще картина эта не являла миру такого отчаяния, красоты и благородства.

— Нет, сударыня,— ответил Франваль, отстраняя шпагу,— никто не желает вашей смерти, вас следует лишь примерно наказать. Мне понятно ваше раскаяние, и ваши слезы ничуть меня не удивляют. Вы в ярости, потому что вас разоблачили. Ответные ваши чувства вполне меня устраивают, они внушают мне надежду на некоторое возмещение... что, конечно, ускорит решение вашей участи согласно моему желанию, и я сейчас же поспешу заняться этим.

— Остановись, Франваль,— воскликнула несчастная,— скрой свой позор, пусть другие тщатся распознать твое истинное лицо негодяя, кровосмесителя и клеветника... Ты хочешь избавиться от меня, я покину дом, отправлюсь искать пристанища там, где даже воспоминания о тебе не станут более мучать меня... ты будешь свободен, сможешь безнаказанно творить свои преступления...

Да, я забуду тебя, изверг... если смогу, а если твой раздирающий душу образ не изгладится из моего сердца, если продолжит преследовать меня под сенью убежища моего... я сохраню его, коварное чудовище, ибо уничтожить его выше моих сил, сохраню, но покараю себя за безумное свое ослепление, сойдя во мрак могилы, где и успокоится преступная душа моя, так и не сумевшая тебя разлюбить...

Произнесены слова, исчерпавшие остатки сил несчастной, едва оправившейся от тяжелой болезни. Потеряв сознание, бедняжка упала без чувств. Шипы отчаяния впились в сердце, и, словно роза, поникла она, задетая холодным крылом смерти. Осталось лишь бесчувственное тело, всецело сохранившее трепетность, скромность, стыдливость... все, что так притягательно в добродетели. Чудовище уходит, чтобы вместе со своей преступной дочерью насладиться устрашающим триумфом, одержанным торжествующим злодейством над безвинностью и несчастьем.

Подробный рассказ о сей беседе необычайно понравился гнусной дочери Франваля, но ей хотелось бы видеть собственными глазами... Следовало бы продолжить кошмар, дабы Вальмон восторжествовал над добродетелью ее матери, а Франваль застал их на месте преступления. Как тогда смогла бы выпутаться их жертва, какое оправдание смогла бы она придумать? Разве не интересно было бы преградить ей все пути отступления? Так рассуждала Эжени.

Тем временем несчастная супруга Франваля сообщила о своих новых неприятностях матери, на чьей груди смогла она выплакать слезы свои. Поразмыслив, госпожа де Фарней решила, что возраст, звание и личные достоинства господина де Клервиля, возможно, смогли бы оказать некоторое положительное воздействие на ее зятя. Никто так не доверчив, как человек в несчастье.

Как можно деликатнее рассказала она почтенному священнослужителю о пороках Франваля, убедив его в том, во что он никак не желал поверить. Она упросила Клервиля употребить в беседе с злодеем весь его удивительный дар красноречия, действующий более на сердце, нежели на разум. Она просила его

также после разговора с Франвалем встретиться с Эжени, чтобы поведать злонамеренной девушке о том, какая пропасть разверзлась под ногами ее, и, если будет возможно, вернуть несчастную в лоно добродетели.

У Франваля, уведомленного о желании Клервиля говорить с ним и с его дочерью, было время для беседы с Эжени. Договорившись действовать совместно, они сообщили духовному наставнику госпожи де Фарней, что готовы принять его. Доверчивая госпожа де Франваль уповала на силу красноречия духовника. В несчастье люди жадно цеплялись за призраки, несущие утешение, в котором им отказано в реальности.

Клервиль пришел. Было девять часов утра. Франваль принимает его в комнате, где он, по обыкновению, проводит ночи с дочерью. Он приказал убрать ее как можно изысканней, сохранив, однако, некоторые следы своих преступных удовольствий... Эжени, расположившись за стеной, могла все слышать, чтобы лучше подготовиться к встрече, предстоящей также и ей.

— Уверен, что потревожу вас, сударь,— начал Клервиль,— но я все-таки дерзнул нанести вам визит. Люди моего звания обычно в тягость вельможам, проводящим, вроде вас, жизнь в светских удовольствиях. Я даже корю себя за то, что пошел навстречу желаниям госпожи де Фарней и стал просить у вас согласия на нашу непродолжительную встречу.

— Садитесь, сударь, и пока вашими устами говорит разум и справедливость, присутствие ваше не будет мне в тягость.

— Ваша молодая супруга, очаровательная и добродетельная, боготворит вас, вы же, сударь, как утверждают,— и не без основания — сделали ее несчастной. Не имея ничего, кроме чистоты и непорочности, никого, кроме матери, чтобы утешить ее в горестях, она, несмотря на все ваши заблуждения, влюблена в вас до безумия. И вы легко можете себе представить, сколь ужасно ее положение!

— Хотелось бы, сударь, перейти прямо к делу. Мне кажется, что вы чего-то недоговариваете. В чем цель вашего визита?

— Помочь вам обрести счастье, если таковое возможно.

— А если я убежден, что счастлив и без вашего вмешательства, значит, вам более нечего мне сказать?

— Сударь, невозможно находить счастье в преступлении.

— Согласен с вами. Но тот, кто после упорного изучения наук, после зрелых размышлений приобрел способность видеть вокруг себя одно лишь зло, с достойным безразличием взирать на суету рода человеческого, распознавая в ней волю некой неведомой, но необходимой власти, то добродетельной, то нечестивой, но всегда требовательной, настойчиво внушающей потомкам Адама то, что им следует одобрить, или, напротив, осудить, но никогда не навязывающей им того, что станет им помехою или огорчит, то согласитесь, сударь, такой человек вполне может быть счастлив вне зависимости, похож ли его жизненный путь на мой или же на ваш.

Счастье — идеал, плод фантазии, некое побуждение к действию, зависящее единственно от способностей наших видеть и чувствовать. Исключая удовлетворение физических наших потребностей, нет ничего, что могло бы сделать всех равно счастливыми. Каждый день являет нам пример очередного счастливчика, чье счастье немедленно вызывает неудовольствие у его ближнего. Таким образом, всеобщего счастья не существует, и мы можем наслаждаться лишь тем, что сами содеем согласно чувствам нашим и нашим убеждениям.

— Мне это известно, сударь, но если ум наш впадает в заблуждение, то путеводной нитью нашей остается совесть, и сама природа требует от нас соблюдения законов ее.

— Но разве это противное природе порождение, именуемое совестью, не уступает с легкостью любому капризу нашему? Податливая, она, словно воск, позволяет придавать ей любую сообразную нашим желаниям форму. Если бы законы ее были столь неизменны, как вы пытаетесь меня убедить, то разве не была бы человеческая природа всюду одинакова? И разве не были бы деяния людские безмерно схожими во всех уголках земли обетованной?

А так ли это на самом деле? Разве готтентот страшится того же, что и француз? Разве француз не совершает каждодневно того, за что бы уже давно

покарали японца? Нет, сударь, нет, в этом мире нет ничего незыблемого, ничего, что заслуживало бы порицания или похвалы, ничего, что стоило бы вознаграждать или карать, ничего, что, будучи законным на севере, не стало бы преступным на юге,— словом, то, что именуем мы добром или злом, есть лишь плод воображения нашего.

— Вы заблуждаетесь, сударь. Добродетель вовсе не призрачна. Исходя из того, что поступок, почитаемый нами достойным, будет признан предосудительным за тысячи километров отсюда, не следует давать определение преступлению или добродетели и почитать себя счастливым от содеянного выбора. Обрести благоденствие можно, единственно полностью подчиняясь законам своей страны: надо либо соблюдать их, либо смириться с положением отщепенца, но обрести середину, преступая законы, невозможно. Иными словами, порок произрастает не из дурных или запретных поступков, но, если вам угодно, из ущерба, который поступки сии, хороши ли, плохи ли они по сути своей, наносят социальным устоям общества.

Разумеется, нет ничего предосудительного в предпочтении прогулок по бульварам прогулкам по Елисейским полям. Однако если бы однажды был принят закон, запрещающий гражданам прогулки по бульварам, тот, кто нарушил бы сей закон, явился бы первым звеном в цепочке бедствий, хотя и не причинив, по сути, никому никакого вреда. Однако привычка нарушать обыденные традиции быстро переходит в нарушения более серьезные, и от проступка к проступку прокладывается путь к преступлениям, караемым во всех странах мира и внушающим ужас всем разумным людям на земле, под каким бы предлогом они ни совершались.

Пока еще не изобрели нравственные нормы, пригодные для всех, приходится довольствоваться теми, что имеет общество, где проживаем мы согласно предназначению природы и где рукой ее начертаны законы, кои стереть безнаказанно невозможно.

К примеру, сударь, семья ваша обвиняет вас в кровосмесительстве. Несколько ложных умозаключений, имеющихся под рукой для оправдания сего преступления, для сокрытия всей омерзительности его, ни в коей мере не могут умалить его недозволенности, и на какие бы авторитеты у иных народов вы ни ссылались, доказать, что прегрешение сие, не почитаемое за преступление лишь ничтожным числом племен, не вызывает обоснованного возмущения и отвращения там, где оно караемо законом, невозможно. Совершеннейше ясно также, что оное преступление неминуемо повлечет за собой новые, еще более ужасные... преступления, от коих все содрогнутся в ужасе.

Если бы вы взяли себе в супруги дочь вашу где-нибудь на берегах Ганга, где подобные браки допустимы, проступок ваш был бы отчасти извинителен. Но там, где подобные союзы запрещены законом, являя сей возмутительный порок обществу... женщине, безмерно вас любящей, но через коварство ваше стоящей на краю могилы, вы творите неслыханное злодеяние, разрушая святые узы, наложенные на нас самой природой, узы, привязывающие дочь вашу к той, кто дала ей жизнь, к той, к кому она должна питать нежную и почтительную любовь.

Вы принудили дочь вашу презреть священные ее обязанности, посеяли ненависть к той, кто выносила ее под сердцем. Сами того не замечая, вы куете клинок, чье острие сможет она направить и против вас. Вы не привили ей ни одного нравственного устоя, не внушили ни единого принципа, так что, если однажды она покусится на вашу жизнь, знайте, что вы сами вложили разящую сталь ей в руки.

— Ваш способ убеждать, столь отличный от тех, что применяют обычно люди вашего сословия,— ответил Франваль,— побуждает меня к откровенности, сударь. Я мог бы отвергнуть ваши обвинения, но надеюсь, что мое искреннее признание в своих пороках побудит вас выслушать также и исповедь об изъянах жены моей, даже если мне придется поведать истины не менее печальные, нежели те, что раскрылись вам в моем рассказе.

Да, сударь, я люблю свою дочь, люблю страстно, она моя любовница, моя жена, моя сестра, моя поверенная и мой друг, единственное мое божество на земле, бесценное достояние души моей, коему я всем обязан. Чувства эти

пребудут со мной всю жизнь, и я готов присягнуть, что не отрекусь от них никогда.

Первейший долг отца по отношению к дочери — и вы, сударь, несомненно с этим согласитесь — состоит в том, чтобы составить счастье ее. Если же он не сумел сделать этого, дочь вправе попрекнуть его; если же ему это удалось, никакие укоры ему не страшны. Надеюсь, что вы помните о том, что я не прельщал и не принуждал Эжени. Я не оставил ее в неведении относительно законов нашего общества. Поведав ей о розах Гименея и о шипах его, я признался ей в своей страсти и предоставил свободу выбора. У Эжени было достаточно времени для размышлений; она же, ни минуты не колеблясь, избрала меня творцом своего счастья. Так разве я был не прав, подарив ей счастье, которое она, по зрелому размышлению, сама для себя избрала?

— Эти недостойные уловки не могут служить оправданием. Вы не смели даже намекать дочери, что тот, кто лишь через преступление может стать ее избранником, составит счастье ее. Сколь ни привлекателен предложенный вами плод, разве не томило бы вас раскаяние, если бы вы знали, что мякоть его отравлена? Увы, сударь, поведение ваше свидетельствует о том, что, думая лишь о себе, вы сделали из дочери вашу сообщницу и жертву одновременно. Вина ваша непростительна...

А добродетельная и чувствительная супруга ваша, чье разбитое сердце вы столь жестокосердно попираете,— в чем она провинилась перед вами? В чем ее вина, нечестивец... В том, что она боготворит вас?

— Вот именно об этом, сударь, я хочу с вами поговорить и рассчитываю на ваше доверие. Думаю, что имею на это право, ибо вы открыто пришли ко мне удостовериться в возводимых на меня обвинениях!

И тут Франваль показал Клервилю письма и расписки, написанные якобы его женой, и с присущей ему изворотливостью стал убеждать последнего в подлинности любовной интриги госпожи де Франваль.

Клервилю, однако, все было известно.

— Сударь,— сурово обратился он к Франвалю,— разве я был не прав, утверждая, что, единожды оступившись и не ощутив поначалу пагубных последствий проступка своего, мы привыкаем преступать рамки дозволенного и подступаем к роковой черте, за которой нас ожидают злодейства и преступления? Вы начали с ничтожного, на ваш взгляд, проступка и видите, на какие низости приходится вам идти, чтобы оправдать либо скрыть его... Послушайтесь меня, сударь, бросьте эти гнусные фальшивки в огонь, и, клянусь вам, что я навсегда забуду о том, что вы мне их показывали.

— Эти документы подлинны, сударь.

— Они подложны.

— Вас ввели в заблуждение. Позволите ли вы мне попробовать переубедить вас?

— Пожалуйста, сударь. Помимо ваших слов, у меня нет иных доказательств для признания их подлинными, а в ваших интересах поддержать выдвинутое вами обвинение. Признавая их подложными, я придерживаюсь свидетельства вашей супруги, которая также была бы заинтересована скрыть истину, если бы они были подлинны.

Вот как я рассуждаю, сударь... В основе всех поступков человека лежит выгода, она — главная пружина всех его предприятий. Там, где я ее вижу, тотчас же загорается для меня свет истины. Правило сие меня никогда не обманывало, и вот уже сорок лет как я нахожу подтверждения ему. Но разве добродетель жены вашей не является в глазах всего общества лучшей защитой от омерзительной сей клеветы? И разве ее искренность, ее чистосердечие, ее неугасимая к вам любовь не являются порукой, что она не способна на подобные поступки? Нет, сударь, нет, не здесь находятся истоки преступления. Зная последствия, вам следовало бы лучше увязать концы с концами.

— Сударь, это оскорбление.

— Простите, но несправедливость, клевета, распутство приводят меня в такое негодование, что я не всегда могу сдержать возмущение свое, вызванное низменными сими поступками. Давайте же сожжем эти бумаги, сударь, настоятельнейше вас прошу... сожжем их ради чести вашей и вашего покоя.

— Я не представлял, сударь,— сказал Франваль, поднимаясь,— что,

исполняя службу, подобную вашей, так легко становишься защитником... покровителем беспутства и супружеской измены. Жена бесчестит меня, разоряет, я предъявляю вам доказательства. В ослеплении своем вы предпочитаете обвинить меня и выставить клеветником, но не признаете ее развратной изменницей! Ну что ж, сударь, пусть решает закон. Я подам жалобу во все суды Франции, принесу туда свои доказательства, обнажу свой позор, и тогда посмотрим, будете ли вы все еще столь простодушны или, скорее, глупы, чтобы продолжать защищать вашу посрамленную подопечную.

— Итак, сударь, я ухожу,— сказал Клервиль, также вставая.— Я не мог вообразить, что ваш извращенный ум столь повредит качествам души вашей и что, ослепленный неправедной местью, вы хладнокровно будете строить коварные козни ваши... Увы, сударь, наша беседа еще более убедила меня в том, что как только человек пренебрежет священным для него долгом, то он сразу же забывает и прочие свои обязанности... Если же ваши взгляды изменятся, потрудитесь известить меня, сударь, и вы всегда найдете в вашей семье и во мне друзей, готовых раскрыть вам объятия... Позволено ли мне будет увидеть мадемуазель, дочь вашу?

— Ваше желание для меня закон, сударь. Я сам вас провожу к ней и прошу вас употребить все ваше красноречие, все ваши чрезвычайно убедительные доводы, чтобы раскрыть перед ней все те ослепительные истины, в которых я имел несчастье усмотреть лишь заблуждения либо ложные посылки.

Клервиль прошел к Эжени. Она ожидала его, будучи облаченной в самый вольный, самый кокетливый и самый элегантный свой туалет. Бесстыдной дерзостью, порожденной преступлением и небрежением к себе, исполнены были все движения ее, все взгляды, и вероломная дочь, оскорбляя самое звание свое, но сохраняя, несмотря на тягчайшие пороки, нежную девическую красоту, всем своим обликом воспламеняла превратное воображение и возмущала добродетель.

Будучи не способной к казуистическим рассуждениям в духе Франваля, Эжени взяла на вооружение насмешку. Постепенно раздражение ее становилось все явственней. Видя, что ее обольстительные ухищрения напрасны и человек, с которым она имеет дело, исключительно добродетелен и не попадается в расставленные ею силки, она резко рвет на себе и без того едва прикрывающие ее прелести одежды и, прежде чем Клервиль успевает опомниться, начинает громко кричать.

— Негодяй,— с воплями выкрикивает она,— убирайтесь отсюда, чудовище! О, только бы отец не узнал об этом. Праведное Небо! Я жду от него благочестивых советов... а этот наглец стремится лишь оскорбить мою стыдливость...

Смотрите,— обращается она к сбежавшимся на ее крики слугам,— до чего довела меня его развязность. Эти кроткие святоши всегда готовы согрешить под шумок. Бесчинства, разврат, совращение — вот каковы их нравы, и одураченные их притворными добродетелями, мы, словно мухи, попадаем в сплетенную ими паутину.

Клервиль, ошеломленный таким скандалом, сумел, однако, не выдать своего волнения. Спокойно проходя сквозь толпу слуг, он примиряюще обратился к ним:

— Да хранит Небо эту несчастную... и да исправит нрав ее, если сможет, и пусть в этом доме никто, кроме меня, не будет более наказан за добрые чувства... ибо я пришел сюда не заклеймить, но смягчить сердца.

Таким образом, госпожа де Фарней и дочь ее ничего не достигли в результате переговоров, на которые возлагали столько надежд. Им не было ведомо о порчах, производимых преступлением в душах нечестивцев. То, что благотворно воздействовало на других, лишь ожесточало их, и в мудрых наставлениях черпали они лишь побуждение ко злу.

С этого дня отношения между противостоящими сторонами окончательно испортились. Франваль и Эжени решили заставить госпожу де Франваль совершить приписываемую ей измену, дабы не оставить ей ни малейшего

повода для оправдания, а госпожа де Фарней, посоветовавшись с дочерью, всерьез стала разрабатывать план похищения Эжени. Она рассказала об этом Клервилю. Сей достойный друг отказался участвовать в осуществлении столь скоропалительного решения. Его вмешательство привело к плачевным результатам, и ему остается лишь молиться за виновников, что он и делает неустанно. В дальнейшем же он отказывается от оказания подобного рода услуг и от посредничества.

Какая утонченность чувств! Почему же подобное благородство столь редко встречается в людях его сословия? Или, скорее, почему он единственный обладал им среди запятнанных собратьев своих? Но посмотрим же, что предпринял Франваль.

Снова появился Вальмон.

— Ты глупец,— сказал ему преступный возлюбленный Эжени,— ты недостоин звания моего ученика. Я опозорю тебя в глазах всего Парижа, если при втором свидании ты не добьешься всего, что следует, от моей жены. Это надо сделать, друг мой, но сделать так, чтобы я собственными глазами смог убедиться в ее падении... Я не желаю оставлять этой ненавистной твари ни единого средства оправдания и защиты.

— Но если она будет сопротивляться? — спросил Вальмон.

— Ты возьмешь ее силой... Я позабочусь, чтобы никто не пришел ей на помощь... Напугай ее, угрожай ей — мне что за дело?.. Я почту за оказанную мне услугу любые средства, кои применишь ты для достижения торжества своего.

— Послушай,— ответил ему Вальмон,— я согласен на все, что ты мне предлагаешь. Даю тебе слово, жена твоя не устоит. Но с одним условием, иначе я отказываюсь от предприятия: ты знаешь, в наших с тобой отношениях нет места ревности... Итак, я требую, чтобы ты дал мне провести четверть часа наедине с Эжени... Ты даже не представляешь, сколь велико будет вдохновение мое после даже непродолжительного свидания с твоей дочерью...

— Но, Вальмон...

— Я понимаю твои опасения. Но если ты доверяешь мне, друг мой, то подозрения твои оскорбительны, ибо я стремлюсь лишь удостовериться в чарах Эжени и перебросится с ней несколькими словами.

— Вальмон,— сказал удивленный Франваль,— ты просишь за свои услуги слишком дорогую цену. Как и тебе, ревность мне смешна, но ту, о ком ты говоришь, я боготворю и скорее отдам все мое состояние, нежели ее ласки.

— Я не претендую на них, будь спокоен.

Франваль, зная, что среди его знакомых никто, кроме Вальмона, не сможет оказать ему требуемую услугу, скрепя сердце соглашается.

— Договорились,— произносит он с усмешкой,— но повторяю, что услуги свои ты ценишь безмерно дорого. Заставляя меня платить такую цену, ты освобождаешь меня от чувства благодарности.

— О, благодарностью расплачиваются лишь за порядочные одолжения, ты же никогда не будешь мне признателен за то, что просишь меня сделать. Скорее всего не пройдет и двух месяцев, как мы с тобой рассоримся... Полно, друг мой, я знаю человеческую природу... ее странности... ее причуды и все вытекающие из них последствия. Поставь человека, самое злобное из известных нам животных, в угодное тебе положение, и лишь тогда рассчитывай на него. Поэтому я хочу заранее получить свое вознаграждение, или же я отказываюсь участвовать в твоих замыслах.

— Согласен,— ответил Франваль.

— Отлично,— проговорил Вальмон,— теперь все зависит от тебя, я же буду действовать, как только ты мне прикажешь.

— Мне надо несколько дней, чтобы подготовиться к спектаклю,— сказал Франваль,— но не более чем через четыре дня я буду в твоем распоряжении.

Воспитание, данное господином де Франвалем дочери, отнюдь не предполагало наличие у той излишней стыдливости, могущей помешать выполнению условий, поставленных другом ее отца. Но Франваль был ревнив, Эжени знала об этом. Она обожала его столь же страстно, сколь нежно тот любил ее, и, узнав, о чем идет речь, она высказала Франвалю свои сомнения в том, что

подобное свидание может остаться без последствий. Франваль, полагая, что достаточно хорошо знает Вальмона, и посему уверенный, что в условии этом таится загадка для ума его, но отнюдь не опасность для сердца, рассеял опасения дочери и принялся готовить свидание.

Именно в это время от верных и безгранично преданных ему людей, служивших в доме его тещи, Франваль узнал, что Эжени подвергается большой опасности, ибо госпожа де Фарней намеревается увезти ее от него. Франваль не сомневался, что заговор сей является делом рук Клервиля, и, временно отложив предприятие Вальмона, устремляет все силы на устранение несчастного священнослужителя, которого он ошибочно считает вдохновителем направленных против него умыслов. Он щедро раздает золото, это могущественное оружие в руках порока. Наконец, находятся шестеро отпетых мошенников, согласных выполнить любые его приказания.

Однажды вечером, когда Клервиль, нередко остававшийся на ужин у госпожи де Фарней, пешком в одиночестве возвращался домой, его хватают, связывают... утверждают, что арест санкционирован правительством. Ему предъявляют подложный ордер, швыряют в почтовую карету и на полной скорости мчат в тюрьму — в один из принадлежащих Франвалю уединенных замков в самом центре Арденн. Там его поручают управляющему владением, представив последнему Клервиля как негодяя-слугу, покусившегося на жизнь своего господина. Принимаются все необходимые меры, чтобы несчастная жертва, чья единственная ошибка состоит в избытке снисходительности к тем, кто столь жестоко оскорбил ее, никогда не смогла бы покинуть свое узилище.

Госпожа де Фарней была в отчаянии. Она нисколько не сомневалась, что удар нанесен рукой ее зятя. Хлопоты, предпринятые ею для установления местонахождения Клервиля, приостановили приготовления к похищению Эжени. Обладая узким кругом знакомств и более чем скромными средствами, заниматься одновременно двумя столь важными делами было обременительно, однако дерзкий поступок Франваля побуждает к действию.

Все силы были направлены на розыски духовного пастыря. Но поиски были напрасны: наш негодяй умело принял все необходимые меры предосторожности, не было никакой возможности напасть на след пропавшего.

Госпожа де Франваль не осмеливалась расспрашивать мужа. Со времени прошлой сцены они до сих пор не разговаривали, но исключительность случившегося заставила ее отбросить прочие соображения. Призвав на помощь все оставшееся мужество, она спросила тирана своего, входит ли в его планы, помимо удовольствия мучить ее саму, еще и лишить матушку ее единственного и лучшего друга.

Чудовище все отрицает. Он столь далеко заходит в лицемерных своих уверениях, что высказывает желание самому заняться поисками. Считая, что для успеха сцены с Вальмоном необходимо усыпить бдительность жены, он обещает употребить все свои связи, чтобы отыскать Клервиля, и осыпает ласками доверчивую супругу, уверяя ее, что, несмотря на бывшие у него увлечения, в глубине души он не переставал обожать ее.

И вот уже кроткая и доверчивая госпожа де Франваль, счастливая тем, что снова сблизилась с человеком, который для нее дороже собственной жизни, устремляется исполнять все желания коварного супруга, старается ему угодить, услужить, уступает ему во всем, не пытаясь даже, как, несомненно, следовало бы, воспользоваться моментом и вырвать у этого изверга обязательство изменить поведение по отношению к несчастной своей супруге, обещание не повергать ее каждодневно в пучину горя и отчаяния. Но если бы она и решилась это потребовать, увенчалось бы ее предприятие успехом? Франваль, насквозь лживый во всех своих поступках, разве стал бы он поступать честно с той, в ком видел он лишь помеху для удовольствий своих? Скорее всего, он бы пообещал ей все единственно из удовольствия тут же нарушить свои обещания. Возможно, он бы даже пожелал принести клятвенные обязательства, дабы к зловещим забавам своим добавить еще и клятвопреступление.

Франваль, совершенно бесстрастный, заботился лишь о том, как омрачить существование других. Характер его, мстительный и властный, проявлялся, стоило лишь причинить ему малейшее беспокойство. Стремясь любой ценой

вернуть себе покой, он без лишних раздумий избирал для этого такие средства, которые могли лишь снова погрузить его в пучину страстей. Обретал ли он желаемое? Все свои душевные и физические силы использовал он единственно во зло. Вынуждая других использовать против него его собственное оружие, он пребывал, таким образом, в вечном круговороте коварного борения.

Все было подготовлено к удовольствию Вальмона. Его свидание с глазу на глаз, продолжавшееся около часу, проходило в покоях Эжени.

Там, на возвышении, среди роскошного убранства, прислонившись к стволу пальмы, Эжени являла собой юную дикарку, утомленную охотой. Высокие ветви дерева таили в листве своей множество светильников, чьи отблески лишь подчеркивали очаровательные прелести юной девушки, придавая красоте ее неуловимую изысканность.

Своеобразная сцена, служившая постаментом для живой этой статуи, была окружена каналом шести футов шириной и наполненным водой, служившей ограждением для юной дикарки и препятствовавшей приближению к ней.

На берегу канала стояло кресло, предназначенное для посетителя, рядом с ним висел шелковый шнурок. Потянув за шнурок, можно было привести в движение возвышение с застывшей на нем красавицей так, чтобы предмет поклонения был виден со всех сторон и во всем блеске красоты своей. Франваль, скрывшись в декоративной рощице, мог одновременно наблюдать и за любовницей своей, и за другом.

Свидание, согласно последней договоренности, должно продолжаться полчаса... Вальмон садится в кресло... Он опьянен открывшейся перед ним картиной. По словам его, никогда еще взор его не встречал зрелища более притягательного. Следуя стремлениям своим, он беспрерывно терзает шнур, являя глазам все новые и новые прелести объекта своего. Он в затруднении, чем же можно пожертвовать, а что следует предпочесть: все так прекрасно в Эжени! Но время идет, минута за минутою, а в этой комнате оно только убыстряет бег свой. Урочный час пробил, кавалер покидает кресло, воскуренный фимиам поднимается к ногам божества, в чей храм вход ему запрещен. Прозрачная завеса опускается, пора уходить.

— Итак, ты доволен? — спросил Франваль, нагоняя друга.

— Это восхитительное создание,— ответил Вальмон.— Но советую тебе не проделывать подобных вещей с другими мужчинами, и поздравь себя с тем, что чувства, питаемые мною к тебе, ограждают тебя от каких-либо угроз.

— Я на это и рассчитываю,— вполне серьезно ответил Франваль,— теперь же действуй, и поскорее.

— Завтра я начну подготавливать твою жену... Ты понимаешь, что сначала надо завлечь беседой... Через четыре дня я сдержу данное тебе обещание.

Обменявшись обещаниями, они расстаются.

Но напрасно полагать, что после свидания намерение Вальмона обольстить госпожу де Франваль и предоставить доказательство своей победы другу, к коему он воспылал необычайной завистью, осталось прежним. Эжени произвела на него слишком сильное впечатление, чтобы он смог отказаться от нее. Он решил любой ценой заполучить ее в жены.

По зрелому размышлению, ибо связь ее с отцом своим не обескураживала его, Вальмон пришел к выводу, что, обладая таким же состоянием, как и Коленс, он имеет такое же право претендовать на этот союз. Он считал, что если будет представлен Эжени как будущий супруг, то не встретит отказа, и, страстно желая расторгнуть кровосмесительные узы Эжени, помогая семье ее достичь того же, он несомненно получит вожделенный объект поклонения своего... после того, как выполнит возложенное на него Франвалем поручение, успех которого зависит от его смелости и изобретательности. Для размышлений этих понадобились сутки, и уже через день Вальмон предстает перед госпожой де Франваль.

Она была предупреждена о его визите; напомним, что она почти примирилась с коварным своим мужем или, вернее, приняв на веру лицемерное его поведение, не могла более отказываться принимать Вальмона. Однако она укоризненно напомнила Франвалю о предъявленных ей письмах, векселях и расписках последнего. Но супруг с беспечным видом заверил ее, что лучшим

подтверждением того, что все это было ложью или же вовсе не существовало, было бы продолжать принимать Вальмона как ни в чем не бывало. Отказать ему от дома — значило укрепить подозрения. Дабы порядочность женщины не подвергалась сомнению, заявил Франваль жене, она должна на глазах у всех продолжать встречаться с тем, кого предполагали ее любовником.

Резоны были неубедительны, госпожа де Франваль это прекрасно понимала, но надеялась получить от Вальмона некоторые разъяснения. Это желание, а также стремление не рассердить супруга побудили ее отбросить доводы разума, препятствовавшие ей видеться с молодым человеком. И вот он приходит, Франваль снова торопится по делам, оставляя их, как и в прошлый раз, одних.

Объяснения обещают быть бурными и долгими. Вальмон, однако, охваченный безудержными мечтаниями, не тратит время на условности и быстро переходит к делу.

— О сударыня, перед вами уже не тот человек, кто в последнее свидание наше столь провинился перед вами,— торопливо говорит он,— тогда я был всего лишь сообщником коварных замыслов супруга вашего, сегодня же я пришел исправить их последствия. Не отталкивайте меня, сударыня, но соблаговолите выслушать. Даю вам слово чести, что я явился сюда не для того, чтобы обмануть вас или запугать.

И он признался в истории с фальшивыми расписками и поддельными письмами, рассыпался в извинениях за участие свое в подобном обмане, предупредил госпожу де Франваль о новых кознях, в которых принуждают его участвовать.

В подтверждение искренности слов своих он признался в своих чувствах к Эжени, рассказал о свидании с ней, поклялся порвать с Франвалем, похитить у него Эжени и увезти ее в Пикардию, в одно из поместий госпожи де Фарней, если, конечно, обе женщины согласятся на это и пообещают ему руку той, кого он собирается вытащить из бездны.

Возвышенные речи и признания Вальмона были столь убедительны, что госпожа де Франваль не могла им не поверить. Вальмон был прекрасной партией для дочери. После позорного сожительства своего могла ли она рассчитывать на большее? Вальмон брал все хлопоты на себя, и иного способа прервать преступную связь, приводившую в ужас госпожу де Франваль, не было. К тому же она тешила себя надеждой на возрождение чувств супруга своего после разрыва противоестественной интриги, становившейся все более опасной как для него, так и для нее.

Соображения эти стали решающими, она согласилась, но с условием, что Вальмон даст слово не вызывать ее мужа на поединок, а по завершении предприятия уедет за границу, препоручив Эжени заботам госпожи де Фарней, и останется там до тех пор, пока Франваль не примирится с разрывом своей противозаконной связи, не обретет покой и в конце концов не даст согласие на брак.

Вальмон обещал выполнить все условия. Со своей стороны, госпожа де Франваль пообещала заручиться поддержкой своей матери, заверила его, что та не будет возражать против совместно принятых ими решений, и Вальмон удалился, продолжая испрашивать прощения у госпожи де Франваль за свое недостойное участие в бесчестных выходках ее супруга.

Через день госпожа де Фарней, обо всем условившись, уехала в Пикардию, а Франваль, подхваченный вихрем беспрерывных удовольствий, полагаясь на надежность Вальмона, не опасаясь более Клервиля, попался в расставленную ему ловушку с той же наивностью, какую он столь часто желал видеть в других, когда заманивал их в свой капкан.

Уже около полугода Эжени, достигшая семнадцати лет, нередко выезжала одна или с подругами. Накануне того дня, когда Вальмон по уговору с другом своим должен был покуситься на честь госпожи де Франваль, Эжени одна была на представлении в Театре французской комедии и в одиночестве возвращалась домой, намереваясь далее ехать на свидание с отцом. Они намеревались отправиться ужинать вдвоем...

Едва лишь экипаж мадемуазель де Франваль выехал из Сен-Жерменского

предместья, как десяток человек в масках останавливают лошадей, распахивают дверцы, хватают Эжени, бросают ее в почтовую карету рядом с Вальмоном, принимающим необходимые меры, чтобы заглушить крики девушки, но соблюдающим при этом все возможное почтение, и в одно мгновение они оказываются далеко от Парижа.

К несчастью, избавиться от лакеев и от кареты Эжени было невозможно, и посему Франвалю очень скоро становится все известно. Вальмон, стремясь уйти от погони, рассчитывал на имеющееся у него преимущество во времени в два или три часа.

Единственным стремлением его было достичь владений госпожи де Фарней, ибо там Эжени поджидала карета и две надежные женщины, должные сопроводить ее в уединенное пристанище, неизвестное даже Вальмону, который немедленно отбывал в Голландию, откуда должен был вернуться для того, чтобы сочетаться браком со своей возлюбленной, когда госпожа де Фарней и ее дочь сообщат ему, что препятствий для брака более не существует. Но судьба судила иначе, и благодетельный план сей был расстроен гнусными кознями злодея.

Узнав о случившимся, Франваль не теряет ни минуты. Он устремляется на почту, спрашивает, в каком направлении были наняты сегодня лошади после шести часов вечера. В семь часов один экипаж отъехал по дороге на Лион, в восемь часов — почтовая карета в сторону Пикардии. Франваль долго не раздумывает; несомненно, не экипаж на Лион, но почтовая карета, направившаяся в сторону Пикардии, где у госпожи де Фарней имеются владения, привлекает внимание его. Он приказывает запрячь карету восьмеркой лучших лошадей, людям своим приказывает пересесть на свежих лошадей. Пока запрягают лошадей, покупает и заряжает пистолеты и летит словно пущенная из лука стрела, подгоняемый любовью, отчаянием и местью. Меняя лошадей в Санлисе, он узнает, что почтовая карета только что покинула город...

Франваль приказывает не щадить лошадей. Он настигает злополучных беглецов. Его люди с пистолетами в руках останавливают карету Вальмона, и взбешенный Франваль, узнав своего противника, тут же в упор стреляет в него, подхватывает умирающую от страха Эжени, садится вместе с ней в свою карету, и в десять часов утра он уже в Париже.

Мало заботясь о случившемся, Франваль обеспокоен лишь состоянием Эжени... Не пожелал ли коварный Вальмон воспользоваться обстоятельствами? Осталась ли ему верной Эжени, не изменила ли она своим преступным узам? Мадемуазель де Франваль успокаивает отца. Вальмон лишь выдал свои планы, но, надеясь в ближайшее же время вступить с ней в брак, остерегся осквернять алтарь, куда в чистоте хотел принести свои обеты.

Клятвы Эжени убеждают Франваля... Но жена его... знала ли она об этих замыслах... содействовала ли им? Эжени, узнавшая обо всем от самого Вальмона, осыпая мать самыми страшными проклятиями, подтверждает, что похищение задумано именно госпожой де Франваль и что роковое свидание, во время которого, по замыслу Франваля, Вальмон должен был оказать ему обещанную услугу, стало тем часом, когда тот его столь бесстыдно предал.

— О,— в бешенстве прорычал Франваль,— почему у него не тысяча жизней... Я бы в муках заставил его отдавать одну за другой...

А моя жена!.. Когда я пытался провести ее... она первая обвела меня вокруг пальца... существо, столь кроткое с виду... ангел добродетели!.. О низкая предательница, ты дорого заплатишь за свое преступление... Месть моя требует крови, и я сам, если понадобится, по капле высосу ее из твоего подлого сердца...

Успокойся, Эжени,— в ярости продолжал Франваль,— успокойся, тебе необходим покой, отдохни немного, я сам буду тебя охранять.

Тем временем госпожа де Фарней, имевшая на подставах своих шпионов, получает сообщение о происшествии в дороге. Зная, что внучка ее возвращена отцу, а Вальмон убит, она стремительно мчится в Париж... немедленно призывает своих советчиков. Ей доказывают, что убийство Вальмона предает Франваля в ее руки, что высокое положение его, столь ее смущавшее, тому не помеха и скоро она получит возможность распоряжаться и дочерью, и Эжени. Но ей

советуют предупредить скандал и, дабы избежать позора судебного разбирательства, испросить приказ, на основании которого зятя ее можно было бы немедленно заточить в темницу.

Франваль, мгновенно извещенный о полученных советах и зная, какие шаги за ними последуют, а также, что дело его получило огласку и родственники только и ждут его осуждения, мчится в Версаль, просит аудиенции у министра, во всем ему сознается, но в ответ получает лишь совет поскорее уехать и скрыться в одном из своих эльзасских владений на границе с Швейцарией.

Не раздумывая, Франваль возвращается домой, но, желая утолить месть свою и покарать предательство жены, оставаясь при этом обладателем дорогих для госпожи де Фарней существ, дабы та благоразумно не осмелилась выступить против него, он по совету министра решает уехать в Вальмор, дальнее свое поместье,— уехать, однако, поверите ли, непременно в сопровождении жены и дочери...

Но согласится ли госпожа де Франваль? Чувствуя себя невольной виновницей случившегося, могла ли она надеяться остаться безнаказанной? Осмелится ли она теперь безоглядно довериться оскорбленному супругу? Вот что волновало Франваля. Чтобы понять, какого поведения следует придерживаться, он входит в комнату жены, уже обо всем уведомленной.

— Сударыня,— холодно говорит он,— своим необдуманными поступками вы ввергли меня в пучину отчаяния. Осуждая результат, я, однако, оправдываю причину, толкнувшую вас на них; она, несомненно, кроется в вашей любви к дочери и ко мне. А так как первые неверные шаги были сделаны мною, я должен предать забвению вторые, содеянные вами.

Дорогая и нежная спутница жизни моей,— продолжает он, падая перед женой на колени,— внемлите же мольбе моей о примирении, кое отныне ничем не будет нарушено. Я предлагаю вам его от чистого сердца и, чтобы скрепить его, вручаю вам вот это...

И он кладет к ногам супруги подложную переписку ее с Вальмоном.

— Сожгите ее, сердечный друг мой, заклинаю вас,— продолжает лицемер, отирая притворную слезу,— простите мне все, на что толкнула меня ревность, избудем досаду нашу друг на друга. Я безмерно виноват и признаю это. Но как знать, не слишком ли очернил Вальмон меня в глазах ваших, чтобы добиться успеха своего предприятия... Если он осмелился заявить, что я не люблю вас более... что самым почитаемым и самым драгоценным для меня существом в мире были не вы... Ах, бесценный ангел мой, если он запятнал себя подобной клеветой, то я правильно сделал, избавив мир от подобного лжеца и мошенника!

— О сударь,— в слезах отвечает госпожа де Франваль,— разве можно исчислить те жестокие проделки, что устраивали вы со мной? О каком доверии говорите вы после немыслимых этих ужасов?

— Я хочу, чтобы вы вновь полюбили меня, о нежнейшая и желаннейшая из женщин! Хочу, чтобы обвинения свои обрушили вы лишь на эту голову, повинную во всех заблуждениях, ибо сердце, где всегда царили вы, не способно вас предать...

Да, я хочу, чтобы вы узнали, что каждый из проступков моих лишь еще сильнее привязывал меня к вам... Чем более отдалялся я от моей дорогой супруги, тем меньше видел я возможностей найти ей замену. Ни развлечения, ни острые ощущения не были сравнимы с теми чувствами, которые испытывал я в ее присутствии, но в силу непостоянства своего растрачивал вдали от нее. Видя себя во сне в ее объятиях, я горько сожалел о пробуждении...

О, бесценный и божественный друг мой, где я еще найду душу, подобную твоей? Где испытаю тот восторг, что ждет меня в твоих объятиях? Сегодня я отрекаюсь от заблуждений своих... и хочу жить лишь для тебя одной... чтобы возродить в израненном сердце твоем прежнюю ко мне любовь, изгнанную из него моими провинностями... от коих я отрекаюсь и предаю их забвению.

Госпожа де Франваль не могла сопротивляться столь нежным уговорам, исходящим от все еще боготворимого ею человека; разве можно возненавидеть того, в кого ранее был безмерно влюблен? Зная утонченную и чувствительную

душу прелестной этой женщины, можно ли ожидать от нее хладнокровия, когда бесценный предмет ее любви, припав к ногам ее, источает слезы раскаяния. Рыдания рвутся из груди...

— Жестокий,— восклицает она, прижимая к груди руки супруга,— я всегда боготворила тебя! А ты смеялся, видя мое отчаяние!.. Ах, Небо свидетель, что нет такой кары, которой ты не обрушил бы на меня. Страх навсегда потерять твое сердце, вызвать твою ревность более всех иных страхов язвили душу мою... И что же еще находишь ты, чтобы оскорбить меня?.. мою дочь!.. именно в ее руки вкладываешь ты разящий кинжал... Ты хочешь, чтобы я возненавидела ее, ту, кого природа повелела мне лелеять?

— О,— с еще большим пылом произносит Франваль,— я приведу ее к стопам твоим! Я хочу, чтобы она, подобно мне, отреклась от своих постыдных заблуждений... И, подобно мне, заслужила прощение твое. Давайте отбросим все и будем втроем строить наше счастье. Я верну тебе дочь... верни мне супругу... и бежим отсюда.

— Великий Боже, зачем бежать?

— Мое приключение наделало шуму... завтра меня могут арестовать... Друзья и сам министр посоветовали мне совершить путешествие в Вальмор... О друг мой, соблаговолишь ли ты последовать за мной? Или случится, что в минуту, когда, припав к стопам твоим, молю я о прощении, ты разобьешь мое сердце отказом?

— Ты пугаешь меня!.. Как, это дело...

— Представлено не дуэлью, но убийством.

— О Боже! и я тому причиной!.. Приказывай... приказывай, располагай мной, супруг любимый... Если надо, я последую за тобой на край света... О, горе мне, несчастнейшей из женщин!

— Скажи скорее счастливейшей, ибо каждый миг жизни своей отныне посвящаю я тому, чтобы шипы, щедро разбросанные мною на твоем пути, превратились в розы... Разве пустыня не лучшее убежище для влюбленных? Но, впрочем, ссылка не продлится вечно; предупрежденные, друзья будут действовать.

— Но матушка... я хотела бы повидать ее...

— Увы, милый друг, остерегись этого, у меня есть верные доказательства, что именно она подстрекает родственников Вальмона... и заодно с ними желает моей гибели...

— Она не способна на такое, не думай о столь гнусном коварстве. Душа ее, созданная для любви, никогда не опускалась до клеветы... Ты никогда не воздавал ей должное, Франваль... никогда не любил, как я! Под сенью ее забот мы обрели бы рай земной! Именно она, словно ангел-миротворец, призывала Небо простить твои прегрешения. Несправедливость твоя оттолкнула руки, всегда готовые раскрыть тебе объятия, всегда готовые приласкать. Из прихоти или иной причуды, из-за неблагодарности или распутства ты добровольно лишился лучшего и нежнейшего друга, данного тебе самой природой. Так что же, я не смогу увидеться с ней?

— Нет, умоляю тебя... дорога каждая минута! Ты напишешь ей, расскажешь о моем раскаянии... быть может, она поверит в его искренность... Быть может, однажды я снова обрету и уважение ее, и любовь. Все успокоится, мы вернемся... вернемся в ее объятия, чтобы насладиться ее прощением и любовью... Но сейчас бежим, нежный друг мой... Прямо сейчас, карета уже ждет нас...

Испуганная, госпожа де Франваль не осмеливается возражать и собирается в дорогу: ведь желание Франваля для нее приказ. Изменник бежит к дочери, приводит ее, дабы та припала к стопам матери. Лживое создание разыгрывает сцену с не меньшим, чем отец, лицемерием, рыдает, молит о прощении и получает его. Госпожа де Франваль заключает ее в объятия. Какие бы оскорбления ни наносили тебе дети твои, нельзя забыть, что ты мать... Голос природы столь властно звучит в чувствительной ее душе, что единой слезы дитяти, этого священного для нее существа, достаточно, чтобы заставить ее забыть годы обид и унижений.

Карета покатила в Вальмор. Необычайная быстрота, с которой они со-

брались в путь, оправдывала в глазах доверчивой и простосердечной госпожи де Франваль малое число слуг, их сопровождавших. Преступник не любит свидетелей... он страшится всех. Лишь под покровом тайны ощущает он себя в безопасности и, готовясь нанести удар, закутывается в него с ног до головы.

В деревне ничто не выдавало планов Франваля. Знаки заботливости, внимания, почтения, уважения, нежности с одной стороны... самой страстной любви с другой — все было щедро расточаемо для пленения несчастной Франваль... На краю света, вдали от матери, совсем одна, она чувствовала себя счастливой, ибо, по ее словам, она снова обрела сердце мужа, а дочь, постоянно сидя у ног ее, окружала ее нежными своими заботами.

Комнаты Эжени и ее отца более не находились рядом. Франваль расположился в дальнем крыле замка, Эжени жила рядом с матерью. Благопристойность, приличия, стыдливость воцарились в Вальморе, искупая прегрешения столицы. Каждую ночь Франваль приходил к супруге своей и в этом храме невинности, чистоты и любви плел ужасные козни свои. Слишком черствый, чтобы сложить оружие перед наивными и пылкими ласками, которыми награждала его трогательнейшая из женщин, злодей факелом любви ее разжигал костер своей ненависти.

Однако не следует полагать, что Франваль перестал дарить дочери свое внимание. По утрам, пока мать ее одевалась, Эжени встречалась с отцом в глубине сада, где получала от него наставления, как следует себя вести далее, а также ласки, кои она вовсе не собиралась полностью уступать своей сопернице.

Уже около недели жили они в своем уединении, когда Франвалю стало известно, что семья Вальмона не прекращает преследования и дело принимает дурной оборот. Как утверждают, невозможно более выдавать убийство за дуэль, ибо, к несчастью, нашлось множество свидетелей. Разумеется, добавляли осведомители Франваля, госпожа де Фарней возглавила партию врагов своего зятя, решив окончательно погубить его, лишив его свободы или же вынудив его покинуть Францию, и таким образом вернуть под свое крыло двух дорогих существ, с коими он ее разлучил.

Франваль показал письма жене. Та тут же взялась за перо, чтобы успокоить мать и придать иное направление ее мыслям, а также чтобы описать счастье, коим наслаждается она с тех пор, как неудачи смягчили душу несчастного ее супруга. Она доподлинно заверила мать, что любые попытки вернуть ее вместе с дочерью в Париж будут напрасны, и она не покинет Вальмор до тех пор, пока дело ее супруга не будет улажено. А если злоба врагов его или недомыслие судей вынесут позорящий его приговор, она покинет страну вместе с ним.

Франваль поблагодарил жену. Но нимало не желая в бездействии ожидать решения суда, он предупредил ее, что хочет ненадолго уехать в Швейцарию и оставляет ей Эжени. Однако просил обеих не покидать Вальмора до тех пор, пока его участь не прояснится. Что бы ни случилось, он обязательно вернется к нежной своей супруге, и если препятствий тому не будет, они в согласии вернутся в Париж или, в худшем случае, отправятся на жительство в какое-нибудь безопасное место.

Приняв решение, Франваль, постоянно помнивший, что единственной причиной изменения судьбы его был сговор его жены с Вальмоном, и страстно жаждавший отомстить, приказал передать дочери, что он ждет ее в дальнем конце парка. Затворившись с ней в уединенном павильоне и потребовав у нее клятву в слепом ему подчинении, он целует ее и говорит следующее:

— Вы больше не увидите меня, дочь моя... быть может, никогда более...

И, видя, что Эжени залилась слезами, продолжает:

— Успокойтесь, ангел мой, ибо от вас зависит возрождение счастья нашего во Франции или в иных краях. Довольствуясь малым, мы можем быть столь же счастливы, как и прежде. Тешу себя надеждой, Эжени, что вы тоже в это верите и знаете, что единственной причиной несчастий наших является мать ваша.

Не беспокойтесь, я не забыл о мести. Вам хорошо известно, почему

я решил скрыть истинные свои намерения от жены, вы сами одобрили меня, помогли надеть повязку на глаза ее. И вот срок настал, Эжени, пора действовать; от этого зависит ваше спокойствие, предприятие это обеспечит покой и мне. Надеюсь, что вы меня понимаете; вы достаточно разумны и встретите предложение мое без ненужного волнения... Да, дочь моя, надо действовать, и без промедления, без колебаний, и это должно быть делом ваших рук.

Мать хотела сделать вас несчастной, она осквернила узы, нарушила их единство и тем самым потеряла на них права. Отныне она для вас просто женщина, к тому же ставшая смертельным врагом вашим. Следовательно, извечный закон природы, запечатленный в сердцах наших, требует первыми избавляться от тех, кто злоумышляет против нас.

Священный сей закон, побуждающий к действию и вдохновляющий поступки наши, состоит в том, что себя должны мы возлюбить более, нежели ближнего своего... Сначала мы сами, а потом все остальные, таков закон природы. Никакого почтения и, следовательно, никакой пощады тому, кто, как доказано, стал причиной несчастий наших или же пытался погубить нас. Поступать по-иному, дочь моя, означало бы поставить интересы ближнего выше своих собственных, а это было бы неразумно. Теперь же давайте обсудим избранный мною для вас способ действий.

Я вынужден уехать, и вы знаете почему. Если я оставлю вас наедине с этой женщиной, то не пройдет и месяца, как она при содействии матери отвезет вас в Париж, а так как после разразившегося скандала вы вряд ли сможете выйти замуж, то оба эти безжалостные создания станут полновластными хозяйками над вами и отправят вас в какой-нибудь удаленный монастырь оплакивать вашу слабость и наши утехи.

Ваша бабушка, Эжени, преследует меня, именно она сплачивает моих врагов, дабы в конце концов уничтожить меня. Не свидетельствуют ли подобные ее действия о страстном желании заполучить вас обратно и, без сомнения, подвергнуть суровому заточению? Чем хуже идут мои дела, тем большую силу и доверие приобретают мучители наши. Несомненно, что ваша мать тайно возглавляет эту клику, нет сомнений и в том, что, как только я уеду, она незамедлительно воссоединится с ней. Клика эта стремится погубить меня единственно из желания сделать вас несчастнейшей из женщин. Следовательно, поспешим лишить ее основного источника энергии, сиречь госпожи де Франваль.

Возможен ли иной ход событий? Могу ли я увезти вас с собой? Разъяренная мать ваша тотчас же объединяется со своей родительницей, и мы с вами, Эжени, навсегда лишаемся покоя. Нас будут разыскивать повсюду, ни одна страна не в праве будет предоставить нам убежище, нигде на земле не будет ни единого безопасного уголка... недоступного взорам чудовищ, чья ярость будет нас преследовать. Разве вы не знаете, сколь далеко простирается гнусная власть деспотов и тиранов, подкрепленная полновесным золотом, когда ими движет злоба?

А если ваша мать мертва, то госпожа де Фарней, любящая ее более, нежели вас, и действующая исключительно в ее интересах, видит, что клика ее сократилась на одного человека, именно того, кто ее к этой клике привязывает, и прекращает свои интриги, перестает возбуждать врагов моих... перестает натравливать их на меня. Отныне одно из двух: или дело Вальмона улаживается и ничто более не препятствует нашему возвращению в Париж, или, напротив, ему дают ход, и мы вынуждены бежать за границу, дабы попытаться избежать преследования этой ненавистной Фарней, которая, пока мать ваша жива, изо всех сил будет стремиться разрушить наше счастье, ибо она твердо убеждена, что лишь на его обломках дочь ее сможет построить благополучие свое.

И с какой бы стороны ни рассматривали вы наше положение, вы видите, что именно госпожа де Франваль смущает покой наш и лишь ненавистное существование ее препятствует нашему благоденствию.

Эжени, Эжени,— страстно продолжал Франваль, прижимая к груди руки дочери.— Несравненная Эжени, ты любишь меня, так неужели же хочешь ты, из страха перед подобным поступком... столь необходимым для блага нашего, навсегда потерять того, кто тебя обожает!

О милый и нежный друг, решайся же, ибо ты можешь сохранить лишь одного из нас двоих. Понуждаемая к отцеубийству, тебе остается лишь сделать выбор, в чье сердце направишь ты кинжал свой. Неумолимый рок требует либо смерти матери твоей, либо тебе придется потерять меня... Нет, что я говорю, лучше уж ты сама накинешь мне петлю на шею... Разве смогу я жить без тебя?.. Неужели ты вообразила, что я буду влачить дни свои без моей Эжени? Разве я смогу забыть радости, вкушаемые мной в ее объятиях... эти несравненные радости, навеки для меня потерянные?

О Эжени, тебе придется совершить это преступление, ибо, если ты не убьешь ненавистную тебе мать, живущую лишь для того, чтобы делать тебя несчастной, тебе придется убить отца, чья жизнь всецело посвящена тебе. Выбирай, выбирай же, Эжени, и если выбор твой станет моим приговором, не раздумывай, неблагодарная дочь, и порази без жалости того, чья единственная вина состоит в том, что он слишком любит тебя. Я с благодарностью встречу удары, наносимые твоей рукой, и последний вздох мой будет обращен к тебе.

Франваль замолчал, ожидая ответа дочери. Та, казалось, погружена была в глубокие размышления... но вот наконец она устремилась в объятия отца своего.

— О, тебя, одного тебя я буду любить всю жизнь,— воскликнула она,— какие тебе нужны еще доказательства? Ты все еще сомневаешься в моей решимости? Так не медли, вложи орудие мести мне в руку, и та, кто сулит тебе несчастья и угрожает твоему спокойствию, скоро падет под его ударами. Научи меня, Франваль, как следует себя вести и уезжай, если того требует твоя безопасность... Я же в твое отсутствие буду действовать. Но какой бы оборот ни приняли дела... когда враг наш будет повержен, заклинаю тебя, не оставляй меня одну в этом замке... Приезжай за мной или дай мне знать, куда я могу приехать к тебе.

— Дорогая дочь моя,— начал Франваль, обнимая это взращенное им и послушное ему чудовище,— я был уверен, что моя любовь встретит в тебе ответное чувство и ты найдешь в себе достаточно твердости, чтобы совершить то, что необходимо для нашего счастья... Возьми этот ящичек... в нем скрыта смерть...

Эжени берет гибельную коробочку и снова клянется в преданности отцу. Принимается план действий; решено, что Эжени ожидает приговора суда, и в том случае, если приговор этот будет направлен против ее отца, то преступление свершится...

Они расстаются, Франваль возвращается к жене. Дерзкой ложью своей он исторгает из нее потоки слез и беззастенчиво принимает трогательные и чистые ласки, расточаемые ему этим небесным ангелом. Затем они уговариваются, что госпожа де Франваль с дочерью непременно останутся в Эльзасе, каков бы ни был исход дела, злодей садится на лошадь и покидает дом... Покидает невинность и добродетель, столь долго оскверняемую его преступлениями.

Франваль остановился в Базеле — укрыться от преследований, если таковые начнутся, и в то же время находиться достаточно близко от Вальмора, дабы письмами своими поддерживать у Эжени нужные ему настроения... Около двадцати пяти лье разделяли Базель и Вальмор, но соединявшая их дорога была проложена напрямую через Черный лес, и Франваль каждую неделю мог иметь известия от дочери. На всякий случай Франваль взял с собой огромную сумму денег, преимущественно в ассигнациях. Оставим же его обустраиваться в Швейцарии и вернемся к его жене.

Нет ничего более чистого, более искреннего, чем намерения этого удивительного создания. Она обещала супругу не покидать замка до получения от него новых указаний. Ничто не заставит ее изменить это решение, каждодневно повторяла она Эжени...

К величайшему несчастью, последняя отнюдь не стремилась довериться матери, хотя достойная эта женщина самой природой предназначена была стать ее мудрой наставницей. Эжени, разделяя ненависть Франваля, питавшего ростки ее своими регулярными письмами, даже не могла помыслить, что в этом мире у нее имеется больший враг, нежели мать ее.

Между тем все было испробовано для разрушения той неодолимой

преграды, которую неблагодарная дочь возвела в глубине души своей между собой и матерью. Мать окружила ее лаской и заботой, с радостью говорила с ней о счастливом возвращении к ней мужа. Ее привечание и нежность простирались столь широко, что она временами начинала благодарить Эжени, ставя ей в заслугу счастливую перемену в настроении супруга. И тут же она горевала о том, что невольно стала причиной новых неприятностей, угрожающих Франвалю. Не имея и в мыслях обвинить в них Эжени, она упрекала лишь себя и, прижимая к груди дочь, со слезами вопрошала, сможет ли та когда-нибудь простить ее...

Но жестокосердная Эжени была глуха к словам этого ангела, ее развращенная душа не слышала более голоса природы, порок преградил все пути, ведущие к ней... С содроганием высвобождаясь из объятий матери, она, отводя взор, дабы придать себе твердости, повторяла про себя: *«Как лжива эта женщина... как она коварна... она так же ласкала меня и в тот день, когда отдавала приказ увезти меня...»*

Но несправедливые упреки эти служили лишь низменным оправданием, к коему прибегает преступник, желая заглушить голос совести. Госпожа де Франваль, стремясь увезти Эжени ради ее же счастья... равно как ради материнского спокойствия и во имя добродетели, легко могла бы скрыть свое участие в похищении. Подобные приемы не одобряются лишь виновным, коего они вводят в заблуждение; они не оскорбляют порядочности.

И Эжени отталкивала ласки госпожи де Франваль, стремясь совершить ужасающее деяние, а вовсе не по причине ошибок матери, которой, воистину, не в чем было виниться перед дочерью.

Подошел к концу первый месяц пребывания в Вальморе. Госпожа де Фарней написала дочери, что дело ее мужа осложняется и нависшая над ним угроза позорного ареста настоятельно требует возвращения госпожи де Франваль и Эжени, дабы они могли появиться в обществе, уже строившем самые ужасные предположения, равно как и присоединить усилия свои к ее хлопотам по улаживанию дела, потому что единственно они смогли бы мольбами своими смягчить правосудие и выступить в защиту виновного, не подвергая его опасности.

Госпожа де Франваль, решившая не иметь от дочери тайн, тотчас же показала ей это письмо. Пристально глядя на мать, Эжени холодно спросила, что та, узнав о сих печальных новостях, намеревается делать?

— Не знаю,— ответила госпожа де Франваль.— По сути, в чем необходимость нашего пребывания здесь? Разве не будет в тысячу раз полезнее для супруга моего, если мы последуем совету моей матери?

— Вы здесь повелеваете, сударыня,— ответила Эжени,— мой же удел повиноваться вам, и я буду вам послушна...

Госпожа де Франваль, поняв по сухому ответу дочери, что подобное решение ту не устраивает, заверила ее, что пока не предпримет никаких шагов и еще раз напишет в Париж. Если же ее вынудят нарушить предписания Франваля, то только в случае крайней необходимости, когда она будет совершенно уверена, что ее отъезд в Париж будет для того гораздо полезнее, нежели ее пребывание в Вальморе.

Таким образом, прошел еще месяц, во время которого Франваль неустанно писал жене и дочери и получал от них ответы, доставлявшие ему исключительное удовольствие, ибо в одних он находил замечательное стремление угодить его желаниям, а в других — полную решимость свершить задуманное им преступление, как только поворот событий того потребует или же как только госпожа де Франваль решится уступить просьбам матери.

«Если я увижу, что жена ваша честно стремится действовать в вашу пользу,— сообщала в своих письмах Эжени,— а друзья ваши в Париже сумеют довести дело ваше до благополучного исхода, то тогда я передам вам коробочку, которую вы мне вручили, и когда мы вновь соединимся, вы сами, если сочтете необходимым, используете ее для совершения задуманного предприятия. Но что бы ни случилось, если вы прикажете мне действовать, сочтя сие безотлагательным, то будьте уверены, что я сама исполню необходимое».

В своем ответе Франваль подтвердил все, о чем спрашивала его дочь.

Таково было последнее письмо, от нее полученное, и отправленный им ответ. Но с ближайшим курьером писем более не было. Франваль забеспокоился. Не имея вестей и со следующей почтой, он приходит в отчаяние, и так как природная его живость не позволяет ему оставаться в бездействии, он тут же принимает решение самому ехать в Вальмор и узнать причину отсутствия писем, необычайно его волнующую.

В сопровождении верного слуги Франваль верхом отправляется в дорогу, полагая пробыть в пути два дня и приехать глубокой ночью, дабы не быть никем узнанным. Когда он подъезжает к лесу, что окружает Вальморский замок и на востоке смыкается с Черным лесом, его и лакея останавливают шестеро хорошо вооруженных людей. Мошенникам известно, что, будучи в затруднительном положении, Франваль никогда не расстается со своим портфелем, доверху набитым золотом...

Лакей пытается оказать сопротивление и падает бездыханным к ногам своего коня. Франваль, обнажив шпагу, соскакивает на землю, бросается на негодяев, ранит троих, но, уступив численности нападающих, падает, не выпуская, однако, шпаги из руки. Грабители дочиста обирают его и тотчас же исчезают. Франваль устремляется за ними, но грабители рассеиваются в разные стороны, и преследование становится бесполезным.

Наступает ужасная ночь, северный ветер, град... казалось, все стихии разом решили обрушиться на несчастного... Вероятно, сама природа, возмущенная преступлением того, кто имел несчастье пробудить гнев ее, решила, прежде чем призвать его к себе, подвергнуть его всем имеющимся в ее распоряжении карам...

Франваль в разодранной одежде, но не выпуская шпагу из рук, пытается отойти как можно дальше от печального места, держа направление в сторону Вальмора. Плохо зная окрестности, где он прежде, как нам известно, побывал всего лишь раз, он блуждает по темным тропинкам совершенно незнакомого ему леса... Вконец обессилевший, раздавленный болью... снедаемый беспокойством, измученный бурей, он падает на землю, и первые в жизни слезы потоком хлынули из глаз его...

— О, я несчастный! — воскликнул он.— Все стихии объединились, чтобы раздавить меня... заставить испытать муки совести... Несчастье рукой своей сдавило сердце мое. Обманутый ласковым признаком благополучия, я всегда презирал несчастных.

О обожаемая супруга моя... ты, кого я столь жестоко оскорблял, ты, кто, быть может, уже принесена в жертву неутолимой моей жестокости!.. Общество, украшением коего ты являлась, увидит ли оно тебя впредь? Рука Неба смогла ли остановить мои злодеяния?..

Эжени, дочь излишне легковерная... столь постыдно соблазненная моими гнусными уловками... смягчила ли природа твое сердце?.. Остановила ли она преступление, порожденное моей склонностью и твоей слабостью? Не упущено ли время?.. праведное Небо, осталось ли время...

Внезапно жалобный и величественный звон многочисленных колоколов, печально вознесшийся к затянутому тучами небу, пробудил в нем ужас перед грозящей ему участью... Он рвется вперед... содрогаясь от страха...

— Что слышу я? — восклицает он, поднимаясь с земли.— Жестокосердная дочь... неужели звон этот возвещает смерть?.. и вот оно, отмщение?.. Ад ли выслал своих фурий, дабы завершить начатое ими дело?.. Что возвещают мне эти звуки?.. Где я? Почему я их слышу?.. Рази, о Небо!.. рази насмерть виновного...

И, распростершись на земле, он взывает:

— Великий Боже! Услышь меня, я присоединяю свой голос к тем, кто в минуту сию призывает тебя... Ты видишь мое раскаяние... В могуществе своем прости, что усомнился в тебе... будь милостив и услышь мольбы мои... первые мольбы мои, с коими осмеливаюсь я обратиться к тебе! Верховное Существо... спаси добродетель, обереги ту, кто была самым прекрасным Твоим творением на земле. Не дай, чтоб звон этот... увы, печальный этот звон возвещал бы смерть той, чью жизнь молю Тебя защитить.

И в исступлении Франваль... испуская бессвязные звуки, не ведая, ни что делает, ни куда идет, устремляется по первой попавшейся тропинке... До него

доносится какой-то шум... Рассудок возвращается к нему... Он прислушивается... Это скачет всадник...

— Кто бы вы ни были,— кричит Франваль, подбегая к нему,— кем бы вы ни были, сжальтесь над несчастным, чей разум помутился от горя. Собственной рукой готов я положить конец дням своим... Вразумите меня, поддержите, если не чужды вам человечность и сострадание... сжальтесь надо мной, спасите меня от меня самого.

— Боже! — слышен в ответ голос, столь хорошо знакомый злополучному Франвалю.— Это вы!.. Здесь... О Небо!

И Клервиль... а именно его, сего достойного человека, вырвавшегося из оков Франваля, судьба посылала несчастному в самый горький час его жизни, Клервиль соскакивает с лошади и попадает в объятия своего врага.

— Сударь,— восклицает Франваль, прижимая к груди этого честного человека,— это вы, вы, кому причинил я столько зла? О, вы должны ненавидеть меня!

— Успокойтесь, сударь, успокойтесь, я не помню причиненных мне вами обид, не помню зла, что хотели вы навлечь на меня, и если Небо позволит мне оказать вам услугу... а я, сударь, вынужден заняться вашими делами...

Присядем же... устроимся у подножия кипариса, ибо лишь его мрачная листва достойна теперь венчать вашу голову... О мой дорогой Франваль, сколь печальные известия предстоит мне вам поведать!... Плачьте... о друг мой! Слезы облегчат ваше страдание, а то, что сообщу я вам, заставит вас рыдать еще горше... Умчались сладостные дни... рассеялись подобно сну, и отныне вам уготованы лишь дни горестные.

— О сударь, я догадываюсь... этот звон...

— Он возносит к подножию престола Верховного Существа... благоговейные слова молитв безутешных обитателей Вальмора, которым Предвечный дозволил узнать ангела, но лишь затем, чтобы оплакать его и скорбеть...

Услышав эти слова, Франваль, направляет острые шпаги прямо в сердце, едва не положив конец дням своим. Но Клервиль, предвидя подобную развязку, восклицает;

— Нет, нет, друг мой, не смертью своей, но раскаянием исправите вы содеянное вами зло. Успокойтесь же и выслушайте меня, мне надо многое вам сказать.

— Сударь, говорите же, я слушаю. Медленно погружайте кинжал в грудь мою, я заслужил эту пытку, ведь именно такие мучения готовил я другим.

— Я буду краток в том, что касается лично меня,— сказал Клервиль.— Через несколько месяцев ужасного заточения, которому вы меня подвергли, мне удалось склонить сторожа на свою сторону. Он открыл мне дверь темницы. Оказавшись на свободе, я тотчас же взял с него слово навсегда забыть о несправедливости, учиненной вами по отношению ко мне. Он никому не расскажет об этом, Франваль, никогда никому не расскажет.

— О сударь...

— Не отвлекайтесь же, мне надо еще о многом вам рассказать. Вернувшись в Париж, я узнал о вашем злосчастном приключении... о вашем отъезде... Я проливал слезы вместе в госпожой де Фарней... Поверьте, я был искренен в своих чувствах. Я присоединил свои усилия к усилиям этой достойной женщины, дабы убедить госпожу де Франваль привезти нам Эжени. Ее присутствие было более необходимо в Париже, нежели в Эльзасе...

Вы запретили супруге покидать Вальмор... Она подчинилась вам... сообщила нам о вашем запрете, а также о своем нежелании нарушать его. Она сопротивлялась как могла... Вам был вынесен приговор, Франваль... Вы осуждены... Вас приговорили к смерти за убийство на большой дороге. Ни ходатайства госпожи де Фарней, ни усилия друзей не смогли отвести от вас меч правосудия. Вы проиграли... вы изгнаны навсегда... разорены... все ваше состояние переходит в казну...

И, перехватив еще один отчаянный порыв Франваля, Клервиль продолжал;

— Выслушайте же меня, сударь, выслушайте до конца, я требую, ибо вы еще можете ступить на путь исправления причиненного вами зла. Я требую этого во имя Неба, поскольку ваше раскаяние еще может смягчить его.

Узнав о приговоре, мы написали госпоже де Франваль, сообщив ей все. Матушка подчеркивала крайнюю необходимость ее приезда. Следом за письмом госпожа де Фарней обратилась ко мне с просьбою самому поехать в Вальмор и убедить дочь ее безотлагательно выехать в Париж. Я отправился вслед за письмом. Но, к несчастью, оно меня опередило; я прибыл слишком поздно... Ваш ужасный заговор удался полностью. Я нашел госпожу де Франваль в агонии...

О сударь, какая низость!.. Однако жалкое состояние ваше вызывает во мне сострадание, и я не стану более упрекать вас за ваши преступления... Но узнайте же все до конца. Эжени не присутствовала при печальном этом зрелище. Когда я приехал, ее раскаяние выражалось в горьких слезах и неутешных рыданиях...

Как описать вам, сударь, состояние этих двух женщин... Ваша жена умирает в страшных муках... Эжени, внемля голосу природы, испускает ужасные крики, обвиняет себя в содеянном, призывает смерть и порывается убить себя. Она то обливает слезами ноги матери, то прижимает ее к груди своей, то пытается согреть ее холодеющее тело своими слезами, то стремится облегчить ее муки своим раскаянием... Столь мрачная картина, сударь, открылась перед моим взором.

Когда я вошел к ней в комнату, госпожа де Франваль узнала меня... Она схватила меня за руку... увлажняя ее слезами, она едва слышно произнесла несколько слов, ибо воздух с трудом вырывался из ее груди, содрогавшейся в конвульсиях под воздействием яда...,Она прощала вас... молила за вас Небо... Особенно просила она пощадить дочь ее... Знайте же, недостойный человек, что последние мысли, последние молитвы той, кого вы столь злодейски терзали, были о вашем счастье.

Я принял на себя все хлопоты; призвал на помощь слуг, приказал позвать самых известных светил медицины... непрестанно утешал вашу Эжени... Тронутый ужасным ее состоянием, я не мог отказать ей в утешении. Все было напрасно. Жена ваша скончалась в конвульсиях... в неописуемых муках...

В этот скорбный час, сударь, я увидел доселе невиданное мною воздействие раскаяния: Эжени устремляется к телу матери и в ту же самую минуту умирает. Сначала мы решили, что она лишь в обмороке... Но нет, все жизненные функции ее угасли, члены похолодели. Воистину причиной ее смерти стало жестокое потрясение, вызванное раскаянием, горем и отчаянием...

Да, сударь, они обе для вас потеряны. И колокола, чей звон вы все еще слышите, оплакивают одновременно двух женщин, рожденных вам на счастье, но ставших из-за злодейства вашего жертвами своей привязанности к вам. Их окровавленные призраки будут преследовать вас до самой могилы.

Ах, дорогой Франваль! разве не прав я был тогда, когда призывал вас, влекомого пагубными страстями, остановиться на краю пропасти? Станете ли вы теперь хулить и высмеивать защитников добродетели? Разве не правы они будут, воскурив фимиам на алтарях своих, когда поймут, сколь обильны миазмы, распространяемые вокруг себя преступлением?

Клервиль умолк. Он устремляет взгляд свой на Франваля; тот словно окаменел от горя; взор его недвижен, по щекам катятся слезы, но ни единого слова не срывается с губ его. Клервиль спрашивает, почему одежда его находится в столь плачевном состоянии. В двух словах Франваль объясняет, что с ним случилось.

— Ах, сударь,— воскликнул этот великодушный человек,— как я рад, что среди обступивших меня кошмаров смогу я хоть чем-то облегчить вашу участь. Я ехал к вам в Базель, чтобы обо всем рассказать вам, а также предложить вам то малое, что имею... Примите этот дар, заклинаю вас. Вы знаете, что я не богат... Но вот сто луидоров... Это мои сбережения, все, что у меня есть... Возьмите же их...

— Великодушный человек,— восклицает Франваль, обнимая колени достойного и единственного друга своего,— вы предлагаете это мне?.. Небо, разве мне еще что-нибудь нужно после постигших меня утрат! и это вы... вы, с кем я поступил столь жестоко... именно вы устремляетесь мне на помощь.

— Негоже вспоминать об оскорблениях, когда несчастье настигло

нанесшего их тебе. Месть, кою в час сей следует осуществить, состоит в том, чтобы облегчить его страдания. Да и чем же можно унизить его, когда угрызения совести и без того раздирают его душу?.. Сударь, прислушайтесь к голосу природы. Теперь вы убедились, что священный культ Верховного Существа отнюдь не противоречит природе, как воображали вы ранее, ибо заповеди, внушаемые одним, есть не что иное, как священные законы другой.

— Нет,— ответил Франваль, вставая,— нет, сударь, я ни в чем более не нуждаюсь.

Небо, сохранив мне последнее сокровище,— продолжал он, показывая на шпагу,— указало, как должно мне применить его...

И глядя на оружие свое:

— Да, дорогой и единственный друг мой, это он, тот самый клинок, который непорочная жена моя однажды схватила, дабы пронзить им грудь свою, когда я осыпал ее оскорблениями и осквернял клеветой... тот самый клинок... на нем найду я, быть может, следы ее священной крови... надо чтобы моя кровь смыла их... Поспешим... найдем какую-нибудь хижину, где я мог бы сообщить вам свою последнюю волю... а затем расстанемся навсегда...

Они идут. Они ищут тропинку, ведущую к какому-нибудь жилищу... Ночь медленно расправляла над лесом свои крылья... Раздается печальное пение. Бледный свет нескольких факелов, отбрасывающих по сторонам пугающие отблески, неожиданно рассеивает сумерки: постичь таинство сие доступно лишь душам чувствительным. Громче вызванивают колокола, явственней звучит доселе чуть слышный погребальный звон. От раскатов умолкшего до поры грома раскалываются небеса, и гул их сливается с похоронным гулом колоколов. Время от времени вспышки молний, озаряющие затянутое тучами небо, гасят огонь зловещих факелов, словно оспаривая у жителей земли право сопроводить в последний путь ту, за кем следует этот печальный эскорт. Все порождает ужас, источает отчаяние... Кажется, что сама природа облачилась в вечный траур.

— Что это? — взволнованно спрашивает Франваль.

— Ничего,— отвечает Клервиль, хватая друга за руки и пытаясь увести его в сторону от шествия.

— Неправда, вы обманываете меня, я хочу посмотреть, что это...

Франваль рвется вперед... видит гроб.

— Небо Праведное! — восклицает он,— вот она, это она... она. Господь дозволил мне еще раз увидеть ее...

Клервиль, видя, что несчастного Франваля удержать невозможно, просит священников на время удалиться, и те тихо отступают, оставив свою печальную ношу...

Помутившийся рассудком Франваль бросает на гроб и извлекает горестные останки той, кого при жизни он столь жестоко оскорблял. Прижимая к груди тело жены своей, несет он его, опускает у подножия дерева и в безумном отчаянии падает к ногам его.

— О несчастная,— вопит он вне себя,— чьи дни оборвались из-за моего злодейства, ты, несравненная, боготворимая, смотри же, как супруг твой, припав к твоим ногам, молит у тебя милости и прощения. Не думай, что хочет он пережить тебя, нет, нет, лишь для того молит он, чтобы Предвечный, тронутый добродетелями твоими, если на то будет воля Его, простил несчастного грешника так же, как и тебя...

Отмщение требует крови, милая супруга, лишь кровь смоет нанесенные тебе обиды... Ты будешь отомщена... Смотри же на слезы мои, смотри на страдания мои... Я иду за тобой, нежная тень моя... Но кто упокоит грешную душу мою, если ты не помолишься за нее? Отторгнутая божественной десницею, как некогда была отторгнута тобой, разве желаешь ты обречь ее вечным мукам ада, когда покаялась она в содеянных ею преступлениях... Прости, нежный друг мой, прости меня и смотри, как я мщу за тебя.

С этими словами Франваль, ускользнув от взора Клервиля, дважды погружает клинок в грудь свою. Кровь нечестивца заливает жертву, и кажется, что она более пятнает ее, нежели воздает отмщение.

— Друг мой,— обращается Франваль к Клервилю,— я умираю, умираю

в муках раскаяния... Сообщите друзьям о жалкой моей кончине и о преступлениях, мною совершенных. Скажите им, что такая смерть ждет всякого, кто становится жалким рабом разнузданных страстей, заглушающих голос долга и природы. Не откажите мне и похороните меня в одном гробу с несчастной моей супругой. Возможно, я не достоин этой милости, но я прошу оказать ее мне, ибо мое раскаяние искренне. Прощайте.

Клервиль исполнил желание несчастного, и кортеж продолжил мрачное свое шествие. Скоро вечный приют принял навеки обоих супругов, рожденных, чтобы любить друг друга и без помех наслаждаться своим счастьем. Но преступление и ужасные плоды его, сорванные злодейской рукой одного из супругов, обратили в змей розы, усыпавшие вначале путь их...

Честный священнослужитель скоро прибыл в Париж и подробно сообщил о трагической развязке драмы, свидетелем которой он стал.

Смерть Франваля никого не опечалила, ибо при жизни он многим досаждал, но супругу его оплакивали... и оплакивали горько. Воистину, разве кто-нибудь встречал где-либо еще на земле столь утонченное, столь нежное создание, неуклонно исповедующее добродетель, но вознагражденное за нее лишь несчастьем и страданьем?

Флорвиль и Курваль, или Неотвратимость судьбы

НОВЕЛЛА

Господину де Курвалю только что минуло пятьдесят лет; бодрый, отличавшийся завидным здоровьем, он вполне мог рассчитывать прожить еще лет двадцать. Первая жена принесла ему одни лишь неприятности, так что, хотя она уже давно оставила его, у него надолго пропала охота иметь дело с женщинами. Но, полагаясь на достоверные источники, сообщившие о ее смерти, он неожиданно решил вступить в брак во второй раз, избрав женщину достойную, способную покладистостью нрава своего и обходительными манерами заставить его забыть о первой неудаче.

Господин де Курваль был столь же несчастен в детях, как и в супруге. Дочь потерял он в нежнейшем ее возрасте; сын, по достижении пятнадцати лет, так же, как и жена, покинул его, дабы, следуя печальному примеру матери, предаться недостойному разврату, и господин де Курваль, как мне известно, считая, что уже ничто не способно привязать его к этому чудовищу, намеревался лишить его наследства и оставить все свое достояние детям, рожденным от новой супруги, найти которую он стремился страстно.

Господин де Курваль имел пятнадцать тысяч ливров ренты. Будучи некогда расторопным дельцом, теперь вкушал он плоды трудов своих и проживал состояние свое как подобает порядочному человеку, в окружении небольшого числа друзей, искренне его уважавших и любивших. Найти его можно было в Париже, где он занимал хорошенькую квартирку на улице Сен-Марк, но чаще всего проводил он время в маленьком очаровательном поместье неподалеку от Немура, где жил добрые две трети года.

Этот честный человек доверил свои намерения друзьям и, получив одобрение их, попросил немедля разузнать среди знакомых, не знает ли кто женщину лет тридцати — тридцати пяти, вдову или девицу, соответствующую его желаниям.

Уже на следующий день к нему явился один из друзей и сообщил, что, кажется, нашел то, что ему подойдет.

— Девица, предлагаемая мною,— сказал ему друг,— имеет два недостатка. Я должен начать именно с них, дабы потом утешить вас долгим перечнем ее добродетелей. У нее нет ни отца, ни матери, и никому не известно ни кто они были, ни когда утратила она их; знают единственно лишь, что она приходится кузиной господину де Сен-Пра, человеку известному. Он любит и почитает ее и, несомненно, сможет наиболее беспристрастно представить и ее надостатки, и ее достоинства. От родителей не имеет она ничего, но от

господина де Сен-Пра она получает пенсион в четыре тысячи франков; в его доме она была воспитана, там же прошла ее юность. Вот первый недостаток; перейдем ко второму,— объявил друг господина де Курваля,— любовная связь в шестнадцать лет, рождение ребенка, о судьбе которого ничего не известно; отца ребенка она более никогда не видела. Вот все пороки; теперь речь о достоинствах.

Мадемуазель де Флорвиль тридцать шесть лет, однако выглядит она не более чем на двадцать восемь. Трудно представить себе лицо более приятное и привлекательное: черты его нежны и благородны, у нее белая, словно лилия, кожа, каштановые волосы ее ниспадают до земли. Ее свежий рот изящной формы напоминает весеннюю розу. Она довольно высокого роста, но столь прекрасно сложена, столь грациозна в движениях своих, что о нем забываешь, хотя не будь вышеупомянутых достоинств, внешность ее могла бы показаться несколько грубоватой. Ее руки, шея, ноги прекрасно вылеплены, и красота ее такова, что долго не поддается увяданию. Что же до поведения ее, то излишняя ее строгость может не прийтись вам по вкусу: она не любит общества, живет крайне уединенно, очень набожна, чрезвычайно ревниво относится к обязанностям, выполняемым ею в монастыре, где она проживает. И если тех, кто ее окружает, она поражает своим благочестием, то тех, кто видит ее впервые, чаруют ум ее и мягкий характер... Словом, это настоящий ангел, спустившийся в мир, которого небо предназначило составить счастье вашей старости.

Господин де Курваль, в восторге от предстоящей встречи, просит друга как можно скорее предоставить ему возможность увидеть ту, о ком шла речь.

— Происхождение ее меня ничуть не беспокоит,— говорит он,— жизнь ее чиста, и что мне за дело до тех, кто дал ей ее? Приключение, пережитое ею в шестнадцать лет, также мало волнует меня: она искупила эту ошибку многими годами достойной жизни. Я женюсь на ней, будучи вдовцом. Решив связать судьбу с женщиной тридцати — тридцати пяти лет, неразумно было бы рассчитывать, что та будет девственна. Таким образом, меня все устраивает в вашем предложении, и мне остается лишь поторопить вас представить мне эту особу.

Друг господина де Курваля очень скоро смог удовлетворить его просьбу. Через три дня он пригласил его к себе на обед, где присутствовала и сия девица. С первого же взгляда нельзя было не попасть во власть ее очарования: внешность ее напоминала облик Минервы, преображенной рукой Амура. Так как она знала, о чем пойдет речь, то поведение ее было еще сдержанней, чем обычно, а благопристойность, скромность, изысканные манеры в соединении с многочисленными физическими достоинствами ее внешности, с мягким обхождением, умом справедливым и глубоким в одночасье вскружили голову бедняге Курвалю, бросившемуся умолять друга способствовать скорейшему заключению соглашения.

Они встречались еще два или три раза, то в том же доме, то у господина де Курваля или у господина де Сен-Пра, и наконец мадемуазель де Флорвиль, постоянно поторапливаемая, объявила господину де Курвалю, что ей необычайно лестна та честь, которую он собирается ей оказать, но щепетильность не позволяет ей ничего предпринимать до тех пор, пока она сама не поведает ему обо всех своих приключениях.

— Вам рассказали не все, сударь,— сказала эта очаровательная девица,— и я не могу принять ваше предложение, прежде чем вы не узнаете все доподлинно. Я слишком ценю ваше расположение, чтобы рисковать утратить его однажды, ибо я без сомнения лишусь его, если, воспользовавшись вашим неведением, стану вашей женой, в то же время как знай вы все, вы, быть может, не сочли бы меня достойной того.

Господин де Курваль заверил ее, что ему все известно, но только ему надлежит тревожиться о заботах ее, а если он имел счастье ей понравиться, то тем более ей не о чем волноваться. Мадемуазель де Флорвиль стояла на своем. Она решительно заявила, что не примет предложения, пока господин де Курваль не будет полностью осведомлен обо всем, что относилось к ней. Следовательно, надобно было выполнить это условие. Господину де Курвалю удалось лишь заручиться обещанием мадемуазель де Флорвиль приехать в его

немурское поместье, где все будет готово для предстоящего бракосочетания, столь им желаемого, и после того как он выслушает ее историю, она на следующий день станет его женой...

— Но, сударь,— возразила эта достойная девица,— ведь все приготовления могут оказаться напрасными, зачем же тогда лишние хлопоты?.. А если я смогу убедить вас, что не создана стать вашей женой?..

— Именно этого вы никогда мне не докажете, мадемуазель,— ответил честный Курваль,— бьюсь об заклад, что в этом-то вам не удастся убедить меня; поэтому, умоляю вас, едемте, и не перечьте мне.

Решение Курваля было непоколебимо; все было улажено, и они уехали в поместье Курваля. По требованию мадемуазель де Флорвиль они отправились туда одни. То, что должна была она сообщить, предназначалось лишь тому, кто пожелал навсегда соединить с ней свою жизнь. Поэтому никто из друзей не сопровождал их. На следующий день после прибытия эта красивая и обаятельная особа, попросив господина де Курваля выслушать ее, поведала ему о своих злоключениях в следующих словах.

История мадемуазель де Флорвиль

— Намерения, питаемые вами по отношению ко мне, сударь, требуют, чтобы вы безотлагательно выслушали меня. Вы видели господина де Сен-Пра, родственницей которого меня считают; он сам благоволил подтвердить вам это. Однако относительно моего происхождения вас ввели в заблуждение. Мне ничего не известно о рождении моем, мне не удалось узнать, кому я обязана своим появлением на свет. В возрасте нескольких дней меня нашли в колыбельке из зеленой тафты у порога дома господина де Сен-Пра. К пологу колыбели было привязано письмо без подписи, в нем было следующее:

Вы женаты уже десять лет, а у вас все еще нет детей. Удочерите этого младенца, в ее жилах течет благородная кровь. Это плод брака, освященного церковью, а не богопротивного сожительства: рождение ее законно. Если девочка вам не понравится, отдайте ее в приют. Не пытайтесь разыскивать родителей ее, вас постигнет неудача. Сообщить более не представляется возможным.

Честные люди, к которым меня подбросили, тотчас же приняли меня к себе, воспитали, с превеликим тщанием заботились обо мне, и я могу утверждать, что обязана им всем. Так как в письме имени моего не указали, госпожа де Сен-Пра решила назвать меня Флорвиль.

Едва мне исполнилось пятнадцать, как я имела несчастье пережить смерть своей покровительницы. Горе мое, причиненное этой потерей, не поддается описанию. Она так любила меня, что перед самой смертью обратилась к мужу с просьбой обеспечить мне пенсию в четыре тысячи франков и никогда не оставлять меня своими заботами. Обе просьбы были добросовестно выполнены, а господин де Сен-Пра совершил еще одно благодеяние, признав меня родственницей своей жены, и уже в этом звании выступала я в документе, вам предъявленном. Однако господин де Сен-Пра дал мне понять, что я не могла долее проживать у него в доме.

— Жена моя умерла, я же еще не стар,— сказал мне сей добродетельный человек.— Наше проживание под одной крышей породит множество кривотолков, коих мы вовсе не заслуживаем. Ваше счастье и репутация ваша мне дороги, и я не хочу омрачать ни одно, ни другое. Нам надо расстаться, Флорвиль. Но я никогда не оставлю вас, я даже не хотел бы, чтобы вы покинули мою семью. Сестра моя, проживающая в Нанси,— вдова, я отправляю вас к ней. Ручаюсь за ее доброе к вам расположение как за свое собственное. Находясь у нее в доме, вы по существу все время будете у меня на виду, и я смогу заботиться о дальнейшем вашем воспитании и устройстве.

Я не могла без слез слушать его. Эта новость многократно усугубила горе, испытываемое мной после смерти моей благодетельницы. Однако убежденная в истинности доводов господина де Сен-Пра, я решила последовать его совету и уехала в Лотарингию, сопровождаемая одной особой, местной уроженкой, которой меня поручили и которая передала меня с рук на руки госпоже де

Веркен, сестре господина де Сен-Пра, в чьем доме мне предстояло жить отныне.

У госпожи де Веркен царили иные, нежели у господина де Сен-Пра, нравы: если в доме господина де Сен-Пра в почете были скромность, набожность и благонравие... то ветреность, безудержная жажда наслаждений и вольномыслие нашли себе приют в доме госпожи де Веркен.

С первых же дней госпожа де Веркен уведомила меня, что ей не нравится мой унылый вид. Для девушки, выросшей в Париже, просто неслыханно столь неуклюже вести себя в обществе... до смешного воздержанно, и если я желаю ужиться с ней, мне следует изменить свое поведение.

Подобное начало встревожило меня. Я не пытаюсь выглядеть в ваших глазах лучше, чем я есть на самом деле, сударь, но все, что противно приличиям и религии, никогда не вызывало во мне одобрения. Я всегда выступала противницей того, что оскорбляло добродетель, а порочные затеи, в которые меня вовлекли помимо моей воли, пробудили во мне столь тяжкие угрызения совести, что, признаюсь вам, возвращение в общество меня вовсе не радует. Я не создана для светской жизни, ибо в ней я чувствую себя невежественной дикаркой. Полнейшее уединение более всего созвучно складу моей души и наклонностям ума.

Подобные мысли, однако еще недостаточно окрепшие для тогдашнего моего возраста, не оберегли меня ни от дурных советов госпожи де Веркен, ни от пороков, в объятия которых коварные речи ее неминуемо должны были меня завлечь. Постоянно пребывая в окружении общества, предающегося шумным увеселениям, примеры и наставления, получаемые мной, возымели свое действие. Меня уверяли, что я хороша собой, и я была столь дерзка, что, на свое несчастье, поверила этому.

В то время в Нанси, столице Лотарингии, квартировался Нормандский полк. Дом госпожи де Веркен всегда был открыт для его офицеров. У нее в доме собирались и все молодые женщины города. Там завязывались, разрывались и начинались новые интриги, обсуждаемые затем всеми городскими жителями.

Вероятно, что господину де Сен-Пра неведома была и половина поступков этой женщины: иначе как мог он, будучи самых строгих правил, решиться отправить меня к ней? Подобная мысль сдержала мой порыв пожаловаться ему. Надо ли объяснять дальше? Порочный воздух, коим приходилось мне дышать, начал разъедать мое сердце, и, попав в ловушку, словно Телемак на острове Калипсо, мне было суждено погибнуть без наставлений Ментора [1].

Бесстыдная Веркен, уже давно искавшая способ моего совращения, однажды спросила меня, действительно ли я приехала в Нанси с сердцем, не отягощенным разлукой с оставшимся в Париже любовником.

— Что вы, сударыня,— ответила я ей,— у меня даже в мыслях не было тех пороков, в коих вы меня подозреваете, и господин брат ваш может поручиться за мое поведение.

— Пороки! — перебила меня госпожа де Веркен.— Единственный ваш порок — это то, что в вашем возрасте вы все еще невинны. Но надеюсь, что скоро вы от него избавитесь.

— О! сударыня, разве можно мне выслушивать подобные речи от столь почтенной женщины?

— Почтенной?.. Ах, ни слова больше! Заверяю вас, дорогая, что почтение относится к тем чувствам, которые я менее всего хочу пробудить в других. Я хочу внушать любовь... а отнюдь не почтение! Чувство это пока еще не пристало моему возрасту. Бери с меня пример, дорогая, и ты будешь счастлива... Кстати, ты обратила внимание на Сенваля? — добавила эта Сирена, напомнив мне о молодом офицере семнадцати лет, часто бывавшем у нее в доме.

— Не более, чем на других, сударыня,— ответила я.— И смею вас заверить, что он, как и прочие мужчины, мне глубоко безразличен.

— Но это-то и глупо, маленькая моя дурочка. Я хочу, чтобы отныне мы вместе преумножали победы наши... Надо, чтобы ты соблазнила Сенваля,

[1] Намек на известный роман Франсуа де Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака» (1699). *(Прим. перев.)*

он — мое творение, я взяла на себя труд образовать его. Он любит тебя, надо его заполучить...

— Сударыня! Увольте меня от этого! Клянусь вам, что ни один мужчина не кажется мне достойным внимания.

— Но так надо, я уже обо всем договорилась с его полковником, моим д н е в н ы м любовником, как тебе известно.

— Умоляю, не принуждайте меня, я не нахожу в себе ни малейшей склонности к удовольствиям, столь вами ценимым.

— Пустяки! это пройдет! Когда-нибудь они понравятся тебе, так же как и мне: очень просто не ценить того, чего не знаешь, и уж совсем непозволительно не знать того, что создано для наслаждения нашего. Одним словом, все решено: сегодня вечером, мадемуазель, Сенваль признается вам в любви. Извольте, не заставляйте его томиться слишком долго, иначе я рассержусь на вас... весьма серьезно.

В пять часов собралось общество. Так как было очень жарко, все вышли в сад и, разбившись на группы, разбрелись среди деревьев. Все было подстроено так, что господин де Сенваль и я остались вдвоем, не сумев примкнуть ни к одной из групп.

Нет нужды говорить вам, сударь, что сей любезный и остроумный молодой человек без промедления открыл мне свою страсть, и я также почувствовала необоримое влечение к нему. Когда же затем я стала искать причины возникшей у меня симпатии, то совершенно запуталась. Мне казалось, что склонность эта не является обычным чувством: некая завеса скрывала от меня истинный характер ее. С другой стороны, когда сердце мое устремлялось к нему, словно некая могучая сила удерживала меня. И в этой сумятице... в вихре налетавших и мчащихся прочь чувств я не могла найти ответ, должно ли мне любить Сенваля или надобно порвать с ним навеки.

В распоряжении Сенваля было достаточно времени, чтобы поверить мне свою любовь... Увы! даже слишком много. Я тоже постаралась не выглядеть бесчувственной в его глазах. Он воспользовался моим замешательством, потребовал доказательства чувств моих, я проявила слабость, сказав, что усердие его мне не безразлично, и спустя три дня малодушно дозволила ему насладиться своей победой.

Воистину неисповедима злобная радость порока, торжествующего над добродетелью. Ничто не могло сравниться с восторгами госпожи де Веркен, охватившими ее, как только она узнала, что я попалась в расставленную ею ловушку. Она подшучивала надо мной, веселилась и, наконец, заявила, что я, сделав сей необычайно простой и дальновидный шаг, могу спокойно принимать любовника своего каждую ночь у нее в доме... Слишком озабоченная собственными делами, она не станет обращать внимания на подобные пустяки; тем паче не будет она и любоваться моей добродетелью, ибо ей было совершенно ясно, что я остановлю свой выбор на одном-единственном любовнике. Она же, оказывая услуги одновременно трем любовникам, была невысокого мнения о моей осмотрительности и скромности. Когда я осмелилась сказать, что распутство ее отвратительно и полностью лишено тонкости чувств, что оно низводит пол наш до положения самых гнусных животных, госпожа де Веркен расхохоталась.

— О п р е к р а с н а я д а м а и з р ы ц а р с к и х в р е м е н ,— сказала она мне,— я любуюсь тобой и не сержусь. Я прекрасно знаю, что в твоем возрасте утонченное воздыхательство возводится на пьедестал и ради него приносят в жертву наслаждение. Однако для меня это в прошлом: введенные в заблуждение эфемерными призраками возвышенных чувств, мы постепенно сбрасываем их иго, и утехи сладострастия, значительно более реальные, заступают на место восторженных глупостей.

К чему хранить верность тем, кто никогда не соблюдает ее по отношению к нам? Разве не достаточно нашей слабости, чтобы добавлять к ней еще и нашу глупость? Женщина, стремящаяся внести утонченность в любовные отношения, безмерно глупа... Поверь мне, дорогая, меняй любовников, пока возраст и красота позволяют тебе, забудь порожденное фантазией твоей постоянство, добродетель унылую, нелепую и весьма бесполезную, и никогда не навязывай его другим.

С содроганием слушала я эти рассуждения, но понимала, что более не имею права опровергать их. Сомнительное покровительство этой развратной женщины становилось мне необходимым, и я должна была подлаживаться к ней. В этом и заключается фатальная необратимость порока, ибо стоит нам ступить на стезю его, как нас начинают окружать люди, знакомство с которыми ранее вызвало бы у нас лишь отвращение.

Итак, я примирилась с безнравственностью госпожи де Веркен. Каждую ночь Сенваль предоставлял мне новые доказательства любви своей, и шесть месяцев, проведенных в самозабвенном упоении, не оставили мне времени на размышления.

Но вскоре печальные последствия отрезвили меня: я забеременела и от отчаянного своего положения чуть не лишила себя жизни, что весьма позабавило госпожу же Веркен.

— Нужно всего лишь соблюсти приличия,— сказала она мне,— и именно поэтому тебе нельзя рожать в моем доме. Но мы с полковником Сенваля обо всем позаботились. Он даст молодому человеку отпуск, ты же несколькими днями ранее уедешь в Мец. Сенваль последует за тобой, и там, ободряемая им, ты произведешь на свет сей недозволенный плод ваших ласк; затем вы вернетесь сюда так же, как и уезжали.

Пришлось подчиниться. Я уже сказала вам, сударь, что, имея несчастье совершить ошибку, попадаешь во власть первых встречных, соглашаешься на любые предложения. Кто угодно без стеснения может распоряжаться тобой, ты становишься рабой всех кому не лень, ибо, забывшись и пойдя на поводу своих страстей, ты перестаешь принадлежать к роду человеческому.

Все прошло так, как придумала госпожа де Веркен. Через три дня я встретилась с Сенвалем в Меце, у одной акушерки, чей адрес я заблаговременно узнала в Нанси, и там я произвела на свет мальчика.

Сенваль, беспрестанно выказывая мне самые нежные и глубокие чувства, казалось, еще сильнее полюбил меня, как только я, по его словам, удвоила существо его. Он опекал меня во всем, умолял отдать ему сына, поклялся всю жизнь о нем заботиться и решил вернуться в Нанси только после того, как все его обязанности по отношению ко мне будут выполнены.

В момент расставания накануне отъезда я отважилась признаться, сколь я несчастна, совершив проступок, к которому он меня подтолкнул, и предложила ему исправить его, соединив жизни наши перед алтарем. Сенваль, не ожидавший подобного предложения, опечалился...

— Увы! — ответил он мне,— разве я волен распоряжаться собой? Разве в возрасте своем могу я жениться без согласия отца? Чем станет брак наш, если не будет на него родительского согласия? И к тому же вряд ли я для вас подходящая партия: будучи племянницей госпожи де Веркен (а таковой меня считали в Нанси), вы можете претендовать на лучшую. Поверьте мне, Флорвиль, для нас обоих благоразумнее будет забыть обо всем, что произошло.

Подобные слова были для меня неожиданны, и я с горечью ощутила весь ужас прегрешения моего. Гордость помешала мне ответить, но боль от этого стала еще горше. Если что-либо и оправдывало мое поведение в моих собственных глазах, то это, сознаюсь вам, надежда исправить свой поступок, сочетавшись браком со своим любовником.

Доверчивая душа! Я даже не помышляла — а несмотря на развращенность свою госпожа де Веркен без сомнения обязана была бы остеречь меня,— не могла вообразить, что можно для забавы соблазнить несчастную девушку, а затем бросить ее, и законы чести, столь почитаемые среди мужчин, не будут иметь никакого действия применительно к нам. Я не знала, что слабость наша может узаконить столь жестокое оскорбление, которое, будучи нанесенным мужчиной мужчине, могло быть смыто только кровью. Таким образом, меня одурачил и принес в жертву тот, за кого я тысячу раз отдала бы жизнь свою.

Подобная перемена со стороны Сенваля едва не свела меня в могилу. Хотя он не покидал меня и по-прежнему окружал заботами, но о моем предложении более не заговаривал, я же была слишком горда, чтобы еще раз напомнить ему об отчаянном своем положении. Он уехал, как только я встала на ноги.

Решив никогда более не возвращаться в Нанси, уверенная, что видела

своего возлюбленного в последний раз, в час отъезда почувствовала я, как душа моя снова истекает кровью. Однако я нашла в себе силы преодолеть отчаяние... Жестокий! Он уехал, растоптал сердце мое, погрузив его в пучину слез, а сам не проронил при этом ни слезинки!

Вот к чему приводят нас любовные клятвы, которым мы имеем глупость поверить! Чем чувствительнее души наши, тем небрежней с нами наши соблазнители... Коварные!.. Чем сильнее стараемся мы удержать их, тем скорее стремятся они расстаться с нами.

Сенваль взял сына и отвез его в неведомую мне деревню... Он отнял у меня отраду самой пестовать и лелеять нежный цветок, расцветший в результате связи нашей. Казалось, он хотел заставить меня забыть все, что могло еще привязывать нас друг к другу. И я забыла или, вернее, думала, что забыла.

Я приняла решение незамедлительно покинуть Мец и более не возвращаться в Нанси. Однако мне не хотелось ссориться с госпожой де Веркен. Она была родственницей моего благодетеля, и этого было достаточно, чтобы я на всю жизнь сохранила к ней почтение. Я написала ей и в изысканных выражениях честно призналась, что не могу вернуться из-за стыда, мучающего меня за содеянное, и просила разрешения отправиться в Париж к ее брату. Она тотчас же ответила мне, что я вольна делать все что захочу, и расположение ее ко мне останется неизменным. Она добавляла, что Сенваль еще не вернулся, и никто не знает, где он, но, с моей стороны, глупо огорчаться по таким пустякам.

Получив это письмо, я уехала в Париж, где тотчас же отправилась к господину де Сен-Пра, дабы припасть к его ногам. Слезы, тихо струившиеся по моим щекам, быстро открыли ему причину моего несчастья. Но я была осторожна, обвиняла только себя и не выдала роли сестры его в истории моего падения. Господин де Сен-Пра, как это свойственно простодушным праведникам, нимало не подозревал о распутстве своей родственницы и считал ее честнейшей женщиной. Я не развеяла его заблуждения, и поведение мое, ставшее известным госпоже де Веркен, сохранило мне ее дружбу.

Господин де Сен-Пра попенял мне... укорил, дабы почувствовала я прегрешения свои, а затем простил.

— Ах, дитя мое! — сокрушаясь, мягко сказал этот честнейший человек, столь далекий от ненавистного упоения преступлением,— о дорогая дочь моя! Ты видишь, во что обходится свернуть со стези добродетели... Путь наш пролегает по этой стезе, ибо добродетель есть неотъемлемое свойство наше, и нет для нас большего несчастья, как утратить ее.

Сравни, сколь спокойна была ты в невинности своей, покидая меня, и в каком мучительном волнении вернулась обратно. Разве мимолетные утехи, кои успела ты вкусить при своем падении, облегчают страдания, терзающие теперь душу твою? Так знай же, что счастье лишь в добродетели, дитя мое, и каковы бы ни были намерения осквернителей ее, им никогда не удастся вкусить ни одной из ее радостей.

Ах, Флорвиль! Поверь мне, те, кто отрицает кроткие эти радости, кто выступает против них, делают это из ревности, из варварского удовольствия сделать и других столь же преступными и несчастными, каковыми являются они сами. Ослепляя себя, они хотят сделать слепыми всех вокруг. Они ошибаются и хотят, чтобы все вокруг также ошибались. Но если бы мы смогли заглянуть к ним в душу, то увидели бы там лишь муки и раскаяние.

Все эти проповедники преступления — не более чем жалкие заблудшие. Среди них нет ни одного, кто был бы искренен, ни одного, кто смог бы честно признать, что смрадными речами его, злокозненными его писаниями руководят лишь его собственные страсти.

Да и кто смог бы хладнокровно заявить, что подрыв устоев морали может остаться безнаказанным? Кто осмелится сказать, что стремление к добру, воздаяние добром не являются истинным предназначением человека? И как тот, кто творит лишь зло, рассчитывает обрести счастье в обществе, главным предназначением которого является беспрестанное умножение благ для всех его членов?

И разве сам он, этот поборник порока, не будет ежеминутно содрогаться, когда удастся ему повсеместно искоренить в душах то единственное, что

надлежало непреложно сохранять? Кто защитит его, когда его собственные слуги, утратив добродетель, станут разорять его? Что воспрепятствует жене обесчестить его, если он сам убеждал ее, что добродетель ни на что не годится? Кто удержит руку детей его, если он сам задушил ростки добра в их душах? Кто будет уважать его свободу, его собственность, если он сам внушал правителям: Безнаказанность сопутствует вам, добродетель же призрачна. Каково же положение того несчастного, будь он супругом или отцом, богатым или бедным, господином или слугой, когда со всех сторон ему угрожают опасности, со всех сторон в грудь его нацелены кинжалы? Но если он сам осмелился отнять у человека те обязательства, что превозмогают его порочность, то не сомневайтесь: нечестивец сей рано или поздно падет жертвой своих ужасных умозаключений [1].

Если угодно, оставим пока религию, обратимся лишь к человеку: кто окажется столь глуп и поверит, что, поправ общественные устои, общество, им оскорбленное, не станет преследовать его? Разве не с помощью законов, создаваемых человеком для своей безопасности, стремимся мы устранить то, что нам препятствует или же наносит вред? Возможно, людская доверчивость и богатство обеспечат злодею видимость процветания. Но сколь недолгим будет его царство! Узнанный, разоблаченный, всеми ненавидимый и презираемый, сможет ли он тогда найти себе приверженцев или сторонников, дабы они утешили его? Никто не захочет знаться с ним. Не имея более ничего, что бы он мог предложить, он будет брошен всеми как обуза. Изнемогая под бременем позора и напастей, не имея более возможности найти прибежище в душе своей, он скоро угаснет з унынии.

Так каковы же безрассудные доводы противников наших? И почему бесплодно их старание унизить добродетель? Судите сами! Они осмеливаются объявлять добродетели призрачными, потому что не все ими обладают, и на этом основании отказывают в реальности всем добродетельным чувствам. Они полагают добродетель несуществующей, ибо различия в климате, в темпераменте побудили к созданию разнообразных преград для обуздания страсти. Одним словом, они считают, что добродетель не существует, потому что она проявляется в тысяче форм. С таким же успехом можно сомневаться в существовании реки, ибо она распадается на множество водяных струй!

О! Что может лучше доказать и бытие добродетели, и насущность ее, как не потребность человека сделать ее основой для всех обычаев своих? Пусть назовут мне хотя бы один народ, кто жил бы без добродетели, один-единственный, кто добро и человеколюбие не почитал бы за основы общественного устройства...

Я пойду дальше: если мне укажут шайку самых отпетых негодяев, не объединенную каким-либо добродетельным принципом, то я откажусь от предмета защиты моей. Но если, напротив, необходимость добродетели проявляется всюду, если нет ни одной нации, ни одного государства, ни одного сообщества, ни одного индивида, кто мог бы без нее обойтись, если без нее человек не может ни быть счастливым, ни чувствовать себя в безопасности, то разве ошибусь я, дитя мое, побуждая тебя никогда не уклоняться со стези ее?

— Видишь, Флорвиль,— продолжил благодетель, заключая меня в объятия,— видишь, куда завлекли тебя первые твои заблуждения. И если порок все еще влечет тебя, если соблазн или слабость твоя расставляют тебе новые ловушки, вспомни о страданиях, причиненных первым твоим прегрешением, подумай о том, кто любит тебя как родную дочь... кому проступки твои разрывают сердце, и в этих размышлениях ты обретешь силу, необходимую для следования по пути добродетели, на который я хочу вернуть тебя отныне и навсегда.

Господин де Сен-Пра, верный своим принципам, не предложил мне остаться у него в доме, но посоветовал отправиться к одной из его родственниц,

---

[1] О друг мой, никогда не пытайся развратить того, кого ты любишь, ибо последствия будут непредсказуемы, сказала однажды одна чувствительная женщина другу, пытавшемуся соблазнить ее. Чудная женщина, спустя малое время ты спасла жизнь этому человеку. Речи твои столь трогательно живописуют душу твою, что мне хотелось бы запечатлеть их дословно в храме Памяти, где добродетель твоя уготовила тебе уголок.

женщине, столь же известной своим благочестием, как госпожа де Веркен своим распутством. Это предложение было мне весьма по вкусу. Госпожа де Леренс приняла меня необычайно любезно, и с первой же недели возвращения моего в Парíж я стала жить у нее в доме.

Сударь, какая разница между этой достойной женщиной и той, которую я покинула! Если в жилище одной царили порок и вседозволенность, то душа другой поистине являлась вместилищем всяческих добродетелей. Сколь ужасала меня испорченность первой, столь утешали меня твердые принципы второй. Лишь горечь и раскаяние чувствовала я, слушая госпожу де Веркен, лишь доброта и утешение звучали в речах госпожи де Леренс...

Ах, сударь! позвольте мне описать внешность этой чудесной женщины, кою любить я буду всю свою жизнь. Это лишь малый знак уважения за все то, чем душа моя обязана добродетели ее, и я не могу не воздать ей должного.

Госпожа де Леренс в свои неполные сорок лет была еще необычайно свежа. Скромность и целомудрие более красили внешность ее, нежели удивительно пропорциональное сложение, редко даруемое природой. Возможно, некоторый избыток чопорности и величавости создавал, как поначалу утверждали многие, впечатление надменности, но стоило ей произнести лишь слово, как оно тут же рассеивалось. Душа ее была столь прекрасна и чиста, обхождение столь совершенно, искренность столь безгранична, что незаметно для себя почтение, внушаемое ею с первого взгляда, переходило в самую нежную привязанность.

Ничего нарочитого, ничего показного не было в благочестии госпожи де Леренс. Принципы веры ее основаны были лишь на крайней чувствительности души. Мысль о существовании Бога, служение Верховному Существу были живейшей отрадой ее любящего сердца. Она открыто заявляла, что стала бы несчастнейшим созданием, если бы однажды под воздействием обманчивой просвещенности разум ее изгнал бы из сердца уважение и любовь, питаемые ей к предмету своего служения.

Приверженная неизмеримо более к высоким нравственным ценностям религии, нежели к ее обрядам и церемониям, она почитала нравственность сию за правило во всех своих действиях.

Никогда клевета не оскверняла губ ее, никогда не позволяла она себе ни малейшей шутки, способной кого-либо оскорбить. Нежная и внимательная к ближним, сочувствующая даже закоренелым грешникам, она всемерно старалась смягчить либо исправить их. Если кто-то был несчастен, то ничто не было ей так дорого, как возможность облегчить страдания его. Она не ожидала, когда страждущие придут к ней молить о помощи, она сама искала их... находила, и надо было видеть радость, озарявшую лицо ее, когда ей удавалось утешить вдову или сироту, вернуть благополучие бедствующему семейству или снять оковы с невинного узника.

И вместе с тем никакой мрачности, никакой суровости: она с удовольствием участвовала в невинных забавах и более всего опасалась, как бы друзья не скучали с ней. Мудрая... просвещенная в беседе с ревнителем морали... поражающая глубиной познаний в богословском споре, она вдохновляла романиста и дарила улыбку поэту, вызывала восхищение у законодателя и политика и с радостью играла с детьми.

Трудно сказать, какая из граней ума ее сверкала ярче, когда она решала уделить делу особую заботу... когда чарующее внимание ее, щедро расточаемое окружающим, сосредоточено было на определенном предмете. Живя уединенно по собственной склонности, заботясь о друзьях ради них самих, госпожа де Леренс, являя образец как для своего, так и для противоположного пола, щедро одаривала всех, кто окружал ее, радостью тихого счастья... небесным наслаждением, уготованным всякому честному человеку святым Господом, чьим подобием она сама являлась.

Я не буду, сударь, утомлять вас подробностями однообразного существования своего в течение тех семнадцати лет, которые я имела счастье прожить подле обожаемого мною существа. В высоконравственных и благочестивых беседах, в разнообразных милосердных деяниях проводили мы дни и в этом почитали обязанности наши.

— Люди сторонятся религии, милая моя Флорвиль,— говорила госпожа де Леренс,— потому, что нерадивые пастыри указывают им на цепи ее, забывая о милосердных ее отрадах. Окидывая взором многоликий мир наш, разве разумный человек осмелится отрицать в нем творение всемогущего Господа? Уже этой истины достаточно... неужели сердцу его надобны иные доказательства?.. И кем же должен быть тот жестокосердный невежа, кто отказался бы воздать хвалу всеблагому Господу, его создавшему?

Разнообразные формы поклонения божеству ошеломляют нас, и мы начинаем усматривать во множестве их фальшь — как же неверен этот вывод! Разве не в этом единодушное стремление различных народов служить Господу, разве не в этом молчаливое признание, запечатленное в сердце каждого, что высшее проявление природы и есть неоспоримое доказательство существования верховного Божества? Как можно усомниться в этом!

Человек не может жить в неприятии Бога, ибо, задаваясь вопросом о Его существовании, он непременно отыщет в душе своей верные тому доказательства, равно как и вокруг себя, ибо Господь пребывает вокруг нас повсюду.

Нет, Флорвиль, нет, нельзя по собственной воле не верить в Бога. Гордыня, упрямство, страсти — вот оружие божка, вечно искушающего душу и разум человеческий. Но когда с каждым биением сердца, с каждым проблеском разума познаю я истинное Верховное Существо — неужели же я не воздам Ему хвалу? Неужели откажу Ему в том, что Он по доброте своей вовсе и не требует от слабого существа моего? Неужели не склонюсь перед величием Его и не стану молить Его ниспослать мне испытания во дни жизни, дабы, окончив их, смогла я пребывать во славе Его? Неужели лишусь милости провести вечность подле Него и буду терзаться в ужасной бездне лишь из-за того, что отказалась поверить неоспоримым доказательствам существования Его, доказательствам, которые Он великодушно дал мне! Дитя мое, неужели выбор сей еще может вызвать раздумья?

О вы, упрямцы, противящиеся свету истины, проливаемому Господом в души ваши, хоть на миг дайте дорогу благостному этому лучу! Пожалейте себя и вслушайтесь в неоспоримый довод Паскаля: «Если Бога нет, то что вам до веры в Него, какое зло может она вам причинить? А если Он существует, скольких бед вы избегнете, поверив в Него!» [1]

Упорствующие, вы утверждаете, что не знаете, какие почести следует воздавать Богу, множественность религий раздражает вас. Хорошо же! изучите их все, я согласна, а затем скажите честно, в которой из них нашли вы больше возвышенности и величия.

Христиане, неужели вы посмеете утверждать, что вера, в лоне которой вы имели счастье родиться, кажется вам не самой возвышенной, не самой священной среди прочих? Попробуйте найти более величественные таинства, более чистые догматы и более утешительную мораль. Попытайтесь найти в другой религии неизбывную жертву Творца ради творения своего. Где еще столь прекрасны упования, столь маняще грядущее, столь величественно и возвышающе Божество!

Нет, мимолетный философ, ты не можешь опровергнуть этого; раб, погрязший в услаждениях плоти и вспоминающий о вере лишь тогда, когда плоть становится немощной, нечестивый в пылу страстей, легковерный, когда они угаснут, нет, говорю тебе, нет, ты не можешь опровергнуть величие веры нашей. Ты непрестанно чувствуешь присутствие Божества, кое разум твой пытается отринуть, Оно же постоянно пребывает с тобой даже в заблуждениях твоих. Разбей цепь, приковавшую тебя к преступлению, и никогда святой и праведный Господь не покинет храм, воздвигнутый им в душе твоей.

О милая моя Флорвиль, в душе нашей более, нежели в разуме, должно искать потребность в Боге, направляющем и испытывающем нас. Именно душа побуждает нас к служению Ему, и она единственная убедит тебя, любезный друг, что самой чистой и самой благородной религией является та, в лоне которой мы рождены. Так будем же радостно и примерно блюсти ее обычаи, дарующие нам утешение. И да посвятим самые счастливые часы наши служе-

---

[1] Парафраз из сочинения Блеза Паскаля (1623—1662) «Мысли». *(Прим. перев.)*

нию ей. И, незаметно ведомые милосердной дланью по дороге любви и сострадания, до последнего дня жизни нашей принесем мы к подножью престола Предвечного нашу душу, сотворенную Им ради постижения Его, дабы мы, просветленные, верили в Него и поклонялись Ему.

Так говорила мне госпожа де Леренс, так разум мой укреплялся от ее советов, и душа моя очищалась под ее возвышающим влиянием. Но я уже сказала, что не буду пространно рассказывать о жизни своей в ее доме, чтобы не отвлекать внимание ваше от основных событий. Вам, человеку великодушному и чувствительному, должна поведать я о прегрешениях моих, ибо Небу, по воле которого я мирно следовала путем добродетели, угодно было подвергнуть меня испытанию.

Я не прекращала переписку с госпожой де Веркен. Регулярно, два раза в месяц, я получала от нее известия, и хотя мне следовало бы отказаться поддерживать наши отношения, а перемены в моей жизни и высоконравственные принципы некоторым образом даже вынуждали меня прервать их, долг мой перед господином де Сен-Пра и, признаюсь, более того — некое тайное чувство — неумолимо влекли меня к местам, некогда столь мне дорогим. Надежда получить сведения о сыне также побуждала меня не порывать с госпожой де Веркен, которая, в свою очередь, оказывала мне честь своими постоянными письмами.

Я пыталась обратить госпожу де Веркен в свою веру, расписывала радости своей новой жизни, но она считала их эфемерными и вышучивала доводы мои или же приводила противные. Постоянная в убеждениях своих, она заверяла меня, что ничто не сможет ее переубедить. Она писала мне о неофитах, ради забавы обращенных ею в свою веру, их послушание она оценивала гораздо выше моего. По словам этой развращенной женщины, их беспрестанные грехопадения были ее маленькими победами и доставляли ей радость и удовольствие, ибо вступившие на стезю порока юные создания тешили ее, совершая все то, что подсказывало ей ее воображение, в то время как она сама уже была не способна на подобное.

Я часто просила госпожу де Леренс помочь мне красноречием своим опровергнуть моего противника; та с радостью соглашалась. Госпожа де Веркен отвечала нам, и умозаключения ее, нередко весьма резонные, побуждали нас прибегать к иным аргументам, подсказанным душою чувствительной, которая, как справедливо полагала госпожа де Леренс, неминуемо должна была одолеть порок и посрамить неверие. Время от времени я справлялась у госпожи де Веркен о том, кого я все еще любила, но та не могла или не хотела ничего сообщить о нем.

И наконец, сударь, перейдем ко второму злосчастному событию моей жизни, к кровавому происшествию, воспоминания о котором каждый раз терзают мне сердце. Вы же, узнав об ужасном преступлении, виновницей коего я являюсь, несомненно откажетесь от своих более чем лестных планов в отношении меня.

Дом госпожи де Леренс, весьма разумно обустроенный, открыт был для нескольких друзей. Нас часто навещала госпожа де Дюльфор, женщина в возрасте, бывшая ранее в свите принцессы Пьемонтской. Однажды она попросила у госпожи де Леренс разрешения представить ей молодого человека, имеющего блестящие рекомендации. Она желала бы ввести его в дом, где добродетельные примеры способствовали бы формированию души его. Моя покровительница извинилась, но отказалась, ибо она никогда не принимала у себя молодых людей. Затем, поддавшись настойчивым уговорам подруги, она согласилась сделать исключение для кавалера де Сент-Анжа. И он появился.

Предчувствие ли... или нечто иное, что вам будет угодно, сударь, охватило меня при виде этого молодого человека, я вся задрожала, не понимая отчего... едва не потеряла сознание... Не найдя причин для сего странного состояния, я приписала его внутреннему недомоганию, и Сент-Анж перестал тревожить меня.

Но если молодой человек с первого же взгляда произвел на меня столь волнующее впечатление, то подобное воздействие оказала на него и я... Я узнала об этом из его собственных уст. Сент-Анж был исполнен такого почтения

к дому, раскрывшему ему свои двери, что ни на минуту не забывался и не давал вырваться наружу охватившему его пламени. В течение трех месяцев он так и не осмелился заговорить со мной. Но глаза его изъяснялись столь выразительно, что невозможно было ошибиться в его чувствах.

Твердо решив не совершать более ошибок, подобных той, что стала несчастьем дней моих, вдохновляемая достойным примером, я раз двадцать была готова предупредить госпожу де Леренс о тех чувствах, что пробудились в молодом человеке. Однако, опасаясь причинить ему неприятности, я все же решила смолчать. Пагубное решение, ибо, несомненно, именно оно стало причиной ужасного несчастья, о котором я вам сейчас поведаю.

У нас было заведено шесть месяцев в году проводить в хорошеньком загородном домике госпожи де Леренс, расположенном в двух лье от Парижа. Господин де Сен-Пра часто навещал нас там. На мое несчастье в этом году подагра удержала его в городе. Я говорю «на мое несчастье», сударь, потому что, питая больше доверия к нему, нежели к его родственнице, я смогла бы рассказать ему о том, о чем не осмелилась бы поведать никому иному, и его совет смог бы предотвратить грядущее несчастье.

Сент-Анж испросил разрешения у госпожи де Леренс приехать к нам в деревню, и так как госпожа де Дюльфор также просила об этой милости, то разрешение было дано.

Все общество наше весьма стремилось узнать, кто был этот молодой человек. Но ни у кого не было ясных представлений о том, откуда он появился. Госпожа де Дюльфор представила его как сына одного провинциального дворянина, ее земляка. Сам же он, иногда забывая о словах госпожи де Дюльфор, выдавал себя за пьемонтца, что ему и удавалось благодаря своеобразной манере говорить по-итальянски. Он не состоял на службе. Однако возраст его был таков, когда надобно чем-нибудь заниматься, но мы не видели в нем склонности к какому-либо занятию. Впрочем, необычайно красивое лицо, достойное кисти живописца, скромное поведение, учтивые речи — все это свидетельствовало о прекрасном воспитании. Вместе с тем излишняя стремительность и запальчивость характера временами пугали нас.

Как только Сент-Анж приехал в деревню, чувства его, долгое время им подавляемые, вспыхнули еще сильнее, и ему стало невозможно далее скрывать их от меня. Я содрогнулась... но затем смогла настолько овладеть собой, что выразила ему свое сожаление.

— Поистине, сударь,— сказала я ему,— вы, верно, совсем потеряли голову, если забылись настолько, что попусту теряете время свое, ухаживая за женщиной в два раза вас старше. Но предположив даже, что я была бы достаточно безрассудна, чтобы выслушивать вас, то какие, вызывающие лишь смех намерения осмелились бы возыметь вы по отношению ко мне?

— Намерения привязать вас к себе самыми священными узами, мадемуазель. Как же мало у вас уважения ко мне, если вы могли предположить нечто иное!

— Сударь, разумеется, я не доставлю никому удовольствия увидеть странный сей спектакль, в котором тридцатичетырехлетняя девица выходит замуж за семнадцатилетнего ребенка.

— Ах! Жестокая, разве заметили бы вы эту ничтожную разницу в возрасте, если бы в сердце вашем горела хотя бы одна из тысячи искр того пламени, что сжигает мое сердце?

— Вы правы, сударь, именно поэтому я спокойна... Вот уже много лет, как подобные признания меня не волнуют и, надеюсь, не будут волновать и впредь, пока Богу будет угодно продлевать жизнь мою на этой земле.

— Вы отнимаете у меня даже надежду когда-нибудь смягчить ваше сердце!

— И даже более, отныне я запрещаю вам вести со мной подобные речи.

— Увы, прекрасная Флорвиль, вы хотите, чтобы я всю жизнь был несчастлив!

— Напротив, я желаю вам счастья и покоя.

— Но без вас это невозможно.

— Да... пока вы не избавитесь от ваших вызывающих смех чувств, кои вы

должны были бы уничтожить еще в зародыше. Постарайтесь справиться с ними, обуздайте их, и к вам вернется покой.

— Я не властен над моей любовью.

— Тогда нам необходимо расстаться, дабы вы имели время побороть свои чувства. Вы уедете на два года, за время разлуки пыл ваш угаснет, вы забудете меня и будете счастливы.

— Ах, никогда! никогда! Счастье для меня возможно лишь у ног ваших...

И так как в это время к нам приблизились остальные гости, наш первый разговор был прерван.

Через три дня Сент-Анж, изыскав способ застать меня одну, захотел вернуться к нашей предыдущей беседе. На этот раз я оборвала его столь сурово, что слезы потоком хлынули из глаз его. Он резко удалился, сказав, что я повергла его в отчаяние и что он лишит себя жизни, если я и дальше буду так с ним обходиться... Затем он вернулся и в ярости произнес:

— Мадемуазель, вы не знаете, что творится в душе того, кого вы оскорбляете... нет, не знаете... Да будет вам известно, что я пойду на любую крайность... на то, о чем вы даже не помышляете... Да, я готов тысячу раз повторить вам, что ни за что на свете я не откажусь от счастья обладать вами.

И он удалился в страшном возбуждении.

Как никогда хотелось мне поговорить с госпожой де Леренс, но, повторяю вам, боязнь повредить молодому человеку удерживала меня, и я промолчала.

Целую неделю Сент-Анж избегал меня. Он едва разговаривал со мной, старался не встречаться за столом... в гостиной... на прогулках, и все это, очевидно, для того, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на меня подобная перемена. Если бы я разделяла его чувства, то выбранное им средство было бы верным, но я была столь далека от этого, что едва заметила его маневр.

Наконец он настиг меня в глубине сада.

— Мадемуазель,— обратился он ко мне в состоянии крайнего возбуждения,— наконец-то я успокоился, ваши советы произвели должное действие... Видите, я опять спокоен... Я искал вас лишь затем, чтобы попрощаться с вами... Да, я навсегда покидаю вас, мадемуазель... бегу от вас... Вы больше не увидите того, кто так вам ненавистен.... О! нет, нет, вы больше никогда его не увидите.

— Я одобряю ваши намерения, сударь, и хочу верить, что вы снова рассуждаете разумно. Но,— добавила я с улыбкой,— ваше обращение пока не кажется мне искренним.

— Как же мне убедить вас, мадемуазель, что отныне я к вам равнодушен?

— Говорите со мной спокойно, это будет лучшим доказательством.

— Но по крайней мере, когда я уеду... не буду более докучать вам, может быть, тогда вы поверите, что я внял тем доводам, которые вы приводили мне с таким усердием?

— Действительно, только такой шаг заставит меня верить в вашу искренность, и я по-прежнему советую вам сделать его.

— Ах! Значит, вы ненавидите меня?

— Сударь, вы очень любезны, однако оставьте в покое женщину, которой не подобает вас выслушивать, и отправляйтесь на завоевание иных сердец.

— Но все-таки вы меня выслушаете,— яростно воскликнул он.— Жестокая, во что бы то ни стало услышите вы вопль моей объятой пламенем души. Клянусь, в мире нет ничего, чего бы я ни сделал... чтобы заслужить вас или чтобы овладеть вами...

Так не надейтесь же,— в буйном порыве снова воскликнул он,— что я действительно уеду, я придумал этот отъезд, чтобы испытать вас... Мне — покинуть вас... расстаться с вами, когда я в любую минуту могу вами овладеть!.. Да лучше я умру тысячу раз... Коварная, пусть вы ненавидите меня, пусть я вам отвратителен — таков уж несчастный жребий мой, но не надейтесь, что вам удастся победить любовь, сжигающую меня...

Сент-Анж произнес эти слова в таком состоянии, что, наверное, велением самого рока я не смогла сдержать слез: так удалось ему взволновать меня. Я убежала, дабы не слышал он рыданий моих. Сент-Анж не последовал за мной. Я слышала, как он, словно обезумев, бросился на землю и забился в горестных конвульсиях... Сознаюсь вам, сударь, что я сама, хотя и была

совершенно уверена, что не испытываю никаких нежных чувств к этому молодому человеку, но лишь сострадание и снисхождение, я сама впала в отчаяние.

— Увы! — горько вздыхала я.— Такими же были речи Сенваля!.. Такими же словами говорил и он мне о своих пылких чувствах... тоже в саду... таком же, как этот... Разве не он обещал мне любить меня вечно... и разве не он жестоко обманул меня!.. Праведное небо! Он был столь же молод... Ах, Сенваль, Сенваль! неужели ты снова хочешь лишить меня покоя? Не ты ли явился ко мне в образе этого соблазнителя, чтобы второй раз ввергнуть меня в бездну?.. Скройся же, трус... исчезни!.. даже воспоминание о тебе мне ненавистно!

Я вытерла слезы и, запершись в своей комнате, просидела там до ужина. К ужину я спустилась... Но Сент-Анж не появился, было сказано, что он болен, а на следующий день он столь искусно разыграл передо мной полнейшее спокойствие... что я поверила ему. Я ошиблась и действительно поверила, что он преодолел себя и подавил страсть свою. Но я ошиблась. Коварный!.. Увы, что я говорю, сударь, не мне теперь упрекать его... Я вправе лишь оплакивать его и молиться.

Сент-Анж хранил спокойствие потому, что приступил к осуществлению своего замысла. Так прошло два дня, и к вечеру третьего он объявил о своем отъезде. Вместе со своей покровительницей госпожой де Дюльфор он оставил распоряжения относительно их общих дел в Париже.

Все легли спать... Простите меня, сударь, то смятение, что всякий раз охватывает меня, когда мне приходится воскрешать в памяти эту душераздирающую трагедию. Воспоминания о ней заставляют меня содрогаться от ужаса.

Так как стояла сильная жара, я легла в постель почти обнаженной. Горничная моя вышла, я погасила свечу... К несчастью, на кровати остался лежать открытым мой рабочий мешочек для рукоделия, ибо я только что закончила выкраивать покров, надобный мне на следующий день. Едва начала я засыпать, как послышался шум... Я живо приподнялась на ложе моем... и почувствовала, как некая рука схватила меня...

— Ты больше не убежишь от меня, Флорвиль! — прошептал мне Сент-Анж (а это был именно он).— Прости мне излишне пылкую страсть мою, но не пытайся вырваться от меня... ты должна стать моей.

— Гнусный развратник! — воскликнула я.— Немедленно уходи, иначе берегись моего гнева...

— Я боюсь только одного: что не сумею овладеть тобой, жестокая девица! — ответил этот пылкий молодой человек, устремляясь на меня с таким невообразимым неистовством и проворством, что я тут же стала жертвой его насилия...

Разгневанная подобной дерзостью, готовая на все, лишь бы избежать горестных последствий этой истории, я, высвободившись из его объятий, хватаю брошенные на кровати ножницы. В ярости, однако же не потеряв самообладания, ищу я руку его, чтобы поразить ее и тем самым устрашить его своей решимостью, а также наказать по заслугам... В ответ на мои попытки высвободиться он удваивает яростную атаку свою.

— Беги, предатель! — кричу я, думая, что ударила его в руку,— немедленно беги и стыдись преступления своего...

Ах, сударь! Десница рока наносила удары мои... Злосчастный молодой человек испускает вопль и падает на пол... Быстро засветив свечу, я подхожу к нему... Праведное небо! я поразила его в сердце!.. Он умирает!.. Я бросаюсь на окровавленный труп... лихорадочно прижимаю его к груди... припав губами к устам его, пытаюсь вдохнуть в них отлетевшую душу, омываю слезами рану его...

— О несчастный! единственным преступлением твоим была слишком пылкая любовь ко мне,— восклицаю я в отчаянии,— так разве заслужил ты столь страшное наказание? Почему суждено тебе лишиться жизни от руки той, кому ты сам бы с радостью ее отдал? О бедный юноша!.. живое подобие того, кого я когда-то так любила... Если бы моя любовь могла воскресить тебя, знай

же, что в жестокий сей час, когда — увы! — ты уже не слышишь меня... знай же, если душа твоя все еще трепещет в теле, что ценой собственной жизни готова я воскресить тебя... знай, что никогда не была я равнодушна к тебе... никогда не могла смотреть на тебя без волнения, и чувства, питаемые мною к тебе, были, быть может, выше той непрочной любви, что пылала в твоем сердце.

С этими словами я упала без чувств на тело несчастного молодого человека. На шум пришла горничная. Она утешает меня, присоединяет свои усилия к моим, пытаясь вернуть Сент-Анжа к жизни... Увы! все напрасно. Мы покидаем роковую комнату, тщательно запираем дверь, забираем с собой ключ и мчимся в Париж к господину де Сен-Пра... Я приказываю разбудить его, передаю ему ключ от гибельной той комнаты и рассказываю ему о моем страшном приключении. Он жалеет меня, утешает, и хотя он еще не оправился от болезни, он тотчас же едет к госпоже де Леренс. Так как наша деревня находилась недалеко от Парижа, то для поездок этих ночи было достаточно.

Мой покровитель прибыл к родственнице своей ранним утром, когда все в доме еще только пробуждались и никто ничего не прознал. Никогда еще ни друзья, ни родственники не вели себя столь достойно в подобных обстоятельствах, как стали действовать эти великодушные люди, не желавшие следовать примеру глупцов либо самодуров, которые в соответствующих случаях не находят иного удовольствия, как предать все огласке... Они же не запятнали и не сделали несчастными ни себя, ни тех, кто их окружал, и не допустили, чтобы слуги о чем-либо пронюхали.

Судите сами, сударь,— прервала свой рассказ мадемуазель де Флорвиль, ибо слезы душили ее,— разве можете вы жениться на девушке, способной совершить такое убийство? Сможете заключить в объятия ту, кого следует покарать по всей строгости закона? Несчастную, постоянно мучимую раскаянием за свершенное преступление, ту, которая с той ужасной ночи еще ни разу не спала спокойно? Да, сударь, каждую ночь несчастная жертва, пораженная мною прямо в сердце, предстает предо мною, обливаясь кровью.

— Успокойтесь, мадемуазель, успокойтесь, заклинаю вас,— говорит господин де Курваль, присоединяя слезы свои к рыданиям сей очаровательной особы,— природа наделила вас душой чувствительной, и я понимаю ваши терзания. Но в роковом приключении вашем нет никакого преступления. Оно воистину ужасно, но не преступно; нет злого умысла, нет жестокости, единственным желанием вашим было избежать гнусного покушения... Убийство, таким образом, совершено случайно, вы лишь защищали себя... Успокойтесь, мадемуазель, успокойтесь же, наконец, я требую. Самый строгий трибунал только вытрет ваши слезы. О, как ошиблись вы, опасаясь, что подобное происшествие погубит в моем сердце все те ростки, что взращены достоинствами вашими. Нет, нет, прекрасная Флорвиль, этот случай не может обесчестить вас в моих глазах, напротив, он свидетельствует о добродетелях ваших, достойных обрести опору в том, кто смог бы вас утешить и заставить позабыть ваши горести.

— То, что вы по доброте своей говорите мне,— ответила мадемуазель де Флорвиль,— сказал мне также и господин де Сен-Пра. Но безмерная доброта ваша не может заглушить укоров совести: угрызения ее всегда будут мучить меня. Однако я продолжу, сударь, вам, наверное, интересно узнать развязку этой истории.

Госпожа де Дюльфор была в отчаянии. Этот молодой человек, обладавший столькими достоинствами, был ей настоятельно рекомендован, и она не могла не оплакивать его потерю. Но она понимала необходимость сохранить все в тайне, понимала, что разразившийся скандал, погубив меня, все равно не вернул бы к жизни ее подопечного, и она хранила молчание.

Госпожа де Леренс, несмотря на суровость своих принципов и строгость нравов, поступила по отношению ко мне еще достойнее, доказав тем самым, что благоразумие и человечность являются отличительными качествами истинно благочестивого характера. Сначала она сообщила всем в доме, что мне взбрело в голову воспользоваться ночной прохладой и уехать в Париж. Она была уведомлена о моей сумасбродной выходке, которая отчасти совпадала с ее собственными планами, ибо она сама собиралась туда отправиться на

ужин сегодня вечером. Под этим предлогом она отослала из дома всех слуг. Оставшись лишь с господином де Сен-Пра и своей подругой, она послала за кюре. Пастырь госпожи де Леренс был человеком столь же мудрым и просвещенным, как и она сама. Он без труда выправил бумагу госпоже де Дюльфор и сам, тайно, всего лишь с двумя своими людьми, похоронил несчастную жертву моего сопротивления.

Выполнив сей долг, все снова собрались вместе; каждая сторона поклялась хранить тайну, и господин де Сен-Пра вернулся успокоить меня и сообщить, что было сделано для того, чтобы проступок мой был предан забвению. Он, несомненно, желал моего возвращения в дом госпожи де Леренс... она готова была меня принять... Я же не чувствовала себя в силах находиться сейчас подле нее. Тогда господин де Сен-Пра посоветовал мне развлечься. Как я вам уже говорила, сударь, я постоянно поддерживала отношения с госпожой де Веркен, и та приглашала меня провести у нее несколько месяцев. Я рассказала об этом приглашении ее брату, он одобрил мой план, и уже через неделю я уехала в Лотарингию. Однако воспоминания о моем преступлении преследовали меня повсюду, ничто не могло успокоить меня.

Сон мой был тревожным, постоянно казалось мне, что я слышу вздохи и стоны бедного Сент-Анжа. Я видела, как, окровавленный, упал он к ногам моим, упрекая меня в жестокости. Он уверял меня, что воспоминания об этом страшном деянии будут преследовать меня до могилы, а я так и не узнаю, чье сердце пронзила рука моя.

В одну из ночей мне привиделся Сенваль, несчастный любовник, коего я не могла позабыть, ибо единственно из-за него влекло меня в Нанси... Сенваль указывал мне на два трупа: Сент-Анжа и неизвестной мне женщины [1]. Он орошал оба тела слезами и показывал мне стоящий неподалеку отверстый гроб, ощетинившийся шипами и, казалось, поджидавший меня... В ужасном возбуждении я проснулась. Тысячи смутных предчувствий обуревали душу мою, потаенный голос нашептывал мне: «запомни, до конца жизни своей ты будешь кровавыми слезами оплакивать свою жертву, и с каждым днем слезы твои будут все горше; муки же совести не утихнут, но еще сильнее станут изводить тебя».

Представьте себе мое состояние, сударь, когда я прибыла в Нанси. Там меня ждали новые горести: поистине, когда судьбе угодно возложить на нас карающую длань свою, она удваивает ее бремя, дабы окончательно сломить нас.

Мне предстояло остановиться у госпожи де Веркен, в последнем письме своем она просила меня об этом и уверяла, что будет рада вновь увидеть меня. Но в каком состоянии, о Праведное небо, пришлось нам обеим испить эту радость! Когда я приехала, госпожа де Веркен уже лежала на смертном одре.

Великий Боже! Кто бы мог подумать! Всего лишь две недели назад она написала мне... сообщала о своих теперешних удовольствиях и тех, что еще ожидают ее... Но таковы намерения смертных: именно тогда, когда они собираются их выполнять, среди забав является к ним безжалостная смерть, дабы прервать нить жизни их. И они живут, не думая о роковом миге, так, словно бы назначено им жить вечно, и исчезают в туманных пределах вечности, не ведая того, что ждет их за той чертой!

Позвольте, сударь, прервать рассказ мой и поведать вам о смерти госпожи де Веркен, а также описать вам устрашающую непреклонность духа, не покинувшую эту женщину даже на краю могилы.

Госпожа де Веркен была уже немолода (в ту пору ей было пятьдесят два года), но после празднества, впрочем слишком буйного для ее возраста, она решила освежиться и искупалась в реке. Тут же она почувствовала себя плохо, домой ее принесли в ужасном состоянии, на следующий день у нее открылось воспаление легких; на шестой день ей сообщили, что жить ей осталось не более суток.

Известие это не испугало ее. Она знала, что я должна приехать, и прика-

---

[1] Запомните выражение неизвестной мне женщины, дабы своевременно к нему вернуться. Флорвиль еще ожидают утраты, и не сразу узнает она, кто была увиденная ею во сне женщина.

зала сразу же проводить меня к ней. Я приезжаю в тот самый день, вечер которого, по утверждению врача, должен стать для нее последним. Она приказала перенести себя в комнату, обставленную со всей возможной изысканностью. В небрежном убранстве лежала она на кровати, являвшей собой ложе, предназначенное для сладострастных наслаждений. Занавеси на кровати из тяжелого бархата сиреневого цвета были изящно приподняты и перевиты гирляндами живых цветов; букетики гвоздик, жасмина, тубероз и роз красовались по углам ее комнаты. Она обрывала лепестки цветов в корзинку, усыпая ими и комнату свою, и кровать... Увидев меня, она протягивает руки мне навстречу...

— Подойти, Флорвиль,— говорит она мне,— поцелуй меня на этом ложе из цветов... Какая ты стала взрослая и красивая!.. О, право, дитя мое, добродетель пошла тебе на пользу!.. Тебе рассказали о моем состоянии... тебе также сказали, Флорвиль... я тоже это знаю... через несколько часов меня не станет... Я уже не надеялась увидеть тебя в отпущенное мне время...

И, увидев, что глаза мои наполнились слезами, она подбодрила меня:

— Ну же, глупышка, не строй из себя младенца!.. Неужели ты и вправду считаешь меня несчастной? Разве не вкусила я в этой жизни всех наслаждений, что только доступны женщине? Я теряю лишь те годы, когда бы мне все равно пришлось отказаться от удовольствий, но что бы я без них делала? Воистину, я не жалею, что не доживу до глубокой старости. Скоро мужчины перестали бы интересоваться мной, я же всегда стремилась жить, вызывая их восхищение.

Смерть страшна только для тех, дитя мое, кто верит в Бога. Вечно мятущиеся между адом и раем, не уверенные, какое из двух пристанищ уготовано им самим, пребывают они в тревоге, доводящей их до отчаяния. Я же, ни на что не надеясь, уверенная, что после смерти буду не более несчастна, чем при жизни, спокойно усну в объятиях природы, без сожалений и страданий, без тревог и угрызений совести. Я просила похоронить меня среди моих любимых зарослей жасмина: место мне уже приготовлено. Я буду лежать там, Флорвиль, и атомы, которые будут разлагать тело мое, послужат пищей... дадут жизнь цветам, любимым мною более всех иных цветов.

Ну что же,— продолжила она, коснувшись щеки моей букетиком жасмина,— на будущий год, вдыхая аромат цветов сих, ты вдохнешь вместе с ним душу твоей старинной приятельницы. Устремившись к сосудам мозга твоего, запах этот пробудит в тебе радостные мысли и еще раз напомнит обо мне.

Слезы мои подтолкнули ее к новым рассуждениям... Я сжала руки несчастной женщины и попыталась взамен этих ужасных материалистических воззрений внушить ей хотя бы малую толику благочестивых мыслей. Но едва лишь я высказала ей свое желание, как госпожа де Веркен с отвращением оттолкнула меня...

— О Флорвиль! — воскликнула она.— Заклинаю, не отравляй последние минуты жизни моей своими заблуждениями и дай мне умереть спокойно. Не для того я всю жизнь ненавидела святош, чтобы перед смертью примириться с ними...

Я умолкла; жалкое мое красноречие сникло перед подобной твердостью. Я была в отчаянии, видя упорство госпожи де Веркен, сама природа человеческая восставала против него. Госпожа де Веркен позвонила; тотчас я услышала нежные и мелодичные звуки, исходящие, как казалось, из соседнего кабинета.

— Сейчас ты увидишь,— произнесла сия последовательница Эпикура,— как я собираюсь встретить смерть. Флорвиль, неужели ты считаешь, что лучше задыхаться в кругу священников, отравляющих твои последние минуты смятением, тревогой и отчаянием?.. Нет, я хочу доказать твоим святошам, что можно умереть спокойно, не уподобляясь им, и не религия нужна, чтобы умереть спокойно, но лишь мужество и разум.

Близился урочный час. Вошел нотариус, она еще ранее приказывала позвать его. Музыка прекратилась. Она диктует свои распоряжения. Не имея детей, много лет назад лишившись мужа, госпожа де Веркен между тем обладала изрядным состоянием, и она завещала его друзьям и слугам. Затем из секретера, стоящего рядом с кроватью, она вытащила маленький ящичек.

— Вот все, что у меня теперь осталось,— говорит она.— Немного

наличных денег и несколько драгоценных безделушек. Так будем же развлекаться в оставшееся нам время. Вас здесь шестеро: я сделаю шесть выигрышных билетиков, и мы устроим лотерею. Вы разыгрываете билетики между собой и возьмете то, что вам выпадет по жребию.

Я не переставала дивиться хладнокровию этой женщины. Мне казалось невероятным, что, будучи повинной во многих прегрешениях, она может ожидать последнего часа своего с подобной невозмутимостью, порождением пагубного неверия. Если смерть, настигающая закоренелого злодея, заставляет содрогнуться, то сколь же больший ужас внушает закоснелое сие упорство!

Тем временем все, что она желала, сделано. Она приказывает подать роскошный ужин, обильно поглощает кушанья, пьет испанские вина и ликеры, ибо врач сказал, что уже ничто не изменит ее состояния.

Устраивается лотерея; каждому из нас достается около сотни луидоров золотом либо драгоценности. Едва лишь это краткое действо закончилось, как у нее начались жестокие судороги.

— Ну что ж, час мой настал? — обратилась она к врачу, сохраняя при этом полную ясность сознания.

— Сударыня, боюсь, что да.

— Подойди же ко мне, Флорвиль,— говорит она мне, протягивая руки,— прими мое последнее прости, последний вздох свой хочу я испустить на груди добродетели...

Она судорожно прижимает меня к себе, и ее прекрасные глаза закрываются навсегда.

Будучи посторонней в этом доме и не имея ничего, что могло бы удержать меня, я тут же уезжаю... Представьте сами, в каком я была состоянии... и как долго это зрелище омрачало воображение мое!

Из-за большой разницы в образе мышления, существовавшей между мной и госпожой де Веркен, я не испытывала к ней сильной привязанности. К тому же, разве не она первая толкнула меня на путь бесчестия, что привело к стольким дурным последствиям? Вместе с тем эта женщина была сестрой того единственного человека, кто на деле взял на себя заботы обо мне. Она всегда по-своему любила меня и, даже умирая, не забыла меня своими щедротами. Посему слезы мои были искренними и становились еще горше, стоило мне подумать о том, что несчастное это создание, наделенное при жизни столькими блестящими качествами, но по безрассудству погубившее себя, уже исторгнуто из лона Предвечного и терпит жестокие муки, уготованные ей за неправедную жизнь ее.

Однако высшая доброта Господа нашего открылась мне, и я обрела утешение в печальных размышлениях своих. Опустившись на колени, я стала молить Главного среди всего сущего пощадить несчастную. Сама нуждавшаяся в милости Неба, я осмелилась просить Его за другую и, решив сделать все, от меня зависящее, дабы несчастная могла надеяться на снисхождение Его, я добавила десять луидоров собственных денег к выигрышу, полученному у госпожи де Веркен, и немедленно распорядилась распределить все эти деньги между бедняками ее прихода.

В остальном же все наказы, сделанные этой злополучной женщиной, были в точности выполнены: они были ясны, и оспорить их было невозможно. Ее похоронили среди зарослей жасмина, на могиле ее начертали одно лишь слово: v i x i t [1].

Так умерла сестра моего самого дорогого друга. Отличаясь живостью ума, обширными познаниями, исполненная достоинств и талантов, госпожа де Веркен, обладай она иным поведением, несомненно бы заслужила любовь и уважение всех, кто знал ее; она же обрела лишь презрение их.

С приближением старости беспорядочность жизни госпожи де Веркен увеличивалась. Нет ничего более опасного, чем отсутствие принципов в том возрасте, когда краска стыда не может более проступить на увядающем лице. Распутство язвит сердце; снисходя к первым ошибкам нашим, мы постепенно скатываемся к тяжким проступкам, воображая при этом, что все еще можем легко исправить содеянное.

---

[1] Жизнь прошла *(лат.). (Прим. перев.)*

Невероятная слепота брата ее не переставала изумлять меня: таков отличительный признак непорочности и доброты. Честные люди никогда не могут поверить в зло, которое они сами сотворить не способны, вот почему первый попавшийся мошенник с легкостью обводит их вокруг пальца и вот почему столь просто, но столь унизительно обманывать их. Наглый плут, усердствующий в подобном занятии, лишь умножает отвращение к себе, не преумножив порочную славу свою, еще более возвышает сияющую добродетель.

Потеряв госпожу де Веркен, я утратила всякую надежду узнать что-либо о своем любовнике и о своем сыне. Вы, разумеется, понимаете, что я, найдя ее в ужасном ее состоянии, не осмелилась заговорить с ней об этом.

Сраженная крушением надежд, предельно утомленная путешествием, совершенным в состоянии глубокого потрясения, я вынуждена была немного отдохнуть в Нанси. Я остановилась в гостинице и жила уединенно, ибо мне показалось, что господин де Сен-Пра не желал, чтобы кто-либо в городе узнал меня. Отсюда я написала дорогому своему покровителю, решив уехать не ранее, чем получу ответ его.

Несчастная девушка, не будучи вашей родственницей, сударь,— писала я ему,— и уповающая только на снисхождение ваше, снова нарушает мирное течение ваших дней. Вместо того чтобы говорить единственно об утрате, только что вами понесенной, она осмеливается напомнить вам о себе, просит распоряжений ваших и ждет их и т. д.

Но, как уже было сказано, несчастье преследовало меня повсюду, и я обречена была вечно быть либо свидетелем, либо жертвой зловещих его козней.

Однажды поздно вечером в сопровождении горничной я возвращалась с прогулки. Кроме горничной меня сопровождал наемный лакей, взятый мною сразу по прибытии в Нанси.

Все уже легли спать. В ту минуту, когда я входила к себе в номер, женщина лет пятидесяти, высокая, со следами былой красоты (ее я постоянно встречала, поселившись в этой гостинице), внезапно выходит из комнаты, соседней с моей, и, вооруженная кинжалом, устремляется в комнату напротив... Естественное стремление мое узнать, в чем дело... я подбегаю... слуги следуют за мной. В мгновение ока, столь быстро, что мы не успели ни закричать, ни позвать на помощь... мы видим, как злодейка эта бросается на другую женщину, раз двадцать погружает кинжал ей в грудь и, взволнованная, удаляется, так и не заметив нас.

Мы испугались, решив, что несчастная сошла с ума: мы не видели причин, побудивших ее к преступлению. Горничная и лакей мои хотели позвать на помощь. Властный порыв, о причине коего у меня не было ни малейшей догадки, заставил меня побудить их к молчанию и, схватив за руки, увести к себе в комнаты, где мы тотчас и затворились.

Однако ужасная развязка приближалась. Женщина, только что изрезанная ножом, выбралась в коридор и поползла по лестнице, испуская страшные вопли. Перед смертью она успела назвать имя убийцы, а так как было известно, что мы последними вернулись в гостиницу, то нас задержали вместе с истинной виновницей происшедшего. Хотя признания умирающей не набросили на нас ни тени подозрения, все же было условлено, что до окончания судебного процесса мы не покинем гостиницу.

Преступница, заключенная в тюрьму, ни в чем не признавалась и упорно защищалась. Иных свидетелей кроме меня и моих людей не было... Предстояло явиться в суд... выступать перед судом, старательно скрывая тайно снедающее меня беспокойство... Ибо я столь же заслуживала смерти, как и женщина эта, моими признаниями отправляемая на эшафот, потому что я также была повинна в подобном преступлении.

Как я не хотела давать эти страшные показания! Мне казалось, что сердце мое истекает кровью и каждое сказанное мною слово становится кровавой сей каплей.

Однако надобно было все рассказать: мы поведали обо всем, что видели.

Но сколь ни убедительны были доказательства виновности этой женщины, завершившей некое приключение свое убийством соперницы, какова бы ни была тяжесть ее проступка, после мы доподлинно узнали, что без показаний наших не было бы возможности осудить ее, потому что в истории этой был замешан еще один человек, которому удалось ускользнуть, но на которого несомненно бы пали подозрения. Но признания наши, в особенности показания лакея моего... эти жестокие свидетельства, от коих невозможно было отказаться, не скомпрометировав себя, вынесли несчастной женщине смертный приговор.

При моей последней с ней очной ставке женщина эта, внимательно оглядев меня, спросила, сколько мне лет.

— Тридцать четыре,— ответила я.

— Тридцать четыре?.. И вы родом из здешних мест?..

— Нет, сударыня.

— Вас зовут Флорвиль?

— Да, так меня называют.

— Я не знаю вас,— произнесла она,— но вы честны и, как говорят, пользуетесь уважением в этом городе. К несчастью, для меня этого достаточно...

Затем с горечью продолжила:

— Мадемуазель, вы привиделись мне в страшном сне: я видела вас вместе со своим сыном... ибо я мать, и, как видите, несчастная... У вас было то же лицо, тот же рост... то же платье... И эшафот высился передо мной...

— Какой странный сон, сударыня! — воскликнула я.

И тут же в моей голове мелькнуло воспоминание о кошмарном ночном видении, и черты лица ее поразили меня. Я признала в ней ту женщину, что была вместе с Сенвалем подле ощетинившегося шипами гроба...

Глаза мои наполнились слезами. Чем больше всматривалась я в эту женщину, тем больше хотелось мне отказаться от слов своих... Мне хотелось умереть вместо нее... хотелось бежать, но я не могла сдвинуться с места... Увидев, в сколь ужасное состояние повергло меня свидание с ней, убежденные в моей невиновности судьи разлучили нас. Я вернулась к себе раздавленная, раздираемая тысячью различных чувств, истоки коих были мне неведомы. На следующий день несчастная была отправлена на казнь.

В тот же день я получила ответ от господина де Сен-Пра — он просил меня вернуться. И так как Нанси после всех необычайно мрачных сих событий и вовсе стал мне отвратителен, я тотчас же покинула этот город и направилась в столицу, неотступно преследуемая новым призраком, призраком женщины, который, казалось, на каждом шагу кричал мне: Это ты, ты, несчастная, посылаешь меня на смерть, но не ведаешь ты, чья рука направляет тебя!

Потрясенная пережитыми мною злоключениями, я попросила господина де Сен-Пра подыскать мне какое-нибудь пристанище, где я смогла бы провести остаток дней своих в полном одиночестве, неукоснительно соблюдая все предписания религии. Он предложил мне ту обитель, где вы меня встретили, сударь. Я поселилась там сразу же по приезде, покидая ее лишь дважды в месяц, чтобы повидаться с моим дорогим покровителем и навестить госпожу де Леренс. Но Небо, желая каждодневно подвергать меня испытаниям, недолго дозволяло мне наслаждаться обществом подруги моей: в прошлом году я имела несчастье потерять ее. Госпожа де Леренс всегда была нежна ко мне, и я не покидала ее в жестокие минуты кончины; на руках у меня испустила она последний вздох свой.

И вообразите, сударь! Смерть ее не была столь тихой, как смерть госпожи де Веркен. Та, никогда ни на что не надеясь, с легкостью готова была потерять все. Другая же была в ужасе, видя, сколь несбыточными оказываются некоторые из надежд ее. Умирая, госпожа де Веркен сожалела лишь о том, что сотворила недостаточно зла; госпожа де Леренс умирала, упрекая себя за то, что не успела довершить все добрые начинания свои. Одна усыпала себя цветами, сожалея об утрате наслаждений; другая хотела бы быть сожженной на кресте и с отчаянием вспоминала те часы свои, что не были посвящены добрым делам.

Подобная противоположность окончательно сразила меня; душа моя ослабела. Но почему, спрашивала я себя в такие минуты, почему покой является уделом не тех, кто достоин его, как было бы должно, но тех, кто не отличается благонравием? И тут же, ободренная гласом небесным, прозвучавшим, как казалось, прямо в сердце моем, я воскликнула:

— Разве дано мне предугадать волю Предвечного? Все, что наблюдаю я, укрепляет меня в единственной мысли: тревоги госпожи де Леренс — это неугасимое стремление к добродетели, жестокая невозмутимость госпожи де Веркен — не что иное, как последние заблуждения порока. Ах, если смогу я сама выбрать последний час свой, то пусть Господь пошлет мне тревоги первой, но не спокойствие последней.

Таково было последнее из моих приключений, сударь. Вот уже два года как я живу в обители Успения Пресвятой Богородицы, куда поместил меня мой благодетель. Да, сударь, уже два года пребываю я там, но покой еще ни на минуту не снизошел на меня. Не прошло ни одной ночи, чтобы призраки злополучного Сент-Анжа и той несчастной, приговоренной на основании моих показаний в Нанси, не являлись бы ко мне.

И вот, когда пребываю я в таком плачевном состоянии, появляетесь вы. Я просто обязана была поведать вам свои тайны. Разве не долг мой открыть их, прежде чем злоупотребить вашими чувствами? Теперь решайте, достойна ли я вас... Решайте, сможет ли та, чья душа преисполнена страданием, скрасить течение жизни вашей? Ах! Поверьте мне, сударь, не стоит обманывать себя. Позвольте мне вернуться к мрачному уединению моему, ибо, вырвав меня оттуда, вы будете постоянно видеть перед собой лишь ужасное зрелище угрызений совести, страдания и несчастья.

Восприимчивая, чувствительная и деликатная от природы, мадемуазель де Флорвиль в сильнейшем волнении завершила свой рассказ: она не могла бесстрастно описывать злоключения свои.

Господин де Курваль, слушая о последних событиях этой истории, употребил всю свою обходительность, дабы успокоить ту, кого любил он.

— Мадемуазель,— повторял он,— в том, что вы мне только что рассказали, есть нечто необъяснимое и роковое. Но я не вижу ничего, что могло бы тревожить вашу совесть или же запятнать репутацию вашу... Любовная связь в шестнадцать лет... согласен, но сколько извиняющих вас обстоятельств! Ваш возраст, старания госпожи де Веркен... молодой человек, вероятно, необычайно любезный... Ведь вы же больше не виделись с ним, мадемуазель? — продолжил господин де Курваль с некоторым беспокойством...— Вероятно, вы никогда более его не увидите.

— О! Никогда, заверяю вас,— воскликнула Флорвиль, догадываясь о причинах беспокойства господина де Курваля.

— Прекрасно! Итак, мадемуазель,— произнес тот,— давайте же завершим беседу нашу. Заклинаю вас, поверьте мне, что история ваша не говорит ни о чем, что могло бы отвратить от вас сердце честного человека: ни об избыточной осторожности, проявляемой по причине добродетели, ни об излишнем любовании собственной привлекательностью.

Мадемуазель де Флорвиль попросила разрешения вернуться в Париж и в последний раз посоветоваться со своим покровителем, пообещав, что, со своей стороны, не будет более выдвигать препятствий. Господин де Курваль не мог ей отказать в исполнении этого долга уважения. Она уехала и через неделю возвратилась вместе с Сен-Пра.

Господин де Курваль осыпал того всеми возможными знаками внимания. Самым изысканным образом он дал ему понять, сколь он польщен возможностью связать свою судьбу с той, кого сей господин удостоил своим покровительством, и попросил его не лишать достойное это создание звания родственницы. Сен-Пра подобающе ответил на обхождение господина де Курваля и беспрестанно рассказывал ему о самых выгодных сторонах характера мадемуазель де Флорвиль.

Наконец настал день, столь ожидаемый Курвалем. Церемония бракосочетания началась, и при чтении брачного контракта он был весьма удивлен, услышав, что, никого не предупредив, господин де Сен-Пра в честь этой

свадьбы добавил еще четыре тысячи ливров ренты к тому пенсиону, который уже имела мадемуазель де Флорвиль, и после смерти своей отказывал ей сто тысяч франков.

Прелестная девица пролила потоки слез, видя новые благодеяния своего покровителя, но в душе была счастлива, ибо теперь она могла предложить тому, кто взял на себя заботы о ней, состояние не меньшее, чем его собственное.

Приятное обхождение, невинные радости, взаимные знаки внимания и нежной привязанности сопутствовали этому браку... роковому браку, его факел уже исподволь задували злобные фурии.

Господин де Сен-Пра провел неделю в имении Курваля вместе с друзьями нашего молодожена. Но оба супруга не последовали за ним в Париж: они решили остаться в деревне до начала зимы, чтобы привести в порядок свои дела, а затем уже обзавестись надлежащим домом в столице. Они попросили господина де Сен-Пра присмотреть для них достойное жилище, неподалеку от его собственного, и в этих приятных хлопотах господин и госпожа де Курваль провели три месяца совместной жизни. Они уже уверены были в скором появлении потомства, о чем и поспешили сообщить достойному Сен-Пра, как непредвиденное событие жестоко разрушило благоденствие счастливого супруга и тень кладбищенского кипариса накрыла нежные розы Гименея.

Здесь перо мое останавливается... Я должен был бы просить прощения у читателя и умолять его не продолжать... Да... да... пусть же он прервется, если не желает содрогнуться от ужаса... Печальна участь человеческая на этой земле... жестоки последствия превратностей судьбы!.. Почему судьбе было угодно, чтобы несчастной Флорвиль, существу самому добродетельному, самому любезному, самому чувствительному, была уготована участь самого отвратительного чудовища, коего только может породить природа?

Однажды вечером нежная и достойная супруга эта, сидя подле мужа, читала невероятно мрачный английский роман, наделавший в то время много шума.

— Вот,— сказала она, отбросив книгу,— вот существо, почти столь же несчастное, как я.

— Столь же несчастное, как ты! — воскликнул господин де Курваль, сжимая дорогую свою супругу в объятиях.— О Флорвиль, я думал, что сумел заставить тебя забыть о твоих несчастьях... теперь же я вижу, что ошибся... если ты можешь произносить столь суровые слова!..

Но госпожа де Курваль словно не слышала его, ни словом не отвечая на ласки супруга. Невольным движением она в ужасе оттолкнула его и убежала в угол на кушетку, где и залилась слезами. Напрасно достойный супруг припал к ногам ее, напрасно заклинал эту боготворимую им женщину успокоиться или по крайней мере сообщить ему причину такого приступа отчаяния; госпожа де Курваль продолжала отталкивать его и отворачивалась, когда пытался он осушить слезы ее. Наконец Курваль, не сомневаясь более, что мрачное воспоминание о былой страсти вспыхнуло в ней с новой силой, не удержался и упрекнул ее в этом. Госпожа де Курваль молча выслушала его, а в конце концов поднялась и сказала супругу своему:

— Нет, сударь, нет... вы ошибаетесь, истолковав подобным образом отчаяние, сжавшее меня когтями своими. Нет, не воспоминания снова тревожат меня, но ужасные предчувствия... я счастлива с вами, сударь... да, очень счастлива... но я не рождена для чувства сего, счастье мое не может длиться вечно. Злополучная звезда моя такова, что счастье для меня — лишь молния, предшествующая раскату грома...

И вот что приводит меня в ужас: я боюсь, что нам не суждено жить вместе. Будучи сегодня вашей супругой, возможно, завтра я уже не смогу ей быть... Тайный голос в глубинах сердца моего возглашает, что блаженство мое есть не что иное, как тень, исчезающая словно цветок, что в один день и распускается, и увядает.

Так не обвиняйте же меня ни в своенравии, ни в охлаждении, сударь. Я повинна лишь в избытке чувствительности, в зловещем даре видеть все предметы с мрачной их стороны, в чем проявляются жестокие последствия превратностей судьбы моей...

И господин де Курваль, стоя на коленях перед женой своей, ласками и речами старался успокоить ее, однако же безрезультатно, как вдруг... Было около семи часов вечера, октябрь месяц... Слуга докладывает, что некий незнакомец желает спешно говорить с господином де Курвалем... Флорвиль вздрагивает... слезы сами струятся по щекам ее, она дрожит, хочет говорить, но голос ее замирает на губах.

Господин де Курваль, более озабоченный состоянием жены, нежели сообщением слуги, отрывисто бросает, что пусть незнакомец подождет, и устремляется на помощь супруге. Но госпожа де Курваль, в страхе, что она не устоит перед смутной тревогой, нахлынувшей на нее... желая скрыть чувства, испытываемые ею перед появлением незнакомца, о котором только что доложил слуга, с усилием выпрямляется и говорит:

— Это пустяки, сударь, сущие пустяки, пусть он войдет.

Лакей уходит; через минуту он возвращается в сопровождении мужчины лет тридцати семи-тридцати восьми. Лицо гостя, хотя и приятное, отмечено печатью неизгладимой грусти.

— Отец мой! — восклицает незнакомец, бросаясь к ногам господина де Курваля,— узнаете ли вы своего несчастного сына, вот уже двадцать два года пребывающего в разлуке с вами? За жестокие свои проступки он сурово наказан, с тех пор удары судьбы непрестанно обрушиваются на него.

— Как? Вы — мой сын?.. Великий Боже!.. какой силой... Неблагодарный, что заставило тебя вспомнить о моем существовании?

— Мое сердце... преступное сердце, которое несмотря ни на что никогда не переставало любить вас... Выслушайте меня, отец... выслушайте, ибо я должен поведать вам о бедах, бесконечно больших, чем мои собственные. Соблаговолите же сесть и выслушать меня.

— И вы, сударыня,— продолжил молодой Курваль, обращаясь к супруге своего отца,— простите, если, впервые свидетельствуя вам свое почтение, я вынужден разоблачить перед вами ужасные несчастья семьи нашей, кои долее невозможно скрывать от отца.

— Говорите, сударь, говорите,— пробормотала госпожа де Курваль, переводя помутившийся взор свой на молодого человека,— язык несчастья для меня не нов, я с детства говорю на нем.

Наш путешественник, всмотревшись пристально в госпожу де Курваль, ответил ей с невольным смущением:

— Вы несчастны, сударыня?.. О! Праведное небо, разве можете вы быть столь же несчастны, как мы!

Все сели... Состояние госпожи де Курваль с трудом поддавалось описанию... Она поднимает взор на молодого человека... отводит глаза... взволнованно вздыхает... Господин де Курваль плачет, а сын старается успокоить его, умоляя выслушать его. Наконец разговор принимает более определенное направление.

— Мне столько надо рассказать вам, сударь,— говорит молодой Курваль,— что вы позволите мне опустить подробности и излагать лишь факты. Но я настаиваю, чтобы вы и супруга ваша дали слово, что не будете прерывать меня, пока я сам не закончу свой рассказ.

Я бросил вас, когда мне было пятнадцать лет, сударь; моим первым побуждением было последовать за матерью, которой я в ослеплении своем оказал предпочтение перед вами; она покинула вас много лет назад. Я присоединился к ней в Лионе, где был столь потрясен ее распутством, что, дабы сохранить остатки чувств, питаемых мною к ней, я был вынужден бежать от нее. Я приехал в Страсбург, где был расквартирован Нормандский полк...

Госпожа де Курваль встрепенулась, но осталась на месте.

— Я пробудил некое сочувствие у полковника,— продолжил молодой Курваль,— постарался понравиться ему, и он дал мне чин лейтенанта. Через год я вместе с полком прибыл на постой в Нанси. Там я влюбился в родственницу некой госпожи де Веркен... Я соблазнил это юное создание, у нее родился сын, и я безжалостно расстался с его матерью.

При этих словах госпожа де Курваль вздрогнула, глухой стон вырвался у нее из груди, но ей удалось удержать себя в руках.

Злосчастное приключение это стало причиною всех моих несчастий. Я поместил ребенка несчастной девицы неподалеку от Меца, у одной женщины, обещавшей мне заботиться о нем, и через некоторое время вернулся в полк.

Мое поведение осудили. В Нанси девица более не вернулась, и меня обвинили в том, что я погубил ее. Наделенная многими достоинствами, она не оставляла равнодушным никого в городе, там нашлись те, кто пожелал отомстить за нее. Я дрался на дуэли, убил своего противника и уехал в Турин вместе с сыном, за которым мне пришлось вернуться в Мец. Двенадцать лет я служил королю Сардинии. Не стану рассказывать вам о неудачах, подстерегавших меня, им нет числа: лишь покинув родину, начинаешь тосковать по ней.

Тем временем сын мой подрастал и подавал большие надежды. Познакомившись в Турине с одной француженкой из свиты нашей принцессы, вышедшей замуж при здешнем дворе, я осмелился просить свою новую знакомую — так как почтенная дама проявила сострадание к моим несчастьям — взять с собой во Францию моего сына, дабы усовершенствовать там его воспитание, пообещав ей навести надлежащий порядок в делах своих и через шесть лет вернуться и забрать от нее ребенка. Она согласилась, увезла злосчастного сына моего в Париж, делала все, чтобы достойно воспитать его, и обо всем в точности сообщала мне.

Я вернулся на год позднее, чем обещал. Приезжаю к этой женщине, ожидая обрести сладостное утешение в объятиях сына, прижать к груди сей плод чувств, мною преданных... Но все еще обжигающих сердце мое...

— Вашего сына больше нет,— говорит мне эта достойная приятельница, заливаясь слезами,— он стал жертвой той же страсти, что сделала несчастным его отца. Мы отправили его в деревню, и там он влюбился в одну очаровательную девушку, имя которой я поклялась сохранить в тайне. Влекомый неистовой страстью своей, он пожелал взять силой то, в чем ему было отказано добродетельной особой... Удар, нанесенный ею, дабы устрашить его, пришелся в сердце и стал для него роковым.

Здесь госпожа де Курваль впала в некое оцепенение, заставившее всех на некоторое время опасаться, как бы она вдруг не умерла на месте: взор ее был недвижен, кровь остановилась в жилах. Господин де Курваль, слишком хорошо понимавший мрачную связь этих злосчастных происшествий, прервал рассказ сына и бросился к жене... С поистине героическим усилием собирает она остатки мужества:

— Пусть сын ваш продолжает, сударь,— произносит она,— быть может, не до конца еще испила я горькую чашу свою.

Между тем молодой Курваль, не понимая, почему женщина эта столь сокрушается из-за событий, напрямую к ней не относящихся, но уловив нечто непостижимое в чертах супруги отца своего, продолжает взволнованно смотреть на нее. Господин де Курваль хватает сына за руку и, отвлекая внимание его от Флорвиль, приказывает ему продолжать, придерживаясь лишь фактов и минуя подробности, ибо рассказ его содержит некие загадочные обстоятельства, уводящие в сторону от главного.

— В отчаянии от гибели сына,— продолжил путешественник,— не имея более ничего, что удерживало бы меня во Франции... кроме вас, о отец мой!.. Но, не осмеливаясь показаться вам на глаза, избегая гнева вашего, я решил отправиться путешествовать в Германию...

Злосчастный виновник дней моих,— произнес молодой Курваль, орошая слезами руки своего отца,— вооружитесь же мужеством, молю вас, и я осмелюсь поведать вам самую страшную новость.

Приехав в Нанси, я узнаю, что некая госпожа Дебар — а именно это имя взяла себе мать моя, ступив на путь разврата, после того как убедила вас в своей смерти,— так вот, я узнаю, что эта госпожа Дебар недавно посажена в тюрьму за убийство своей соперницы и, вероятно, завтра ее казнят.

— О сударь! — воскликнула тут несчастная Флорвиль, в слезах бросаясь на грудь к своему супругу и испуская душераздирающие вопли,— о сударь! сознаете ли вы, к чему привели мои злоключения?

— Да, сударыня, я все понимаю,— сказал господин де Курваль,— понимаю, сударыня, но умоляю вас, дайте моему сыну договорить.

Флорвиль затихла, однако она едва дышала. Ни единое чувство не осталось в ней незатронутым, ни единый нерв не был свободен от ужасного напряжения.

— Продолжайте, сын мой, продолжайте,— говорит несчастный отец,— еще немного, и я все вам объясню.

— Итак, сударь,— продолжил молодой Курваль,— я осведомляюсь, не произошло ли путаницы в именах. К сожалению, все предельно верно, и преступница эта — моя мать. Я прошу разрешить мне свидание, получаю его, падаю в ее объятия...

— Я виновна и поэтому умираю,— говорит мне несчастная,— но поистине неумолимый рок вмешался в события, ставшие причиной моего смертного приговора. Другой должен был бы оказаться под следствием, на него должно было бы пасть подозрение: все улики были против него. Одна женщина и двое ее слуг, волею случая находившиеся в той же гостинице, видели преступление мое, я же, поглощенная занятием своим, их не заметила. Показания их и стали единственной уликой, определившей смерть мою.

Однако оставим это, не будем терять время на тщетные жалобы, ибо мне многое надо вам сказать. Я должна сообщить вам несколько важных тайн, выслушайте же их, сын мой. Как только глаза мои закроются, вы отыщите супруга моего и скажите ему, что среди прочих преступлений моих есть одно, о котором он никогда не догадывался и в котором я вынуждена наконец сознаться... У вас есть сестра, Курваль... Она появилась на свет годом позже вас... Я вас обожала, я боялась, что эта девочка станет обузою, когда придет время выдавать ее замуж, и она потребует раздела достояния, должного принадлежать вам одному. Чтобы целиком сохранить для вас имущество, я решила избавиться от этой девочки и предпринять все меры, чтобы супруг мой не смог более получить еще один плод нашего союза.

Распутство мое повлекло за собой новые пороки, подтолкнув меня к совершению преступлений еще более ужасных. Дочь же свою я без всякой жалости решила предать смерти.

Свой гнусный умысел собиралась я осуществить вместе с кормилицей, щедро мною вознагражденной, как вдруг эта женщина сказала мне, что ей известен один человек, давно женатый, страстно желающий иметь ребенка, но не имеющий такой возможности, и, таким образом, она могла бы избавить меня от младенца не только не совершая злодеяния, но, быть может, даже сделав его счастливым. Я тотчас согласилась. В ту же ночь дочь моя была отнесена к дверям дома этого человека вместе с письмом, положенным в колыбельку.

Как только меня не станет, поезжайте в Париж, умоляйте отца вашего простить меня, не предавать проклятью память обо мне и взять к себе этого ребенка.

С этими словами мать поцеловала меня... постаралась унять ужасное смятение, охватившее меня от ее рассказа... О отец мой, на следующий день ее казнили. Ужасная болезнь едва не свела меня в могилу, почти два года я находился между жизнью и смертью, не имея ни сил, ни мужества написать вам. Как только здоровье вернулось ко мне, первым же намерением моим стало приехать к вам, броситься на колени, умолять вас даровать прощение несчастной супруге вашей и сообщить вам имя того человека, у кого вы сможете узнать о сестре моей: она была подброшена господину де Сен-Пра.

Господин де Курваль мрачнеет, все члены его леденеют, силы покидают его... вид его становится ужасен.

И вот Флорвиль, уже четверть часа как испытывающая нечеловеческие мучения, поднимается с уверенным видом человека, только что принявшего важное решение.

— Что ж, сударь,— обращается она к Курвалю,— теперь вы верите, что нет на свете преступницы более отвратительной, чем жалкая Флорвиль?.. Узнаешь ли ты меня, Сенваль, узнаешь во мне единовременно сестру свою, девушку, соблазненную тобой в Нанси, убийцу сына твоего, супругу твоего отца и омерзительную тварь, приведшую мать твою на эшафот...

Да, господа, вот преступления мои. На ком бы из вас ни остановился взор мой, я вижу лишь предмет, вызывающий трепет и отвращение: то вижу

я любовника в брате своем, то супруга в виновнике дней моих. Обратив же взор на себя самое, я вижу лишь гнусное чудовище, поразившее собственного сына и ставшее причиной смерти собственной матери.

Так неужели вы думаете, что Небо смогло бы найти для меня соизмеримое наказание? Или же вы полагаете, что хоть на миг смогу я устоять перед сонмом проклятий, терзающих мое сердце?.. Нет, мне остается совершить еще одно преступление: оно искупит все остальные.

В одно мгновение она бросается к пистолету Сенваля, стремительно выхватывает его и стреляет себе в лицо раньше, чем кто-либо догадался о ее намерениях. Она умирает, не сказав более ни слова.

Господин де Курваль падает в обморок; сын его, ошеломленный столь ужасным зрелищем, с трудом смог позвать на помощь. Но Флорвиль уже не нуждалась в ней: смертные тени опустились на чело ее, искаженные черты лица несли на себе страшную печать разрушения, произведенного насильственной смертью, и мучительных конвульсий отчаяния. Она плавала в луже собственной крови.

Господина де Курваля отнесли в постель; два месяца жизнь его была под угрозой. Сын его, в не менее ужасном состоянии, был, однако ж, счастлив тем, что его нежность и заботы вернули отца к жизни. Но оба они, после стольких жестоких ударов судьбы, обрушившихся на них, решили удалиться от мирской жизни. Строгое уединение скрыло их навсегда от глаз друзей, и так, в лоне благочестия и добродетели, оба тихо завершили печальный и тягостный жизненный путь, данный и одному и другому лишь затем, чтобы убедить их и тех, кто прочтет эту плачевную историю, в том, что только во тьме могилы человек в состоянии обрести покой, ибо злоба ближних, неуемность страстей и, более всего, неотвратимость судьбы никогда не дадут ему покоя на земле.

Молодые поэты Словакии

Со словацкого

От составителя

В Словакии выросло новое, замечательное поколение поэтов. С 1989 года у молодых появился собственный литературный журнал «Дотыки» («Прикосновения»), широко публикуют их стихи и другие литературные журналы. Несмотря на то что издательская продукция в последнее время у нас, к сожалению, сокращается, у многих из них уже вышли книги.

Наверное, не все еще нашли свой голос, многие еще ищут свой путь, но в одном им нельзя отказать — это поколение свободных, раскованных людей. Мы грешили бы против истины, если бы замечали лишь нередко присущие молодым крайности, сопутствующие эстетическим поискам, проглядели бы истинные литературные ценности.

Внимание к себе прежде всего привлекли те из молодых, кто заявляет о себе вызывающей позой, эпатажем, в чьих литературных замашках очевидно влияние битников, претензия на положение аутсайдера. Для них не существует каких-либо табу, но за цинической маской скрывается ранимая душа, личность, с трудом отыскивающая свое место в жизни.

Есть среди молодых и другие — тихие, избегающие шума и излишнего внимания к себе, те, кто вынашивает в тишине не менее убедительные свидетельства о своем поколении, раздираемом противоречиями, о трудном поиске своего места в мире.

ЯН ЗАМБОР
Братислава

ТАТЬЯНА ЛЕГЕНОВА

Отчаянно обычные жены гениев

Отчаянно обычная жена гения
просыпается как все, как любая женщина,
как жена супермена, денежного воротилы,
как жена обычного мужчины —
озлобленной.

Когда ей доводится запереть дверь,
за которой «гений почил»,
она становится даже приятным человеком.

Светится улыбкой, бежит по радостной улице:
ах, эти розовые и голубые зверушки
на небе. Просит у солнца билетик
в полуденную галерею.

Стихи Я. Замбора см.: «ИЛ», 1987, № 9.

Вахтер подмигнет дружески,
а на двери лифта — восхитительно-глупое
«мяу».
И вот жена гения на работе —
поспевает, как и все в этой стране,
ведь это только ее муж вправе спать,
когда гений его устал.

Нет, жена гения — совсем обычная:
завидует, бранится, грустит.
Ей бы тоже хотелось быть гением.

Но она обыкновенная:
заводит нудное вечернее соло в квартире,
упрекает, злится, злится и упрекает —
до невозможного...

Нет, она обыкновенная,
как елочка, срубленная под корень,
под которой — *всего лишь* книжка стихов,
и она плачет,
стыдится,
или плачет
и стыдится —
ведь втайне она мечтала
о какой-нибудь проделке,
как будто она вовсе и не жена гения.

День рождения,
и снова
книжка стихов.
Она поймет...

Она еще, правда, бранится,
когда у гения снова ни геллера,
но уже не гонит его.
Правда, она снова теряет голову,
когда у гения появляются деньги,
но приходит ночь, единственная,
он снова чист, как лилия,
и она снова боится за него и за себя.

И ночными улочками,
мимо винных погребков, мимо башенок храмов,
тихо проскользнет ее тень,
тень гения.

Город лихорадит: сфинксы
с загадочным взглядом
выставляют напоказ обновки,
разнюхивают, нет ли где какого гения
для недолгой потехи.
Только настоящего гения
они,
по счастью,
никогда не замечают
(так уж заведено).

Жены гениев знают: таких бояться нечего,
у страха другое лицо.

Жены гениев — как первый снег
на грязных улицах.
Так заметны,
так ранимы,
незаметно опускаются
к земле.

Октябрь — пропащий месяц

Упрямо твержу эту истину:
всем присуща сентиментальность,
всем — после пятнадцати лет.
Вот хулиган, ничтожество в драных штанах,
не здоровается — ему шестнадцать.
А воспоминания
влажны от слез и у него.

Слоняясь одиноко безо всякой надежды
по переулкам — старчески скрюченным,—
без монеты на ватерклозет,
он считает себя не хуже других,—
он, битый.
Сочувствием изводят на каждом шагу:
претерпевший и битый.
Так что же
в голове у других?
Видят они, как больное дерево
сыплет листья на желтый асфальт?

Не говорите про век
рационализма: те, что жили,—
их тоже изводили сочувствием,
их и за гробом не оставят в покое.

Упрямо твержу эту истину:
у вас есть минутка для чужой грусти?
Для протеста?
Сентиментальность в природе людей,
мальчишке она хорошо знакома,—
дурацкая, обидная грусть.

Знакома — и он не спросил
ни о чем, и не засмеялся:
я стояла у реки, прислонясь к перилам,
и всем телом слушала ветер.

Перевод М. ФАЙНЕРМАНА

ДАНА ПОДРАЦКАЯ

Страх на окраине

Иней, прорастающий на всех предметах вокруг,
через поверхность явлений,
из просторов их вечной гармонии,
сопровождает меня, может быть, даже
поучает,
предостерегает. И в конце —
покатость тротуара,
крытая льдом.
Неожиданно вспыхивает
уверенность: куда бы я шла,
куда бы я делась, не будь тебя — ты
стоишь
за всеми сугробами,
ждешь:
вот-вот озябшим бутоном распустится мой голос,
ломкий, живой,
вырвавшийся из битвы.

Воительница

Гималайский ледник,
к огромной стене
прижми меня. Преврати
душу в дух — и возблагодарю я...
Поднимай меня, день,
и своим телом я вытоплю ямку
во льду. Поднимай
над костьми! — во имя всего,
во что верю,
во имя всего
человеческого — глаза мои увидят
тьму, полную
звезд.

Вечная боль женщины

Она несла
полное лоно — и вдруг качнулась, выкрикнула
и стала клониться к траве, вода
рассекла ей ноги, текла
по тропинке, как солнечная рука,
а потом плечико и реснички.
Под липами
засверкало дитя, и Мадонна
облизала ему лицо.

Перевод М. ФАЙНЕРМАНА

ЭРИК ГРОХ

МУЖЧИНА, СПУСКАЮЩИЙСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ,
говорит: поверьте, у меня чистые руки,
честное слово, смотрите, они чистые.
Я, как обычно, верю
и протягиваю ему свои.
А когда тебя обнимаю, ты говоришь:
Любимый, твои руки в крови,
Любимый, у тебя все руки в крови.
Кому же ты снова поверил?
Не знаю, говорю я, не знаю.

Песня о волосах

Мама, когда ты меня острижешь,
волосы упадут на землю,

пустят корешки и начнут
расти и расти,

и ты заблудишься в них,
и уже никогда меня не найдешь.

Из-за песни, которую я сочинил.
Из-за взгляда, которого ты не почувствовала.

Из-за травы, что колышется
под нашими окнами.

ЖЕНЩИНА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ ДЕРЖИТ В ЗУБАХ
анкету,
но сама не раскроется
ни перед кем.

Всегда мне хотелось быть
открывателем окон, регулировщиком ветра,
обходчиком луж, разглаживателем морщин,
наблюдателем облаков, смотрителем кошек,
почитателем конфет, рядомидущим
или кем-нибудь в этом роде.
Вот уже целая исповедь.

Но женщина-скоросшиватель сама не раскроется
ни перед кем,
и в графу ПРОФЕССИЯ втискиваю только:

СУЩЕСТВУЮ.

Чистый блюз

Представь себе: жаркий летний день.
проселок, камни.
И пыль.
Навстречу мне — старик: «Один идешь?»
«С ветром,— отвечаю,— с ветром
и с руками в карманах».

Перевод А. МАКАРОВА-КРОТКОВА

ЙОЗЕФ УРБАН

Я сморкаюсь неэстетично

Мы что сморкаемся некрасиво
портим настроение приличным гостям
как будто нарочно мешаем вам

Нас что сморкаются некрасиво
надо бы решительно вычеркнуть из списков
людей воспитанных и учтивых
правилам хорошего тона придать силу закона
а нас — высадить на затерянный остров
чтоб мы там сморкались как Робинзоны

У нас что сморкаются некрасиво
следует отнять все наши изобретения
детей произведенных нами на свет
посаженные нами деревья
дороги проложенные нами когда-то
и там на острове нас забыть
чтоб мы не осмаркивали дебаты
не брызгнали слюной на всех без различий
не мешали гостям друг друга пожрать
запросто с кишками в рамках приличий

Перевод М.ФАЙНЕРМАНА

Мой поэтический зачет

Пописываю стихи
в остальном же вполне нормален
И ботинки мои одинаковы

Мой стиль совершенно современный
Не роза уснувшая в вазе
а вспышка на кончике стебля

Не позволяю Музе целовать себя
зачем портить бумагу
Когда пишу пользуюсь головой
иначе не знаю
что бы я с ней делал

Пописываю стихи
в остальном же вполне нормален
И ботинки мои одинаковы

Левые

Перевод А. МАКАРОВА-КРОТКОВА

■

ГЕРД РЕЙМЕРС

Жены и музы

Портреты спутниц великих мужей

ФРАГМЕНТЫ

Перевод со шведского Н. ФРЕНКЕЛЬ

Жена и все же неровня

Всем известны такие имена в истории культуры, как Рембрандт, Моцарт, Гёте. Их биографии хорошо изучены, мы понимаем величие этих людей, ценим их творчество. Однако часто совсем не знаем или знаем слишком мало о женщинах, разделивших с ними судьбу. Что нам ведомо о Саскии ван Эйленбург, Констанце Вебер и Христиане Вульпиус, о многих других женщинах, чей невидимый для постороннего глаза, но преданный труд, поддержка и вдохновение, не выставленные напоказ, сделали возможным осуществление великих замыслов этими великими людьми.

Что для них значили женщины, которые несли нелегкую ношу повседневных обязанностей, готовили им, рожали детей, следили, чтобы никто не мешал им работать, были их секретарями и переписчиками и ко всему — источником вдохновения?

Бóльшая часть биографий великих людей написана мужчинами. Вот, видимо, объяснение факта, почему мы знаем так мало о роли всех этих женщин.

У Баха, например, было двадцать детей, но кто же их рожал, нянчил и воспитывал, просиживал возле них ночи напролет, когда болели, кто не давал мешать отцу в минуты вдохновеннейшего созидания у фортепиано или в хоре?

Гёте слывет величайшим почитателем женщин в истории литературы, у него было множество любовниц, но почему в конечном итоге он остановил свой выбор на самой неприметной из них, бедной, необразованной цветочнице Христиане?

Художник Карл Ларссон сам потрудился над созданием своей знаменитой усадьбы в Сундборне — это знают все, но кто догадывается о лепте, внесенной его женой, талантливой и художественно образованной «старушкой Карин», настоящим мастером домашнего интерьера, умевшей шить, ткать и столярничать?

Метта Гоген — какая она была в жизни? Ответственность за судьбу пятерых необеспеченных детей ведь оказалась у нее сильнее желания отправиться к Южному морю вместе с мужем, художником-мечтателем!

Размышляя о роли, сыгранной женщинами в судьбе их великих мужей, понимаешь: тема неисчерпаема. В этой небольшой книге собрано лишь несколько женских портретов. Сделан лишь первый шаг. Но настало время признать — женщины, спутницы великих мужчин, также оставили след в истории культуры. Большинство из них, будучи законными супругами, жили часто в несопоставимых с мужьями, неравных условиях.

© Gerd Reimers, Bokförlaget Legenda AB, 1984

Эта книга — не научное исследование и, рассматривая уже более или менее известные факты под другим, нежели раньше, углом зрения, а именно с позиции женщины, увидим: вырисовываются новые образы.

Скромные, непритязательные, самозабвенно верные, ответственные за дом и детей, не противясь патриархальным устоям своего времени, описываемые и многие, многие другие женщины, о которых в книге не рассказывается, вершили труд немыслимый. Отдадим им дань восхищения, симпатии и уважения.

Арманда Бежар — роли на сцене и в жизни

Вспомним фильм о Мольере Ариадны Мнушкиной [1] — мы с первых же кадров во власти упоенной жизнью молодости: наслаждение сценой, жажда приключений, откровенная чувственность захватывают нас.

За последние триста лет написано множество серьезных научных работ о Мольере, его театре, драмах и времени, в которое жил. Но мне трудно назвать хотя бы одну книгу, которая, несмотря на научную достоверность, воспроизводила бы бьющую ключом жизнь театра так, как это удалось Мнушкиной. Объяснить все можно очень просто: режиссер и ее французская театральная труппа поставили фильм о другой французской театральной труппе, работавшей триста лет тому назад. В конце концов в фильме речь идет о близких им вещах, и артисты, в отличие от ученых мужей, интуитивно постигли главное: они — духовные наследники мольеровского театра.

Если именно так подходить к проблеме, если пытаться создать целостную картину жизни Мольера и его театра, тогда подлинные или поддельные метрики, на которые ссылаются ученые, будут отодвинуты на второй план. Я имею в виду следующее: узнать и понять женщину, находившуюся рядом с Мольером, возможно через видение мира, в котором жила она, будучи частью большого вольного театрального коллектива; и зачем нам ломать голову над тем, кому она приходилась сестрой, а кому — дочерью. Кстати, современные исследователи абсолютно убеждены, что Арманда Бежар была сестрой Мадлен Бежар (поэтому нет ни малейшей необходимости затрагивать вопрос, о который споткнулось множество исследователей Мольера, а именно вопрос кровосмешения). Полное ее имя было — Арманда Грезенда Клер Элизабет Бежар. Она появилась на свет уже после смерти своего отца. Шел 1641 год, но точная дата ее рождения неизвестна. Мы знаем только, что в документах по описи имущества скончавшегося мужа мать Арманды упоминает о «еще не крещенной девочке».

Семья, в которой девочка росла и где ее в конце концов крестили, оказалась подлинно театральной. Хотя отец, Жозеф Бежар, был по профессии лесником, а мать, Мария Эрве,— отличной белошвейкой, оба они играли в театре, причем мать вошла в историю под именем Мадемуазель Эрве. Большинство из десяти их детей также выступали на сцене, а пятеро вместе с Мольером приняли участие в создании труппы «Блистательный театр».

Наиболее яркой личностью в этой театральной семье являлась Мадлен, которая одновременно играла на сцене, была администратором театра, а время от времени — и любовницей Мольера. Она приходилась сестрой Арманде, но злые языки болтали, будто она Арманде мать. Никто не мог точно назвать отца Арманды, молва росла, пока, наконец, не стали утверждать, что это, конечно же, Мольер. А потом и брак его с Армандой объявили актом кровосмешения, так как получалось, что Мольер женился якобы на собственной дочери...

---

[1] Мнушкина, Ариадна (род. 1939), французский режиссер, руководитель театра «Дю Солей» в Париже. Поставила и экранизировала ряд значительных и оригинальных произведений: «1789», «1793» и «Мольер». *(Здесь и далее прим. перев.)*

Мы уже знаем, что исследователи, опираясь на документы и метрики, объяснили несостоятельность этих предположений. Единственно, в чем виноват обычно осторожный Мольер, так только в том, что предпочел молодую сестру своей бывшей любовницы ей самой, утратившей молодость. Возможно, поступок не слишком рыцарский, но этические нормы не нарушающий и отнюдь не криминальный.

Арманда была самой юной, десятой по счету, в семействе Бежар: когда девочка родилась, ее матери исполнилось сорок девять, а отцу — пятьдесят четыре года. Случай не частый, но природа такое допускает.

Театр, основанный Мольером и несколькими членами семейства Бежар в 1643 году, для маленькой Арманды стал домом. По фильму Мнушкиной помним: холмами и равнинами юга Франции продуваемые ветрами, катятся, все катятся повозки бродячей труппы — они и средство передвижения, и дом для актеров, и сцена в провинциальных городках без постоянных театров.

Какой же интересной казалась жизнь маленькой Арманде, которая, едва начав ходить, уже стала учиться танцевать в балете. Она сидела на коленях у Мольера, а он рассказывал ей сказки или с актерами разучивал роли; с молоком матери она впитала атмосферу театра, постоянно находясь среди артистов на сцене и вне ее. Еще ребенком играла детские роли, а в одиннадцать лет выступила в роли Эфира в пьесе Корнеля «Андромеда».

Путешествуя по стране со знаменитым театром и постигая его увлекательный, богатый событиями и чарующий мир, девочка вместе с тем чувствовала себя под защитой окружавших ее людей — настоящей большой семьи, щедрой на пылкие чувства. Семью составляли мать, старшая сестра, другие сестры и братья и — Мольер, почти член семьи. Находясь среди них, Арманда не задумывалась, кто ей в действительности мать, не Мадлен ли. Обе женщины были для нее и за мать, и за старшую сестру.

Она взрослела (то было долгое, насыщенное впечатлениями, самое лучшее время), и случилось наконец неизбежное. Мольера и ее чувства изменились: отечески-братское отношение с его стороны и детская доверчивость с ее обратились в любовь. Конечно, разница в возрасте весьма значительная: Мольер — сорокалетний мужчина, Арманда — девушка, не достигшая двадцати. По возрасту сорокачетырехлетняя Мадлен больше подходила Мольеру, но история их любви осталась далеко позади.

Почему же он на Арманде женился? В театральной труппе царили довольно свободные нравы, у Мольера никогда и в мыслях не было законно оформлять свои отношения с Мадлен. Объяснение скорее всего в силе чувства Мольера к юной девушке, выросшей у него на глазах. Он хотел, чтобы она принадлежала ему всецело, то есть поступал примерно так же, как Арнольф, его герой из «Школы жен», в отношении Агнесы. 1662 год ознаменовался созданием «Школы жен» и свадьбой Мольера. Сравнивая жизнь автора и его героя, Арнольфа, не следовало бы спешить с выводами, но здесь параллели напрашиваются сами собой.

Арманда, впрочем, не была настолько наивной, чтобы верить: детей приносит аист. Выросшая в артистической среде, многое видела, слышала как на сцене, так и за ее пределами. О девичестве Арманды мы можем только строить догадки. Что же касается ее опытности, то она, несомненно, знала гораздо больше Агнесы про жизнь, мужчин и любовь.

Насколько известно, существует единственный портрет юной Арманды. Хотя черты лица правильные, классической красавицей ее не назовешь: нос немного великоват и опущен книзу, губы полноваты. Выражение глаз трудноопределимое, скорее — грустное. Естественные, не накладные волосы перехвачены простой лентой, на шее ожерелье из жемчужин одинакового размера, в ухе — тяжелая жемчужина неправильной формы. Такой, как мы видим ее на портрете, она могла играть мольеровскую роль — одну из тех больших ролей в его пьесах, в которых она так часто выступала. Но, наверное, это не Агнеса из «Школы жен», а Эльмира в «Тартюфе» или Селимена в «Мизантропе».

Как и все женщины из семьи Бежар, Арманда — актриса до мозга костей. О ней писали: весела и открыта нравом, слегка кокетлива, любительница пофлиртовать. Настоящее дитя сцены... Впрочем, так можно сказать о многих. Арманда же называлась псевдонимом Мадемуазель Мену, что в переводе означает «маленькая», «грациозная», «прелестная», и, вероятно, он соответствовал ее внешности. Во всяком случае, миловидный сценический облик Арманды вдохновлял на поэтические строки. Из тактичности какой-то почитатель сначала отправил их самому Мольеру, чтобы ненароком не обидеть законного супруга. Вот эти стихи:

Клонясь к земле среди стеблей,
Пленяясь гибкостью своей,
Побег — чарующий и милый,
Еще не наделенный силой
Подняться к пологу ветвей.
А дуб могучий, весь в листве,
Ему протягивает руки
И слезы льет, томясь в разлуке,
Ревнует к лугу и к траве,
Мечтая, чтоб в недолгий срок
С ним вровень хрупкий стал росток [1].

«Чарующая, гибкая»,— такое впечатление производила Мадемуазель Мену, она же мадам Арманда Мольер, женщина огромной жизненной энергии.

Твердость и силу характера, которые разглядел в этой женщине и воспел в исполненном нежности стихотворном послании безымянный поэт, Арманда проявит позднее, когда, став вдовой в тридцать два года, окажется в исключительно трудном положении. Но ей удастся, несмотря на все козни судьбы, сохранить театр Мольера экономически и административно как единое целое, и в том, что труппа Мольера сегодня считается прямым предшественником «Комеди Франсез» [2], французского национального театра, есть и ее заслуга. В свою очередь «Комеди Франсез» постоянно подчеркивает эту преемственность, называя себя сегодня «Домом Мольера»; кресло же, в котором скончался Мольер после четвертого представления пьесы «Мнимый больной», остается одной из самых дорогих реликвий театра.

Одиннадцать лет прожили вместе Мольер и Арманда, не всегда спокойных одиннадцать лет. У них родились трое детей, но выжила лишь дочь Эспри-Мадлен. Годы с 1662 по 1673, год смерти Мольера,— отмечают вершину успеха обоих супругов: он — директор театра, актер, драматург, охотно принимаемый в свете, она — известная актриса. Какой же то был триумф для Мольера, когда сам молодой король Людовик XIV стал крестным отцом его первенца и дал мальчику свое королевское имя! Жаль, малыш не прожил и года. Третьему ребенку Мольера, сыну Пьеру-Жану-Батисту-Арману, тоже не суждено было преодолеть роковую черту: он родился и умер в 1672, за год до кончины отца.

Когда, после многолетних разъездов по французской провинции, прославленный театр возвратился в Париж, для Мольера, директора театра, настала пора творить. Королем обласкан, спектакли собирают публику, бенефисы приносят доход — время заняться сочинительством.

Начало было положено еще пьесой «Школа жен», в которой оба главных героя, можно сказать, играли самих Мольера и Арманду: Арнольф, сорокалетний буржуа, хочет жениться на Агнесе, девушке, чуть не вдвое его моложе, выросшей у него в доме, его питомице. В зрелом возрасте он решает жениться на ней, чтобы и дальше оберегать. Роль Арнольфа можно трактовать по-разному: и как помешавшегося от любви старого болтуна, подчеркивая комические стороны его натуры, и как человека, переживающего настоя-

[1] Перевод И. И.

[2] Старейший национальный театр Франции, основанный в 1680 г. в Париже по указу Людовика XIV.

щую драму. Так его играл Аллан Эдваль в спектаклях, поставленных в «Драматен» [1] и на шведском телевидении Альфом Шёбергом [2], Ингмаром Бергманом осенью 1983 года. Роль Агнесы тоже не проста. В первой реплике она совсем по-детски объясняет печаль: «Котеночек умер». Здесь — она сама добродетель, просто прелестная, юная послушница из монастыря; но, сражаясь за свою любовь к Орасу и побеждая, обнаруживает уже совершенно иной характер. Мадемуазель Мену преображается в мадам Арманду.

Когда с возрастом угасла звезда Мадлен, самой блестящей актрисой в труппе Мольера становится Арманда. Она создает на сцене все основные женские образы мольеровских драм, рождавшихся на свет божий в период его творческого подъема одна за другой с конца 60-х по начало 70-х годов: после «Школы жен» появились «Мизантроп», «Тартюф», «Мнимый больной», «Скупой», «Господин Де Пурсоньяк», «Мещанин во дворянстве» и ряд других пьес с великолепными женскими ролями: Эльмира, Селимена, Доримена и прочие.

Жизнь Арманды протекала теперь беззаботно в обстановке невероятной для того времени роскоши. А ведь годы ее взросления оказались нелегкими, и первые квартиры, в которых она, выйдя замуж, жила в Париже,— весьма скромными. Теперь же вместе с Мольером она могла поселиться на улице Ришелье в самом центре города в доме, напоминавшем дворец. Судя по одному из описаний, то было богато отделанное каменное здание с двадцатидвухметровым фасадом, выходившим на главную улицу, и большим двором, где размещались флигили. В этом доме на втором этаже и поселилась Арманда, заняв три комнаты окнами на улицу — три красивые комнаты, меблированные изысканной мебелью, с дорогими гобеленами из Фландрии на стенах. Для музицирования у нее имелось двое цимбал: Арманда была музыкальна и обладала приятным голосом. Но, читая перечень имущества из квартиры Арманды, не избавиться от впечатления: роскошь избыточная — сколько же обитых плюшем кресел, маленьких позолоченных столиков, великолепных канделябров, множившихся в венецианских зеркалах...

Даже составлявшие опись имущества нотариусы лишились дара речи, когда перед ними предстало ложе примадонны, покоившееся на четырех бронзовых львиных лапах, с длинной подушкой из брюссельских кружев, лазурно-голубым балдахином, укрепленным на четырех больших вазах из позолоченного дерева. Сверху глубокими складками ниспадали восемь драпировок из зеленого и розового шелка. К тому же ложе обрамляли цветистые парчовые ткани с бахромой. Своим великолепием ложе настолько потрясло нотариусов, что они определили ему цену в две тысячи ливров.

И не вообразишь себе малютку Арманду в пышных, отделанных без особого вкуса покоях.

С помощью нотариусов можно составить представление и об украшениях Арманды, ее исключительно дорогом гардеробе. Гардероб мадам был неописуемо богат, возможно, включал и ее театральные костюмы, сшитые из натуральных тканей, которые переливались красками в свете рампы...

Безусловно, «еще не крещенной малютке» — как впервые упомянута в документах — Арманде выпала необычная судьба. Но утопавшая в роскоши жена директора театра — не последняя из многочисленных ролей, сыгранных Армандой Бежар в жизни. За последнюю и самую трудную ей предстояло взяться вечером 17 февраля 1673 года, когда умиравшего, уже почти без сознания, исходившего кровью Мольера, принесли из театра в дом и расположили рядом с серебряной плевательницей, позднее также обозначенной в описи имущества.

Тем же февральским вечером Мольер скончался. Вот когда душевная твердость и силы Арманды подверглись испытанию: ведь ей играть Белин-

---

[1] Сокращенное название Королевского драматического театра в Стокгольме.

[2] Шёберг, Альф (1903—1980), выдающийся шведский актер и режиссер, известен блестящими постановками классики (Шекспир, Мольер, Стринберг) на сцене «Драматена».

ду в шедшем тогда мольеровском спектакле «Мнимый больной»! The show must go on [1] — так считалось в Париже в XVII веке. После смерти и похорон Мольера театр оставался закрытым лишь несколько дней. 24 февраля спектакли возобновились «Мизантропом», а 3 марта вновь был показан «Мнимый больной» — уже с другим исполнителем в главной роли. Одновременно Арманда затевает продажу дома и обустраивается значительно скромнее. Вместе с сестрой Женевьевой и ее мужем снимает небольшую квартиру на левом берегу Сены за годовую плату, равную всего половине названной нотариусами стоимости ее прежнего ложа с балдахином.

Не просто оказалось сохранить театр в прежнем виде, многие лучшие актеры покинули его после смерти самой яркой звезды в труппе — Мольера. В результате интриг Арманда лишилась и самого здания театра. Но при поддержке актера Лагранжа она реорганизует труппу, нанимает новых актеров, снимает другое здание под театр на улице Мазарини — напротив театра «Генего» [2], чье имя стала носить и новая сцена, открывшаяся 9 июля 1673 года. Как и прежде, в репертуаре значились пьесы Мольера: решено было начать с «Тартюфа». Но если при жизни Мольера доходы от спектаклей составляли 1500—2000 ливров за вечер, то теперь они не превышали 700—800 ливров и делились поровну между всеми актерами. Звезда труппы и самая надежная опора Арманды, актер Лагранж, получал теперь примерно в четыре раза меньше прежнего. Но ничто не могло их остановить: они пригласили драматургов, нашли актеров. С одним из них — Герэном — тридцатишестилетняя вдова обретает новое счастье: венчание происходит в капелле Сен-Шапель в 1677 году. Клевета и оговоры возобновляются с удвоенной силой.

Слухи поползли сразу после смерти Мольера: говорили, что священники отказали умиравшему в причастии и что его должны были похоронить тайно ночью, как всех закоренелых грешников, для которых на свете ничего святого, которые способны даже на кровосмешение. И теперь, через четыре года, молва Мольера не щадила: священники не захотели прийти к умиравшему именно из-за кровосмешения. Опять звучали издевательские куплеты. Сколько страданий причиняли они Арманде! Что она думала о Мольере, родителях, к тому времени скончавшейся и завещавшей бóльшую часть имущества Арманде и ее семье Мадлен, слыша эти оскорбительные вирши:

В мужьях держала гения она,
вполне пренебрегая им.
Теперь в постель легла с другим —
Хоть и не гений он, но малый не из робких [3].

Измышления строились на фактах, и все же то был грубый пасквиль.

В новом браке у Арманды родился сын, Никола Арман, маленькой же дочке Мольера, Эспри-Мадлен, второй муж Арманды оказался добрым отчимом. Герэн для сплетников был плох тем, что заступил место Мольера в постели Арманды. В остальном его числили по разряду обычных и даже достойных уважения мужчин, считали неплохим актером; он пережил Арманду, скончавшуюся в 1700 году, на целых двадцать восемь лет.

Отвлекаясь несколько от истории Арманды, упомянем о неожиданном и чрезвычайно значительном событии в театральной жизни Парижа того времени. Прологом к нему послужило ловко устроенное похищение старым другом Арманды актером Лагранжем мадам Шанмеле, примадонны театра «Бургундский отель» [4]. После смерти Мольера то был, безусловно, ведущий театр Парижа, и театр «Генего» не выдерживал с ним конкуренции, Шанмеле же считалась лучшей актрисой конкурирующего театра: когда-то она была любовницей Расина и во всех трагедиях драматурга ей неизменно

---

[1] Спектакль должен продолжиться *(англ.)*.

[2] Театр, носивший название улицы, на которой был расположен.

[3] Перевод К. Мурадян.

[4] Французский драматический театр, созданный в 1548 году в Париже,— один из трех театров, ставших в 1680 году основой «Комеди Франсез».

сопутствовал большой успех. Переход примадонны и ее мужа в театр Арманды явился поводом для слияния трупп, новый театр получил факсимильную печать короля Людовика XIV 8 августа 1680 года, и таким образом было положено начало Национальному театру Франции «Комеди Франсез», или «Дому Мольера», как сегодня парижане называют любимейший театр.

Самому Мольеру не хватило жизни, чтобы увидеть в подлинном расцвете свой театр, созданный им еще в молодые годы. Арманда и ее друг Лагранж сыграли заглавные роли в драматической истории мольеровского театра. Без их имен немыслима история французского театра.

Итак, мы убедились, Арманда — воистину дитя сцены: чуть ли не в театре родилась, детские годы провела со странствующей театральной труппой, замуж вышла за Мольера, директора ведущего театра своего времени, режиссера, актера, драматурга в одном лице. В его пьесах она играла главные женские роли, а после смерти Мольера продолжила его дело и завершила — с триумфом.

Надпись на скульптурном бюсте Мольера, сделанная от имени Французской Академии, гласит: «Его слава совершенна; нашей славе его недоставало».

Эту надпись можно было бы перефразировать: «Его слава совершена, но роль Арманды в ней забыта».

Так и не понятая Констанца Вебер

Немного найдется женщин из тех, что были женами людей великих, которые у потомков вызывали бы столь неприятные чувства, как Констанца Моцарт. Дурная слава о ней складывалась еще в XIX веке, но окончательный приговор вынес Альфред Эйнштейн [1] в подробной биографии Моцарта. Эйнштейн находил у Констанцы множество отталкивающих черт: она и неаккуратна, и легкомысленна, необразованна, немузыкальна, эгоистична; при поддержке дьявольски коварной матери, которую Эйнштейн называл не иначе, как «злобная истеричка», она завлекла неопытного Вольфганга в свои сети.

Эйнштейн не может простить Констанце, что она так и не распознала в Моцарте гения, продала его одежду, сочинения, потеряла другие, не менее важные бумаги, что была плохой женой и матерью, уехала лечиться (надо понимать — развлекаться) в Баден, когда для Моцарта настал последний, тяжелый этап жизненной битвы, завершившийся смертью, что не присутствовала на похоронах мужа и узнала о месте его погребения лишь много лет спустя.

Перечень недостатков, а вернее «преступлений» Констанцы у Эйнштейна не имеет конца. Возникает вопрос: что же тогда увидел Моцарт в молоденькой девушке, с которой, обливаясь слезами счастья, он вступил в брак в соборе св. Стефана 4 августа 1782 года?

Вряд ли Моцарт оказался просто жертвой интриг семейства Вебер, как на этом настаивает Эйнштейн, для которого Констанца — отвратительное черное насекомое, навсегда оставившее свой след на сверкающей поверхности янтаря: пройдут миллионы (читай «сотни») лет, а черное отвратительное пятно будет омрачать сияние гения. Мнение Эйнштейна повлияло на других биографов Моцарта, никто из этих исследователей (а все это — мужчины) не задумался: как же самой Констанце виделось ее положение, как справлялась с интригами, которые плелись вокруг нее и Моцарта, с буднями жены и матери, с болезнями и муками, выпавшими на долю спутницы жизни Вольфганга.

И ведь достоинств не была лишена! Нельзя же заподозрить в фальши Вольфганга, в часы разлуки писавшего ей нежные и игривые любовные письма.

[1] Эйнштейн, Альфред (1880—1952) — немецкий историк музыки.

«Моя любимая женушка,— пишет он, например, из Будвайса во время концертного турне 1789 года,— в то время, как князь занимается покупкой лошадей, я пользуюсь возможностью, чтобы написать тебе, моя дорогая. Как поживаешь? Так же ли часто думаешь обо мне, как я о тебе? Каждую минуту я смотрю на твой портрет и плачу от счастья и печали. Береги себя ради меня и будь здорова, любимая! Обо мне не беспокойся, в этой поездке я не испытываю недостатка ни в чем, только, конечно же, тебя не хватает. Я пишу эти строки и обливаюсь слезами. Прощай, целую тебя нежно-нежно миллион раз, навеки твой, пока смерть не разлучит нас».

Кто сочиняет такие любовные письма, да еще после семи лет брака, как не истинно любящий человек?

Еще предвзятое суждение, принимаемое большинством исследователей жизни Моцарта аксиомой: он любил сестру Констанцы, Алоизию, которая была двумя годами старше, и когда Алоизия вышла замуж за художника Йозефа Ланге, Моцарту не оставалось другого, как жениться на Констанце. Согласился, так сказать, на товар второго сорта... Это утверждение не выдержит никакой критики, если вчитаться в откровенные, шутливые, а иногда и страстные письма Вольфганга к Констанце.

Все, писавшие о Констанце Моцарт, во главу угла ставили факт ее замужества и совсем не задумывались о личности этой женщины. Безусловно, для истории она останется в первую очередь женой Моцарта, но видеть в ней лишь его тень — ошибка. Когда музыкальные биографы Моцарта заговаривают о Констанце, мнение у них, как правило, заготовлено — позаимствовано из других источников и на страницы их книг перенесено в неизменном виде. Эйнштейн среди них, пожалуй, исключение, но самостоятельно им созданный образ Констанцы совершенно лишен привлекательности. Так давайте же попробуем написать о Констанце главу в истории музыки в другом, чем это принято, ключе, попытаемся думать не все о Моцарте, а дадим ей возможность хоть раз исполнить отдельную партию. Пусть она оставит окружающий Моцарта ореол славы — быть может, увидим Констанцу в ее собственном блеске! .

Констанца Вебер происходила из семьи ремесленников, корнями уходившей в Брейгау; в роду были мукомолы, ткачей [1] не было. Родители прозывались — Фридолин Вебер, Цецилия Штамм; отец Констанцы лишился службы у крупного помещика как раз к моменту рождения дочери, в 1763 году. Вообще же Вебер произвел на свет четырех дочерей: Йозефу (1759), Алоизию (1761), Констанцу и Софи (1763). Все они, за исключением, возможно, Йозефы, сыграли в жизни Моцарта определенную роль.

Когда в 1778 году Моцарт знакомится с семейством Вебер, проживающим в Мангейме, Констанца — еще подросток. Моцарт, наверное, даже не обращает на нее внимания, он увлечен шестнадцатилетней Алоизией, обладающей приятным голосом. Впрочем, в семье поют все дочери, музыкальные способности, унаследовавшие, вероятно, от отца, играющего на тромбоне, а точнее от рода Веберов: у брата Фридолина ведь в скором времени родится сын, будущий композитор Карл Мария фон Вебер [2] (он же — кузен жены Моцарта).

Год спустя семья из материальных соображений переезжает сначала в Мюнхен, а затем в Вену, где Алоизия устраивается оперной певицей. Она и поддерживает семью после смерти отца.

Семейство Вебер оказалось в нелегком положении: четыре дочери — кто на выданье, кто — уже на пороге замужества. Содержание дочерей и приданое — вот что стало главной заботой фрау Вебер. Понятно поэтому, отчего ее дети не могли похвастаться образованием. Система школьного обучения, введенная императрицей Марией-Терезой в 1742 году, притом еще не нашла повсеместного распространения и не являлась обязательной. Да и общее образование, как, вероятно, рассуждали Веберы, не столь

[1] Weber — ткач *(нем.)*.

[2] Вебер, Карл Мария фон (1786—1826), немецкий композитор и дирижер. Основоположник немецкой романтической оперы («Волшебный стрелок», «Оберон»).

важно, сколь музыкальное: ведь певица все-таки вправе рассчитывать на ангажемент в театре, что подтверждал пример Алоизии.

Лучший способ и доход получить, и женихов залучить — это сдавать комнаты, что и выбрала фрау Вебер, переехав для того в большую квартиру недалеко от Грабена, в дом под названием Zum Auge Gottes [1]. Жильцов она будет брать на полный пансион. Она только принималась за дело, когда одним ясным майским днем 1781 года Моцарту случилось крупно поссориться с зальцбургским архиепископом, а дальше — твердо решить: подневольному труду — конец, отныне он — свободный музыкант и сам заботится о своем будущем.

В сложившейся ситуации естественно было вспомнить о друзьях — семье Вебер из Мангейма, проживавшей уже в Вене и сдававшей комнаты внаем. Так Моцарт стал «первой мухой, попавшей в сети паука», как писал Эйнштейн.

Когда Моцарт разыскивает это семейство, его, безусловно, интересуют «все Веберы» — его друзья из Мангейма. У него с прежних времен сохранились с ними непринужденные отношения. Но уже летом 1781 года у Вольфганга с Констанцей начинается флирт (Йозефа — дурнушка, Алоизия замужем за артистом Ланге, а самая младшая Софи еще слишком юна). Восемнадцатилетняя Констанца — симпатичная, бойкая девушка, так и брызжущая веселыми выдумками, у нее приятный голос, она немного играет на фортепиано. Карие, живые, как у белки, глаза Констанцы шаловливо посматривают из-под темных кудрей, при невысоком росте у нее складная фигурка, она отлично танцует. Словом, с симпатичной, веселой и привлекательной юной фрейлейн Вольфганг теперь ежедневно встречается в доме. Фрау Вебер чует, что между молодыми людьми возникла симпатия, и торопится пристроить вторую дочь, она плетет интриги: как часто некоторые матери, пересказывает, что «люди болтают», выкладывает отдельные подробности другу дома Торварту, который не умеет держать язык за зубами, и клубок интриги стремительно раскручивается. Но вот уж что действительно нехорошо в этой истории, так это брачный контракт, который фрау Вебер заставляет подписать Вольфганга: «Настоящим я заверяю, что в течение трех лет обязуюсь жениться на девице Констанце Вебер, в противном случае я готов заплатить компенсацию в размере такой-то суммы и выплачивать 300 флоринов ежегодно в пользу фрау Вебер до конца ее жизни». Спору нет — история некрасивая, и ничего удивительного, что отец Моцарта, Леопольд, взволнован в далеком Зальцбурге и в письмах к сыну называет происходящее шантажом. Сам же Моцарт спокоен: считает, что он ничем не рискует, потому что единственное, чего он желает и к чему стремится,— это жениться на девушке, которую любит.

Углубляясь во все эти перипетии, ни один биограф не задался вопросом: что же переживала Констанца. Вдоль и поперек изучаются мотивы отца Моцарта и матери Констанцы, мнение Наннерль [2], что сказал Вольфганг, а что — друг дома Торварт. Но никто не заинтересовался самой Констанцей. Трудно представить себе, что она чувствовала, узнав об интригах, затеваемых вокруг так называемой помолвки! Могла ли, преданная, не страдать от унижения и позора? Ее мать, называя вещи своими именами, попросту сплавляет ее жениху под угрозой взыскания денег по суду в случае отказа жениться. Каково это для чувства собственного достоинства юной влюбленной? Когда Констанца узнает о происшедшем, она предпринимает единственно правильный шаг в сложившейся ситуации: рвет отвратительный документ. Поступок свидетельствует, что девушка не только обладала чувством собственного достоинства, но, предельно возмущенная, умела за себя постоять.

Почти во всех биографиях женитьба Моцарта считается началом его конца. Это мнение не одного Эйнштейна, например, Карл Кобальд убежден: «Женитьба означала для Моцарта вступление в трудную полосу жизни,

[1] «Под оком Господним» *(нем.)*.
[2] Сестра Моцарта.

началась непрерывная, изнурительная борьба с бедностью, так и оставшаяся невыигранной, каждодневная борьба за нищенское существование».

События вокруг брачного контракта разыгрываются осенью 1781 года. Весной следующего года Констанца делает попытку сблизиться с благородными родственниками из Зальцбурга, отправляет подарки Наннерль и пишет трогательное письмо. Конечно, там полно шибок — единственное, что увидел в нем Эйнштейн, не сумевший простить Констанце отсутствие образования. Не замеченным же для биографа остается в письме главное: стремление подружиться с семьей Вольфганга.

Естественно, после случившегося девушка была рада покинуть дом. Она принимает приглашение пожить компаньонкой у баронессы фон Вальдштеттен, прослывшей оригиналкой, что касается светских развлечений. Однажды у баронессы играли в фанты, и Констанца, чтобы получить обратно фант, дала измерить объем своих стройных икр. Невинная светская забава настолько шокировала фрау Вебер, что та грозила обратиться в полицию нравов, если Констанца не вернется домой, или — лучше — немедленно не выйдет замуж. Так фрау Вебер ускорила свадьбу: рыцарственный Вольфганг не мог допустить, чтобы любимая им девушка подвергалась злобным нападкам.

4 августа в соборе св. Стефана состоялось бракосочетание при бурном проявлении чувств со стороны жениха и невесты. Их слезы вполне понятны, учитывая предшествовавшие браку события: они плакали от счастья, от того, что их связали, наконец, супружеские узы. Что же тут странного, ведь речь идет о тех временах, когда люди открыто давали выход нахлынувшим чувствам. Они плакали, наконец, от облегчения, что все позади, и они начинают совместную жизнь. Бракосочетание завершилось устроенным уже известной нам баронессой фон Вальдштеттен званым обедом, после которого новобрачные направились в свой первый семейный дом, Zum roten Säbel [1], расположенный на Випплингерштрассе, всего лишь в нескольких шагах от того, что «Под оком Господним», и от собора св. Стефана.

О чем задумывалась на другое же утро Констанца, когда ее новоиспеченный супруг читал письмо от отца из Зальцбурга, в котором тот еще раз предостерегал сына от уже освященного брака?

Нам это неизвестно, мы можем только представлять ход ее мыслей, догадываться о ее чувствах. Худшее осталось позади. Il matrimonio segreto [2] увенчал похищение из-под «Ока Господня», и двое составляют одно целое, будущее же видится светлым. Ему — двадцать шесть лет, ей — только девятнадцать. Нет сомнений, Вольфганг влюблен, это явствует из его писем домой: он превозносит достоинства Констанцы — она одевается со вкусом, аккуратно и не вычурно, в целях экономии сама шьет и причесывается, подчеркивает он. Все, что женщине надо уметь,— делает. Он любит ее, как и она его, от всего сердца. Может ли он мечтать о лучшей жене?

Письма Моцарта, кому бы он ни адресовал их, исполнены любви к Констанце и содержат нежные о ней рассказы. Странно, что биографы Моцарта не верят письменным свидетельствам.

Но безоблачное небо их любви постоянно омрачено материальными трудностями. Всего за несколько недель до их бракосочетания в Бургтеатре [3] прошла премьера оперы «Похищение из сераля», и Моцарт постоянно работает над новыми произведениями. Тем не менее он не может бросить частные уроки. При этом беспрестанные переезды: за один лишь 1782 год семья четыре раза меняла адрес. После квартиры на Випплингерштрассе они очутились «в неподходящий момент на Кольмаркт, в ужасном жилище», совсем недолго прожили в старинном Траттнерхофе около Грабена и еще меньше — на теперешней Юденплатц, 3. Наконец, они поселяются в доме № 5 на Шулерштрассе, за собором св. Стефана.

Эти переезды совпали с первой беременностью Констанцы: родившегося ребенка, мальчика, Вольфганг хотел назвать в честь отца

---

[1] «У красной сабли» *(нем.)*.

[2] Тайный брак *(лат.)*.

[3] Созданный в 1741 году венский драматический театр, имел оперную труппу.

Леопольдом, он мечтал восстановить прерванные отношения с семьей, жившей в Зальцбурге. Но хозяину их квартиры, за которую плату вовремя не внесли, выбор имени не пришелся по вкусу, поэтому первенца назвали Раймундом.

Свекор задет за живое, и, чтобы смягчить его гнев, Констанца решает предстать перед родственниками, молодые едут в Зальцбург.

Они наносят визиты вежливости, а Констанца даже поет одну из партий в мессе c-moll Моцарта в соборе. По возвращении в Вену, после трехмесячного пребывания в Зальцбурге, они сражены страшным известием: малютка Раймунд-Леопольд умер, уже похоронен, «этот пухленький, милый малыш».

Безграничным должно было быть горе Констанцы, но ведь об этом нет свидетельств.

На три месяца она покинула сына, чтобы наладить отношения с родственниками мужа, и вот, такая потеря... Никакого объяснения случившемуся несчастью она не получила. Как матери пережить непоправимое?

Коснемся тех фактов, которые обходят биографы, обычно завершающие описание семьи Моцарта несколькими словами о двух его сыновьях, бесспорно, музыкальных, но в жизни не преуспевших.

Да, у Моцарта осталось двое сыновей, но за девять лет супружества Констанца перенесла шесть беременностей и родов. Ее первенец умер, прожив лишь несколько месяцев; год спустя родился второй сын, Карл Томас. С недельным младенцем семья переселилась в прекрасную квартиру на Шулерштрассе, где была написана опера «Свадьба Фигаро», где протекли четыре, для Моцарта и Констанцы самых счастливых, года в Вене. Две дочери, затем появившиеся на свет, умерли во младенчестве (одна носила шесть имен, имела много крестных отцов, но и это не помогло). Еще сын, появившийся в 1786 году, умер в месяц от роду.

Самый младший ребенок, сын Франц Ксавер Вольфганг, родился в 1791 году в июне, а в декабре — уже не стало Моцарта. Братья Франц и Карл, семью годами старше, должны были продолжить род. И не продолжили: ни старший брат, служивший в Милане, ни младший, музыкант, живший одно время в Польше, не оставили потомства.

Шесть родов за девять лет — тяжелая доля для женщины, а четверо умерших детей, а погибшие надежды!

Так вправе ли биографы-мужчины чернить Констанцу? Почему никто из них не допустил, что она, после всего пережитого, безусловно, нуждалась в лечении на курорте в Бадене. Что думает, например, Эйнштейн? Что она там танцевала, флиртовала, развлекалась? И это в то время, когда Вольфганг (как он считает) дома в Вене умирал в одиночестве!

После родов Констанца ездила на лечение в Баден дважды или трижды. И всегда получала ободряющие письма от своего Вольферля. Кого не обрадовало бы такое, например, датированное 1789 годом письмо из Берлина: «Я целую и обнимаю тебя 1.095.060.082 раза (попрактикуйся, произнеси!) и навсегда остаюсь твоим самым преданным другом и мужем — В. А. Моцарт.»

Биографы композитора прежде всего находят непростительными действия Констанцы с середины и до конца 1791 года. Она в Бадене на лечении (в их трактовке: развлекается на балах), а Моцарт один в Вене заканчивает «Волшебную флейту», работает над «Реквиемом», в то время как силы его убывают.

Приглядимся, как же действительно прошли эти последние полгода. Окажется, что бóльшую часть лета оба супруга провели в Бадене, жили и в Реннгассе (сегодня дом украшает мемориальная доска, сообщающая, что здесь Моцарт написал мотет «Ave verum corpus» [1]. 26 июля оба возвратились в Вену, где родился их последний ребенок, сын Франц Ксавер. После родов Констанца снова едет в Баден, а Вольфганг курсирует между Баденом и Реннгассе (супругов разделяют всего две мили). В августе

[1] Сочинение для четырех голосов и камерного инструментального оркестра на канонический религиозный текст.

Моцарт направляется в Прагу, и Констанца оставляет детей, в том числе и новорожденного, в одной семье в Перхтольдсдорфе, чтобы сопровождать мужа. 30 сентября должна состояться премьера «Волшебной флейты» в Театре на Видене, в предместьях Вены. В октябре Констанца снова в Бадене, затем едет с сыном Карлом домой.

Она, конечно, видит, что муж болен и изнурен тяжким трудом, пытается отвлечь его от работы, даже прячет партитуру «Реквиема». Берет его с собой на прогулки в парк Пратер, если позволяет погода. Другими словами, делает все возможное, чтобы муж не работал до беспамятства. Она просит сестру Софи прийти помочь ей с детьми и по хозяйству, когда через два дня после своего последнего публичного выступления, 20 ноября, Вольфганг слёг.

В этот завершающий период жизни Моцарта семья еще раз переезжала. Им пришлось оставить отличную квартиру, где была написана опера «Свадьба Фигаро», средств не хватало. Теперь они поселились на окраине Вены.

Известна грустная история о том, как фамильное серебро перекочевало в ломбард, как однажды не нашлось денег для покупки дров, и, чтобы согреться, они... танцевали. Истории сочиняют разные, но сохранились документы — это письма-просьбы, которые неумолимо свидетельствуют: нужда не только стояла у дверей, а переступила порог их дома. Какие уж тут романтические выдумки, если сохранились последние письма Моцарта с мольбой о помощи.

Эти письма разрывают сердце и через двести лет: «Многоуважаемый друг и брат по ордену! Я нахожусь в положении, которого не пожелал бы и злейшему врагу. И если Вы, мой уважаемый друг и брат, покинете меня, то я погиб для моей бедной, больной жены и малютки сына. О, Боже! Вместо изъявления благодарности я снова должен просить Вас о помощи. Вместо того, чтобы вернуть долг — снова должен молить о деньгах. Зная меня, Вы поймете, как это трудно.

В следующем месяце я получу от дирекции двести дукатов за оперу («Так поступают все»). Если бы Вы могли одолжить мне до этого времени четыреста флоринов, то тем самым помогли бы другу в ужаснейшем положении. Даю Вам слово чести, что верну все к назначенному сроку».

Как можно на Констанцу возлагать вину за все?

За то, что заказы не поступали, частные уроки прекращались, а жители Вены предпочитали Моцарту более понятного Сальери? Будь она «бóльшего ума», разбирайся в грамматике, разгляди она в муже гения — тогда бы остановила нужду у порога?

Особенно укоряли Констанцу, что не оценила в муже гения. Но этот грех она разделяла со многими своими современниками в Вене. Она ближе всех стояла к Моцарту, что правда, то правда, но она несла тяготы их будничной совместной жизни, до оценок ли было ей! И могла ли она оценить его гениальность?

Она оказалась замужем за человеком, не способным содержать семью, конечно, чрезвычайно одаренным и невероятно трудолюбивым, превозносимым в определенных кругах, но далеко не везде и прежде всего не там, где возможно заработать на жизнь. Каждый ее день с Вольфгангом — это была постоянная борьба с трудностями, это недомогания, болезни, беременности, беспокойства из-за чрезмерной загруженности мужа работой и тяжелого материального положения семьи, это зависимость от различных благодетелей; добавьте сюда сплетни в небольшом городе, каким все еще оставалась старая Вена. Необходимо ясновидение пророчицы, терпение ангела, выносливость атлета, чтобы выдержать такие условия.

Констанца не обладала свойствами сверхчеловеческими, а потомки заклеймили ее как плохую жену и мать, легкомысленную, небрежную...

Виновата ли Констанца, что вечером 5 декабря, когда приближался неотвратимый конец, вызванный ею к мужу врач пришел слишком поздно? Врач был в опере и, разумеется, хотел досмотреть спектакль до конца. Рядом с умиравшим Моцартом оказались две — в глубоком отчаянии — женщины: Констанца и ее сестра Софи.

Рассказывают такую историю о Констанце в тот вечер: она бросилась на колени, моля милосердного Бога о помощи. И еще одну: она легла рядом с мертвым мужем, желая тотчас же последовать за ним.

Какая из этих историй правдивей или обе они вымысел — не имеет значения. Ясно: обстановка в доме умершего была такой, что приехавшему туда поздно вечером барону Готфриду ван Свитену пришлось взять дела в свои руки. Исходя из материального положения семьи, он, естественно, решает похоронить Моцарта по самому низшему разряду. При строго регламентированном ритуале похорон того времени такое погребение стоило 8 гульденов 50 крейцеров — единственное, о чем и могла идти речь.

Здесь придется коснуться еще одного поступка Констанцы, сурово осужденного потомками. Ее укоряли, что она не пошла на погребение мужа. Да, ее там не было. В то время при отпевании дозволялось присутствовать только мужчинам. Отпевали Моцарта в соборе св. Стефана уже на следующий день. Похороны по низшему разряду разрешались с наступлением темноты. Все делалось спешно, и после отпевания в церкви погребение совершалось как можно скромнее. Захоронение в «общей могиле», которое с негодованием описывается в литературе о Моцарте, и являлось самым скромным, ряды подобных могил вскоре сравнивались с землей, там не допускались отдельные памятники или надгробия, поскольку участки использовались многократно. Ничего удивительного, что место захоронения Моцарта точно неизвестно — могилы бедняков перекапывались каждые семь лет.

Если учесть все подробности, связанные со смертью и погребением Моцарта, Констанца, безусловно, предстанет в ином свете — вовсе не бесчувственным чудовищем, развлекавшимся в Бадене и бросившим мужа в последние минуты его жизни.

А кто задумывался о положении Констанцы после смерти Моцарта — вдовы с двумя маленькими сыновьями и описанным для уплаты долгов имуществом (мебель, предметы домашнего обихода, книги, одежда) стоимостью в 500 гульденов и 60 гульденами наличных. Долги же составляли свыше 3000! Констанцу обвиняли, что ради денег на самое необходимое она продала партитуры мужа; так, например, король Пруссии заплатил 800 гульденов за восемь партитур. Часть долгов была уже списана, когда кредиторы поняли: бесполезны попытки получить хоть что-нибудь. Вдова обращается к императору с просьбой о пенсии и после довольно длительного ожидания получает согласие на пенсию в размере всего 260 гульденов годовых, так как покойный прослужил всего три года. Констанца не довольствуется этим. Она пропагандирует музыку Моцарта всевозможными способами, включая концертные поездки, в которых иногда выступает сама, ведет переговоры с различными издательствами (например, с «Брейткопф и Хертель») о правах на издание произведений композитора.

Положение Констанцы отчаянное со всех точек зрения. Неудивительно, что в поисках выхода она решается поступить так же, как ее мать, когда осталась вдовой: Констанца переезжает в большую квартиру и по примеру фрау Вебер начинает сдавать комнаты. Мальчиков отдает друзьям в Праге: Карл воспитывается в семье друга Моцарта Франтишека Нимечека, а Франц Ксавер — у других добрых друзей Моцарта — Душеков. Итак, жизнь течет, несмотря ни на что. Не забудем, что Констанца овдовела в двадцать восемь лет. Она выстояла, чтобы затем прожить долгую жизнь. Насколько можно судить, она проявила большую изобретательность и энергичность, все это помогло ей чудесным образом пережить мужа почти на целых пятьдесят лет.

Одним из ее квартирантов оказался дипломат Георг Ниссен (1761—1826), секретарь датского посольства в Вене. Когда именно он квартировал у Констанцы, неизвестно, мы также не знаем, когда они сблизились.

В 1809 году они поженились, и Констанца, уже жена датского дипломата, с 1810 по 1820 годы проживала в Копенгагене. Конечно, и во втором браке она возбуждала сплетни. Со временем Констанце открылась гениальность первого мужа, и она, вторично замужем, величала себя —

к неудовольствию многих — вдовою Моцарта. Ниссен, музыкально одаренный человек, впрочем, почитал за честь подчеркивать, что его жена прежде была замужем за Моцартом.

Выйдя на пенсию, Ниссен переехал — лечиться от настигших недугов — в Бад-Гастейн (Австрия) и при этом руководствовался не одними медицинскими соображениями. Он выбрал место из-за близости к Зальцбургу, родине Моцарта, и свои последние годы посвятил созданию биографии композитора; надо сказать, что он не испытывал недостатка в источниках. Биография строилась на воспоминаниях его жены, золовки Софи и других, еще живших в то время современников великого музыканта. Принято считать, что написанная Ниссеном биография оставалась единственной в своем роде вплоть до 1856 года, то есть до появления работы Отто Яна, опубликованной к столетию со дня рождения Моцарта.

Судьбе было угодно, чтобы Констанца Ниссен, урожденная Вебер и в первом браке — госпожа Моцарт, в конце жизни снова оказалась в Зальцбурге, родном городе Моцарта. Став вторично вдовой (Ниссен умер в 1826 году), она переехала туда вместе с также овдовевшей сестрой Софи. В Зальцбурге находилась и баронесса фон Берхтхольд цу Зонненберг, то есть сестра Моцарта, Наннерль, та самая одаренная девочка, сопровождавшая чудо-ребенка Вольфганга в его первых турне по Европе в 60-х годах XVIII века. Наннерль, золовка, так никогда и не примирившаяся с Констанцей, ведь каждая из них считала, что была ближе другой к великому музыканту.

В течение нескольких лет обе пожилые дамы жили в одном городе, не встречаясь и не желая ничего знать друг о друге.

Шестидесятишестилетнюю Констанцу однажды посетили двое странных англичан, любителей музыки,— Винсент Новелло с женой Мэри, совершавших, как они говорили, паломничество по моцартовским местам. Они колесили по Европе, останавливаясь там, где когда-то бывал композитор, важнейшим для них пунктом, безусловно, являлся Зальцбург — в городе они могли встретиться с еще живой Констанцей. На протяжении поездки супруги Новелло вели подробный дневник, который потом пролежал у одного из их итальянских внуков вплоть до 1955 года, когда был издан под названием «Странствия в поисках Моцарта». В Зальцбурге супруги намеревались передать некоторую сумму сестре Моцарта, Наннерль, одинокой и слепой вдове. Деньги, собранные в Англии, являлись даром признательности англичан той, которая детство провела рядом с великим композитором. Все это выглядит очень романтично, но и правдиво для 20-годов XIX века. Впрочем, читая дневник, понимаешь, что главным объектом интересов супругов Новелло была не Наннерль, которую они так старательно разыскивали, а именно Констанца.

Констанца принимает их любезно и рассказывает (в который раз!) о своем великом муже. Они встречаются с Софи Хейбл, сестрой Констанцы, и с младшим сыном Моцарта, Францем Ксавером, тем, который родился в год смерти отца и осиротел пяти месяцев от роду. Итак, дневник Новелло содержит записи о стареющей Констанце: в 1829 году ей шестьдесят шесть, и после смерти Моцарта минуло уже тридцать восемь лет. Теперь Констанца смотрит на свой брак и первого мужа с высоты прожитых лет. Время, увы, туманит ее взор, и поэтому мало что нового смогли они почерпнуть из оживленных бесед в Зальцбурге летом 1829 года. Супругов Новелло интересуют мельчайшие подробности о Моцарте, но их-то память Констанцы не сохранила.

Супруги детально описывают Констанцу: выражение ее лица, речь на беглом французском, ее манеры, жесты. Книга читается с интересом, в ней — любопытные сведения о том времени и о начинавшем тогда набирать силу высочайшем уважении к памяти Моцарта.

Незадолго до смерти Констанца переехала в квартиру на площади, сегодня носящей имя Моцарта. Из окна она видела в 1841 году — за год до кончины,— как идет подготовка к сооружению памятника Моцарту,

и сегодня украшающему эту площадь. Подобно шведке Лувисе Бельман [1], она могла бы сказать: «Когда-то я была замужем за памятником».

Так что же с черным пятном на янтарной капле, о котором писал Эйнштейн?

Христиана Вульпиус — цветочница, наконец, им выбранная

Их встреча могла бы послужить прологом к дамскому роману: представим себе Дворцовый парк в Веймаре. Год — 1788. День — 18 июня.

Он, Гёте, всемирная знаменитость, поэт, придворный, естествоиспытатель, знаток античности, директор театра, министр иностранных дел, действительный тайный советник и прочее, только что возвратившийся домой после длительного пребывания в Италии. Автор многих, ставших классическими, произведений. Вся Европа сопереживала его герою, его alter ego из «Страданий молодого Вертера». Искушенная театральная публика превозносила его трагедии «Клавиго» и «Эгмонт»; у него идет работа над «Фаустом». Он — лучший друг герцога Веймарского, который лично даровал ему дворянское звание и в придачу чуть не все самые высокие должности и награды крошечного государства. Гёте связан с гигантами мысли своего времени. Ему тридцать девять лет, не перечесть его романы со знатными и образованными европейскими дамами. Он на пути к Олимпу — национальный герой в Веймаре, Иоганн Вольфганг фон Гёте.

Она — маленькая, ничего собой не представляющая цветочница двадцати трех лет. У нее скромный достаток, она помогает матери содержать младших после того, как отец бросил семью. Не образована, говорит с сильным тюрингским акцентом, читает с превеликим трудом, а пишет и того хуже. Но свежа, с мягкой кожей, ясным взглядом и румяными щеками, непослушные каштановые локоны падают на лоб. У нее веселый нрав, и она охотно смеется, шутит и напропалую строит глазки. Работает цветочницей на фабрике в Веймаре, где делает из шелковых лоскутков искусственные цветы, которые потом украсят шляпы и декольте прекрасных веймарских дам.

Гигант духа и необразованная девушка-цветочница — можно ли представить себе более несхожих людей?

Итак, эти двое встретились в Дворцовом парке в Веймаре. И не случайно: Христиана Вульпиус (так звали девушку) давно стояла там, поджидая его. У нее было к нему необычное дело, оно касалось не лично ее, а брата, значит, и всей семьи. В руке она держала написанное братом письмо с просьбой о помощи, обращенной к великому поэту Гёте. Брат верно рассчитал: просьба возымеет действие, если ее передаст миловидная сестра.

Брат Христианы, Август Христиан Вульпиус, вошел в историю литературы благодаря встрече сестры с Гёте в веймарском Дворцовом парке в тот июньский день 1788 года. Август зарабатывал сочинением романов о рыцарях и разбойниках, выписанных в пышном стиле Sturm und Drang [2], их он продавал местным книготорговцам. К моменту встречи в Дворцовом парке он трудился над большим произведением, воспевавшим прекрасный пол. Наверное, нелегко было заработать на жизнь кормильцу семьи подобным сочинительством. Он нуждался в реальной поддержке. Если бы Гёте помог ему, он бы создал шедевр, самый яркий роман из жизни разбойников — роман о благородном Ринальдо Ринальдини. Его мечта сбылась: после встречи в Дворцовом парке с его сестрой Гёте проявил к нему благосклонность. Конечно, не безвестный Вульпиус и не его литературный

[1] Бельман, Лувиса — жена шведского поэта XIX века Карла Микаэля Бельмана.

[2] «Буря и натиск» — литературное движение в Германии в 70—80 годах XVIII века.

шедевр, оконченный или только задуманный, заинтересовали Гёте. Избалованного дамского угодника сразила девушка.

Вскоре Христиана оставляет работу и переезжает к Гёте, становясь его тайной любовницей, существование которой он всячески скрывает.

Итак, Христиана поселяется в его Gartenhaus [1], расположенном в центре обширного Дворцового парка, всего лишь в нескольких шагах от места, где познакомились. Этот небольшой дом служил постоянным жилищем Гёте в Веймаре первые несколько лет. Позже он получил в подарок от герцога особняк из двадцати трех комнат на Фрауенплан, но домик в парке остался для поэта местом отдыха до конца жизни.

То был совсем небольшой дом из четырех-пяти комнат и кухни, скромно обставленный простой мебелью в охотничьем стиле и украшенный лишь несколькими видами Рима, привезенными Гёте из Италии. В спартанском кабинете главным предметом меблировки являлся стул: во время работы Гёте садился на него верхом, стул этот больше всего походил на старый шведский гимнастический снаряд, называемый «козел». Также скромно была обставлена и спальня: в ней стояла складная кровать, часто сопровождавшая Гёте в поездках.

Однажды Гёте загляделся на спавшую Христиану с разрумянившимися щеками, разметавшимися, непокорными локонами. Картина была настолько пленительной, что он не решился ее будить, а положил на подушку две розы и несколько цветов померанца, вышел из комнаты, написал стихи.

Вновь тебя увижу этой ночью
О, мой ангел, ты вдвойне отплатишь
Мне за приношенье нежной страсти [2].

Комната для гостей в доме Гёте всегда была готова принять Фрица фон Штейна, младшего сына старинной подруги поэта Шарлотты фон Штейн. Мальчик часто подолгу жил у одинокого Гёте, даже после разрыва между его матерью и поэтом. И теперь Фриц невольно становился сплетником: он рассказывает матери о новой девушке, появившейся в доме Гёте. Новость Шарлотта восприняла, конечно же, болезненно. После стольких лет любви, духовного общения на равных она почувствовала себя глубоко оскорбленной, будучи отвергнутой ради необразованной, недостойной юной цветочницы.

Вскоре новость знает уже весь город. Люди судачат, возмущенные аморальностью поэта. В Гёте почитали едва ли не высшее существо, и молва не осуждала его связь с госпожой фон Штейн, которая во всем была ему ровня, даже в сфере духовной. Теперь же в нем увидели порочного соблазнителя, только и знавшего, что потакать своим прихотям. Ореола святости лишила Гёте и втоптала поэта в грязь простолюдинка, даже писавшая с грамматическими ошибками.

Сплетни достигают и Франкфурта, где живет мать Гёте, однако она спокойна: девушка ведь — лишь для постели. Герцог относится к этой любовной истории снисходительно: развлекайся, милый Гёте, думает он, только мои охоты и придворные балы не пропускай.

Осуждают Гёте, собственно говоря, еще и сегодня, сто пятьдесят лет спустя после смерти. Как он мог опуститься до простой девушки, что он нашел в ней такого, чего не видел в других женщинах? И еще: если речь о большой, настоящей любви с его стороны, почему же он относился к Христиане так плохо? Почему тянул столько лет, прежде чем оформил их отношения?

А как Христиана чувствовала себя в тех условиях, в которые была поставлена?

Действительно, тут есть, о чем поразмыслить. Трудно себе представить более неравную пару. В их отношениях со знакомства присутствовало иррациональное начало: Гёте влюбился мгновенно. Но, Боже мой, это случалось с ним столько раз в жизни! Еще совсем недавно

[1] Садовый павильон *(нем.)*.
[2] Из стихотворения Гёте «Посещение» *(перев. А. Фета)*.

в истории литературы творчество поэта делилось на периоды, связанные с именами вдохновлявших его женщин: Лотта, Фридерика, Марианна, Лили, Шарлотта... Однако гораздо реже писали о Христиане в этом смысле. Возможно, потому, что их отношения были очень длительными и просуществовали свыше тридцати лет, вплоть до ее смерти в 1818 году. Отчасти же потому, что тут вряд ли возможно говорить о непосредственном «вдохновении», какое, например, Лотта Буфф из Вецлара оказала на появление «Страданий молодого Вертера» или Фридерика Брион — на воспоминания о юношеских годах в романе «Поэзия и правда. Из моей жизни».

Несколько безыскусных стихотворений, прежде всего среди «Римских элегий», да еще, пожалуй, несколько, написанных к случаю, таких, как приводилось выше. Вот, вероятно, и все.

Нет, значение Христианы для Гёте совсем иное. Скорее всего, она просто была тем человеком, в котором он так нуждался: простая, веселая, смешливая, свободная натура, так контрастировавшая с его замкнутостью, высокими требованиями к идеалу, интеллектуальными упражнениями, утонченным общением в светских салонах, с чопорной атмосферой двора. Инь и Ян [1], черное и белое, невинность и опытность.

Но если Христиана была для него настолько необходима, ведь их отношения длились так долго, почему же он не ценил ее?

В течение семнадцати лет она оставалась его любовницей, прежде чем он решился узаконить их связь, совершив скромный обряд гражданского бракосочетания в 1806 году при французских оккупационных властях. Даже когда она стала матерью его сына Августа, появившегося на свет на рождественской неделе 1789 года, он не помышлял о браке. А ведь еще до рождения сына для упрямого холостяка она фактически создала семью, в которую входили ее сводная сестра, старая тетушка и брат — тот, сочинявший о Ринальдо Ринальдини. Семья была бы и многочисленней: Христиана родила еще четырех детей, но двое умерли при рождении, двое — оказались мертворожденными. Над неравным союзом будто сама судьба распростерла черные крылья, ведь и доживший до зрелых лет Август был человеком физически слабым и психически неустойчивым.

Словом, их семейная жизни не походила на идиллию, им выпало пережить немало драм, которые, конечно, же, не могли не оставить свой след в характере и самой веселой из девушек-цветочниц.

Но Христиана, вероятно, была ослеплена страстью, удовлетворена возвышением по социальной лестнице, превратившись в любовницу «господина тайного советника», как она его всегда называла. Говорили, она обращалась к нему не иначе как Sie [2] или Herr Rat [3] во время любовных утех. Так ли — нет, кто знает.

Впрочем, потомкам известно — сам Гёте поведал о том современникам,— что положение Христианы в его доме никак нельзя было считать положением ровни. Христиана, например, никогда не сидела за одним столом с гостями. Впоследствии, разбогатев и переехав в огромный дом на Фрауенплан, многие залы, целую анфиладу изысканных комнат, обращенных в сторону площади, Гёте отвел под обширные коллекции (он собирал предметы искусства, монеты, фаянс, минералы и прочее). Христиане же приходилось довольствоваться двумя простыми комнатами, выходившими во двор.

И она не возражала. По вполне понятным причинам не оставила и письменных свидетельств, которые дали бы представление о ее переживаниях в сложившейся ситуации. Остается довериться другим, писавшим об этом, и, прежде всего, самому Гёте.

Итак, Христиана была противоположностью поэта. Для нее не существовало сложных проблем, она смеялась, шутила и баловала его. Она

---

[1] В классической китайской философии два основных начала, доминирующих в мире: женское и мужское, тепло и холод, свет и тьма, земное и небесное. Эти начала не антагонистичны, они взаимодействуют для установления в мире гармонии.

[2] Вы *(нем.)*.

[3] Господин советник *(нем.)*.

являлась воплощением чувственного тепла и женской непосредственности, как Гёте писал в своих «Римских элегиях». Она была «ein Leib mit allen seinen Prachten» [1]. Тут речь о чисто физической, чувственной любви, которую и вызывала в нем Христиана. Без нее он не создал бы столь целостную картину любви: Ведь любовь — это не только всепоглощающая страсть души, но и «das kleine Erotikon» [2], как об этом красиво писал сам Гёте. Возможно, она и олицетворяла любовь в жизни поэта.

Один из биографов Гёте назвал поэта — и кстати, очень точно — гостем не только в Веймаре, но и в краю любви. Конечно, его многочисленные и разнообразные связи с людьми были иногда поверхностными. В какой-то мере это испытала и Христиана. Он появлялся и исчезал из своего собственного дома, из своего города. Гёте подолгу отсутствовал в Веймаре, сопровождая герцога на охоте, в официальных поездках. Но всегда возвращался к ней, к Христиане.

Герцог относился с пониманием к создавшейся ситуации — у кого же нет возлюбленной, рассуждал, должно быть, Карл Август и охотно дал согласие стать крестным отцом сына поэта, Августа; вероятно, ребенок получил имя в честь высокого покровителя. Христиана, конечно, не присутствовала на крестинах сына. Даже Гёте не мог позволить подобную встречу — между герцогом и своей возлюбленной.

Но многие годы он прекрасно себя чувствовал в своей несколько необычной по составу «семье». Тысячью нитей он был связан с Христианой, беспокоился о ее здоровье: ведь она перенесла столько беременностей. Но о семейных радостях Гёте не распространялся: Августу исполнилось пять лет, когда его жившая во Франкфурте бабушка узнала, наконец, про существование внука. Христиана нигде не показывалась вместе с Гёте. Напротив, с удовольствием проводила время с людьми своего круга, среди которых было много артистов из маленького придворного веймарского театра. Она охотно возилась в саду: цветочница в ней не погибла. С годами она располнела, отяжелела, а в конце жизни превратилась в расплывшуюся толстуху.

В 1806 году Гёте, наконец, решил узаконить свои отношения с Христианой. Свадьба прошла без шума.

Уже на следующий день после бракосочетания Frau Geheimrat [3] фон Гёте приняла участие в светской жизни карликового государства, которая не замерла несмотря на войну. Как ни странно, но после долгих лет клеветы и сплетен, будораживших маленький городок, Гёте взял с собой законную супругу на встречу с приехавшей в Веймар почтенной дамой, вероятно, не особенно посвященной в скандальную хронику. То была мать философа Шопенгауэра, только что овдовевшая и решившая поселиться в Веймаре. Рассуждения этой дамы сводились примерно к следующему: раз Гёте дал Христиане свое имя, то она, госпожа Шопенгауэр, угостит ее чашкой чаю.

Лед тронулся, и двери многих домов открылись перед новоиспеченной тайной советницей. Впрочем, триумфального шествия по великолепным салонам не получилось. После своего «возвышения» Христиана прожила не так долго и, страшно располнев, полюбила уединение. В Веймаре непочтительно поговаривали о «толстой половине Гёте».

Конец ее был тяжелым. Она страдала уремией, ездила на лечение, но от воды Эгерлендского источника только отекала непомерно. Гёте не проявлял к ней особого участия. Всегда боявшийся болезней и смерти, так что в его присутствии нельзя было даже заговаривать об этих печальных вещах, он отвернулся от ее страданий. Как и многие ипохондрики замкнулся на собственных хворях. Она умерла в одиночестве, он не держал ее руку в последние мгновения.

В дневнике он записывает совсем коротко: «Умерла моя жена. Последняя, ужасная борьба ее тела. Она умерла в обед. Во мне и вокруг пустота и страшная тишина». Но сразу же после этих слов, возвращаясь к жизни,

---

[1] Плоть во всем своем великолепии *(нем.)*.
[2] Маленький Эротикон *(нем.)*.
[3] Госпожа тайная советница (нем.).

продолжает: «Торжественный въезд принцессы Иды и принца Бернгарда. Придворный советник Майер и Раймер. Вечером в городе сказочная иллюминация. Мою жену ночью увозят в морг. Я в постели целый день».

В судьбе Гёте были женщины до Христианы Вульпиус и после нее. Женщины, его вдохновлявшие, влиявшие на развитие его поэтического дара. Но отношения с большинством из них промелькнули короткими эпизодами в его жизни. Он все время спешил дальше.

Единственной женщиной, рядом с которой он задержался, оказалась Христиана, хотя он надолго и оставлял ее. Ни одна другая не дарила его такой простой, непритязательной любовью. Благодаря этой любви он, возможно, и познал умиротворенность, ибо она была само постоянство, тогда как он — весь движение.

Когда главная пружина их отношений, которую он сам называл «маленьким Эротиконом», если и не сломалась, то во всяком случае ослабела, Христиана все же оставалась символом домашнего очага и покоя для того, кто, по существу, покоя не знал.

Три сестры Хогарт — настоящие и мнимые жены

Отношения Чарльза Диккенса с тремя сестрами Хогарт выглядят очень непонятными, даже запутанными — и до такой степени, что сам писатель (а сюда следует добавить еще несколько женских имен) счел необходимым опубликовать письмо в журнале «Хаусхолд Уордс», где не таясь объяснил свои отношения с каждой из женщин. В нескольких словах история такова: любил он одну из сестер, Мэри, женился на другой, Кэт, а третья, Джорджина, после того как распался брак с Кэт, вела домашнее хозяйство и занималась детьми Диккенса, пытаясь поддерживать хоть какой-то порядок в его доме.

У женщин, находившихся рядом с Диккенсом, не могло быть легкой судьбы.

Менее сложной, чем у других сестер, но трагичней оказалась жизнь Мэри: она умерла восемнадцати лет. С еще не остывшей руки девушки Чарльз Диккенс снял маленькое колечко и надел на свой палец. Он не расставался с ним до последнего вздоха. Что касается Кэт, то ко времени окончательного разрыва супружеских уз у него с Кэт родилось девять детей. Джорджина оставалась при Диккенсе до его кончины, всегда сохраняя ему верность, вплоть до того, что за последние двадцать два года свою, потерпевшую в жизни крах, сестру Кэт не удостоила и словом.

Читая об этих женских судьбах, так тесно связанных с Диккенсовской, ловишь себя на мысли: уж не страницы ли это какого-нибудь его сентиментального романа. Что за горькая насмешка, именно Диккенсу громче других воспевать семейное счастье и покой, его дома коснувшихся лишь мимолетно! Именно Диккенсу, так любившему детей, создавшему такие трогательные детские образы (Дэвид Копперфилд, Николас Никльби, Оливер Твист), быть столь далеким от своих детей, с невероятной быстротой производимых на свет его женой.

Здесь невольно задаешься вопросом, как могли появиться эти многочисленные дети у супругов, столь непримиримо настроенных друг против друга, как Кэт и Чарльз Диккенс.

Чарльз Диккенс познакомился с семейством Хогарт будучи молодым, подающим надежды, но не очень известным писателем. Свела их общность интересов: отец семейства, Джордж Хогарт, редактор «Ивнинг Кроникл»,

оказался человеком не без литературных задатков. Он особо подчеркивал свою близкую дружбу с Вальтером Скоттом. Диккенс посещал не только редакцию газеты, но бывал у Хогартов и дома, в Челси, где встречался с четырьмя юными дочерьми редактора, в том числе девятнадцатилетней Кэт, единственной из сестер в то время на выданье. Другие же были еще слишком молоды: Мэри исполнилось только шестнадцать, а Джоржине и Элен и того меньше. Начало публикации «Пиквикского клуба» совпало с венчанием Диккенса и Кэт 2 апреля 1836 года в церкви св. Луки, точнее венчание состоялось через два дня после выхода в свет первого фрагмента диккенсовской книги.

Молодожены поселились в холостяцкой квартире Чарльза из трех небольших меблированных комнат, но вскоре мистер Пиквик с компанией принесли автору такие доходы, что Диккенс смог купить дом на Доути-стрит, 48 в центре Лондона. Переоборудованный под музей, дом сохранился до наших дней.

Как выглядела юная Кэт, ставшая миссис Чарльз Диккенс? Не много можно почерпнуть из писем и высказываний современников. На портретах в молодости предстает перед нами романтическая красавица: темные глубокие глаза, бледный овал лица, обрамленный густыми, традиционно уложенными локонами, благонравный прямой пробор и высоко на затылке тяжелый узел волос.

Биографы Диккенса удивительно единодушны в отрицательной оценке Кэт: полная, вялая, равнодушная женщина, сварливая, раздражительная, часто мрачная, совершенно лишенная интеллектуальных запросов. Таково распространенное мнение о Кэт Диккенс. Невольно встает вопрос, что же увидел в ней молодой Диккенс, почему женился именно на Кэт? Надо полагать, не единственно для того, чтобы опубликоваться? Из его собственных признаний вместе с тем известно, что женщиной, которую он действительно любил, была Мэри, младшая сестра Кэт.

Так, он настоял, чтобы Мэри переехала к ним, после того как они обосновались в новом, просторном доме на Доути-стрит. Как иначе, если не странным капризом Диккенса расценить это, ведь родители Мэри тоже жили в Челси, в уютном, благоустроенном доме. Отпадает такая причина, что, мол, он хотел позаботиться о юной свояченице, поскольку рядом у нее не оказалось близких. К тому же и речь не могла идти о том, чтобы Мэри, переехав в их дом, помогала сестре: ведь она уже была больна, а Кэт, в то время родившая первого ребенка, имела прислугу.

Почему Кэт согласилась на переезд сестры к ним? Догадывалась ли о чувствах, связывавших мужа и ее сестру? Между ними не могло быть иного, нежели горячая симпатия, вызванная интеллектуальной общностью, для других отношений слишком юна была Мэри и слишком больна.

Письма Диккенса к Кэт в период обручения очень не ровны по интонации, он может резко упрекнуть ее за холодность и капризность, а вместе с тем назвать «дорогая мышка», «любимый поросенок», «милая Тэти». Эти ласковые обращения сообщают письмам теплоту и нежность.

Одновременно Диккенса переполняла безрассудная страсть к юной Мэри. Ее смерть явилась для него потрясением. Однажды вечером, когда Чарльз и Кэт вернулись из театра, в комнате Мэри вдруг раздался страшный крик. Вбежав к ней, нашли девушку уже умиравшей от сердечного приступа. Она скончалась у Чарльза на руках, и от этого шока он не мог оправиться много лет. За смертью Мэри на них обрушился целый град ударов, будто в доме взрыв прогремел: миссис Хогарт, упав в обморок, пролежала в постели более недели, и Кэт, беременной, пришлось ухаживать

за матерью и за горем убитым мужем. Возможно, в те дни она поняла всю глубину его чувства к умершей Мэри. Вскоре у Кэт случился выкидыш.

Диккенс не делал тайны из своего горя, потеряв Мэри, его письма, дневниковые записи о том свидетельствуют. «Она была душой нашего дома. И мы не отдавали себе отчет, как же счастливы все вместе. Я лишился самого лучшего друга, дорогой девочки, которую любил нежнее любого другого существа на свете. Словами нельзя описать, как мне ее не хватает, нельзя описать нежность, которую я к ней питал». Вот какие строки выходили из-под его пера, но как писатель он на долгое время умолк.

Если Кэт прочла эти излияния, она не могла не понять, какого рода чувства испытывал ее муж к Мэри. Во всяком случае, она постоянно видела кольцо Мэри на его руке. Что она должна была пережить, когда он запирался в гардеробной сестры, чтобы прикоснуться к одежде, уловить ее запах... Только Кэт про то и знала. Чарльзу принадлежит запись, высеченная на надгробном камне Мэри: Диккенс сообщает о желании самому быть похороненным с ней рядом. Сохраненный локон девушки полгода спустя после ее смерти вдохновил писателя на следующие строки: «Если бы ты поняла, как мне не хватает... милой улыбки и дружеских слов, которыми мы обменивались во время таких теплых, уютных вечеров у камина, для меня они дороже любых слов признания, что я когда-либо могу услышать. Если бы снова пережить все, нами сказанное, совершенное в те дни».

А много лет спустя, в письме миссис Хогарт, он признавался, что каждую ночь в течение нескольких месяцев после смерти девушки видел ее во сне. «Иногда она являлась ко мне как дух. Иногда — во плоти, но в этих грезах не было и капли горечи, наполнявшей мою земную печаль, скорее — какое-то тихое счастье, настолько мне необходимое, что я всегда засыпал с надеждой снова увидеть ее во сне. Она постоянно присутствовала в моих мыслях (особенно, если мне выпадал успех). Раздумья о ней стали частью моей жизни, стали неотделимыми от нее, как биение сердца».

Читая эти строки, понимаешь, что Диккенс выражает тут мысли и чувства, которые из уважения к самой девушке, памятуя о жене, о семье, вынужден был сдерживать, пока Мэри жила. Когда же она умерла, он предался чувствам безудержно. Возможно, именно этот взрыв любви, вызванный смертью девушки, и стал причиной его охлаждения к жене. Кэт не могла не сознавать этого. И она отступила перед умершей соперницей... Мэри вновь и вновь появляется в образах молоденьких девушек, прелестных и целомудренных, на страницах романов Диккенса (Дора в «Дэвиде Копперфилде», малютка Нелли, «a creature fresh from the hands of God» [1]).

Кэт меньше всего производит впечатление человека, склонного размышлять. Ее поглощает хозяйство и все появляющиеся на свет дети — Чарльз, Кэти, Мэми, Уолтер, Дора, Эдвард, Фрэнсис, Генри и Сидней.

И ей, многодетной матери, биографы Диккенса адресуют обвинения: не разделяла интеллектуальных интересов мужа, никогда не сопровождала его во время выступлений, обедов и вечеров, устраивавшихся литературными кругами, сидела дома, отпуская его одного! А ведь у нее, может, не было другого выбора? Имея на руках детей всех возрастов, тяжело перенося беременности и кормление, Кэт — вероятно, не очень крепкого здоровья — мало была расположена к светской жизни, ей следует это простить.

К тому же неверно утверждать, что Кэт никогда не сопровождала мужа. В 1842 году она отправилась вместе с ним в Америку. Она оставила троих детей, чтобы поехать с Чарльзом и на четырнадцать дней обрекла себя на морскую болезнь, приведшую обоих супругов в ужас-

---

[1] «Юное существо, созданное божьей рукой» *(англ.)* — из романа «Лавка древностей» *(перев. Н. Волжиной)*.

ное состояние. Она отправилась с Диккенсом и во вторую поездку в Америку и взяла с собой акварельные портреты своих — к тому времени уже четверых — детей.

А не достойно ли удивления путешествие 1846 года в Италию, предпринятое с улицы Девоншир-Террас вот такой компанией: Чарльз Диккенс, Кэт, пятеро детей, горничная Анна, свояченица Диккенсов Джорджина, две няньки и кучер. Они направились через Париж, Лион, Авиньон, Экс, Марсель в Геную. Странствие было продолжительным: они праздновали Пасху в Риме, поднимались на Везувий, посещали музеи Флоренции.

Итак, на сцене появляется Джорджина. Она перебралась в семью Диккенса, чтобы составить компанию сестре и помочь ей с детьми.

Джорджина, кажется, тоже не осталась равнодушной к чарам Диккенса. Возможности выйти замуж она предпочла присмотр за племянниками в доме сестры.

Очевидно, Кэт не справлялась со всем одна. Свойственные ей вялость и непрактичность становились все более явными по мере появления на свет детей и с осложнением домашней обстановки.

При собственной заурядности она не могла не оценить неповторимость натуры мужа. Не могла противостоять его обаянию и остроумию (а, впрочем, кто мог?). Его же раздражал каждый ее промах, он высмеивал ограниченность Кэт, сравнивая жену с другими женщинами. Кстати, у Диккенса сохранилось довольно много знакомств среди женщин.

Большинство этих знакомств, однако, носило весьма невинный характер, а известность писателя в женском обществе следует отнести на счет его таланта: поклонение кумиру — явление, типичное не только в попкультуре современной Швеции.

И все же существовала женщина, ставшая причиной окончательного краха супружеских отношений Кэт и Чарльза. У исследователей разные точки зрения на характер этой связи. Одни считают, то была «невинная» и чистая дружба, возникшая между двумя художественными натурами, другие — настаивают на очевидности любовной связи.

Современники придерживались последнего мнения и не брезговали сплетнями. Женщиной была восемнадцатилетняя Эллен Тернан, актриса одной из театральных трупп Диккенса. В руки Кэт как-то попал пакет от ювелира, по ошибке отправленный им на домашний адрес писателя, и Кэт с горечью обнаружила, что ожерелье, находившееся в нем, предназначалось не для нее, а для Эллен. Кэт тотчас осознала себя участницей извечной драмы под названием «любовный треугольник», хотя Чарльз уверял, что речь идет о чисто платонических отношениях. Он был к тому же так настойчив в своей версии, что Кэт ничего не оставалось, как согласиться и нанести визит семье Тернан, то есть сделать все возможное, чтобы умолкли пересуды.

Их дочь Кэти, ровесница упомянутой любовницы, уговаривала мать не делать этого. Но та выполнила данное ею обещание, испила до дна чашу горечи и посетила с мужем дом Тернанов.

Конечно, слухи не умолкли, а поднялись с новой силой. После двадцати двух лет супружеской жизни развод сделался неизбежным. Джорджина, подпавшая под обаяние свояка, приняла его сторону. Встал вопрос, как супругам в отдельности далее проживать: попеременно находиться в деревне, где Диккенс приобрел небольшое поместье, или же оставаться в городе? Сошлись на том, чтобы остаться в городском доме, поделив его на две половины.

Джорджина, перебравшись в дом Диккенса, когда ей было примерно столько же лет, сколько Мэри ко времени смерти, удивительно, как

говорили, походила на умершую. Не потому ли Чарльз так тепло заботился о ней? Во время поездки Диккенсов в Америку она занималась в Лондоне детьми, которые очень скоро полюбили свою молодую, симпатичную и добрую тетушку. Вероятно, и Чарльз был пленен ею.

«Когда мы сидим по вечерам у камина, Кэт, Джорджина и я, кажется, вернулись старые времена,— пишет он.— Тогда смерть Мэри для меня — печальный сон, от которого я пробуждаюсь. Точно такой же, как Мэри, не назовешь ее, но многим Джорджина напоминает сестру, и я будто снова переношусь в ушедшие дни. Иногда мне трудно отделить настоящее от прошлого».

После развода Джорджина становится незаменимой. «Я не могу представить, что было бы со всеми нами, особенно с девочками, без Джорджины. Она — добрая фея в доме, и дети обожают ее».

Итак, двойная викторианская мораль отпраздновала еще одну из своих многочисленных побед: развалившийся брак в глазах общества продолжал существовать, оба супруга проживали вместе в одном доме, возведя между собой стены холодности и равнодушия, столь же непреодолимые, сколь запертые на засов двери, разделившие две половины их дома. «Мы спрятали скелет в шкафу, поэтому никто о нем не знает». По совету матери Кэт сама предложила развод, но «ради детей», ради сохранения видимости брака и чтобы избежать сплетен они жили по прежнему адресу. И она получала ежегодное содержание в 600 фунтов.

Диккенс сознавал свою обязанность и перед читателями. Он не желал лишиться симпатии многомиллионной читательской аудитории. Поэтому он пишет открытые письма в журнал «Хоусхолд Уордс». Но когда стремятся опровергнуть слухи, замять скандал или скрыть полуправду, достигают обратного эффекта. Так и произошло с Диккенсом. Он пытался выступить с очередным разъяснением — и тайное стало явным, в результате разразился скандал.

Во время всех этих событий Джорджина преданно держала сторону Чарльза. Более того, она двадцать два года не разговаривала с Кэт, вплоть до смерти Диккенса в 1870 году. Создается впечатление, что она ничего не хотела для себя лично. Ведь она даже сохранила дружеские отношения с Эллен Тернан, для которой Диккенс снял в Лондоне дом.

Из трех сестер Хогарт Джорджина выказала самую беззаветную и жертвенную любовь к Диккенсу. Как он пишет, Джорджина была в доме «доброй феей», дети обожали ее, и для самого писателя она оказалась незаменимой. Всю свою любовь эта женщина отдала ему и его семье. Ради Диккенса она отказалась от замужества. Он умер у нее на руках. По завещанию Диккенс оставил ей 8000 фунтов, все драгоценности и личные бумаги.

Три сестры — Мэри, Кэт и Джорджина — связали свою судьбу с Диккенсом. Возможно, он любил всех трех, для каждой отыскав уголок в своем сердце. И все-таки не сумел до конца разобраться в своих чувствах к ним.

Наверное, права была дочь Диккенса Кэти, сказав об отце после его смерти: «Нет, женщин он так и не понял».

Нина Андреевская — вдова художника, пожертвовавшая жизнью ради искусства

«Вдовы художников окружены любовью, завистью, ненавистью, их преследует толпа. Говорят, с ними трудно общаться, они высокомерны, надменны, капризны, завистливы, тщеславны, алчны и крайне эгоистичны. Не знаю, почему так считают. На вдовах лежит бремя огромной ответственности. Ведь именно они охраняют художественное наследие своих мужей, распоряжаются им. Эти женщины должны обладать безграничным мужеством, верой в собственные силы, умением действовать самостоятельно и по существу рисковать, чтобы защищать наследие своих мужей от торговцев искусством и хозяев выставок. Вдова художника неизбежно попадает под перекрестный огонь критиков как раз за то, что самым серьезным образом старается соблюдать интересы своего мужа».

Эти слова принадлежат Нине Кандинской. И сказаны женщиной, знающей, о чем говорит. После смерти в 1944 году художника Кандинского [1] она охраняла его наследие и распоряжалась им.

Она боролась за его искусство, боролась с торговцами картинами, всевозможными дельцами, мошенниками и фальсификаторами. Рискуя жизнью в прямом смысле слова, она защищала посмертное право художника на свои произведения. Она выказала огромное мужество, стойкость и волю. И все же в один из осенних парижских вечеров 1983 года она была повержена: ее ограбили и убили. Она пала жертвой сумасшедшего. Но ее самоотверженность спасла наследие Кандинского.

История Нины Кандинской достойна самого подробного описания. Память уносит меня к концу зимы 1956 года, когда я встретила ее в Стокгольме в связи с выставкой работ Кандинского в галерее «Коллекционер». То была первая его выставка в Стокгольме за четверть века, организованная в связи с девяностолетием художника.

Миниатюрное, эфирное создание в элегантном светло-коричневом норковом манто и кокетливой шляпке с вуалью, эта женщина принесла с собой веяние большого света, но при этом создавалось впечатление, что перед вами жрица, цель которой — служить у алтаря в храме Искусства. Долг побудил ее предпринять решительные шаги, чтобы устроить выставку художника в стране, где не видели его работ.

Она всегда была рядом с ним на протяжении всего их супружества. Когда однажды кто-то посетовал, что не существует переписки между супругами, которая когда-нибудь поможет написать историю его — или их — жизни, Нина спокойно ответила: «Писем нет потому, что у нас не возникало необходимости писать. С тех пор как поженились, мы никогда не расставались даже на один день».

Из этих слов ясна ее роль в жизни Кандинского. Отсутствие писем — добрый знак в браке. Значит, люди очень привязаны, рядом друг с другом целые сутки. Никто не знал Кандинского, как Нина. И после его смерти не оказалось другого близкого человека, который взялся бы защищать и распоряжаться огромным наследием художника.

Она взялась, открыто заявив о своих намерениях. В этой битве за наследие мужа на нее обрушились зависть, клевета, ненависть и — от руки

---

[1] Кандинский, Василий Васильевич (1866—1944) — русский живописец и график, один из основоположников абстрактного искусства. В 1907—1914 годах и с 1921 года жил за границей.

безумца — смерть. Кандинскому на протяжении жизни часто приходилось сталкиваться с бесцеремонными хищниками, торговавшими произведениями искусства. Некоторые, обанкротившись, распродавали картины, переданные им для выставок, другие расплачивались с художником банкнотами, обесцененными революциями и инфляцией. Иногда работы непонятным образом просто «исчезали» при транспортировке. Все это было слишком хорошо знакомо Кандинскому. Нина, приняв наследие, приготовилась отражать удары на многих направлениях.

Впрочем, мы несколько забегаем вперед. Давайте познакомимся с юной Ниной Андреевской, какой она впервые появилась в жизни Кандинского. Знакомство произошло по телефону. Кандинский в то время уже приобрел известность. В 1916 году, когда они встретились, ему — пятьдесят один год, Нине же — всего восемнадцать. В их встрече было что-то мистическое, знак судьбы, оба это почувствовали. Нину попросил передать привет Кандинскому их общий знакомый. Выполняя поручение, она позвонила. Художника настолько очаровал голос девушки в телефонной трубке, что он написал картину — «Посвящение незнакомому голосу».

Обладательница чарующего голоса так заинтересовала его, что он предложил встретиться. Но Нина уезжала вместе с родителями отдыхать на Черное море, и он получил лишь ее адрес — до востребования. Письмо ей не пришло, спросить же об открытке она не додумалась, ведь ждала письма. Лежавшая на почте открытка оказалась бы единственным свидетельством их переписки. Только незапечатанную открытку и пропустила цензура, наложившая запрет на переписку до востребования, про что Нина знать не могла.

Осенью того же 1916 года состоялась их первая встреча — в музее Александра III, нынешнем Пушкинском, в Москве. Оказавшись впервые вместе, они осматривали выставку в каком-то, как писала Нина, эйфорическом состоянии, будто старинные друзья. Ему пятьдесят один — художнику с именем, она по возрасту — почти что гимназистка.

Итак, их свело современное искусство, европейский и русский авангард. На начальном этапе русской революции авангардисты еще имели возможность свободно работать и выставляться.

Знакомство с Ниной явилось для Кандинского неожиданным даром судьбы — редким для своего времени и обстоятельств. Девушка происходила из старинного рода тульских дворян и попала в Москву еще ребенком. Она получила отличное воспитание и, став студенткой, изучала в Университете иностранные языки, философию, историю. Но ее всепоглощающей страстью задолго до встречи с Кандинским сделались музыка, поэзия, искусство, особенно современное искусство. Таким образом, не он открыл ей авангардизм. Она сама совершила это открытие, и современное искусство ее захватило.

Еще гимназисткой она увидела коллекцию картин Щукина в Москве. Этот русский торговец мехами сыграл важную роль в истории европейского искусства начала XX века, одним из первых оценив молодой французский авангард (Матисс, Пикассо), в то время как тогдашние французские критики отмахивались от искусства, заклейменного ими «фовистским», то есть диким [1]. В начале века ни Матисс, ни Пикассо не пользовались на берегах Сены большой популярностью, Щукин же, увлеченный новым искусством, покупал все, что мог. Он отправлял в Париж соболя, а оттуда вез произведения французских авангардистов. Для своей столовой

---

[1] Фовизм, от французского fauve — «дикий», течение во французской живописи, возникшее в 1905 году (А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо и др.).

в московском доме он даже специально заказал две из числа лучших картин Матисса («Танец» и «Музыка»). Ими сегодня открывается зал современной французской живописи в Эрмитаже, где хранится большая часть собрания Щукина.

Еще при жизни владельца, другими словами, до революции, картины из коллекций Щукина экспонировались. Именно на одной из таких выставок юная Нина Андреевская, тогда гимназистка, и познакомилась с современным европейским искусством. Оно произвело неизгладимое впечатление на девушку и решило ее судьбу.

В дореволюционной Москве устраивались выставки современного русского искусства, посещая их, Нина однажды обнаружила картину поразительную: издали, казалось, бушует пламя; тщательно изучив образец неведомого ей ранее абстрактного искусства, она выяснила, что картину написал Кандинский. Имя тогда ей ничего не говорило. И неведение длилось до той поры, пока их общий знакомый не попросил Нину передать привет художнику: за этим последовала встреча и — брак.

Конечно, ее семья не испытывала восторга в связи с предстоявшим браком — в основном из-за огромной разницы в возрасте. Ведь Кандинский мог бы быть девушке отцом. Тем не менее свадьба состоялась. Они поженились в феврале 1917 года и едва успели отправиться из Москвы в свадебное путешествие, как разразилась революция. Об этом Кандинские узнали в Гельсингфорсе. Они вынуждены были вернуться. Медовый месяц пришлось спешно завершить еще и по другой причине: молодая жена, владевшая несколькими языками, изучавшая историю и философию, хорошо ориентировавшаяся в современном европейском искусстве, вскоре обнаружила пробел в своем образовании. Она не умела вести домашнее хозяйство и уж тем более — готовить. Лекции мужа по кулинарии (он был знатоком и в этом искусстве) очень скоро утратили смысл, так как исчезли все продукты.

Нина зато открыла у себя иные таланты, например, умение обращать украшения, картины, одежду и прочее в съестные припасы. То было невероятно тяжелое время, ведь отсутствовали самые необходимые продукты и товары.

Начальный период революции стал вместе с тем временем расцвета русского авангардизма — факт, о котором сегодня многие, пережив время сталинских постановлений, направленных против искусства, забыли. Новое изобразительное искусство было поставлено на службу революции, так же как и музыка, поэзия, театр. Супрематизм Малевича, конструктивизм Татлина, сюрреализм молодого Шагала зажигали души. Работавший в абстрактной манере Кандинский возглавил одну из комиссий Наркомпроса, где вместе с ним секретарем работала и Нина. Можно сказать, что вплоть до смерти Ленина деятели современного русского искусства почти не сталкивались с трудностями — Кандинский отвечал за приобретение произведений современного отечественного искусства и дальнейшим распределением их между двадцатью двумя провинциальными музеями. У него также имелась возможность выставлять свои работы. Но в 1922 году абстрактное искусство было запрещено во всех его видах как вредное для советских идеалов. А вскоре вышли сталинские «декреты» о соцреализме в искусстве, и место абстрактных композиций заняли такие вещи, как «Счастливый тракторист», «Даешь пятилетку» и т. д.

Тогда же начинаются годы странствий Кандинского и Нины по Европе. Они легально покидают Москву — не о бегстве речь — и принимают приглашение из Веймара, от Высшей школы строительства

и художественного конструирования «Баухауз» [1], основанной Вальтером Гропиусом [2] и сыгравшей значительную роль в развитии художественных ремесел и промышленности. Без преувеличения можно сказать, что Кандинские приехали в Берлин, не имея ничего, и первым их побуждением было отправиться в обувной магазин, но, поразмыслив, они решили прежде купить ей пару чулок, ему — пару носков.

Если судить по мемуарам «Кандинский и я», где она так сдержанно говорит о себе, после переезда в Веймар Нина — женщина редкой личной скромности — держится несколько в тени. Однако, находясь рядом с Кандинским, она принимает участие в бьющей ключом жизни группы «Баухауз», куда входили такие знаменитости, как Вальтер Гропиус, Пауль Клее, Оскар Шлеммер и другие, преподававшие в Высшей школе. Соседями Кандинских по дому была, кстати, семья Клее. А жили они в городе, благоухавшем сиренью и славившемся памятными местами, связанными с Гёте. Гропиус подготовил проект дома Кандинских, Марсель Брёйер стал дизайнером, а сам Кандинский разработал цветовое оформление. Нет необходимости объяснять, почему Нина с ее ограниченными талантами хозяйки оставалась на втором плане, когда проводились частые обсуждения дизайна их дома компанией этих легендарных сегодня художников, большинство которых вслед за Высшей школой «Баухауз» перебралась в Дессау в 1924 году.

Мы уже убедились: традиционная роль хранительницы домашнего очага не подходила Нине. Она открыто признает, что ее мало интересует хозяйство, тогда как Кандинский и его коллеги с присущей им профессиональной энергией занимаются обустройством дома. У Кандинских нет детей, роль матери — тоже не для нее.

Нина — второе «я» художника, одержимая искусством и преданная спутница жизни. За годы их брака, с 1917 по 1944 год, они не расстаются ни на один день. Однако неверно считать Нину лишь двойником Кандинского, следующим за ним неотступно. Она сама была значительной личностью. Ее образованность, художественный вкус, абсолютная преданность искусству, тому Искусству, которое пишется с большой буквы,— вот качества, привлекшие Кандинского в восемнадцатилетней девушке как некий магический знак судьбы. Сколь же много должно было значить для такого художника, как он, постоянное общение с внимательным и вдумчивым единомышленником, понимавшим его эмоционально и интеллектуально!

И эта очаровательная, глубоко чувствовавшая женщина после кончины художника, сознавая всю ответственность дела, взялась распоряжаться его непростым наследием. Под видом хрупкой и элегантной светской дамы в ней скрывалась бесстрашная воительница, главной целью жизни которой стала посмертная защита художника, его искусства, его убеждений.

После смерти мужа Нина оказалась его единственной наследницей. Ей пришлось не только распоряжаться его наследством, состоявшим из нескольких сотен картин и акварелей, размещенных в их парижской квартире. Она должна была хранить духовное наследие художника, изыскивая возможности сделать его доступным для будущих поколений, расширяя географию выставок и т. д. Очень скоро она поняла, что для окружающих вдовы художников оказываются в центре внимания, их боготворят, но и ненавидят, им завидуют, их преследуют и мучают. Она неустанно сража-

---

[1] «Баухауз» основана в 1919 г., а в 1925 г. была переведена в Дессау. В 1933 г. упразднена фашистами. В. Гропиус, Х. Мейер, Л. Мис ван дер Роэ разрабатывали эстетику функционализма, принципы современного формообразования в архитектуре и дизайне.

[2] Гропиус, Вальтер (1883—1969), немецкий архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры. Основоположник функционализма, разрабатывал рационалистические принципы в архитектуре и дизайне.

лась за то, чтобы торговцы картинами, владельцы галерей и выставочных залов, разбросанных по всему миру, не ущемляли ее интересы.

Нина вела процессы в защиту искусства Кандинского. Самый значительный из них связан с немецким изданием книги, посвященной «Синему всаднику», ассоциации художников в Мюнхене, в создании которой Кандинский принимал участие в 1912 году. Как считала Нина, в издании были помещены очень некачественные репродукции работ Кандинского, мало того, они еще и не имели ничего общего с картинами, написанными во времена «Синего всадника». Текст тоже оставлял желать лучшего. Поскольку тот же автор аналогичным образом обошелся с книгой о Франце Марке [1], то Нина выступила совместно с наследниками Марка и привлекла к суду немецкое издательство: процесс тянулся тринадцать лет. «Моя тринадцатилетняя война»,— обычно называла она эту одновременно печальную и смешную историю, которая закончилась лишь в Верховном суде в Карлсруэ в 1973 году. Нина и наследники Марка выиграли процесс, а писатель и издательство должны были изъять весь тираж книги, уничтожить клише. Выплаченные издательством в счет понесенных убытков деньги Нина подарила детскому дому: лично ей они не требовались. Ей нужна была победа в одном из самых важных сражений за право Кандинского на свой труд и после смерти. Издательство не удержалось от пасквиля — под названием «Об искусстве кремировать вдов»,— глубоко ее ранившего.

Много можно рассказывать о противоборстве вдовы художника с дельцами от искусства. Однако шло время, и их роль была уж не столь значительной, ибо бóльшая часть произведений художника оказалась размещенной в крупных музеях мира. Одна из самых обширных его коллекций хранится в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, другая, названной не уступающая,— собрание Габриэлы Мюнтер,— в 1957 году передана ею в дар Мюнхенской галерее Ленбаха. Мюнтер, ученица и любовница Кандинского в годы его первого посещения Германии, долгое время ревностно охраняла принадлежавшие ей сокровища. Это были самые значительные работы художника юношеских лет, все, что он оставил на ее попечении, уехав домой в Россию сразу же после начала первой мировой войны. Он полагал, что позднее, после окончания войны, вернется к ней в Мурнау. Теперь мы знаем, почему этого не произошло: Кандинский встретил Нину и женился на ней. Молодость Нины в глазах сорокапятилетней Габриэлы являлась тягчайшим грехом, и неверного возлюбленного Габриэла покарала тем, что охраняла его наследие, никого не подпуская. Можно понять, почему обеим дамам было трудно прийти к соглашению, но в конце концов Габриэла уступила и подарила свое собрание Кандинского галерее Ленбаха в Мюнхене. Передача картин состоялась в день ее восьмидесятилетия, а почитателям искусства стала доступной, таким образом, еще одна коллекция картин Кандинского.

Благодаря усилиям Нины третье, тоже значительное, собрание картин художника открыто отныне для всеобщего обозрения. Это те тридцать картин и акварелей, которые в настоящее время демонстрируются в Центре Помпиду в Париже. Еще в 1976 году Нина договорилась с руководством Музея современного искусства о передаче этих работ художника для одного из незаполненных залов музея.

Ко времени смерти Кандинского в полном каталоге его работ насчитывалось 738 картин и примерно такое же количество акварелей. Заслуга Нины в том, что сначала она постаралась создать по возможности

---

[1] Марк, Франц (1880—1916), немецкий живописец, один из организаторов объединения «Синий всадник». Писал динамичные, резкие по колориту мистико-символические картины.

исчерпывающий перечень произведений художника с указанием, где, в каких музеях мира и собраниях они хранятся. И лишь затем она приступила к выяснению вопроса, какие музеи и собрания хотели бы приобрести картины или право на показ работ, которыми она распоряжалась. Случалось и так, что музеи, уже имевшие какие-то картины Кандинского и желавшие пополнить коллекцию, получали отказ со стороны Нины. Но бывали и другие случаи. Так, в Музее современного искусства в Стокгольме до 1966 года находилась всего одна картина художника, купленная в 1933 году. Нина сочла возможным подарить музею еще одну работу мастера. Ею стала акварель, созданная им в Стокгольме в 1916 году во время первой поездки в Швецию в связи с выставкой. Передача акварели была приурочена к большой экспозиции картин художника в Музее современного искусства в 1966 году, которой страна отмечала столетний юбилей со дня рождения Кандинского. Три года спустя, когда тот же музей выразил желание купить еще картину Кандинского, Нина не отказала. Всего в Музее современного искусства в Стокгольме хранятся три работы художника: две картины и одна акварель.

Нина, увлеченная искусством восемнадцатилетняя девушка из предреволюционной Москвы, стала преданной защитницей современной живописи после многих лет, прожитых рядом с Кандинским, она была истинной хранительницей его художественного наследия. Нина обладала достоинствами, для Кандинского оказавшимися важнее многих традиционных качеств жены. Трагично, что даже жизнью ей пришлось пожертвовать в битве за искусство художника.

На обвинения в бесцеремонности и эгоизме в адрес вдов великих художников она ответила: «Эти женщины должны обладать безграничным мужеством, верой в собственные силы, умением действовать самостоятельно...».

Критика

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ — «ЗА» и «ПРОТИВ»

Книга американского культуролога и прозаика С. Сонтаг «Против интерпретации», отрывки из которой печатаются ниже, вышла в свет четверть века назад и несет на себе ясный отпечаток той эпохи. Кому-то покажется запоздалым, несвоевременным возвращение к ней сегодня. Но не скажите.

Спору нет, размышления С. Сонтаг и полемизирующего с нею русского писателя В. Курбатова внешне весьма далеки от вопросов, которые нынче, что называется, у всех на устах. Дискуссия идет о том, возможно ли действительно достоверное истолкование художественных произведений и не являются ли подобные усилия напрасными, даже порочными по существу. Может быть, достаточно простого наслаждения искусством? Того, что на языке С. Сонтаг именуется «эротикой» в противовес «герменевтике», то есть попыткам осмыслить созданное искусством в общественном, философском, религиозном или любом другом контексте.

Почему бы и правда не «оставить произведение художника таким, каково оно есть»? Ведь интерпретация, по убеждению Сонтаг,— заведомо мираж, потому что на поверку все кончается смысловыми подстановками: автору приписывают то, чего у него и в мыслях не было, художник с изумлением узнает от критиков, будто воплотил идеи, о которых не имел и не хотел иметь ни малейшего представления. Иначе говоря, происходит либо прямое искажение, либо — в лучшем случае — крайне приблизительный перевод художественного смысла на жаргон идеологии. Не суть важно — какой именно. Важно, что тем самым убивается искусство.

Сказано обо всем этом у Сонтаг темпераментно, местами с вызовом, провоцирующим полемику. Только вот нам-то что за дело до таких отвлеченных материй? А самое прямое. Вовсе не одним эстетикам важно решить, достижима ли полноценная интерпретация. Коль вдуматься, подчеркивает В. Курбатов, проблема эта возникает перед каждым читателем.

Не нужно только подходить к ней буквалистски, допуская вещи совершенно невозможные: будто бы бывает восприятие без толкований. В действительности любой художественный текст непременно вызовет у нас какие-то переживания, мысли, согласие, отрицание, недоумение, восторг — и все это уже форма интерпретации. Какой-то ассоциативный ряд, включающий в себя непосредственно нами испытанное и передуманное, обязательно для нас выстроится — читаем ли мы, допустим, лирику Фета, или пытаемся постичь тайны кубистских полотен Пикассо, или вслушиваемся в музыку Стравинского, не говоря уж о произведениях, где элементы проповеди или философии подчеркнуты самим автором.

Так что на деле-то воспринимающий всегда интерпретирует, сколь бы ни удручала Сонтаг подобная «месть интеллекта искусству». Весь вопрос, однако, в том, как это делается. И тут действительно есть о чем задуматься. А нам со специфическим нашим опытом — в особенности.

Аргументируя свои выводы, Сонтаг указывает на схематические истолкования творчества Кафки, у которого всяк ищет какую-нибудь аллегорию. Сколько еще — и куда более красноречивых! — примеров добавится, если обратиться к советской критике. Разве, зачитывая прописи из партийного катехизиса, не вдалбливали нам со школьной скамьи, что Толстой велик обличениями и смешон рисовыми котлетками, оставляющими лазейку для фидеизма и поповщины? Десятки лет стараниями бесчисленных интерпретаторов мы приучались к такому чтению русской классики, что в ней, рассеченной на знаменитые «три этапа» и «две культуры», ничего не оставалось, кроме бичевания язв и воспевания прогресса, остальное же от лукавого. У нас и применительно к искусству действовало правило чеховского учителя, убежденного, что в чистописании главное не четкость и красота письма, а чтоб ученики не забывались, сиречь не впадали в богостроительство и богоискательство, а занимались прокладыванием дороги «широкой, ясной» — не грудью, так пером и кистью. Или, продолжая цитировать Некрасова,— целиком отдались «житейскому волненью», обойдясь без этих сомнительных «звуков сладких и молитв».

Давайте честно себя спросим: не внедрились ли в нас такого рода «интерпретации» настолько глубоко, что отступить от них в принципе мы по сей день не можем, только стараемся как-то их облагородить, избежав уж слишком очевидной дубовости? По силам ли

нам уже сейчас воспринять в искусстве не одни только элементы содержания, к тому же — и это еще мягко говоря — произвольно, тенденциозно истолкованные?

Если не по силам, то причина не просто в инерции отживших понятий. Скорее она в социальной психологии, побуждающей осознавать художественный текст под каким-нибудь идеологическим знаком,— пусть оснований для этого текст не дает ни малейших.

И выходит, что интерпретация — для нас во всяком случае — не только термин из эстетического словаря, а проблема, обладающая вполне злободневным смыслом. Злободневна она оттого, что нам, учащимся по-новому жить в обществе, которое освобождается от идеологической зашоренности, собственно, предстоит и заново научиться читать. Разумеется, мы останемся толкователями и тогда, когда выучимся,— повторяю, читать и не интерпретировать нельзя. Но, может быть, со временем два эти понятия перестанут противоречить друг другу.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

СУЗАН СОНТАГ

ПРОТИВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Содержание — это проблеск чего-то, встреча как вспышка. Оно совсем крохотное... совсем крохотное — содержание.

Виллем Де Кунинг. В интервью

Только поверхностные люди не судят по внешности. Тайна мира — в видимом, а не в невидимом.

Оскар Уайльд. В письме

I

Начальный опыт искусства был, вероятно, колдовским, магическим; искусство служило орудием ритуала. (Например, живопись в пещерах Ласко, Альтамиры, Нио, Ла Пасьеги и т. д.) Начальная *теория* искусства, созданная греческими философами, утверждала, что искусство — мимесис, подражание действительности.

Именно здесь и возник специфический вопрос о ценности искусства. Ибо теория мимесиса по самой своей сути требует, чтобы искусство оправдало свое существование.

Платон, выдвинув эту теорию, стремился, по-видимому, к выводу, что ценность искусства сомнительна. Поскольку обычные материальные вещи для него — объекты миметические, подобия трансцендентных форм или структур, даже самое лучшее изображение кровати будет всего лишь «подобием подобия». Искусство для Платона и не слишком полезно (на изображении кровати не выспишься) и, в строгом смысле, не истинно. Аристотелевы доводы в защиту искусства, в общем, не противоречат мысли Платона о том, что все искусство — изощренный обман чувств, то есть ложь. Но он оспаривает идею Платона о бесполезности искусства. Ложь ли, нет ли, искусство, по Аристотелю, обладает определенной ценностью, ибо оно — вид терапии. Искусство все же полезно, доказывает Аристотель, – полезно медицински, поскольку возбуждает и очищает опасные чувства.

У Платона и Аристотеля миметическая теория искусства идет рука об руку с предположением, что искусство всегда фигуративно. Но сторонникам миметической теории нет нужды закрывать глаза на декоративное и абстрактное искусство. Ложное допущение, что искусство непременно — «реализм», можно видоизменить или отбросить, не выходя из круга проблем, очерченного миметической теорией.

По сути, все западное понимание искусства и размышления о нем оставались в границах греческой теории искусства как мимесиса. Именно благодаря этой теории искусство как таковое — если отвлечься от конкретных произведений — становится проблематичным, нуждается в защите. Защита же и порождает странное представление, согласно которому то, что мы привыкли называть «формой», отделено от того, что мы привыкли называть «содержанием»; еще один благонамеренный шаг — и вот уже содержание существенно, а форма второстепенна.

Даже в наше время, когда большинство художников и критиков отказались от теории искусства как отображения внешней действительности ради теории искусства как субъективного выражения, стержневая мысль миметической теории сохранилась. Возьмем мы за модель художественного произведения картину (искусство как картина действительности) или высказывание (искусство как высказывание художника), все равно первым идет содержание. Содержание, может быть, изменилось. Может быть, теперь оно менее фигуративно, его реалистичность менее очевидна. Но по-прежнему предполагается, что произведение искусства есть его содержание. Или, как формулируют у нас сегодня, произведение искусства по определению что-то говорит. (X говорит вот что... X хочет сказать вот что... X пытался сказать вот что... и т. д., и т. д.)

II

Никому из нас не вернуться к тому дотеоретическому простодушию, когда искусство не нуждалось в оправдании, когда у произведения не спрашивали, что оно говорит, ибо знали (или думали, будто знают), что оно делает. Отныне и до конца сознания мы будем биться над задачей защиты искусства. Мы можем спорить лишь о методах защиты. И обязанность наша — ниспровергать те методы защиты и оправдания искусства, которые не успевают за современной практикой, игнорируют ее, повисают на ней грузом.

Именно так обстоит сегодня дело с идеей содержания самого по себе. Как бы ни слу-

жила эта идея в прошлом, сегодня это — помеха, узда, скрытое или плохо скрытое обывательство.

Хотя развитие многих искусств, казалось бы, велит расстаться с идеей, что художественная вещь — это прежде всего содержание, идея властвует над умами по-прежнему. Можно сказать так: эта идея продолжает жить в виде определенного подхода к произведениям, глубоко укоренившегося среди людей, которые относятся всерьез к искусству. Акцент на содержании порождает постоянный, никогда не завершающийся труд *интерпретации*. И наоборот — привычка подходить к произведению с целью его интерпретации поддерживает иллюзию, будто и в самом деле существует такая вещь, как содержание произведения искусства.

III

Разумеется, я не имею в виду интерпретацию в самом широком смысле, в том смысле, какой придавал ей Ницше, заметивший (справедливо): «Нет фактов, есть только интерпретации». Под интерпретацией я понимаю здесь направленный акт сознания, иллюстрирующий определенный кодекс, определенные «правила» интерпретации.

Применительно к искусству интерпретация состоит в том, что из произведения выхватываются определенные элементы (X, Y, Z и т. д.). Задача интерпретации, по сути,— перевод. Интерпретатор говорит: смотрите, разве не понятно, что X — это на самом деле A (или обозначает A)? Что Y на самом деле — B? Z — C?

Что побуждает к этому любопытному труду преобразования текста? История предлагает нам материал для ответа. Интерпретация впервые появляется в культуре поздней античности, когда сила мифа и вера в миф были разрушены «реалистическим» взглядом на мир, возникшим благодаря научному просвещению. Как только был задан вопрос — неотступно преследующий постмифическое сознание — об уместности религиозных символов, античные тексты в их изначальной форме стали неприемлемыми. Чтобы примирить древние тексты с «современными» требованиями, на помощь призвали интерпретацию. Так стоики, в соответствии со своими представлениями о том, что боги должны быть моральны, перевели грубые черты гомерова Зевса, и его буйного клана в план аллегории. На самом деле, объяснили они, под связью Зевса с Лето Гомер подразумевал союз между силой и мудростью. Подобным же образом Филон Александрийский истолковал исторические сказания Библии как духовные парадигмы. Исход из Египта, сорокалетние скитания в пустыне, приход на обетованную землю, утверждал Филон,— это аллегория освобождения, страданий и спасения человеческой души. Словом, интерпретация заранее предполагает неувязку между смыслом текста и запросами (позднейшего) читателя. И стремится ее снять. Затруднение состоит в том, что по какой-то причине текст стал неприемлемым, но отказаться от него нельзя. Интерпретация есть радикальная стратегия сохранения старого текста — слишком ценного, чтобы его выбросить,— путем перекройки. Не стирая и не переписывая текст, интерпретатор все же его изменяет. Но не может в этом признаться. Он доказывает, что всего лишь сделал его внятным, раскрыл его подлинный смысл. Как бы сильно интерпретаторы ни меняли текст (еще один печально известный пример — талмудистские и христианские «духовные» толкования эротической «Песни песней»), они должны утверждать, что вычитывают смысл — его содержимое.

В наше время интерпретация стала еще сложнее. Ибо ныне усердный труд интерпретации движим не благоговением перед неудобным текстом (каковое может скрывать под собой агрессию), а уже открытой агрессивностью, явным презрением к видимому. Старая манера интерпретации была настойчивой, но почтительной: над буквальным смыслом надстраивали другой. Новый стиль — раскопка; раскапывая, разрушают; роют «за» текстом, чтобы найти подтекст, который и является истинным. Самые знаменитые и влиятельные из современных доктрин — марксистская и фрейдистская — представляют собой не что иное, как развитые системы герменевтики, агрессивные, беспардонные теории интерпретации. Все наблюдаемые феномены берутся в скобки, по выражению Фрейда, как *явное содержание*. Явное содержание надо прозондировать и отодвинуть — и найти под ним истинный смысл, *скрытое содержание*. У Маркса — общественные события, такие, как революции и войны, у Фрейда — явления личной жизни (вроде невротических симптомов и оговорок), а также тексты (например, сновидения или произведения искусства) рассматриваются как повод для интерпретации. По Марксу и Фрейду, эти явления только кажутся понятными. На самом же деле без интерпретации они смысла не имеют. Понять — значит истолковать. А истолковать — значит переформулировать явление, найти ему эквивалент.

Таким образом, интерпретация не является абсолютной ценностью (как полагает большинство людей), широким жестом ума, парящего в некоем вечном царстве возможностей. Интерпретации самой следует дать оценку, рассматривая сознание исторически. В одних культурных контекстах интерпретация — освободительный акт. Это — средство пересмотра, переоценки и отторжения мертвого прошлого. В других — это деятельность реакционная, наглая, трусливая, удушающая.

IV

Ныне как раз такое время, когда интерпретация — занятие по большей части реакционное и удушающее. Подобно смрадной пелене автомобильного и заводского дыма над городами, интерпретаторские испарения вокруг искусства отравляют наше восприятие. В культуре, подорванной классическим уже разладом — гипертрофией интеллекта за счет энергии и чувственной полноты,— интерпретация — это месть интеллекта искусству.

Больше того. Это месть интеллекта миру. Истолковывать — значит обеднять, иссушать мир ради того, чтобы учредить призрачный мир «смыслов». Превратить мир в *этот мир*. (Этот! Будто есть еще другие.)

Мир, наш мир и без того достаточно обеднен, обескровлен. Долой всяческие его дубликаты, покуда не научимся непосредственнее воспринимать то, что нам дано.

V

В наши дни интерпретация чаще всего равняется обывательскому нежеланию оставить произведение художника таким, каково оно есть. Подлинное искусство обладает способностью беспокоить нас. Сводя произведение к его содержанию, а затем интерпретируя это последнее, человек произведение укрощает. Интерпретация делает искусство ручным, уютным.

Эта обывательская натура интерпретации пышнее всего расцвела в словесных искусствах. Которое уже десятилетие литературные критики почитают своей задачей перевод элементов стихотворения, пьесы, романа, рассказа в нечто иное. Писатель порою настолько смущен голой силой своего искусства, что готов вмонтировать в произведение — пускай не без робости или с благородным оттенком иронии — ясную и недвусмысленную его интерпретацию. К числу таких чрезмерно покладистых авторов принадлежит Томас Манн. Если же автор упрям, критик только рад самостоятельно исполнить этот труд.

Творчество Кафки, например, стало трофеем по меньшей мере трех армий интерпретаторов. Те, кто прочитывает Кафку как социальную аллегорию, видят у него анализ фрустраций и безумия современной бюрократии и ее перерастания в тоталитарное государство. Те, кто читает Кафку как психоаналитическую аллегорию, находят у него безоглядно обнаженный страх перед отцом, страх кастрации, чувство собственного бессилия, порабощенность снами. Те, кто читает Кафку как религиозную аллегорию, объясняют, что К. в «Замке» домогается доступа в рай, что Йозеф К. в «Процессе» судим неумолимым и непостижимым Божиим судом... Другой автор, облепленный интерпретаторами, как пиявками,— Сэмюэл Беккет. Тонкие драмы замкнутого сознания, отрезанного, усеченного до азов, иногда представляемого физическим параличом, прочитываются как отчет об отчуждении современного человека от Смысла или от Бога или как аллегория душевной болезни. Пруст, Джойс, Фолкнер, Рильке, Лоуренс, Жид... несть им числа — писателям, покрытым толстой штукатуркой интерпретаций. Следует, однако, отметить, что интерпретация — не просто реверанс посредственности перед гением. Она вообще есть современный способ понимания и применяется к вещам любого достоинства. Так, из заметок Элиа Казана о работе над фильмом «Трамвай «Желание» явствует, что для постановки Казану пришлось обнаружить, что Стэнли Ковальский олицетворяет чувственное и мстительное варварство, пожирающее нашу культуру, а Бланш Дюбуа – это западная цивилизация, поэзия, изысканный наряд, приглушенный свет, тонкие чувства и прочее, хотя, конечно, и не первой свежести. Сильная психологическая мелодрама Теннесси Уильямса наконец-то стала понятна: она — о чем-то; она — об упадке западной цивилизации. Останься она пьесой о красивом хаме Стэнли Ковальском и увядающей, потрепанной жизнью даме-южанке, она, очевидно, не была бы комфортной.

VI

Не важно, рассчитывал или не рассчитывал художник на интерпретацию своего творения. Может быть, Теннесси Уильямс видит тему «Трамвая» в том же, в чем видит ее Казан. Может быть, Кокто хотел, чтобы в «Крови поэта» и в «Орфее» прочли сложную фрейдистскую символику и социальную критику, каковые и были усмотрены в обоих фильмах. Но достоинство этих произведений заключается отнюдь не в их «смысле». Наоборот, именно в той мере, в какой пьесы Уильямса и фильмы Кокто наводят на эти монументальные соображения, они дефектны, фальшивы, надуманны, не вполне убедительны.

Как видно из нескольких интервью, Рене и Роб-Грийе сознательно построили фильм «Прошлым летом в Мариенбаде» так, чтобы он допускал множество равно правдоподобных интерпретаций. Но с искушением интерпретировать «Мариенбад» надо бороться. Важны в нем чистая, непереводимая чувственная непосредственность образов, строгие, пускай и узкие, решения отдельных проблем кинематографической формы.

И Бергман, возможно, имел в виду, что танк, грохочущий по пустой ночной улице в «Молчании»,— фаллический символ. Если так, это была глупая мысль («Не верьте рассказчику, верьте рассказу»,— сказал Лоуренс). Взятый как грубая бездушная вещь, как прямой чувственный эквивалент таинственных, внезапных, полных броневого лязга событий, происходящих в гостинице, этот эпизод с танком — самый поразительный кусок фильма. Те, кто нацелен на фрейдистскую интерпретацию танка, выражают лишь свою невосприимчивость к тому, что есть на экране.

Интерпретации такого рода всегда указывают на неудовлетворенность (осознанную или неосознанную) произведением, на желание подменить его чем-то другим.

Интерпретация, основанная на весьма сомнительной идее, будто произведение художника, состоит из элементов содержания, насилует искусство. Она превращает его в предмет для использования — для помещения в схему категорий.

VII

Конечно, интерпретация господствует не всюду. Можно предположить, что в современном искусстве многое мотивируется желанием спастись от интерпретации. Чтобы уйти от интерпретации, искусство может стать пародией. Оно может стать абстрактным. Оно может стать «всего лишь» декоративным. И может стать не-искусством.

Бегство от интерпретации особенно заметно в современной живописи. Абстрактная живопись — это попытка изгнать содержание в обычном смысле слова; где нет содержания, там нечего истолковывать. Противоположным путем к тому же результату идет поп-арт: пользуясь содержанием, таким очевидным, таким «как есть», он тоже становится неинтерпретируемым.

Также и в современной поэзии — начиная с великих французских новаторов (в частности, символистов — хотя само это название сбивает с толку) с их попытками ввести молчание в стихи и восстановить в правах магию мира — многое избежало грубых интерпретаторских объятий. Последняя революция в поэтических вкусах, революция, которая свергла Элиота и вознесла Паунда, выражает неприязнь к содержанию в общепринятом смысле

слова, досаду на то, что сделало современные стихи добычей ретивого интерпретаторства.

Говорю, разумеется, прежде всего о положении в Америке. Интерпретация у нас разгулялась в тех искусствах, где авангард хил и несуществен — в беллетристике и в драме. Американские романисты в большинстве своем либо репортеры, либо господа социологи и психологи. То, что они сочиняют, есть литературный аналог программной музыки. И столь рудиментарным, бескрылым, застойным было ощущение формальных возможностей в прозе и в драме, что даже если содержание в них не ограничивается информацией, последними известиями, оно все равно до странности наглядно, сподручно, оголено. Насколько американские романы и пьесы (в отличие от поэзии, живописи и музыки) не отражают глубокого интереса к развитию формы, настолько они безоружны перед атакой интерпретаторов.

Однако программный авангардизм — чаще всего означавший формальные эксперименты в ущерб содержанию — не единственная защита искусства от интерпретаторской напасти. Надеюсь по крайней мере, что не единственная. Иначе искусство всегда было бы в бегах. (Кроме того, какая защита увековечивает черту между формой и содержанием, которая, в конечном счете, иллюзорна.) В идеале избегнуть интерпретаторов можно другим путем: создавая вещи, лицо которых настолько чисто и цельно, которые настолько захватывают своим напором и прямотой обращения, что могут быть... только тем, что есть. Возможно ли это сегодня? На мой взгляд, такое случается в кинематографе. Поэтому-то кино в наши дни — самое живое, самое волнующее, самое значительное искусство. Насколько живо данное искусство, вернее всего можно судить по тому, какой простор предоставляет оно для ошибок, не перестав при этом быть хорошим. Некоторые фильмы Бергмана, например, с их сбивчивыми вещаниями о современном духе, располагающими к интерпретации, все-таки торжествуют над претенциозными замыслами режиссера. В «Причастии» и «Молчании» красота и визуальная изощренность образов аннулируют буквально у нас на глазах наивную псевдоинтеллектуальность сюжета и части диалога. (Самый замечательный пример подобного несоответствия — творчество Гриффита.) В хорошем фильме всегда есть прямота, которая полностью избавляет нас от интерпретаторского зуда. Этим раскрепощающим антисимволическим свойством обладают не только фильмы лучших европейский режиссеров нашего времени — такие, как «Стреляйте в пианиста», «Жюль и Джим» Трюффо, «На последнем дыхании» и «Жить своей жизнью» Годара, «Приключение» Антониони, «Жених и невеста» Ольми — но и в меньшей степени старые голливудские фильмы — Кьюкора, Уолша, Хоукса и многих, многих других.

То, что кинематограф еще не смят интерпретаторами, отчасти объясняется новизной самого киноискусства. К счастью, кино долгое время было всего лишь «картинами»; иначе говоря, считалось частью массовой, а не высокой культуры, и мыслящие люди его не трогали. Вдобавок для тех, кто хочет анализировать, в кинематографе есть и другая пожива помимо содержания. Ибо кино в отличие от романа обладает словарем форм — сложной, явной и доступной обсуждению технологией движения камеры, монтажа и композиции кадра, технологией, которая включена в процесс создания фильма.

VIII

Какого рода критика, искусствоведческий комментарий желательны сегодня? Ведь я не утверждаю, что произведение искусства — табу, что его нельзя описывать или пересказывать. Можно. Вопрос — как? Какой должна быть критика, чтобы она служила художественному произведению, а не узурпировала его место?

Прежде всего необходимо большее внимание к форме. Если установка на содержание питает высокомерную интерпретацию, то более пространные, подробные описания формы должны ее обуздывать. Требуется же для этого — словарь форм, причем словарь описания, а не предписаний [1]. Лучшей критикой — а ее не так много — будет та, где мысли о содержании и мысли о форме сплавлены. Если говорить о кино, драме и живописи, то на память мне приходят, соответственно, статьи: Эрвина Панофски «Стиль и материал в кинофильмах», Нортропа Фрая «Конспект драматических жанров», Пьера Франкастеля «Разрушение пластического пространства». Книга Ролана Барта «О Расине» и две его статьи о Роб-Грийе – формальный анализ творчества отдельных авторов. (Лучшие главы в «Мимесисе» Эриха Ауэрбаха, как «Рубец на ноге Одиссея»,— примеры того же рода.) В очерке Уолтера Бенджамина «Рассказчик: размышления о творчестве Николая Лескова» предметами формального анализа стали одновременно и жанр и произведения этого писателя.

Столь же ценна была бы критика, предложившая действительно точное, четкое, любовное описание внешнего в художественном произведении. Задача эта представляется даже более трудной, чем формальный анализ. Среди редких примеров того, о чем идет здесь речь, назову критические работы Манни Фарбера о кино, работу Дороти Ван Гент «Мир Диккенса: вид из Тоджера» и Рэндалла Джаррела об Уитмене. Эти очерки открывают чувственную поверхность произведений, а не возятся под ней.

IX

Прозрачность сегодня — высшая, самая раскрепощающая ценность в искусстве и в критике. Прозрачность означает — испытать свет самой вещи, вещи такой, какова она есть. Этим и замечательны фильмы Брессона и Одзу, «Правила игры» Ренуара.

Когда-то (для Данте, скажем) революционным и творческим поступком было, наверно, создание работ, допускающих восприятие на

---

[1] Одна из трудностей здесь состоит в том, что наша идея формы — пространственная (все греческие метафоры для формы производны от пространственных понятий). Вот почему для форм пространственных искусств наш словарь приспособлен лучше, чем для форм временных. Исключением среди временных искусств является, очевидно, драма: может быть, потому, что драма — вид повествовательный (то есть временной), но развертывающийся визуально, изобразительно — на сцене. Чего мы лишены пока — это поэтики романа, четкого понятия о повествовательных формах. Кинокритика может послужить прорыву в этой области, поскольку кино — искусство прежде всего визуальное — является также разделом литературы.

разных уровнях. Теперь это не так. Это лишь укрепляет принцип избыточности, главный недуг нынешней жизни.

Когда-то (когда высокого искусства было немного) революционным и творческим поступком было, наверно, истолкование художественных произведений. Теперь это не так. Чего нам определенно не надо теперь — это еще большего поглощения искусства Мыслью или (что еще хуже) искусства Культурой.

Интерпретация принимает чувственное переживание художественного произведения как данность и стартует с этой точки. Но теперь его нельзя принимать как данность. Подумайте о том, какая масса произведений доступна любому из нас, прибавьте сюда шквал несовместимых зрелищ, звуков, запахов, обрушиваемый на наши чувства городской средой. Наша культура зиждется на избытке, перепроизводстве; в результате — неуклонная потеря остроты восприятий. Все условия современной жизни — ее материальное изобилие, сама ее перенаселенность — действуют заодно, притупляя наши чувства. Вот и надо определить задачу критика, исходя из состояния наших чувств и способностей (нынешнего, а не когда-то бывшего).

Сегодня главное для нас — прийти в чувство. Нам надо научиться видеть больше, слышать больше, больше чувствовать.

Наша задача — не отыскивать как можно больше содержания в художественной вещи, тем более не выжимать из нее то, чего там нет. Наша задача — поставить содержание на место, чтобы мы вообще могли увидеть вещь.

Всякий искусствоведческий комментарий должен быть направлен на то, чтобы произведение — и по аналогии, наш собственный опыт — стало для нас более, а не менее реальным. Функция критики — показать, что делает его таким, *каково оно есть,* а не объяснить, *что оно значит.*

X

Вместо герменевтики нам нужна эротика искусства.

Перевод с английского ***В. ГОЛЫШЕВА***

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

О ПОЛЬЗЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков...

Первое послание к Коринфянам, 12, 10

Оскар Уайльд в, увы, таком редком у писателей похвальном слове критике написал однажды: «Меня неизменно забавляет глупое тщеславие тех современных художников и писателей, которые чуть ли не всерьез полагают, будто главная обязанность критика в том, чтобы разглагольствовать насчет их второсортных произведений... Его единственная цель в том, чтобы запечатлеть собственные импрессии. Это для него создаются картины, пишутся книги и обращается в скульптуру мрамор».

Блестящий психолог, он с мстительной иронией ухватил самое существо вечных противоречий между писателями и критиками и сразу оказался в сердце проблемы, задетой Сузан Сонтаг в ее умном, насмешливом, порой вызывающем эссе. Писательница настойчиво ищет искусства, не подверженного интерпретации, избегающего содержания, которое плодит толкователей, и с искренней досадой говорит, наконец, что переводимое в слово содержание — вообще только «помеха, узда, скрытое или плохо скрытое обывательство». А Оскар Уайльд смеется, что искусство только и живет для интерпретации, только ее и домогается и только для нее и пишут книги и создают картины. И боюсь, что умный англичанин прав. Если и возникают между писателями и критиком недоумения в этом деликатном вопросе, то только из-за неясности формулировок, из-за недочитанной у оппонента мысли, из-за ошибки ума, нечаянно обманувшегося поверхностной теорией и оттого направившего укор не по адресу.

Ведь и С. Сонтаг без необходимой ревизии соглашается с чужой теорией и с первой посылки, принуждает искусство защищаться пользой. «Начальный опыт искусства был, вероятно, колдовским, магическим»,— повторяет она за теоретиками мимесиса, и вот уже искусство оказывается связано с какой-то задачей, стоящей вне его собственных условий. А я вспоминаю бесстрашную веселую, как всякая независимая от общепринятого мнения правда, книгу Г. К. Честертона «Вечный человек» и его здравомысленное и поэтому, может быть, сто раз более верное замечание по поводу того самого «начального опыта», по поводу еще от пещерных рисунков отсчитываемого «колдовского и магического искусства», что ему милее простое мнение, согласно которому «пещера была просто детским садиком, а цветных зверей рисовали для детей, как рисуют у нас слонов и жирафов». То есть рисовали для радости, а вовсе не для магии заклинания и обряда. И одного этого поворота мысли уже довольно, чтобы сооружение С. Сонтаг, отправившееся от теории мимесиса, накренилось из-за неверности посылки, перестало быть убедительным и в окончательных выводах.

Пошлость пользы и смущающего писательницу обывательства интерпретации принесли поздние практические умы, которые поставили алтари прогрессу и уже не могли мыслить развитие человечества и искусства иначе как от низшего к высшему и, значит, уже не могли обойтись без самодовольной интерпретации, которая помогала бы им укрепляться в их прагматическом верования. Но оспаривать правоту этого способа мысли значит только, взяв копье наперевес, опять лететь на слепые крылья равнодушно жующей вечность мельницы. Толкователи мира, ищущие во всем

последовательной логики, таким способом, только по-своему, защищаются от настоящей загадки мира, прячутся от пугающей вечности, придав ее движению удобство пригородного расписания. С этой уютной позиции их не своротить.

С. Сонтаг справедливо иронизирует над такой трусливой самозащитой, справедливо досадует на агрессивность мысли, которая теснит всякое живое явление искусства, чтобы вместо формы представить формулу. Но как ни гневайся на интерпретаторов и ни ищи чистоты, как ни призывай к «эротике искусства» вместо герменевтики, искусство само (и сегодня как никогда) предполагает интерпретацию, включает ее в правила игры, жаждет истолкования и провоцирует его, в конце концов — смеется О. Уайльд — только ею и живет.

* * *

Как всё в мире, это началось не сегодня. Можно сетовать на то, что, начиная с Филона Александрийского, даже «исторические сказания Библии» толкуются «как духовные парадигмы» и что интерпретатор во все времена неизбежно «изменяет текст и не может в этом признаться». Но он «не может признаться» именно потому, что естественно и справедливо уверен, что не изменяет этот текст, а только действительно прозревает не обнаруженную до него радугу оттенков (конечно, если мы говорим не о жуликах интерпретации, не о пошлом племени приживалов при искусстве, которые найдут возможность истолковать его в самой «эротической» темноте, а о настоящих поэтах толкования, которые так же редки, как истинные художники).

И ничего нет странного в том, что «интерпретация... предполагает неувязку между смыслом текста и запросами (позднейшего) читателя». Оставить текст в первоначальном значении, в полноте его «родительских» смыслов (скажем, ту же соломонову «Песнь песней») значило бы ничуть не меньше, чем следом за Иисусом Навином остановить солнце. Река времен с каждым годом и столетием торит себе новое русло и намывает новые отмели и пороги. Мы уже не прочтем гомерову «Одиссею» глазами Перикла, не услышим пророчество Иеремии, онемевшим от ужаса слухом евреев, внимавших ему в пятом месяце II года Седекии, не разберем всех иронических тонкостей фонвизинова «Бригадира», да, пожалуй, и в ближайшем по времени набоковском «Даре» не сразу ухватим полную суть «чернышевской главы».

Интерпретатор, оставаясь нашим современником, уходит во тьму времени, протянув нам конец ариадниной нити, чтобы мы могли следовать за ним, не рискуя потерять выход. Когда посредника не окажется, читатель сам выйдет на необходимую дорогу. Все мы по себе знаем, что чтение — это интерпретация. И так было даже во времена, когда могло показаться, будто человек не спрашивал «что *говорит* искусство», а знал «что оно *делает*». «Идет ли речь о поэзии? Тогда его (поэта.— В. К.) слова суть множество символов, которые нам нужно самим истолковать, в противном случае они останутся, как это и всегда бывает с поэтическим словом в прозаических душах, мертвыми знаками; сами по себе эти знаки бесплодны, но, следуя им, мы можем подойти или приблизиться к той Вершине Созерцания, где стоял Поэт». Это пишет Т. Карлейль. Конечно, тут важно это слово *самим* истолковать, но тут уж, как говорится, воля читателя — текст перед ним, не хочешь чужого толкования, не гляди. А вдруг чужой-то взгляд и не во вред тебе, а в духовное умудрение?

Если сердце искренне и слух устремлен к тексту, если читатель достаточно устойчив душой и ему, как писал Иоанн Солсберийский, «любовь раскрывает глаза», то он выделит настоящую высокую интерпретацию, которая есть только средство соединения разорванного времени, скрепления расходящейся исторической ткани. Тогда он поймет, почему Анатоль Франс предваряет свою интерпретацию флоберовой «Иродиады» подчеркнуто сухим рисунком исторической ситуации, по которой вышивал свое роскошное повествование могучий Флобер. Интерпретатор сознательно одевается нищим, чтобы оттенить блеск одежд представляемого им сочинения, и в этом изящном смирении находит наиболее удачный способ стать вровень с автором оригинала.

Вооружись любовью и скоро поймешь, что интерпретация может быть не только блестяща и проницательна, но мужественна и опасна. Наш опытный тоталитаризм знал ее грозную силу и умел «вовремя» арестовать жалящую книгу Аркадия Белинкова о Тынянове или притворяться, что не увидел всей глубины монографии Леонида Пинского о Шекспире, внешнее бесстрастие и академическая обстоятельность которой тем неожиданнее приводили к осознанию ужасающей сходности коварных деспотий различных эпох и народов. Сам горячий современник, лагерник, беспокойный для властей искатель должного в человеке, Пинский по внешности занимается только почтительно кабинетным исследованием творчества английского гения, а в итоге написал спокойно-обвинительный акт потерявшему ориентиры обществу, еще раз доказав, что в иные дни интерпретация — лучший способ высказаться о затыкающем рот времени.

* * *

Я даже напрасно пишу это. С. Сонтаг и сама знает это не хуже и если все-таки настойчиво ставит перед искусством задачу «избегнуть интерпретации», то только от усталости, как кажется, наступающей во всей западной культуре. Это усталость от слишком властной *мысли,* упорно вытесняющей живую полноту *чувства* на периферию искусства. Они всегда были ревнивы друг к другу, и уязвленная мысль, порожденная более гордостью, соперничеством с Богом, чем послушанием Ему, давно искала возможности внедриться в искусство, которое всегда было ближе к Богу и хранило сродность жизни. Надо сказать, мысль добилась своего довольно рано. Нельзя сказать, чтобы это темное вторжение было пропущено без внимания. Поэты — народ зоркий, и Хуана Инес де ла Крус уже к концу XVII века предупреждала:

Для непорочных душ познанье —
Как сильнодействующий яд;
Увы, чем больше люди знают,
Тем больше знать они хотят.

И если не остановить их,
То в одержимости своей
Под натиском все новых истин
Они забудут суть вещей.

«Суть вещей» уходит — вот причина сопротивления. Вот перевод соломонова вздоха в «Екклесиасте», впервые понявшего, что «кто умножает познания, умножает скорбь» (Книга Екклесиаста, 1, 18). Вот причина, побуждающая восставать против все разлагающей мысли и С. Сонтаг, ведь что иное ее тоска по «прозрачности», как не воспоминание о «сути вещей». Только Х. И. де ла Крус не зря употребляет слово «одержимость», когда говорит о знании. «Одержимость» — болезнь серьезная и прилипает надолго. «Поглощение искусства Мыслью или (что еще хуже) искусства Культурой», кажется, только теперь и достигает настоящего развития.

* * *

Когда А. Веберн в «Лекциях о музыке» твердил вслед за Гёте, что «между произведением природы и произведением искусства нет существенной противоположности» и что произведение искусства «представляет собой не что иное, как продукт всеобщей природы», то он подчеркивал только его великую первооснову — божественную *содержательность,* которая одна придает форме настоящую цельность, одна делает произведение искусства произведением природы. О независимости искусства, о непременной его самости и свободе «от Культуры» речь заходит не прежде, чем нарушается здоровая целостность питающей искусство жизни. Пока мир крепок, искусству нет дела до оттенков истолкования и до способов уклонения от посягательств мысли. Тогда его заботы просты и нам легко понять скучновато-трезвого Т. Вулфа: «Много было разговоров об «искусстве и красоте», много было сказано насчет «художника»; теперь я думаю, что, в общем, эти пересуды шли нам не на пользу, а только во вред. Они были во вред, так как вырабатывали привычку к бессмысленному жеманству со всеми его условными формулами и словесами, а нам, молодым, плохо знавшим действительность и недостаточно с нею сталкивавшихся, требовались непосредственные связи с реальной жизнью, в которых так нуждается каждый, кто хочет творить».

Но, повторю, этот закон связи действует только при здоровой реальности, когда художника еще интересует загадка жизни и неисчерпаемая тайна первого прохожего, который есть еще подобие Божие и по слову псалмопевца Господь «умалил его пред Ангелами» (Псалтирь, 8,6). Когда же реальность, как теперь, неудержимо теряет плотность и замещается культурой и вместо живого человека пишется цепь ассоциаций, художник может восстать против такого вторичного существования и кинуться в давние святые пределы позабытого единства, но «суть вещей» уже окажется подорвана и размыта знанием и интерпретация успеет стать не следствием, а уже условием существования искусства, прямой и необходимой его составляющей.

* * *

Но и тогда, когда интерпретация была еще только тенью текста, его эхом, мы напрасно корили бы ее за навязчивость и ненужность. Если быть искренним перед собой и без предвзятости оглянуться хотя бы на собственный опыт, легко будет увидеть, что мы делаемся свободны и готовы к беседе с текстом наедине не раньше, чем переворотим сотни томов учительной философии и великой прозы, искусствоведческой эссеистики и тонкой поэзии, не раньше, чем догадаемся, что всякое настоящее произведение искусства есть только оформление текучей *содержательности,* «оразумление явлений», как определял задачу поэта А. Григорьев, то есть, в конце концов, все та же интерпретация божественной неостановимости жизни, где каждый миг невозвратим и существует не сам по себе, а в зеркале свидетельства, каким бы идеализмом это ни казалось.

И когда И. Бродский в Нобелевской лекции говорит, что «произведение искусства... обращается к человеку... без посредников», то он или забывает, или нарочито скрывает, что всякое поэтическое слово уже обременено посредничеством, явным или скрытым присутствием прежнего знания. И теперь обременено как никогда. Раскроешь том его собственных стихотворений на «Венецианских строфах», посвященных как раз С. Сонтаг, и каждый стих разом наполнится гулом культуры, чередой намеков и окликом иных имен:

Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов
бумага,
и рука дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого
в пальцах Яго
каменного платка...

И потянется неостановимая цепь аллюзий, подмигиваний, повеет сладковатой тленной книжностью, в которой запаяны герои Бродского и без которой они задохнутся в безвоздушности и пустоте. Тут в самом читателе вызывается посредник, комментатор, посетитель абонемента, и глубина наслаждения от чтения диктуется количеством угаданных шифров как в крестословице. И это всюду, всюду... Вспомните блестящего Хорхе Луиса Борхеса, его «Читателей»:

Я думаю о желтом человеке,
Худом идальго с колдовской судьбою,
Который в вечном ожиданье боя
Так и не вышел из библиотеки.
Вся хроника геройских похождений
С хитросплетеньем правды и обмана
Не автору приснилась, а Кихано,
Оставшись хроникою сновидений.

Таков и мой удел. Я знаю: что-то
Погребено частицей заповедной
В библиотеке давней и бесследной,
Где в детстве я прочел про Дон Кихота.
Листает мальчик долгие страницы,
И явь ему неведомая снится.

(Перев. Бориса Дубина [1]*)*

Таков и наш удел — быть замкнутыми в библиотеке, как этот мальчик, как сам Борхес, как описавший его «высокое безумие» Умберто Эко в «Имени розы».

Такая замкнутость, интеллектуальная вторичность может вызвать резкую реакцию С. Сонтаг, но может быть принята и как неизбежность, как естественный *этап* развития художественной мысли, как предначертанность

[1] См. «ИЛ», 1990, № 12, с. 57.

истории, против которой странно негодовать, потому что случившееся случилось и, значит, имело причину и будет иметь неизбежное развитие.

* * *

В начале века в «Переписке из двух углов» два умнейших человека в тесном пространстве комнаты уже смоделировали наш сегодняшний «черезокеанный» диалог с С. Сонтаг. Мне кажется, что американская писательница легко узнает свои мысли в зеркале письма М. О. Гершензона, который писал из своего «угла» В. И. Иванову: «...жажда моя отвращается от теплых и пряных напитков современной философии, искусства, поэзии... утолить ее может только холодная ключевая вода. А в нашем быту больше нет живой воды; все родники заключены в резервуары, их вода проведена по многоверстым трубам и потом еще стерилизуется в очистителях, и, наконец, эта полумертвая влага подвергается городской обработке: мы пьем либо кипяченую воду, либо сложные пития всевозможных вкусов, цветов и запахов. Среди этих пышных вместилищ густой и теплой философии, горячей и ароматной поэзии можно умереть от жажды, не найдя глотка холодной воды».

А я, соглашаясь с этой резкой и точной характеристикой омертвелой культуры, все-таки предпочту правду В. И. Иванова, который (таково уж, видно, извечное российское мировидение) и саму эту как будто утомленную неисходность книжной замкнутости поворачивает в живую и перспективную сторону: «У нас двоих нет общего культа. Вам кажется, что забвение освобождает и живит, культурная же память порабощает и мертвит; я утверждаю, что освобождает память, порабощает и умерщвляет забвение. Я говорю о пути вверх, а Вы говорите мне, что крылья духа обременены и разучились летать... в культуре есть сокровенное движение, влекущее нас к первоистокам жизни. Будет эпоха великого, радостного, все постигающего возврата. Тогда забьют меж старых плит студеные ключи, и кусты роз прозябнут из серых гробниц. Но чтобы скорее дожить до этого дня, дальше и дальше надлежит идти, а не обращаться вспять: отступление только замедлило бы замкнутые кольца вечности».

Мне и самому тяжела тавтология культурного существования, когда произведение исследует *не жизнь*, а *другое произведение*, и сам я в досаде писал несколько лет назад, что искусству давно пора вместо двери в библиотеку рубить окно на забытую улицу, бежать к «сути вещей», но годы и опыт учат, что призывы (даже к отрицанию всякой интерпретации во имя неподвластного пошлости высокого первородства) — есть только оборот той же культуры, и разумнее не сетовать, а вглядываться в «сокровенное движение», пусть даже внешне досадного душе культурного процесса, и сколько возможно подталкивать искусство интерпретации к скорейшему открытию заваленных знанием «первоистоков жизни».

* * *

Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...

При разности посылок, как кажется, мы все-таки с Сузан Сонтаг не спорим. На глубине душа ищет одного и если не сразу узнает это, то только от слишком просторных в разночтении слов «интерпретация», «искусство», «культура». Ну, а коли так, значит, случайные оттенки уйдут, а истина, как ей это и надлежит, будет отыскиваться на общих дорогах вечно становящейся, счастливо нескончаемой жизни без насильственных призываний к свержению содержания, которое и есть сама эта нескончаемая жизнь.

г. Псков

Из архива писателя

ТОМАС МАНН

СТРАДАЯ ГЕРМАНИЕЙ

Дневники 1933—1936 гг.

*Вступительная статья, составление, перевод с немецкого и комментарий * М. ХАРИТОНОВА*

12 августа 1975 года, в двадцатую годовщину смерти Томаса Манна, были вскрыты, согласно завещанию писателя, четыре больших пакета, хранившихся в его цюрихском архиве. В пакетах находились дневники. Богатство материалов превзошло все ожидания исследователей: тридцать две тетради с заметками, главным образом 1933—1955 годов; четыре тетради содержали, кроме того, записи 1918—1921 годов.

Два года спустя западногерманское издательство «Фишер» начало публикацию этих материалов, открывших нам немало нового, неизвестного в личности и судьбе великого писателя.

Следует заметить, что дошедшее до нас, при всей объемистости, составляет. однако, лишь малую часть манновских дневников. Писатель вел их всю жизнь. Юношеские дневники он, по его собственному свидетельству, сжег в феврале 1896 года; записи же 1896—1933 годов хранились у него долго. Их история, напоминающая порой страницы детективного романа, составляет своего рода предысторию сохранившихся дневников, и о ней стоит рассказать подробнее.

11 февраля 1933 года Томас Манн с женой отправился из Мюнхена в лекционную поездку. Ему предстояло прочесть в Амстердаме, Брюсселе и Париже уже получивший известность доклад «Страдания и величие Рихарда Вагнера» (см. Т. Манн, Собр. соч., т. 10 М., 1961). Затем, после двухнедельного отдыха в Швейцарии, в курортном местечке Ароза, писатель предполагал вернуться на родину. Сложилось, однако, иначе.

В Германии только что пришли к власти фашисты, и в отсутствие Томаса Манна нацистская пресса развернула против него кампанию яростной травли. Доклад о Вагнере, вызвавший печально знаменитый «Протест вагнеровского города Мюнхена», послужил для нее одним из поводов [1]. Писателю припомнили прошлые антинацистские высказывания, обвиняли его в «пацифистских эксцессах», в «духовной измене родине». Друзья и старшие дети Томаса Манна [2] предупреждали, что в такой обстановке возвращаться домой ему просто опасно.

Там, в мюнхенском доме, оставалось все имущество, книги, рукописи, в том числе подготовительные материалы к третьей книге «Иосифа и его братьев»; но едва ли не больше всего беспокоила писателя судьба дневников — сокровенных, не предназначенных для чужих глаз записей. Он никогда не брал их с собой в дорогу, и его ужасала мысль, что теперь они могут попасть в руки тех, кто создавал вокруг его имени атмосферу ненависти и клеветы: над домом и имуществом Томаса Манна сразу же нависла угроза конфискации. В Арозе, 15 марта 1933 года, Томас Манн начал новую тетрадь — дневник начинавшейся эмиграции, и записи первых месяцев рассказывают нам об этой тревоге, о развернувшихся неожиданно событиях. Писатель поручил забрать и вывезти из дома дневники своему сыну Голо, оставшемуся в Мюнхене. Тот упаковал около полусотни тетрадей в чемодан и собрался уже отнести его на вокзал для отправки, когда ему любезно предложил услуги шофер Маннов Ханс Хольцнер. В семье не подозревали, что он давно является нацистским агентом, осуществляющим за ними слежку. Напрасно ждал Томас Манн прибытия срочного багажа: 10 апреля 1933 года ретивый шофер отнес чемодан прямехонько в «коричневый дом» — мюнхенскую штаб-квартиру нацистской партии.

До сих пор достоверно неизвестно, какими путями, посредством каких доводов адвокату Хайнсу, который вел дела писателя, удалось выручить бесценные для Томаса Манна тетради, которыми никто не успел даже поинтересоваться. Видимо, в ведомствах новоиспеченных «победителей» еще царила неразбериха, и адвокату удалось убедить коричневорубашечников, что украденные, а отнюдь не изъятые рукописи попали к ним по недоразумению, не представляют для них интереса и должны быть возвращены. В конце мая Томас Манн впервые за долгое время вздыхает с облегчением: многострадальный багаж у него в руках. С этими дневниками отныне он не расставался до мая 1945 года, когда они, по неизвестным нам причинам, были сожжены. Исключение было сделано лишь для четырех упомянутых тетрадей 1918—1921 годов; можно предположить, что они нужны были писателю для тогда еще не законченной работы над романом «Доктор Фаустус».

Вместе с дневниками 1933—1955 годов тетради эти оказались не только сохранены, но и предназначены Томасом Манном для публикации по истечении установленного им срока. Стоит ли говорить, какой интерес — не только личный, но и литературно-общественный — представляют эти записи.

Дневники Томаса Манна — явление своеобразное. Он вел записи практически еже-

---

* Комментарии см. в конце публикации. *(Прим. ред.)*

дневно — за иной год буквально по пальцам можно пересчитать пропуски, связанные чаще всего с поездками; в дорогу, как мы уже знаем, писатель дневников не брал, но задним числом обычно восполнял и эти пробелы. Иногда записи занимают по несколько страниц; их обстоятельность, даже скрупулезность поначалу озадачивает. Здесь все: существенные события — и бытовые мелочи, размышления, политические новости — и сведения о погоде, самочувствии, даже принятых лекарствах и их действии, заметки о ходе работы над романом, о деловых и дружеских встречах, письмах, разговорах — и дела семейные, впечатления о прочитанных книгах, о музыке, фильмах, спектаклях — и упоминание о покупке сигар или обеденном меню. Порой Томас Манн сам говорил себе, что такая подробность лишена смысла, он не раз собирался переменить характер дневника и записывать только «существенное». Ничего из этого не получилось; очевидно, в такой обстоятельности был свой неслучайный смысл.

Для разных людей дневники значат разное. Томас Манн, по его собственным словам, испытывал насущную психологическую потребность «запечатлевать уходящий день в его чувственных, а отчасти и духовных проявлениях, запечатлевать его содержание, не столько ради того, чтобы потом вспоминать это и перечитывать, сколько ради отчета, обобщения, осознания и обязывающего контроля» (запись 11 февраля 1934 года). В условиях начинавшейся эмиграции с ее неопределенностью, ненадежностью все это получало особое значение, помогая закрепить смутные ощущения, создать чувство некоторой психологической устойчивости, опоры. Записи, делавшиеся обычно к концу дня, обретали характер некой медитации, вечерней «молитвы», по выражению самого Томаса Манна, помогали собраться, сосредоточиться, успокоиться. Не зря так много звучит в них слов горечи и подавленности: назвав свои чувства словами, осознав их и выявив подоплеку, человек как бы овладевает ими, преодолевает их.

А причин для горечи и тревоги было более чем достаточно. Попробуем себе представить обстоятельства, в которых оказался к той поре писатель. В 1933 году ему исполнилось 58 лет — возраст, когда столь резкие жизненные перемены даются куда как нелегко, особенно для такого человека, как Томас Манн, с его многолетней, возведенной в жизненный принцип привычкой к устойчивому укладу, книгам, дому, человека, глубочайшими корнями связанного с Германией, с ее культурой и языковой средой. Словно вышиблена вдруг из-под ног почва, мысль об эмигрантском, бездомном, «деклассированном» состоянии долго кажется мучительной, невыносимой, связывается с предчувствием гибели. Этот шок постепенно проходит; в отличие от многих других сотоварищей по судьбе Томас Манн все-таки не знал материальных лишений, его книги продолжали выходить на многих языках, а потом появился и новый дом в Кюснахте близ Цюриха, а в нем — даже часть мюнхенской обстановки, которую удалось выручить. Наконец, при всех обстоятельствах Томас Манн ни на день не прекращает работу: он пишет третью книгу «Иосифа», подготовительные материалы к которой сумела вывезти из Германии старшая дочь писателя Эрика, работа, видимо, больше всего помогала ему держаться.

Но непреходящей, незатихающей была его главная боль — Германия, поруганная, обесчещенная фашистами. «Leiden nach Deutschland» — «Страдая Германией» — так назвал впоследствии писатель сборник антифашистской публицистики, работая над которым, он не раз обращался к дневниковым записям. Нет таких слов презрения, гнева, ужаса, которые казались бы ему чрезмерными, когда он пишет о нацистских заправилах и их деяниях. «Преступное, омерзительное безумие», «ложь и низость», «одичание», «кровавый позор»,— читаем мы едва ли не в каждой записи. Его внутреннее отношение к третьему рейху с первых же дней было недвусмысленным. Это особенно важно подчеркнуть потому, что первые годы эмиграции складывались для писателя непросто, и некоторые его публичные высказывания давали повод для недоразумений и ложных толкований. Ставшие нам теперь доступными дневники позволяют с бо́льшей отчетливостью, чем когда-либо, составить представление о подоплеке многих сложных событий той поры.

Томас Манн далеко не сразу солидаризировался с антифашистской левой эмиграцией, к которой принадлежал, среди прочих его брат Генрих, а также его старшие дети: Эрика, руководившая в ту пору политико-сатирическим кабаре «Пфеффермюле» («Перечница»), и сын Клаус, один из основателей антифашистского журнала «Замлюнг» («Собрание»). Тому были разные причины, в том числе внутренние, связанные с воспитанием, духовными пристрастиями; да и сама немецкая эмиграция, особенно вначале, представляла собой далеко не однородное явление. Томас Манн называл свой случай «особым» — разумеется, с полным основанием; иначе и не может быть, когда речь вообще идет о явлении такого масштаба.

Мы уже видели, как невыносима была для человека его склада мысль о «деклассированном» существовании изгнанника. Замечательно место в дневнике, где он называет свою эмиграцию «сбоем в жизненном стиле и судьбе». Он не сразу избавился от надежды на какие-то перемены. Развитие событий все больше требовало решения ясного и открытого — и здесь нельзя недооценить влияния, которое оказали на писателя его дети. В первом же номере журнала «Замлюнг» Клаус Манн поместил имя отца в списке постоянных сотрудников. Это вызвало переполох и тревогу в издательстве «Фишер», которое как раз готовило к публикации в Германии первые две книги романа «Иосиф и его братья». Объявление в «Замлюнг» ставило под угрозу не только выход романа, но и само существование «неарийского» издательства, в котором Томас Манн публиковался начиная с «Будденброков».

Дневники писателя драматично рассказывают о сомнениях, колебаниях, о трудностях, с которыми приходилось считаться, принимая каждое конкретное решение. Стоит ли говорить, как важно было для Томаса Манна сохранить контакт с немецкой читательской аудиторией; но и для читателей в Германии было важно услышать слово Томаса Манна. «Многим подтверждение литературной репутации человека преследуемого принесло бы

удовлетворение и радость»,— не без основания записывает он 6 сентября 1933 года. Этим колебаниям, неуверенности, трудным попыткам уклониться от резкого разрыва, не поступаясь при этом достоинством, суждено было тянуться еще долго, до 3 февраля 1936 года, когда в открытом письме швейцарскому литератору Э. Корроди Томас Манн заявил о своей полной солидарности с антифашистской эмиграцией [3].

Писатель рассказывает обо всем этом на страницах дневника, не страшась предстать не только в своей силе, но и в своей слабости. «Зачем я пишу все это? — спрашивает он в одной из позднейших записей.— Чтобы перед смертью своевременно все это уничтожить? Или я хочу, чтобы мир меня знал?» Предназначив свои дневники для публикации без каких-либо поправок и изъятий, он сам ответил на этот вопрос. И мы воздаем должное его открытости, честности, мужеству; глубина этой личности, неподдельность судьбы не могут не захватить при чтении дневников — замечательного человеческого и литературного документа.

Конечно, в выборочной публикации нельзя дать даже отдаленного представления о разнообразном содержании дневниковых записей Томаса Манна, о почти невероятной заполненности каждого его дня — литературной работой, письмами, встречами, житейскими заботами. Предлагаемые вниманию читателя фрагменты позволяют лишь пунктирно проследить ту важнейшую линию манновских дневников, о которой шла речь: перипетии сложного и драматического пути, которые привели в конце концов писателя в лагерь активных борцов против фашизма. Записи 1933—1936 * годов очерчивают таким образом относительно завершенный жизненный сюжет.

---

* Thomas Mann. Tagebücher 1933 -1934. Herausgegeben von Peter de Mendelssohn. Frankfurt am Main, 1977.
Thomas Mann. Tagebücher 1935—1936. Herausgegeben von Peter de Mendelssohn. Frankfurt am Main, 1978.

Среда 15 марта 1933

... Сегодня утром, как, впрочем, чаще всего по утрам, обошлось бы приступа болезненного страха, какой то и дело накатывает на меня в последние десять дней из-за нервного перенапряжения и усталости и длится иногда часами. Смягченная разновидность этой тоски, доходящей до ужаса, хорошо мне знакома по переживаниям, связанным с отъездом. Характер этого возбуждения, которое нынешней ночью, когда я искал прибежища у К. [4], обострилось до кризиса, говорит о том, что дело тут в боли разрыва с привычным состоянием, в сознании, что завершена некая эпоха жизни, и значит, мне предстоит утверждать свое бытие на новой основе: необходимость, которую я, вопреки окостенению своих 58 лет, готов принять и считаю духовно благотворной. Отсюда и намерение, говорящее скорей об энергии, нежели о депрессии: вычеркнуть в этой связи из своей жизни всякого рода официальные и представительские обязанности, которыми я обременял себя долгие годы из социального добронравия, чувства «долга», «тщеславия» — можно назвать это как угодно — и, освободившись разом от «пут света», жить отныне по-своему, в полной сосредоточенности — это намерение зажить по-новому я начал осуществлять вчера же после обеда, продиктовав К. заявление о своем уходе из руководства «Союза по защите» [5].

С позавчерашнего дня у нас Эрика, и надо считать не случайностью, а одним из проявлений «солнечности» моей жизни, что двое моих любимых детей, старшая и младшая дочери, со мной в эти дни.

Приезд Эрики, ее многочисленные рассказы о мюнхенских сумасбродствах и зверствах, арестах, жестокостях и т. п. усугубили беспокойство и отвращение... Эрика привезла с собой много чтения... а также рукопись третьей книги «Иосифа» с подготовительными материалами.

Лугано, отель Вилла Кастаньола, понедельник 27.III.33

...Бесконечный, неисчерпаемый разговор о преступном, омерзительном безумии, о садистских патологических типах властителей, которые доходят до сумасшедшего бесстыдства ради достижения абсолютной, не подверженной критике власти... Две возможности их падения: экономическая катастрофа либо внешнеэкономическое столкновение. Душой жаждешь этого, готовый к любой жертве, к любым последствиям. Никакой крах не кажется слишком большой ценой за крах этих гнуснейших выродков. Немцам довелось осуществить революцию, какой еще не видывали: лишенную всякой идеи, противную идее, противную всему высшему, лучшему, благороднейшему, противному свободе, истине, праву. Ничего в человеческом смысле подобного еще не бывало. И все это под чудовищное ликование масс, которым кажется, будто они в самом деле желали этого, тогда как их просто околпачили с безумной ловкостью, но они в этом еще не могут себе признаться; люди же более высокого уровня, в том числе консервативных, национальных убеждений (Кардорф) [6], видят ясно, что все идет навстречу ужасной гибели.

Гротескное и подлое жульничество с пожаром рейхстага. Похоже, что этот Ван дер Люббе будет «публично казнен» без суда. Преступление, бесстыдство и лживость которого очевидно всякому, захлебнется в молчании, порожденном неограниченным насилием. И всюду звон колоколов, угар подъема. Им кажется, они становятся снова великой нацией. Не было ни войны, ни поражения, все их последствия упразднены эрзацем войны, которая именует себя революцией и, пародируемая антантовской пропагандой, обращается против собственного народа. Типичная месть проигравшего войну. Он вновь воспрял духом, тогда как все самое благородное в Германии обречено на муку душевной бездомности. Повсюду концентрационные лагеря с «военнопленными»...

Пятница 14.IV.33 (Страстная пятница)

...После всех разговоров опять испытываешь чувство, что совершенно невозможно что-либо предсказать и решить. Я убежден, что, как бы там ни было, надо считаться с устойчивостью нынешних германских вла-

стей. Экономические трудности вряд ли окажутся для них всерьез опасны, перед внешним же миром они будут всячески отрицать свою дикость. Они станут говорить о мире, постараются войти в доверие; не в пример республике, они могут позволить себе какую угодно любезность. Одна лишь война могла бы их свергнуть. Геринг в Риме в качестве государственного деятеля, обсуждающего проблемы мира в Европе, Геринг у папы. Его встречают, его принимают, как будто... Это омерзительно.

Представить себе возвращение в Германию, жизнь там по-прежнему невозможно...

Четверг 27.IV.33, Лугано

...К. по телефону настоятельно советует Голо покинуть Мюнхен, опасаясь, что его могут «изолировать». Задержка чемодана с дневниками тоже становится уже зловещей...

Чистка в германских университетах продолжается, в ход идут не только принудительные увольнения, но и добровольные отставки знаменитых профессоров. «Франкфуртер цайтунг» сообщает о всеобщем возмущении в Англии, которая готова принять немецких ученых. В Германии это называют «антинемецкими настроениями»...

Новый телефонный разговор с адвокатом Хайнсом [7], надо, чтобы он убедил Голо позаботиться о своей безопасности... Нетерпеливое, изматывающее ожидание вестей от Голо, который, возможно, задержан или арестован. Сомнительную роль играет во всем этом штурмовик и шофер Ханс. Мучительное беспокойство К., которое причиняет мне страдания. Пришлось пойти спать, так и не дождавшись телеграммы.

Пятница 28.IV.33, Лугано

Постепенно выясняется, что шофер Ханс — Иуда. Я долго не хотел в это верить, но среди свидетельств против него — его же собственное бахвальство. Он вовсе не заказывал пропуск для проезда через границу, а тотчас донес на нас в «коричневый дом» и заявил, что об аресте на банковский счет тоже распорядился.

Чувство омерзения и подавленности...

Успокоительный разговор по телефону с Хайнсом, который сообщил, что Голо едет через границу кружным путем...

Дома, наконец — телеграмма от Голо, он направляется в Базель через Баден и скоро должен быть в Роршахе...

Пятница 30.VI.33

Весь вчерашний день чувствовал себя полубольным, отчасти это связано с большой нервной слабостью и депрессией, для которой находится достаточно пищи в нынешних моих размышлениях и обстоятельствах. Сегодня головная боль понемногу стихла, хотя и не исчезла совсем. Опять принимал прописанные капли и делал втирание в грудь. После чая, который мне принесли в постель, продиктовал К. ряд писем, касающихся «Иосифа», а также парижской конференции в середине октября, относительно программы которой сделал общие замечания. Тут меня постоянно заботит вопрос о моей позиции в выборе слов. Это сложный вопрос такта и взвешенности. Поскольку речь должна идти о будущем esprit européen [8], необходимо обсудить саму проблему гуманизма в ее целостности, то есть учитывая — и даже особенно — ее политическую сторону. По сути, это проблема «всеобщности», единства государства и культуры, которую теперь хотят свести к принудительной унификации.

Порой я чувствую, что голова моя изрядно перегружена: с проблемами личной жизни тесно переплетается комплекс политический. Да еще проблема «Иосифа» во всей сложности литературных и практических, технических забот...

Четверг 6.VII.33

...Похоже, папа намерен заключить с германским правительством конкордат, который кажется ему «меньшим злом» [9]. В Мюнхене кардинал Фацльхабер находится под стражей.

Вчера мы вместе с Генрихом [10] были у Фейхтвангеров и за чаем опять в сомнении и надежде обсуждали со всех точек зрения вопрос о долговечности нынешнего режима. В то, что он будет скоро сметен, я верю, увы, куда меньше, чем Генрих и Фейхтвангер, которые надеются на близкий экономический крах и революцию. Боюсь, что элемент психологический, иллюзия подъема, освобождения и очищения окажутся сильнее бедствий. Впрочем, это, возможно, относится лишь к образованным, таким как Бертрам [11], и прав был Масарик [12], когда говорил, что, если новые властители не сумеют удовлетворить простейших нужд людей, они будут изгнаны. Однако для этого надо разрушить весь миф о спасителе и дать задний ход событиям, которые претендовали по меньшей мере на видимость эпохальных и исторических...

Четверг 20.VII. 33

...Неоднократные разговоры с Эрикой о моем положении и моей позиции, ложность и неоднозначность которых я сознаю; впрочем, все это естественно проистекает из своеобразия моей ситуации. Берман, издательство «Фишер» [13], которое нуждается во мне, чтобы продолжить свою деятельность в Германии, хочет выпустить к осени первую книгу «Иосифа». Книга печатается быстро, я уже потратил не одно утро на чтение корректур первой половины, но сократить что-либо, впрочем, не решился и уже сознательно оставил все как есть. Правда, Б. договорился с Кверидо [14], и если издание книги в Германии натолкнется на трудности, она будет передана в Амстердам. И все-таки публикация в Германии требует — во всяком случае с точки зрения Бермана — некоторой оглядки, а это наверняка вызовет горькое разочарование в кругах эмиграции. Б. настаивает, чтобы я опроверг сообщение о моем «регулярном сотрудничестве» в амстердамской «Фрайе прессе» [15] (вчерашний телефонный разговор с Берлином). Мое принципиальное, общее, ни к чему не обязывающее согласие не означало такого сотрудничества; однако опровержение вызовет недовольство и даст неверное представление о моей позиции. Безответственную попытку Бермана захватить меня врасплох (появились новые надежды уладить мои дела, и посредник требует от

меня «полномочий») я отклонил, резко отказав в таких полномочиях. Но, значит, опровержение, на «необходимости» которого настаивают, для меня не годится, и если мое пребывание вне Германии само по себе достаточно демонстративно, то подобное лавирование между решимостью и оглядкой, выражением которого несомненно является и статья [16], становится больше невозможным. Оно невозможно уже и потому, что в начале сентября истекает объявленная отсрочка, после которой будет налагаться арест на деньги и объявлено распоряжение вернуться под угрозой конфискации собственности в случае неповиновения. Мое мюнхенское имущество, движимое и недвижимое, чудный дом со всей обстановкой, которую нельзя спасти, будут изъяты, а меня cum infamio [17] объявят утратившим германское гражданство. Тут меня еще ожидают тяжкие потрясения, но мой публичный ответ на это уже готов и может быть подтвержден хорошими аргументами. Именно ввиду предстоящего ответ Пфицнеру является правильным и важным, поскольку он позволяет вскрыть несостоятельность врага с человеческой и моральной точек зрения. Во всяком случае, на этом ощущении держался весь разговор.

И все-таки на меня подействовали страстные призывы Эрики не допускать, чтобы на представление о моих взглядах и позиции легла какая-либо тень; мне тягостен отказ, связанный с опровержением, которого от меня требуют. Понадобится решительное письмо Берману, чтобы пояснить свою волю и воспротивиться ограничению моей свободы.

Возвращение исключено, невозможно, абсурдно, нелепо и полно темных опасностей для свободы и жизни — рассудком я это понимаю, хотя до сих пор пытался оттянуть ясный и *добровольный* разрыв. Дело идет к тому, чтобы принять швейцарское гражданство и к осени осесть в Цюрихе...

Среда 26.VII.33

...Мне кажется, мое душевное состояние явно улучшилось, хоть я отнюдь не рассчитываю на быстрые перемены и даже улучшение обстановки в Германии. Но я стал спокойнее, свыкся с жизнью вне страны в отрыве от привычной мюнхенской обстановки и не без доверия смотрю в будущее, занесет ли меня в Ниццу или в Цюрих. Стремиться обратно, в привычную жизнь, бессмысленно, ведь я ее уже не застану. Это сознание во многом способствовало моей нелегкой адаптации и было с ней связано, а поначалу чувство отрезанности оказалось тяжелым шоком. Но у того, кто страдает, меньше причин держаться за привычное состояние, чем у «счастливчика», и было бы сентиментальностью предаваться ностальгии из-за необходимости расстаться с мюнхенской жизнью. Не такой уж она была счастливой, об этом постарались, а когда об этом так заботятся, трудно говорить о слишком большой привязанности.

Происходящее в Германии, вся эта ложь и низость, вызывает у меня уже скорей презрение, нежели ужас...

Воскресенье 13.VIII.33

...За чаем Кэте Р. и Генрих. Разговор о германской опасности и о том, стоит ли рисковать, публично выступая против правительства, чтобы мобилизовать против него слабые и боящиеся войны западные государства. Успех был бы сомнителен, а опасность для жизни, связанная с этим, все более очевидна. Я читал набросок своего «Заявления» и просил совета.

С. Фишер переслал анкету принудительной имперской организации немецких писателей [18] с требованием заполнить ее и подписать заявление о лояльности «национальному государству». Я намерен молчать и полюбопытствую, призовут ли меня к ответу, а заодно — придет ли распоряжение вернуться.

Воскресенье 27.VIII.33

«Германская академия» [19] требует от членов своего сената подать в отставку с занимаемых постов в целях унификации — что я и «поспешил» сделать.

Опубликованы первые списки политиков и писателей, лишенных германского подданства. Первым идет Эйнштейн, там же и Генрих. А кто эти люди, что распоряжаются об исключении из числа немцев!

Продолжал писать. После еды в саду просматривал оттиски «Иакова» [20], титульные листы, заключительную отсылку к следующим романам...

Среда 6.IX.33

Встал рано и искупался. Во время работы пришел тайный советник Зенгер [21]. Разговор пошел, как и можно было ожидать, об объявлении относительно моего сотрудничества в «Замлюнг» [22], которое может поставить под угрозу выход тома об Иакове и потрясти сами основы существования издательства «Фишер». Бесконечные дискуссии на эту тему до и после обеда, а между ними — разговоры о немецких делах и об отношении к ним в мире. Угрозу теперь должны почувствовать как следует всюду. Но решится ли кто принять необходимые меры — вот что сомнительно, даже невероятно, несмотря на лихорадочное германское вооружение. О многом еще говорили, обо всем, что свалилось на нас. Что касается моей книги, то интерес к ней, как я узнал, просто чрезвычайный, спрос велик, поступили тысячи предварительных заказов. Многим подтверждение литературной репутации человека преследуемого принесло бы удовлетворение и радость. Я постарался проявить предупредительность, продиктовав телеграмму Берману, которая тотчас была отправлена и которой я себя не роняю...

Пятница 8.IX.33

...Вечером читал в одной франконской нацистской газете, которую мне странным образом кто-то прислал, речь «фюрера» о культуре. Поразительно. Этот человек, представитель мелкого среднего класса с неполным средним образованием, ударившийся в философствование,— явление поистине курьезное. Нет сомнения, что ему, в отличие от типов вроде Геринга или Рема, есть дело не только до войны, но и до «германской культуры». Мысли, которые он выстраивает, беспомощно, без конца повторяясь, все время соскальзывая в сторону и совершенно убогим языком,— мысли беспомощно пыжащегося школяра. Это было бы даже трогательно, если б не свидетельствовало о столь ужаса-

ющей нескромности. Никогда еще власть имущие, мировые деятели, занявшиеся политикой, не изображали из себя таким образом учителей народа и всего человечества. Ни Наполеон, ни Бисмарк этого не делали. Они создавали в соответствии со своими представлениями порядок, основу, на которой могли процветать или не процветать науки и искусства, более высокий уровень духовной жизни. В этой духовной жизни они силами государства поощряли и поддерживали то, что им казалось полезным, и насильственно подавляли то, что было против них. Но никогда они поучительно не предписывали нации с кафедры культурной теории, культурной программы, хотя духовных данных у них для этого было несравненно больше, чем у этого бедного малого. Конечно, они еще не знали про «тотальное государство», которое обеспечивает не только власть, но включает в себя все, командует и культурой тоже, даже в первую очередь ею, которое знает, какой она должна быть, и диктаторски, абсолютно, не терпя ни слова противоречия, низводит ее до своих представлений, добытых в упорной борьбе, путем самообразования, ужасающе случайного чтения. Тотальное государство — это, между прочим, государство Платона, в котором *правят* философы,— *один* философ, духовно взбаламученный эпохой, вознесенный ее болезненной неразберихой к власти ремесленник, принимающий свою истеричность за художественный дар, свою беспомощную возбужденность — за способность мыслить, и без малейшего сомнения, без зазрения совести начавший навязывать народу с таким духовным прошлым, как у немцев, свои доморощенные идеи. Да, национал-социализм — это философия... Вспомнить только, с какой скромной почтительностью приближался к вопросам культуры профсоюзный деятель Эберт [23], и наглядно увидишь, какой ужасный путь прошла с тех пор демократия.

Понедельник 11.IX.33

Вчера вечером я разволновался и огорчился, когда К. намекнула, что Голо, как и его брат с сестрой, тоже хотел бы от меня высказывания против гитлеровской Германии. Сегодня утром я обсуждал это с К. Она согласилась со мной: надо знать, чего хочешь, и поскольку уже в следующем месяце в Германии должен выйти роман, мне не следует становиться издательству поперек пути...

Вторник 12.IX.33

...Телеграмма от Зенгера: «по веским причинам» необходимо дальнейшее отмежевание от «Замлюнг». Возмутительное вымогательство, этого совершенно не чувствуют в Берлине, где страх перед запретом на книгу и концом издательства превалирует над всем. В 1/2 5-го поехал к Шикеле [24] посоветоваться. Для него подобное положение проще благодаря отсутствию личных связей, и он во многом пошел Берману навстречу. Мучительные колебания между отказом и уступкой. В конце концов написал: «Должен подтвердить, что характер первого номера «Замлюнг» не соответствует его первоначальной программе», а К. позаботилась о телеграмме, в которой я многим поступился и которая при этом не покажется удовлетворительной.

Тягостный разговор о невозможности правильного поведения, о том, что приходится пасовать перед зверством. О потребности в духовной свободе и душевном покое, о необходимости сторониться литературы обиды и отчаяния. Человек не создан для того, чтобы изводить себя ненавистью...

Пятница 22.IX.33, Санари, Ля Транквиль

...Будущее неясно, каково оно по сути всегда, и лишь поэтому я вправе с некоторой естественной уверенностью рассчитывать, что несмотря на все трудности, счастливый в своей основе характер моей жизни сумеет взять свое даже при обстоятельствах, от которых у меня поначалу перехватило дыхание.

Цюрих, понедельник 25.IX.33, гостиница «Св. Петер»

...Я очень плохо переношу неопределенность будущего, импровизированный образ жизни, утрату прочных основ, и по крайней мере субъективно мне кажется, что это уже навсегда, до самой смерти. Вот в чем моя потеря, и нечего, конечно, удивляться, что замену удается найти не сразу...

Вновь мучают меня сомнения в правильности моего жизненного решения. Будет ли бедственным мой конец? «Человеку суждено вновь стать прахом». А коренная сущность индивидуальной жизни?..

Четверг 5.I.34

...Собираю документы о фашизации Европы. Шлумбергер [25] об «угрозе духовной свободе». Тоска и горечь от откликов немецкой страшной прессы на смерть Вассермана [26]. «Один из виднейших писателей ноябрьской Германии. К немецкой литературе он почти не имел отношения». Может, это и мой некролог?..

Воскресенье 11.II.34

11 февраля оказалось воскресеньем, красным числом в календаре. Это не только *день нашей свадьбы*, но и *годовщина* с того дня, как мы, ничего не подозревая, *отправились из Мюнхена* читать доклад о Вагнере: Гаага — Амстердам, Брюссель и Париж, поездка спальным вагоном в Кур и Арозу, известие о пожаре рейхстага, «немецкая революция», невозможность вернуться... Потом Ленцерхайде, Лугано — Монтаньола, поездка за границу для встречи с Хайнсом, Базель, Лаванду, Бандоль и Санари, лето, проведенное там, затем Цюрих и этот дом... Все то же путешествие без возврата, кругооборот года, который состарил К. и меня больше, чем на двенадцать месяцев, и обошелся дороже, чем можно бы позволить глупым и грубым силам, чьими руками все это совершено. Я написал за это время множество писем, послесловие к эссе о Вагнере, которое так и осталось лежать, и многое другое в попытке ответить этим силам, что оказалось, впрочем, невозможным — не к их чести (письмо Бертраму я отношу сюда же) [27]; я продвинул насколько смог третью книгу «Иосифа», подготовил том эссе, французское издание «Вагнера», увидел, как вышло на многих языках «Былое Иакова», а до этого читал корректуры в Санари. Теперь, в этом доме, я вновь занят тем

же и, как летом, выясняю и снимаю проставленные красным вопросы к верстке второго тома.

Эти дневниковые записи, возобновленные в Арозе, в дни болезни, вызванной душевным беспокойством и утратой привычной жизненной основы, служили мне с тех пор подспорьем и утешением, и я, конечно, буду их продолжать. Мне нравится запечатлевать уходящий день в его чувственных, а отчасти и духовных проявлениях, запечатлевать его содержание, не столько ради того, чтобы потом вспоминать это и перечитывать, сколько ради отчета, обобщения, осознания и обязывающего контроля...

Ароза, среда 14.III.34

...Вчера вечером в салоне беседовал с Лионом [28], чье умное, хотя и морально бессильное участие я ценю, о своем положении, и вновь пришли на ум те же слова о его ложности, что неотвязно звучат вот уже год, с самого начала. Внутреннее неприятие мученичества, возвращающееся вновь и вновь, а сейчас особенно, ощущение, насколько лично для меня оно нелепо, подтвердилось и усилилось, когда Лион передал мне слова Г. Бенна [29], сказанные им когда-то: «Знаете ли вы дом Томаса Манна в Мюнхене? В нем, право же, есть что-то гётевское...» То, что я вытолкнут из этого существования,— тяжкий сбой в моем жизненном стиле и судьбе, с которым я тщетно, видимо, пытаюсь справиться, и сердце мне гложет сознание невозможности что-либо выправить и восстановить, к которому я прихожу в результате всех испытаний.

Впрочем, я дал Лиону листы «Юного Иосифа». Я не скрываю своего страха перед неудачей и надеюсь на поддержку толкового и в какой-то мере надежного критика...

Суббота 14.IV.34

...Вечером я работал над письмом, когда пришел д-р Хельблинг [30]. Он рассказывал про один выпускной экзамен в Цуоце, на котором присутствовал германский комиссар (из Саксонии) со свастикой. Один из выпускников назвал в качестве внеклассного чтения мои книги, особенно «Смерть в Венеции», на что комиссар разразился небольшой лекцией. Потом он высказал Хельблингу свое удивление по поводу «литературного» характера экзамена. В Германии молодые люди не стали бы меня читать, равно как и Гёте, или романтиков, или тому подобных, на это существуют рекомендованные национальные продукты. Его слова свидетельствуют о постыдном падении немецкого уровня...

Воскресенье 8.VII.34

...Сегодня признался К., что испытываю чувство удовлетворения, надежды, облегчения, успокоения в связи с развитием германских событий. До сих пор вера восторженных дураков еще могла производить впечатление. Можно было порой испытывать внутренние колебания. Но вот прошло немногим более года, и гитлеризм начинает представать тем, что в нем давно увидели, почувствовали, проницательно распознали: *пределом* низости, дегенеративного идиотизма, кровавого позора — становится ясно, что таким он останется и впредь, неминуемо, непременно,— и стыдно нескольких мгновений слабости, когда едва не усомнился в собственных чувствах...

Четверг 12.VII.34

...Я вновь подумал, что надо бы высказаться обо всем в более высоком стиле, и пожалел, что перестал собирать документы глупости, одичания, гнусных нелепостей. Кое-что в эти дни я для себя отложил: например, отчет о некоем новоязыческом бракосочетании, которое совершал «священный страж»... «Народность», низведенная до массовой ординарности. А в основе всего извращение. В том числе извращенное толкование «порядочности». Безраздельно царит пропагандистская ложь, при невозможности даже малейшего противоречия. Эта ложь развращает умы до дьявольского и болезненного бесстыдства...

Вторник 31.VII.34

Встал в 8 часов. Снова потеплело и до обеда было душно, парило, как перед грозой.

Пытался работать над «Иосифом», но дальше нескольких строк дело не пошло — мешали усталость, рассеянность, возбужденность. Мысль написать о Германии, спасти свою душу обстоятельным открытым письмом в «Таймс», чтобы призвать мир и особенно сдержанную Англию положить конец постыдному режиму в Берлине,— эта мысль, ожившая или вновь пробудившаяся в последние дни, не дает мне покоя, глубоко занимает меня. Возможно, и впрямь пришла для этого пора, возможно, именно я могу способствовать необходимым переменам и возвращению Германии в сообщество цивилизованных наций?

Часовая прогулка при сильной духоте.

За обедом намекнул о своем намерении. Меди передала рассказ подруги: в Мюнхене один профессор литературы провел среди студентов голосование, о каком из современных писателей ему говорить. Три четверти назвали мое имя. Лекция была запрещена.

Четверг 2.VIII.34

Встал лишь в 9 часов. Делал выписки и до 1/2 1-го, возбужденный, кое-что начерно набросал для начала. Потом услышал по радио, что сегодня утром умер Гинденбург [31], немецким слушателям сообщила об этом в 1/2 10-го лживая пасть Геббельса; уже подготовлен имперский закон, согласно которому объединяются посты рейхспрезидента и рейхсканцлера, так что теперь этот человек становится и тем и другим и назначает себе сотрудников. Таким образом, в его подчинении оказывается рейхсвер, который, похоже, присягнул ему на верность, и лишь теперь по-настоящему становится понятен смысл кровавого путча 30 июня [32], который не в последнюю очередь расчистил пусть к этой цели. Если это новое восхождение на пост рейхсфюрера и главы государства произойдет без трений, а похоже, что это так, то смерть старика, от которого еще ждали, что он повернет к лучшему, займет критическую позицию, означает конец надеждам последних дней.

Я почувствовал и чувствую себя до сих пор полубольным от печали и уныния, да еще фён принес невыносимую духоту. Еле передвигаясь, полчаса гулял с К.

После обеда — газеты. Разумеется, все трудности, стоящие перед режимом, сохраняются,

и еще вопрос, как отнесутся к этому самоназначению за границей. На референдум вряд ли решатся. А о законной передаче президентской власти и речи быть не может. Очевидно, союз с генералом Бломбергом [33] был основан на условии принести в жертву СА. Недаром Рем кричал «герою» в лицо: «Здесь есть только один предатель, это ты, сволочь, ты, обманщик!» Мне отвратителен новый нимб, которым окружен этот бедняга. Имеет ли еще смысл продолжать свою нынешнюю работу? Во всяком случае хорошо быть ко всему готовым...

Понедельник 6.VIII.34

Хорошо это или плохо, но я опять обратился к политической теме, писал и собирал материалы. Я еще не представляю себе ясно формы, но, без сомнения, найду ее, когда по-настоящему сосредоточусь на своей задаче.

Днем приходил *Стефан Цвейг,* он здесь проездом... В разговоре с ним подтвердилось, что, по его мнению, как раз сейчас наступил момент решительно и спокойно высказаться, ибо до сих пор это было бы преждевременно, а теперь уже нет. Это подтверждает мой инстинкт как в том, что касалось моего выжидания, так и по части действий...

Вторник 5.XII.34

...Гессе считает, и конечно справедливо, систему «прогнившей», Хиллер [34] без надежды пишет о «нашем» возвращении. Странно, однако, что, глубоко сознавая, насколько невозможны эти типы, я не убежден в их провале — из-за недоверия ко времени, когда невозможное оказывается возможным. Наверное, и в дальнейшем не исключены кровавые столкновения внутри режима, новая «чистка» и разгром, совместно с рейхсвером, строптивых и «неразумных». Но от провозглашения «новой эпохи», боюсь, они не откажутся, попробуют как-то выкрутиться, прибегая к «великодушным» и «смелым» уступкам миру, а Гитлер останется: ведь надо уберечь народ от нового шока — крушения мифа о фюрере...

Воскресенье 30.XII.34

Немного работал (выезд фараона)...

За чаем беседовал с Райзигером об упадке Европы, о феномене порчи некогда истинных явлений духа и истории, что видно, например, по тому, как соотносится Шпенглер с Ницше и Шопенгауэром, а национал-социализм — с Реформацией. Кажется, будто речь уже идет не о настоящей истории, а о мистифицированных и искаженных имитациях и подражаниях, о ложной истории. Насколько я вижу, если тут и есть что-то новое, неподражательное, так это сознательная готовность выбросить за борт общечеловеческие достижения, возврат к первобытному состоянию, моральный анахронизм, порожденный ненавистью к разуму и прогрессу (особенно хорошо знакомой в Германии)...

Понедельник 31.XII.34

Последний день второго года вне Германии — странное чувство. Голова во время работы вялая и очень утомлена потом. Разнообразная почта, в том числе старое издание стихов Фрейлиграта [35] — новогодний привет от Шикеле.

К. весьма оптимистично смотрит на политику в связи с известиями из Саарской области (Герцог) и из Германии, где невозможно скрыть развал и близящийся крах. Дай бог...

Шикеле славно выбрал именно Фрейлиграта:

> Повсюду гонятся за мной,
> И здесь мне долго не зажиться,
> Придется скоро со страной
> Вильгельма Телля распроститься [36].

Суббота 16.III.35

...Статья о психоанализе в Германии и о неприятном поведении Юнга [37] навела меня на размышления о том, как все перемешано в области человеческого духа. Когда человек столь высокого уровня, как Юнг, ведет себя недостойно, можно, конечно, отметить в его словах и элемент истины, с которой соглашаешься вопреки неприязни. Когда Юнг заявляет, что лишь «бездушный рационализм» не видит в неврозах и определенной позитивной ценности, сокровища души, и что больного надо учить не тому, как избавляться от них, а как жить с ними,— он прав. «Ибо болезнь — это он сам... Лишиться невроза все равно что потерять себя...» Все это верно. Можно, конечно, ответить: хорош будет врач, если он не пожелает лечить туберкулез, поскольку в нем, дескать, есть своя «ценность»,— но это будет ответ невысокого пошиба. Допустим, ценность тут есть. Но презрение к «бездушному рационализму» вредно потому, что давно пора не звать на борьбу с рационализмом, а дать как раз обратный ход, и поскорее. Мысли и слова Юнга служат прославлению нацизма и его «неврозов». Это пример того, как на самом высоком уровне поневоле приспосабливают свой образ мысли к духу времени. Он не «одиночка», он не из тех, кто сохраняет верность вечным законам разума и нравственности и потому именно восстает против своего времени. Он плывет в потоке. Он умен, но уважения не достоин. Для кого в наши дни «душа» означает возможность удобно устроиться — тот отстал, духовно и нравственно. Прошла пора, когда можно было действительно выступать против духа и разума, еще чувствуя себя правым...

Ароза, четверг 16.I.36

...Примечательная статья о Сореле [38] и насилии в «НЦЦ» [39]. Интересно, как у него предвосхищены многие элементы фашизма, например, «миф», то есть политически действенный вымысел на потребу масс, когда оказываются безразличны истина и разум: Витторио Венето [40], Шлагетер, Хорст Вессель [41], сионские мудрецы [42].

Гнуснейшая статья в «Берл. тагеблатт» [43], утверждающая, будто «маны» Ницше пребывают нынче не с эмиграцией, а в Германии. Его расхождения с национал-социализмом, мол, чисто внешние, тот вправе претендовать на него.

Ладно сказали бы еще: Сорель. Но Ницше, с его предельной «интеллектуальной чистотой», вакхической волей к познанию, человек,

усмехавшийся, когда «Фауста» называли «трагедией познания», потому что он знал трагедию иную, человек, готовый на любое страдание, если речь шла об истине, о служении ей,— его хотят объявить предтечей активистских мифов массового пошиба, пошлых песенок и балагана. Грязная работа [44].

Духовные предтечи фашизма — Бергсон [45], Сорель, Пеги [46], обозначившие поворот от социального к национальному. Где тут специфично «немецкое»?

Пятница 31.I.36

С утра и после обеда — письмо в газету [47]. Заканчивал его в волнении. Сильные и решительные слова...

Я сознаю все значение своего сегодняшнего шага. После 3 лет промедления я решил высказаться так, как того требовала моя совесть и мое глубокое убеждение. Мои слова должны произвести впечатление.

Комментарии

1. «Протест вагнеровского города Мюнхена» был напечатан 16 апреля 1933 г. в газете «Мюнхенер нойестен нахрихтен» и тогда же передан по радио. Авторы «Протеста» объявляли Вагнера с его концепцией «мифологизма» одним из духовных предтечей национал-социализма, тогда как весь пафос манновского доклада, по сути, противостоял таким попыткам гитлеровцев «присвоить» композитора.

2. Эрика Манн (1905—1969) — артистка, впоследствии журналистка, писательница, 12 марта 1933 г. тайком вернулась в Мюнхен и по телефону связалась с отцом. В дневниках упоминаются также Клаус Манн (1906—1949) — писатель и общественный деятель, Голо Манн (р. 1909) — историк и писатель, Элизабет Манн («Меди», р. 1918) и Михаэль Манн («Биби», 1919—1977).

3. История этого письма отражена в разбросанных и отрывочных дневниковых записях, поэтому имеет смысл изложить здесь ее вкратце. В начале 1936 г. в эмигрантской прессе появились публикации, порицавшие издательство «Фишер», которое продолжало выпускать книги в гитлеровской Германии, используя в качестве «вывески» таких писателей, как Томас Манн. Манн совместно с двумя другими видными авторами этого издательства, Германом Гессе и Аннеттой Кольб, выступили в его защиту. Эрика и Клаус Манны, давно отрицательно относившиеся к воздействию, которое издательство «Фишер» оказывало на их отца, в свою очередь обратились к нему с настоятельным призывом заявить наконец недвусмысленно о своей позиции. Сам писатель уже, в сущности, был готов к такому решению. И когда в ходе начавшейся полемики критик Э. Корроди пренебрежительно отозвался о литературе антифашистской немецкой эмиграции, Т. Манн ответил ему письмом, где, в частности, заявил: «Твердая, каждодневно питаемая и подкрепляемая тысячами человеческих, нравственных и эстетических наблюдений и впечатлений убежденность, что от нынешнего немецкого режима *нельзя* ждать ничего хорошего ни для Германии, ни для мира,— эта убежденность заставила меня покинуть страну, с духовными традициями которой я связан более глубокими корнями, чем те, кто вот уже три года никак не решится лишить меня звания немца на глазах у всего мира. И я до глубины души уверен, что поступил правильно и перед лицом современников, и перед лицом потомков» (Томас Манн, Письма, М., 1975, с. 82).

4. К.— так сокращенно обозначает Томас Манн в дневниках имя своей жены Кати Манн, урожденной Принсгейм (1883—1980).

5. «Союз по защите немецких писателей» («Schutzverband Deutscher Schriftsteller») — основанная в 1909 г. организация профсоюзного типа по защите писательских интересов; в 1933 г. была включена в состав нацистской «Имперской литературной палаты». Томас Манн входил в состав руководства мюнхенского отделения этой организации.

6. Зигфрид фон Кардорф (1873—1945) — депутат рейхстага от Народной партии (1920—1933).

7. Валентин Хайнс (1894—1971) — мюнхенский адвокат, который в ту пору вел дела Томаса Манна в Германии.

8. Европейского духа (*франц.*).

9. Так называемый «рейхсконкордат», регулирующий отношения между Ватиканом и гитлеровским режимом, был подписан папой Пием XI 22 июля 1933 г.

10. Здесь и далее имеется в виду Генрих Манн (1871—1950) — писатель, брат Томаса Манна.

11. Германист Эрнст Бертрам (1884—1957), одно время близкий друг Томаса Манна, приветствовал приход к власти фашистов, что привело обоих к разрыву.

12. Томаш Масарик (1850—1937) — чехословацкий политический деятель, в 1918—1935 гг.— президент Чехословакии.

13. С. Фишер — постоянный издатель Томаса Манна; его зять Готфрид Берман-Фишер с 1926 г. стал фактическим руководителем издательства.

14. В известном амстердамском издательстве Э. Кверидо летом 1933 г. образовалось немецкое отделение, которое стало публиковать на родном языке книги писателей, эмигрировавших из гитлеровской Германии.

15. «Фрайе прессе» («Свободная пресса») — антифашистская газета, непродолжительное время издававшаяся в Амстердаме, назвала Томаса Манна среди своих постоянных сотрудников. Томас Манн это сообщение опроверг.

16. Имеется в виду ответ на статью композитора Ханса Пфицнера (1869—1949), одного из подписавших протест по «делу Вагнера», напечатанную 1 июля 1933 г. в газете «Франкфуртер цайтунг». В этой статье Пфицнер пытался объяснить, почему он выступил против Томаса Манна, с которым его связывали многолетние отношения. Т. Манн намеревался опубликовать свой ответ в Германии, однако издатель П. Зуркамп по политическим соображениям отказался его напечатать. Впервые статья «Ответ Хансу Пфицнеру» была опубликована уже после смерти писателя в собрании его сочинений (GW, Bd. XIII, S. 78—92.).

17. С проклятием (*лат.*).

18. Речь идет об «Имперской литературной палате» («Reichsschrifttumskammer»), принадлежность к которой являлась обязательным условием для публикации немецкого писателя в гитлеровской Германии.

19. Имеется в виду образованная в 1925 г. в Мюнхене «Германская академия по пропаганде немецких ценностей за рубежом» («Deutsche Akademie zur Pflege des Deutschtums im Ausland»), членом которой Т. Манн являлся со дня основания.

20. «Былое Иакова» — первая часть тетралогии «Иосиф и его братья».

21. С. Зенгер (1864—1944) — ученый-политолог и литератор.

22. «Sammlung» («Собрание») — литературно-политический ежемесячник антифашистского направления, выходивший с сентября 1933 по август 1935 г. Среди его руководителей были Генрих и Клаус Манны. Томас Манн был назван в первом номере журнала в числе постоянных сотрудников.

23. Фридрих Эберт (1871—1925) — социал-демократ, первый президент Веймарской республики; профсоюзным деятелем он, в строгом смысле слова, не был. Т. Манн неоднократно встречался с Эбертом и высоко его ценил.

24. Рене Шикеле (1883—1940) — немецкий писатель, друг Томаса Манна.

25. Жан Шлумбергер (1877—1968) — французский писатель и публицист.

26. Якоб Вассерман (1873—1934) — немецкий писатель, творчество которого Томас Манн высоко ценил.

27. 9 января 1934 г. Томас Манн написал большое письмо Эрнсту Бертраму (см. прим. 11), в котором обосновал свое отношение к национал-социалистской Германии. Отвечая, в частности, на упрек своего бывшего друга в «предвзятости», Т. Манн писал: «Нет, я гляжу на новую Германию (если ее можно назвать новой; силы, под гнетом и угрозой которых мы живем уже более десяти лет, сейчас ведь просто-напросто дорвались до полного самовластия) не через ка-

кую-то искаженную призму, а так, как я привык глядеть на вещи — непосредственно своими глазами. Мне известны ее мысли и дела, ее разговорный стиль и стиль ее письма, ее во всех смыслах скверный немецкий язык, ее нравственный и духовный *уровень*, демонстрируемый с поразительной откровенностью... и этого достаточно. Что и Вас этот уровень порою смущает, я, как бы упорно Вы это ни отрицали, убежден твердо. Я употребляю тут, однако, слишком легкое слово для обозначения вещей жизненно и смертельно серьезных» (Томас Манн, Письма, М., 1975, с. 58—59).

28. Фердинанд Лион (1883—1965) — литературный критик, многолетний друг Томаса Манна.

29. Готфрид Бенн (1886—1956) — немецкий поэт.

30. Карл Хельблинг (1897—1966) — швейцарский историк литературы, профессор Цюрихского университета, автор первой в Швейцарии диссертации о Томасе Манне.

31. Пауль Гинденбург (1847—1934) — германский военный и политический деятель. В качестве президента поручил 30 января 1933 г. Гитлеру сформировать правительство, официально передав тем самым власть в руки фашистов.

32. Имеется в виду так называемая «ночь длинных ножей» 30 июня 1934-го, когда гитлеровцы расправились с группировкой руководителя штурмовиков (СА) Э. Рема.

33. Вернер фон Бломберг (1878—1946) — генерал-фельдмаршал, возглавлял рейхсвер с 1 января 1933 г.

34. Курт Хиллер (1885—1972) — писатель, эмигрировавший из Германии в 1933 г.

35. Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876) — немецкий поэт, жил в эмиграции в Бельгии, Швейцарии, Англии.

36. Перев. М. Зенкевича.

37. К. Г. Юнг (1875—1961) — знаменитый швейцарский психолог, один из основателей психоанализа. В 1933 г. он сменил в должности президента «Психотерапевтического медицинского общества» и издателя «Психотерапевтического журнала» Э. Кречмера, которого вынудили уйти в отставку нацисты; характер деятельности К. Г. Юнга на обоих постах (он продолжал занимать их до 1940 г.) нацистов вполне устраивал.

38. Жорж Сорель (1847—1941) — известный французский философ, один из основателей так называемого анархо-синдикализма, в учении которого большая роль отводилась насилию.

39. Швейцарская газета «Нойе цюрхер цайтунг».

40. Витторио Венето — местность в Италии, где австрийские войска в 1918 г. нанесли решающее поражение итальянцам.

41. Шлагетер Альберт Лео (1894—1923) — один из основателей нацистской партии. Хорст Вессель (1907—1930) — студент, национал-социалист; его песня «Выше знамя» стала официальным песнопением в гитлеровской Германии.

42. Имеются в виду так называемые «Протоколы сионских мудрецов». Несмотря на неоднократно доказанную сфабрикованность этого «документа», он широко использовался в нацистской пропаганде. В дневнике Т. Манна за 9 мая 1935 г. есть запись о судебном процессе в Берне, где несколько швейцарских приверженцев национал-социализма были присуждены к штрафу за распространение этой фальшивки.

43. «В эмиграции ли маны Ницше?» — статья некоего Иоахима Гюнтера. Маны — в римской мифологии духи умерших предков.

44. Интересно сравнить эти высказывания Томаса Манна со словами его же собственной статьи «Философия Ницше в свете нашего опыта», написанной в 1947 г. «Правда, конечно, и то, что ницшевское восхищение красотою безнравственности, его апология войны и зла и все его раздраженные выпады против морали, гуманности, сострадания, христианства — все это позднее нашло свое место в помойной яме фашистской идеологии. Если истинны слова «по плодам их узнаете их», то для Ницше нет извинения» (Т. Манн, Собр. соч., М., 1961, т. 9, с. 380).

45. Анри Бергсон (1859—1941) — известный французский философ, оказавший, в частности, некоторое влияние на Ж. Сореля и Ш. Пеги.

46. Шарль Пеги (1873—1941) — французский поэт и публицист.

47. См. прим. 3.

Вера и мораль*

ЛАО-ЦЗЫ

КНИГА ПУТИ И БЛАГОДАТИ

Предисловие, перевод с древнекитайского и парафраз И. ЛИСЕВИЧА

«Книга Пути и Благодати», или «Даодэцзин»,— одно из величайших творений древнекитайской мысли. Кратко и афористично истолковываются в ней такие фундаментальные элементы древней модели мира, как Дао — незримый двигатель Вселенной, и Дэ — его проявление в мире вещей. Рождение Мироздания и его движение во времени, взаимоотношение Бытия и Небытия, судьба человека и выбор стратегии его поведения в физическом мире, истинная ценность громких слов и бессилие речи передать сокровенное, тайны успеха идеального правления государством и пути духовного совершенствования человека — это и еще многое другое охватывает рассказ о Дао и Дэ, ибо Дао и Дэ — весь мир. Значение книги можно сопоставить со значением Евангелия для христианства и Корана для ислама, т. к. она лежит у истоков даосизма, одного из трех великих религиозно-философских учений Китая.

Глубокой древностью веет от него, хотя порой движение даосской мысли удивительно созвучно исканиям нашего времени. Человек и космос, идея информационного поля, всеобъемлющая теория резонанса, начатки синергетики — и над всем этим всеобъемлющее единство противоположностей, диалектика построений, пронизывающая каждое высказывание и каждую мысль. Трудно вообразить, какой путь нужно было пройти учению, представители которого столь убежденно предостерегали от последствий прогресса. Казалось, за их плечами считанные столетия, а из достижений техники — разве что бронза да колесо, но они говорили так, будто будущее уже свершилось. И параллельно с этим — множество моментов, воскрешающих в памяти первобытный анимализм и фетишизм, веру в колдовство, в способность овладеть силами окружающего мира на сверхъестественном, неподвластном разуму уровне.

Подобно древним индусам и более поздним христианам, даосы рассматривали мир как посев. Глубоко, в недрах небытия возникало, по их представлениям, Духовное Семя, дабы затем прорасти на человеческой ниве, облечься плотью и дать урожай, а после вернуть умножившуюся духовность Небу и мирозданию. Правда, сами они стремились прежде всего к личному бессмертию — во плоти, здесь на земле, или же в теле духовном, в высших сферах. Искания многих поколений даосов способствовали развитию не только китайской алхимии, но также медицины, сексологии, геронтологии, боевых искусств — всего того, что так привлекает внимание в наши дни. Для них же все это были лишь средства — главным и единственным оставалось приобщение к Дао, животворному источнику мира, из которого мир рождается и которым постоянно поддерживается.

Но хотя поток Дао охватывает весь мир, ощутить его чрезвычайно трудно. Ведь «разноцветие мира ослепляет глаз, разноголосица — оглушает ухо», человек постоянно находится во власти внешних проявлений окружающей его Вселенной, и эти внешние проявления лишают его возможности воспользоваться «внутренним видением» — единственным средством постижения непостижимого. Лишь тот, «кто способен созерцать невидимое, слышать неслышимое, ощущать бестелесное, близок к познанию Дао»,— утверждают безымянные авторы «Весен и осеней рода Люй» (III в. до н. э.). Только отвлекшись от форм, красок и звуков, погрузившись в безмолвие, человек приобщается к Истине, выплескивает ее в мир. Так, в краткие мгновения опустошенности между сном и бодрствованием к ученому приходят великие идеи, к поэту — незабвенные строки стихов, а отшельнику в его уединенной келье предстают удивительные видения. Всякое творчество черпает из бестелесного потока Пути, перед всемогуществом которого отступает любая

* См. «Ил», 1990, № 5, 7; 1991, № 7, 9, 10.

человеческая фантазия. Образ «мыслящего Океана» в «Солярисе» С. Лема — лишь бледный слепок с идеи Дао, чьи волны творят весь рисунок нашего бытия.

Даосизм жив и поныне — в Сингапуре и на Тайване, в Корее и во Вьетнаме, в Гонконге и в КНР; и в главном даосском святилище Пекина — огромном комплексе «Храма Белых облаков» — посетители в числе объектов особого поклонения могут лицезреть текст «истинного канона» — «Книги пути и благодати» и чудом уцелевшее в годы «культурной революции» скульптурное изображение ее автора.

Традиция считает автором даосского канона «Даодэцзин» древнего мудреца Лао-цзы (VI—V вв. до н. э.), который в источниках зовется также Лао Дань и Ли Эр. Достоверно о нем почти ничего не известно. Уже во II в. до н. э., когда «отец китайской историографии» Сыма Цянь взялся за составление его жизнеописания, Лао-цзы был фигурой легендарной. Мир мало знал о Лао-цзы, ибо мудрец почти не соприкасался с ним и шел по жизни, освободившись от страстей и желаний, не привлекая взора людей обычных. Даосы считают его живым воплощением самого Великого Дао, Небытия, ставшего Бытием и обретшего человеческое тело,— иначе говоря, Дао само вещает людям в этой книге о себе. Говорят, что Лао-цзы был хранителем архива Чжоусских царей, вобравшего в себя всю тысячелетнюю мудрость Поднебесной, что некогда сам Конфуций приходил к нему для беседы и был поражен мощью его ума. «Мысль его подобна птице, парящей в вышине! — признался Конфуций своему ученику.— Из красноречия своего я сделал самострел, чтоб поразить ее стрелой, но не достал ту птицу, и этим лишь умножил его славу. Мысль его, словно изюбр, словно олень в чащобе! Красноречие мое послало гончих псов, которые преследовали изюбра и оленя по пятам, но не догнали, а только охромели. Мысль его, как рыба в омуте глубоком! Из красноречия своего я сделал леску и крючок, чтоб эту рыбу выудить, но даже не поддел, запутал только леску. Мне не угнаться за Драконом, парящим в облачном эфире и странствующим в Великой Чистоте!»

Создание самого «Даодэцзина» древняя легенда связывает с решением Лао-цзы покинуть Китай и уйти на Запад. Достигнув рубежа Срединных Царств, Лао-цзы встретил на пограничной заставе человека добродетельного и мудрого, который умолил его перед расставанием оставить людям свое учение. Так Лао-цзы написал текст в пять тысяч слов, именуемый ныне «Даодэцзином».

В даосской традиции с именем Лао-цзы связывают истории и вовсе фантастические. В «Жизнеописании» Лао-цзы, составленном уже в III в. н. э., есть, например, рассказ о его слуге — кадавре, продолжавшем жить лишь благодаря магическому талисману Лао-цзы. Не желая отправляться вместе с хозяином на чужбину, слуга решил взыскать с него перед расставанием свое жалование за несколько сот лет — и пал жертвой собственной жадности.

Текст «Даодэцзина» передавался от учителя к ученику и, начиная с III в. до н. э., неоднократно комментировался.

За более чем две тысячи лет к нему были написаны тысячи комментариев, которые перебрали все возможные варианты смысла — и поставили читателя перед лицом все той же исходной неопределенности. Читая «Даодэцзин», следует помнить, что перед нами изначально закрытая книга — мы никогда не можем быть уверены, что поняли ее мысли правильно и до конца. К сказанному стоит еще добавить, что «Даодэцзин» — произведение глубоко поэтичное. Философской поэмой назвал его в свое время Н. И. Конрад — и, действительно, кроме поэтичности образов и наличия определенной просодии, мы видим почти во всех главах «Даодэцзина» присутствие очень разнообразной рифмы. К сожалению, в русском переводе ею приходится жертвовать ради более точной интерпретации текста — такова сложившаяся традиция переводов этого памятника. Здесь мы представляем читателю несколько первых «глав» «Книги Пути и Благодати», заголовки которых принадлежат, по-видимому, второму веку до н. э., а парафраз основан на древних комментариях.

Воплощение пути

Путь, о котором можно поведать —
То не Предвечный Путь;
Имя, которое можно восславить —
То не Предвечное Имя.

Что было без Имени —
Стало началом Небес и Земли,
Обретшее Имя —
Сделалось матерью всех вещей.

Вечно бесстрастный
Зрит недоступное,
Кто же вечно во власти страстей —
Зрит лишь предельное.

То и другое имеет один исток,
Но их различает Имя;
Мы же равно наречем их «тайной».
Тайна из тайн —
Вот врата ко всему недоступному!

Этим стихом открывается главная, эзотерическая, часть книги. Здесь начинается разговор, доступный лишь посвященным, рассказ о величайших тайнах мироздания, адресовавшийся далеко не каждому. Тот Путь, о котором идет речь,— не дорога в обычном понимании, хотя он, за неимением лучшего, обозначается все тем же иероглифом — извилистой линией пути и головой вола, бредущего по дороге. Это путь незримый, необозначенный, подобный полету птицы в небе, о нем нельзя рассказать словами, потому что человеческие понятия, имея предел, не в силах вместить беспредельное. Прочитав всю «Книгу...», мы поймем, что Лао-цзы говорит здесь о великом Пути Вселенной, об изначальном истоке Мироздания и, одновременно, о «черной», «пустой», недоступной глазу и разуму программе его развертки в пространстве и времени. Этот Путь — предначертание и в то же самое время — механизм, движущий Вселенную, ее «пружина». В конечном счете все сущее идет от него и из него. Он один стабилен и постоянен в этом вечно изменяющемся бренном мире, подобный недвижимой оси бешено вращающегося колеса. Впрочем, любые аналогии способны схватить лишь какую-то одну грань его качества — и другая метафора уподобит его потоку, ибо с возникновением Бытия Дао тоже становится как бы «вещью», оно «чуть брезжит», протекая через мириады вещей, существ и явлений, оно омывает весь мир в его «великом пределе», и сущее то всплывает из его бездонных глубин, призванное к жизни, то тонет в черной бездне Дао, ожидая нового возникновения.

Вслед за Вечным Путем названо Вечное Имя — его имя, судя по всему. Рождая Небо и Землю, т. е. переходя из изначального состояния Небытия и Хаоса в состояние Космоса и существуя уже в «великом пределе», Дао обретает Имя, которое отныне неуничтожимо. Имя — это очень важно, это «энергия сущности» по определению А. Лосева, это Слово, вибрация вышних сфер, влияющая и на формы, и на их исток. Зная имя, человек получает власть даже над областью сверхъестественного, имена богов запретны или открыты немногим, «Да святится имя Твое» — обращается к Богу верующий христианин.

Надо сказать, что начало «Книги Пути» чем-то напоминает начало Евангелия от Иоанна. Там «вначале было Слово», точнее — Логос, здесь — Дао, и при переводе Библии на китайский язык второе понятие ставилось вместо первого — переводчики-миссионеры явственно ощущали их родство. А за Дао и Именем следует сжатая до предела четырех строк картина сотворения мира: сначала Земли и Небес, а после — всего сущего. Кстати, если у Лао-цзы духовное поле Дао названо «Матерью всех вещей», «прародительницей тайны», то и в оригинальном тексте «Книги Бытия» к Духу, что носился над водами, приложены глаголы в женском роде — в обоих случаях авторы хотели подчеркнуть порождающее, животворящее, воспроизводящее начало.

Впрочем, этим сходство, по-видимому, и ограничивается. Пафос первого стиха Лао-цзы — не в описании сотворения мира, а, как и в дальнейшем, в описании путей постижения Дао, хотя слово «постижение» не совсем подходит. Дао нельзя выразить словом и постичь разумом, оно познается на ином, сверхчувственном уровне. Человек погружается в него духом своим, он как бы растворяется в его просторах, становясь тем самым равновеликим миру, и отныне уже ни одна из тайн бытия и небытия от него не сокрыта. Итак, Чувствилище Дао — не наш слабый бессильный разум, но сердце человеческое. Оно то зеркало духа, которое на глади своих бездонных вод способно отразить все мыслимое. Однако человека обуревают страсти, они будоражат гладь зеркала, и та отражает лишь самое грубое, самое поверхностное и зримое. Конечно, все в итоге рождено Дао и является его манифестацией, но уровень приближения, степень опосредования различны. Рабу страстей и желаний, охваченному жаждой обладания, доступен только близкий мир форм — наш материальный мир. Тому же, кто сумел смирить в себе боренье страстей, отказался от желания самоутвердиться в деяниях или словах, доступно самое запредельное.

Надо сказать, что отсутствие в древнекитайском языке каких-либо грамматических формантов (рода, лица, числа, времени и т. д.) и знаков препинания, включая точку, подчас очень затрудняет понимание смысла.

На фоне предельной афористичности стиха и нарочитой его затемненности от непосвященного, это обстоятельство позволяет членить текст по-разному, соответственно получая различный смысл.

Наш перевод основан на традиционном понимании Лао-цзы, идущем от его первых комментаторов. Однако в эпоху «неоконфуцианства» появилось, а ныне широко распространилось в Китае другое прочтение некоторых строк. Оно делает стих более «философичным», направляет внимание от субъекта в сторону объективного мира. Если в традиционном прочтении иероглифы «есть» и «нет» отнесены к последующим «желаниям» или «Имени». то большинство современных китайских филологов отделяет их от последующего текста запятой и толкует как термины «Бытие» и «Небытие». Соответственно, данное место читается так:

Небытие
Назовем началом Небес и Земли,
Бытие
Назовем праматерью всех вещей.
Итак, в вечном Небытии
Стремись узреть потаенное,
В вечном Бытии
Старайся видеть предельное.
Оба они имеют один исток,
Но их различает имя...

Подкупающая логичность этой трактовки была поколеблена только находкой древних рукописей книги Лао-цзы (II в. до н. э.), которые подтвердили достоверность традиции, с одной стороны, и ненадежность привнесения логики иного времени в так называемые боговдохновенные тексты — с другой.

Концовка стиха требует особого терминологического пояснения.

Человек, чей внутренний взор не замутнен борением страстей и желаний, чье сердце, подобно ровному зеркалу вод, не колеблемому ветрами, отражает в себе все — от близкой пагоды до далекой звезды,— такой человек способен овладеть самым недоступным, самым неуловимым. Для него нет преград — вплоть до возможности опуститься по лестнице времен к первоначалу мира, когда Предвечное Имя еще не прозвучало. Знание человека обычного, обуреваемого страстями, находящегося во власти желаний, более ограниченно, предельно. Лишь размытые очертания сокровенного проступают в замутненном зеркале его сердца, его знанию доступны лишь бытие, вызванное к жизни Именем, вещи и явления феноменального мира. Разумеется, и Бытие, и тем более Небытие есть тайна — но высшее знание дается лишь проникновением в Тайну из тайн!

То, что мы переводим здесь как «тайна», в оригинале обозначено словом «сюань», т. е. «темное», «тайное», «сокровенное», «мистическое». Первоначальное значение слова «сюань» — тот священный черный цвет, который образуется многократным погружением материи в особый красный краситель; чернота эта с неким отсветом, что уловит не каждый.

Черный цвет «сюань» считается изначальным цветом Неба, Космоса. Потому-то комментаторы, начиная со «Старца с берегов Реки», почитавшегося посмертным воплощением самого Лао-цзы, в один голос утверждают, что речь идет о небесном, т. е. космическом. «Тайна из тайн» — это значит, что «в Небе есть еще Небо!» (а может быть, «еще Небеса»!) — утверждает Старец, а вслед за ним другие комментаторы. И лишь проникновение в запредельные сферы может дать человеку истинное знание. Что же касается слов, то они не в состоянии адекватно передать внечувственный опыт — единственный способ приближения к сути вещей. А чтобы сразу дать почувствовать эту беспомощность слов, развенчать иллюзию понятийного познания, автор «Даодэцзина» уже в первых строках своего творения начинает с читателем как бы некую словесную игру.

Открывая стих двумя ключевыми понятиями — Пути (Дао) и Имени (Мин), Лао-цзы не без тайного умысла употребляет оба слова сразу в глагольном значении и в значении существительного, так что каждое из понятий как бы определяется через себя самого. Многофункциональность слова в древнем языке в общем позволяет это сделать, хотя и Дао, и Мин в древних текстах употребляются почти исключительно как понятия предметные. Путаницы такая полифоничность здесь не вызывает: какой бы комментарий мы ни взяли, все сходятся на том, что «дао» в глагольном его употреблении означает «говорить», а «мин» — «называть». Тем не менее некоторая размытость понятий все же ощущается; и переводчикам порой хочется как-то сблизить между собой глагольное и предметное значение слова «Дао» в первой строке. «Есть пути, но Путь неначертаем» (т. е. его не проложить на карте или местности), переводит его на английский Р. Блекни. «Путь, по которому можно пройти,— это не Вечный Путь»,— переводил в свое время и автор этих строк.

Однако в любом случае знание не в слове или понятии, оно лежит за пределами рационального, и человек может надеяться познать все сущее и несуществующее, только проникнув до «второго Неба» («раннего Неба»), до тайных сфер.

Самовоспитание

Стоит лишь всем в Поднебесной познать, что прекрасное прекрасно
— и оно уже зло!
Стоит познать, что добро есть добро
— и оно уже не добро!
Ибо существующее и несуществующее
одно другое порождает,
Трудное и легкое одно другое образует,
Длинное с коротким дают друг другу тело,
Высокое с низким друг к другу тянутся,
Звук и напев друг с другом согласуются,
«До» и «после» друг за другом следуют...
Оттого-то мудрец, пребывая в недеянии,
Творит безмолвное поучение.
Созидает легионы вещей — и их не отвергает.
Рождает, но не владеет,
Творит, но не гордится.
Заслуги растут, но ими он не живет.
А коль скоро ими он не живет,
Они его не покинут...

Что есть Добро и что Зло, что такое, наконец, Красота? — все эти вопросы в глазах Лао-цзы лишены смысла, ибо каждое из понятий таит в себе свою противоположность и даже справедливостью можно повредить. Мир состоит из пар, поделен на противоположности, но ни одна из них не может существовать сама по себе: и в схеме так называемого «Великого предела», который и есть наш мир, наибольшая полнота светлого начала Ян уже содержит в себе частичку темного начала Инь, а предельно созревшее Инь содержит в себе зародыш Ян. Вещи достигают своего предела — и переходят в свою противоположность. Красота, ставшая всеобщим достоянием, теряет свою привлекательность, она уже банальна; добро, всеми признанное и вознесенное на пьедестал, рождает ответное зло...

Потому-то человек истинного знания не стремится утвердить в Поднебесной свой идеал, не старается сделать людей счастливыми, ибо «спутанные в клубок нити счастья и бед не разделить» все равно. Он не тщится переделать мир по меркам собственного добра, ибо искореняемое зло неизбежно пробьется такой буйной порослью, о какой и не подозревал ретивый мироустроитель. Ведь мир словно гигантский бассейн, в котором резвящиеся пловцы даже не подозревают, что дошедшая к ним от борта волна будет тем больше, чем сильнее они резвились. «Каков зов, таково эхо». Даже судить, тем более навязывать свои суждения небезопасно — ведь слово тоже дело, и мысль человеческая, разделяя все сущее на хорошее и плохое, тем самым как бы вызывает зло к жизни... Итак — «Не судите...»

Мудрец не играет в эти пагубные игры. Вся жизнь его заключена как бы внутри себя. Он делает мир лучше не делом и даже не словом — ведь его поучение идет безгласно, «от сердца к сердцу», коль скоро то готово его принять. Уже само существование мудреца как бы осветляет мир, меняет его судьбы — вспомним, как ради нескольких праведников Господь был готов спасти погрязший в грехах Содом... Тем более результативна работа жизненной энергии «ци», мысли и духа, ибо все вещественное есть застывшая, «заледеневшая» форма «ци», и мысль вполне материальна, а дух — Праматерь всего сущего. Образы претворяются в жизнь, и пребывающий в размышлениях, медитирующий участвует в созидании Добра, оставаясь в позиции недеяния. «Он рождает, но не владеет» и не живет содеянным — таков единственно верный путь.

Если первый стих Лао-цзы чем-то напоминает нам начало библейской «Книги Бытия» с ее картиной сотворения мира, то в стихе втором, словно дальний отголосок знакомой темы, звучит идея познания Добра и Зла. Быть может, именно эти ассоциации заставили современных комментаторов Лао-цзы вспомнить изречение одного из отцов церкви, Тертуллиана, о сатане, посягающем на Божию святость. Думаю, однако, что сходство с библейскими текстами здесь весьма поверхностно — его многократно усиливают стереотипы нашего собственного сознания, в то время как начальный импульс сравнительно невелик. Тем не менее, не сказать об этом стяжении образов было бы неправильно — особенно учитывая последовательность их появления в первом, а потом во втором стихе.

Совсем иные ассоциации будит идея Лао-цзы о «безмолвном поучении» — эта строка вызывает в памяти легенду о переходе Будды в Нирвану, когда ученик его, Касьяпа, понял учителя без слов и, приняв цветок, улыбнулся,— момент, который по традиции считается рождением учения дзэн-буддизма.

Без истока

Путь есть вместилище сосуда —
Его же никогда не наполнить!
О, бездна,
Она, похоже, праотец сущего!
Она притупляет твои острия,
Разрешает узы твои,
Делает гармоничным сиянье твое,
Собирает пылинки твои...
Глубока — а словно и нет ее!
Я не ведаю, чье она порожденье,
Ибо она — прежде образа и божества!

В этом стихе Лао-цзы делает первую попытку развернутой характеристики Дао, пытается дать читателю почувствовать его вселенское, надвременное величие. Дао — гигантская космическая бездна, всепорождающая и всепоглощающая, куда, как в гигантский плавильный котел (Цзя И, II в. до н. э.), погружается все то, что закончило свой земной путь, и откуда возникает после переплавки в иных образах и обличьях. Дао — гиперпространство: «Лей в него — его не наполнить, выливай из него — его не истощить: никто не знает откуда исходит его содержимое!» — поражается Чжуан-цзы (IV в. до н. э.). Понятия белой и черной дыры современной физики как бы объединяются в нем, и в то же время существование бездны параллельного мира остается незаметным для человека обычного — «словно и нет ее!»

Здесь Дао названо «праотцем» — двумя стихами ниже Лао-цзы назовет его неуничтожимое духовное начало Праматерью, и в этом не будет противоречия: мужское и женское начала нерасторжимо соединены в своем истоке; разделения еще нет, оно произойдет, когда будет произнесено Слово, названо Предвечное Имя, и начнется отсчет времени эволюции мира; в запредельных же сферах Дао существует в целокупности, объединяя двоичное в единичном подобно «элохим» — «божествам», упомянутым в самом начале Библии.

Трактуя следующее четвертостишие (начиная со строки: «Она притупляет твои острия»), мы, наверное, не ошибемся, если воспримем его как описание изменений человеческого «я» при переходе от бытия к небытию, при погружении в гиперпространство Дао. Термин «измененное сознание», введенное психологами для характеристики медитативного и других «альтернативных» состояний человеческой психики, как нельзя лучше квалифицирует момент трансцензуса, вхождения в запредельную сферу. Им снимаются все противоречия, вся «разрегулированность», свойственная бытию: странствуя в бесконечных просторах Дао, человек ощущает себя перешедшим на иной уровень и в иное качество.

Острие иглы («чжуй») — символ сосредоточения и противоборства, преодоления и борьбы, оно однонаправленно, а потому — преходяще, древние комментаторы отождествляли острия с человеческими страстями, человеческой тягой к злому, с желанием двигаться вперед к славе и почестям. Что же касается уз, то они видят здесь прежде всего общую «повязанность ненавистью». Всякого рода связи и взаимоотношения, совокупность которых, по определению Маркса, и составляет человеческую личность, незримые нити, идущие от одного человека к другому, разного рода жизненные хитросплетения и «гордиевы узлы», все, что опутывает человека и держит его в этом мире, будучи самой жизнью, при погружении в Дао распадается и исчезает. Однако если до сих пор комментаторы более или менее единодушны, то относительно следующих строк мнения резко расходятся.

Вообще, целый ряд авторов полагает, что в данном четверостишии описан не результат вхождения в Дао, а некое предварительное усилие, необходимая для этого аскеза («Притупи свои острия...» и т. д.). Соответственно, две следующие строки звучат как призыв к самоуничижению и смирению: ведь Дао подобно воде, которая стремится занять самое низкое положение в этом мире, и чтобы слиться с ним, человек должен ему уподобиться. «Умерь свой блеск, смешайся с прахом» — приблизительно так звучат эти строки в интерпретации сторонников аскезы.

Однако если продолжить принятое нами толкование, то речь пойдет уже о гармонизации, переводе на более высокие уровни того тончайшего ауурального свечения, которое так хорошо различают китайские даосы, индийские йоги и христианские аскеты-исихасты. Впрочем, приведем лучше несколько строк из комментария «человека истины» Чунь Яна; в нем не столько отвлеченные размышления, сколько описание собственного мистического опыта, медитативного погружения, путеводителем для которого стала книга Лао-цзы. Итак: «Острия стрекал притупились сами собой — так, что я не чувствую ни стрекал, ни мысли об их исчезновении. Путы извне не могут проникнуть вовнутрь — а раз они не проникают, их не надо распутывать, они исчезли сами собой и не выходят наружу, в безмолвие. Как только погрузился в безмолвие, эти тяжи уже не в состоянии возмущать дух мой, тревожить дух мой, разрывать мое сердце, рассеивать мое «ци», растрачивать мое Семя. И как только прекратились возмущения, тревоги, разделение, рассеяние и (ненужные) траты, так забрезжил (мой) природный свет. И лишь когда в моем внутреннем успокоении зародился свет, я смог познать его запредельность, просветиться его (тайными) законами, углубиться в бездны его, употребить (себе на пользу) вместилище сосуда. Лишь когда опускаешься на самое дно вместилища, это можно назвать достижением гармонии. И лишь когда человек достигает такой тренировки тела, что оно становится неподвижным и неколебимым как земля — можно сказать, что он собрал пылинки свои». Вслед за этим идет погружение на новые

уровни: во тьме рождаются едва различимые светлые образы; появляется смутное ощущение потока Дао; возникает видение неведомого младенца — буквальная материализация слов Лао-цзы (дословно: «Я не ведаю, чей он сын»), исчезает ощущение собственного «я» и наступает полное растворение в Дао...

В заключение анализа этого отрывка остается только сказать, что слова Лао-цзы о пылинках рождают невольную ассоциацию с древнеиндийским понятием дхармы — мельчайших частиц, из которых сотканы все существа,— и некоторые полагают, что «умерив свой свет», адепт как бы смиряет колебания своих дхарм. Разумеется, во времена Лао-цзы буддизм еще не проник в Китай, но, тем не менее, в тексте «Даодэцзина» мы еще не раз встретим фрагменты, которые напомнят нам о категориях индийской философии.

Польза пустоты

Небо и Земля немилосердны,
Им вся тьма существ —
Что пёсий идол из соломы.
Немилосерд и совершенномудрый —
Ему, что пёсий идол из соломы,
Все сто родов людских.

Меж Небом и Землей,
Словно кузнечный мех,
Нескудеющая пустота.
Чем сильнее движенье — тем больше она источает...

Бессчетны утраты от многих речей —
Не лучше ли пребывать в середине?!

Милосердие есть величайший дар духовности, оно одно способно оборвать бесконечную цепочку зла, которую ничто иное прервать не может. Конфуций почитал милосердие — «жэнь» — наивысшим качеством благородного мужа, определяя его как «любовь к другим людям» и как стремление «не делать другим того, чего себе не желаешь» (ср. слова Евангелия). Любовь к постороннему, способность поставить себя на его место и сочувствовать, со-переживать ему, что есть непременное условие истинного счастья (ср. древнерусское: «со-частие»), свойственно лишь человеку (отсюда смысловой ключ «человек» в иероглифе «жэнь») на высших ступенях его нравственного развития. Несколько странное, хотя бы и в отрицательном плане, приложение этого понятия к Небу и Земле выглядит более естественным, если вспомнить воззрения древних китайцев. Небо, как и Земля, были для них существами живыми — достаточно взглянуть на иероглиф «небо», изображающий «великого человека» с увенчанной главой. У Неба, согласно представлениям китайской древности, есть сердце, у Земли — кровеносные сосуды, оба они наделены сознанием и волей, однако у этой надмирной пары нет «ближних» и аналогов вообще, им некого поставить рядом с собой, не с кем себя сравнить, а ведь смысл иероглифа «жэнь» — «милосердия», зафиксированный в двух параллельных чертах, именно в сопоставлении, аналогии, сопереживании... Возвышаясь над всеми, они равно изливают свою благостыню не только на человека, который в мире «всего дороже», но вообще на все сущее, на великое и малое, вплоть до деревьев и трав, до гадов и насекомых. Они как бы по ту сторону Добра и Зла, хотя только «как бы» — ведь Дао всегда на стороне добрых. Их высшее милосердие кажется порой людям бесчеловечным... Таким должен быть и человек, достигший высшей ступени духовного совершенствования,— он бесстрастен и дает свершиться высшей справедливости.

Образ, с помощью которого Лао-цзы поясняет свою мысль, некогда был у каждого на виду, ныне же забыт и восстанавливается с трудом. Судя по отрывкам старых текстов, «соломенное чучело собаки в древности использовалось при жертвоприношении» предкам, когда в присутствии всех родичей один из членов клана изображал покойного предка, а другой молил его о помощи и благоволении. Присутствие собаки в обряде не случайно — в мистических ритуалах многих народов она предстает своего рода проводником души, позволяющим ей благополучно проникать из среднего солнечного мира в нижний мир смерти, или наоборот. Не случаен и материал, из которого делался этот идол,— мертвая солома напоминает о наполненном скрытой жизнью зерне, о погребении и воскресении, о возвращении через смерть к жизни, о связи мира живых и мира мертвых. Наконец, не случайно и то, что после совершения обряда богато и ярко изукрашенное, до тех пор бережно хранимое изображение втаптывали в грязь или просто сжигали,— поводыря души возвращали в тот потусторонний, подземный мир, откуда ненадолго он вывел дух покойного для общения с его потомками и принятия их даров.

Ну, а нас «пёсий идол» подводит к тем обобщениям, которые Лао-цзы хотел между строк подсказать своему читателю. Все в мире имеет свой срок: начало и конец, время расцвета и увядания. Еще недавно идола украшали желто-синим узором, изящными

вышивками, красным шелковым шнурком; в ожидании обряда он хранился в ящике под узорным платком, его торжественно встречали всем кланом и почтительно провожали. Но вот окончен обряд — и соломенный идол не нужен никому. То, чему поклонялись, втоптано в грязь, ибо дух ушел из раскрашенной оболочки. «Прохожие топчут его голову и хребет, а сборщики топлива сжигают его — и все кончено!» Таков мир, где вся жизнь есть жертвоприношение и где пышный праздник устраивался не ради сухой соломы, не ради бренного тела, но ради того незримого, что на недолгий срок было в них заключено.

Потому-то человек высшего совершенства не должен давать воли своим чувствам, следуя в своей бесстрастности Небу и Земле. Ведь в их пределах весь наш сущий мир, неистощимо порождаемый лежащей между Землей и Небом пустотой. «Небо и Земля предельно высоки и предельно широки... Их милость и благоволение распространяются на все сущее... (как тут не вспомнить слова Евангелия, гласящие, что Бог «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных», Еванг. от Матфея, 5:45)... И в том, что они рождают, пестуют, взращивают и доводят до совершенства мириады своих созданий, и заключается их милосердие. Небо и Земля содержат в себе все сущее, и все сущее ощущает преобразующую и пестующую благодать Неба и Земли. Не имеющая форм и следов, она относится к «высшей благодати, которая не благодатна», к тому высшему милосердию, которое не милосердно. Именно это и есть предельное милосердие! Благодаря своей «не милосердности» Небо и Земля существуют очень долго... Что же до «человека Дао», то «он пестует и преобразует только себя одного, но когда говорят «сто кланов» — это и есть одно тело, это он сам, а не другие. Он — сердце страны, мысль государя, сердце народа. Он недеянием своим преобразует тело и недеянием своим хранит Закон. Это-то и есть милосердие» (Чунь Ян).

Однако из всего этого следует некий практический вывод. Человеку не следует ждать от Вселенной доступных его пониманию жалости или сострадания. Она функционирует по собственным незыблемым законам, законам жертвоприношения: все сущее рождается, взращивается, пестуется — а после умирает, и быть может, именно в этом проявляется высшее милосердие. Лишь сама Вселенная вечно пульсирует, как кузнечный мех, без устали наполняясь и опустошаясь. Человек же являет собой как бы ничтожное ее подобие: снова и снова его вдох сменяется выдохом — и так до конца. Не здесь ли возможность продолжить подобие дальше: воспитав в себе бесстрастие, достойное мировых глубин, и последовав ходу естественности, обрести дыхание гармоничное, неиссякающее и сосредоточиться в том «центре кузнечного меха», откуда никогда не уходит Дао? Мы знаем, что обычная даосская практика именно такова: регуляция дыхания и медитация на так называемом «среднем киноварном поле», аналогичном брюшной чакре йогов. И многоглаголание, конечно же, мешает достижению цели, грозит оскудением праны — «ци». «Многие заботы вредят духу, многие речи вредят телу,— такими словами завершает свой комментарий к этому стиху «Старец с берегов Реки».— Когда отверзаются уста и вздымается язык, горе и немощи неизбежны. Не лучше ли сосредоточиться на внутренней благодати, пестовать и взращивать духовное Семя и Дух, возлюбить прану «ци» и говорить реже?» А комментарий другого даосского «человека Истины», Чунь Яна, записанный его учеником, есть настоящий гимн Великой Пустоте — обители Дао, приобщение к которому дарует человеку все, включая бессмертие.

«...Как же человеку, совершенствуя себя, не подражать Земле и Небу?!.. Совершенствующий себя с помощью Пустоты обретает ее красоту и ее сокровенность — ему незачем домогаться славы, незачем домогаться Пути. И лишь только опустошенность достигает предела, как происходит некое движение. И по мере того, как это движение начинает источать красоту, ты все больше ощущаешь сокровенность происходящего. Это невозможно высказать! Многословие здесь бесполезно. Потому-то красота самопознания, сокровенность встречи с самим собой, тайна сосредоточения в себе до беспросветного забвения и обретения себя в наипредельной середине наипредельного Пути, вечно существующая истинная и единая прана, благодаря которым ты радуешься Истине Неба,— они лучше бесчисленных утрат. Так не есть ли это та нечеловечность, в которой совершенствующий себя совершенномудрый становится подобен Небу и Земле, не есть ли это сокровенный и тайный закон Пустоты? В немилосердии Земли и Неба их милосердие. О, как сокровенна в своем беспредельном величии, в беспредельной неколебимости эта тайна!» (Чунь Ян).

Возникновение образов

Бессмертен дольний Дух —
Вот почему зовут его Родительницей Сокровенного.
В лоне Родительницы —

Корни Неба и Земли
Тонкие-претонкие, словно едва лишь существуют,
А до конца не размотать!

Вот перед нами то место, где, не подозревая об этом, Лао-цзы решает основной вопрос философии, объявляя Дух прародителем, а точнее — прародительницей всего сущего. Это единственное место, где он квалифицирует Дао как понятие духовное, но делает это столь недвусмысленно, а сам фрагмент текстуально столь бесспорен, что это доставляет массу неудобств всем, кто хотел бы услышать от патриарха даосизма нечто иное. Поэтому переводчики книги Лао-цзы на современный китайский язык зачастую излагают первую фразу (буквально: «дух долины бессмертен») таким образом: «изменения Пустоты никогда не прекращаются». Мало похоже на оригинал, зато слово «дух» раз и навсегда исчезает из книги.

Впрочем, оставим эти упражнения в стороне; гораздо интереснее вопрос о том, почему Лао-цзы именует бессмертный Мировой Дух дольним. Над этим вопросом немало бились еще древние и средневековые комментаторы, стараясь поставить на место слова «гу» — «долина» значения более понятных, по их мнению, омонимов или сходных по написанию иероглифов, призванных исправить «описку переписчика». Однако во вновь найденных древнейших рукописях мы видим все тот же иероглиф, да еще с так называемым «смысловым ключом» воды, показывающим, что речь идет о долине реки, русле потока.

Образ Духа в долине — это образ нашего мира. Твердо очерченные берега — и текущий внутри этих окаменевших форм поток, который дает жизнь всему сущему, питает его и изменяет. Проходят тысячелетия, меняются берега — а поток все так же струится, не останавливаясь и не прекращая свой бег.

Много позже Ван Чун (I в.) выскажет свою, вероятно, весьма древнюю мысль о видимых, материальных формах как Духе застывшем. Иными словами, в представлении древних китайцев все сущее, действительно, мыслилось как порождение духа, который, частично материализуясь, давши в лоне своем жизнь Небу и Земле, образует две сущности — духовную и материальную. Материя мертва — по крайней мере временно, в своем окаменевшем состоянии, дух же есть средоточие жизни, ее податель. И тот, кто питается от Духа Долины, тот никогда не умрет.

Именно на этом аспекте делает упор в своем комментарии «Старец с берегов Реки». Вопрос о Духе Порождающем он оставляет как бы в стороне — его размышления заняты Духом Питающим и Духом Омывающим, ибо в духе, а не в теле он видит изначальную основу человеческого долголетия, разгадка же секрета жизни вечной — его основная цель. И здесь он очень прагматичен и конкретен, а его теоретические построения тесно связаны с «даосской йогой», с регуляцией дыхания.

«Долина Питает,— пишет Старец.— Питая дух, не умрешь. Дух — это дух Пяти внутренних вместилищ, Небесная душа «хунь», что живет в печени, земная душа «по», что живет в легких, дух «шэнь», что живет в сердце, замыслы «и», что живут в селезенке, семя «цзин», что живет в семенниках, да еще устремления — «чжи». Ежели Пять вместилищ истощены или ранены, дух из них уходит... Сокровенное — это Небо... Нос человеческий соединяется с Небесным Дао, потому и нос именуется Сокровенным... Здесь говорится о том, что Врата Носа — это путь, по которому приходит и уходит Изначальная прана-ци Неба и Земли».

Впрочем, комментарий «Старца...» — это уже дальнейшее развитие даосской мысли, проходившее в школе «внутренней алхимии», так сказать, вариации на темы текста Лао-цзы. Что же касается самого Лао-цзы, то и в этом коротеньком стихе нам не следует упускать из виду его визионерский аспект. Визионерство вдруг возникает в поле нашего зрения в самых последних строках, хотя и до этого Лао-цзы, возможно, не рассуждает, а «прозревает». Здесь же он совершенно явственно «видит» незримые корни вещей, подобно тому, как видят современные экстрасенсы едва брезжущие светлые тяжи, соединяющие физическое и тонкое тела во время их временного разделения при жизни. Вот проходят перед его внутренним взором эти тончайшие, едва заметные нити, когда нельзя даже быть до конца уверенным, существуют ли они вообще,— и все тянутся, тянутся... Описание краткое, но очень «зримое» — вряд ли это случайно. «Зримость» стиха отражена и в названии, данном ему «Старцем с берегов Реки»,— «Возникновение образов». Возникновение происходит дважды — в момент становления мира, когда Небо, Земля и все сущее возникают из ничего, из Бездны Дао,— и тогда, когда даосский мудрец вновь «прозревает» начало мира, опускаясь к его истокам.

Надо сказать, что в прочтении последнего иероглифа стиха переводчик последовал той поздней трактовке, которая представляется более логически оправданной и, что греха таить, более философичной. Однако, если склониться к версии древней, идущей еще от «Старца...», то концовка скорее предстанет отзвуком медитативно-йогической практики, чем плодом абстрактных размышлений:

«...Корни Неба и Земли
Тонкие-претонкие, словно едва лишь существуют,—
Используй же их без усилия!»,

т. е. погружаясь в бездны прошлого и нынешнего, сокрытые в бескрайних просторах Дао, нащупывая там едва зримые корни сущего и тем самым становясь хозяином сегодняшнего дня, не нарушай естественность, не вторгайся насильственно в ход вещей. Или же, как говорит «Старец...», видящий в стихе прежде всего практическое руководство по регуляции дыхания: «Использовать прану «ци» следует широко и свободно, не впадая в торопливость и натужность».

Луч, вложенный в ножны

Долговечно Небо, стара Земля.
Долговечными стать смогли они,
Ибо не для себя живут —
Оттого живут долго.
Так и мудрец —
Держится позади, а выходит вперед,
Покидает тело, а оно существует...
Не бескорыстием ли своим
Блюдет он свою корысть?!

Если ранее Лао-цзы говорил о том, что космические законы отличны от человеческих, и отрицал конфуцианский принцип «милосердия», или «человеколюбия», то здесь он возводит в ранг космического закона воздаяние за бескорыстие. Небо и Земля взращивают мириады существ, дают им пропитание и заботятся о них. Именно так должен поступать и мудрый человек, если он хочет добра самому себе, ибо воздаяние за добрые дела — закон Вселенной. Вся Вселенная построена на действии и противодействии, на принципе единства противоположностей. Скромный возвышается, а гордый низвергается, алчущий выгоды лишается всего, а бескорыстный приобретает. Правда, трудно предполагать, чтобы Лао-цзы был столь наивен, чтобы не видеть, что жизнь постоянно опровергает этот постулат. Тогда не имел ли он в виду, что воздаяние не ограничивается данным существованием, а включает в себя и «жизнь после смерти» (в любом из вариантов, предлагаемых древними религиями)? Лао-цзы не говорит об этом прямо, однако его последователь Чжуан-цзы достаточно ясно заявляет о «великом пробуждении» души после сна жизни и о радостном инобытии духа, преодолевшем смерть.

О том, как снискать благое воздаяние и долголетие, говорит строка шестая.

В знаменитой даосской книге «Ле-цзы» есть краткий, но знаменательный диалог Ле-цзы со своим учителем, Хуцю Цзы-линем. «Стоит лишь тебе познать, как держаться позади,— и можно будет сказать, что ты поддерживаешь свое тело»,— сказал Хуцю Цзы-линь. «Хотелось бы услышать, как держаться позади»,— спросил Ле-цзы.— «Оглянись на тень свою — и узнаешь». Ле-цзы обернулся и стал наблюдать за тенью: когда тело сгибалось — и тень становилась кривой; когда тело выпрямлялось — и тень становилась прямой; выходило, что прямота и кривизна зависели от тела, а не от самой тени; и выходило, что его собственная прямота и согбенность зависели не от него, а от чего-то другого...»

Что есть первопричина — догадаться нетрудно. Ведь на само физическое тело древние смотрели как на тень духа, существующего в иных измерениях и дающего лишь слабое, искаженное отражение на плоских поверхностях нашего ограниченного мира страстей. «Тело — тень»,— говорит Инь-цзы с Заставы, ученик Лао-цзы, в том же трактате. Что же до того, что мы в обыденной жизни именуем тенью, то это уже вторичное опосредование первопричины, она всего лишь полутень, следующая за движением физических форм — и, следовательно, за движением духа.

Во второй главе другого знаменитого даосского трактата «Чжуан-цзы» мы найдем коротенькую притчу-диалог двух этих «теней», различающихся лишь степенью опосредования истины.

«Полутень спросила у Тени: «Только что ты шла, а сейчас остановилась, только что сидела — а сейчас встала, почему ты так поступаешь?»

И ответила ей Тень: «Есть у меня некто, от кого я завишу, а у него есть некто, от кого зависит он...» Физические формы отбрасывают видимую тень, управляя ее движениями, но и они «не самовластны и зависят от Истинного Распорядителя». Выходит, что «держаться позади», как тень, в конечном счете означает быть покорным Первопричине, Дао... Дух ставится на первое место, а телесное, мирское на второе, послушно следуя ему. В конечном счете все это означает тот же призыв следовать естественности, которая, вопреки мнению профанов, выводит человека вперед и в этом мире. Кстати, иероглифы «шэнь»—тело и «шэнь»—дух легко здесь взаимозаменимы, и вполне возможно прочтение: «держи позади свое тело и дух выступит вперед». Пестовать дух — вот что главное для достижения долголетия на этой земле, не говоря уже о существовании в иных сферах.

Что же касается следующей строки Лао-цзы, буквально: «вне своего тела, а тело существует», то похоже, что речь здесь идет имен-

но о выходе в иные сферы, пусть не очень отдаленные, о пребывании тонкого тела вне тела физического. Человеку, хотя бы понаслышке знакомому с практикой «даосской йоги», трудно отделаться от впечатления, что имеется в виду «глубокое погружение», транс типа «самадхи», о котором говорит, в частности, Чжуан-цзы. Считается, что, кроме всего прочего, такой транс способствует очищению организма и обретению долголетия. Впрочем, комментаторы предпочитают толковать эту строку иносказательно.

И, наконец, последнее — о названии стиха. В даосской литературе очень популярны легенды о чудесных мечах, гибельных для всякой нечисти,— едва вынутые из ножен или другого какого-то футляра, они источают свет, наполняющий все вокруг таинственным сиянием. Даосский мудрец, достигший высоких ступеней совершенства, подобен такому мечу: скрывая до времени свой блеск, он лишь преумножает его.

Движение к гибели

Чем наполнять и поддерживать —
Не лучше ли бросить?!
Что точат и заостряют —
Не может остаться острым,
Коль золота и нефрита полны палаты;
Можно ли их уберечь?!
Кто чванится знатностью и богатством,
Сам себя ввергает в беду.
Обретают заслуги,
А тело уходит —
Таков Путь Неба!

Этот стих — о тщете человеческих усилий, о бесплодности стремления утвердить себя на земле, о бренности всего, достигнутого в этом изменчивом мире. То, «что точат и заостряют»,— это стрекала наших желаний, постоянно понуждающих человека рваться вперед в пагубной гонке за призрачными миражами. Дорогой ценой даются успехи в этой гонке: «Ненасытность желаний губит дух, обилие богатств изнуряет тело»,— замечает по этому поводу «Старец с берегов Реки». Смерть стоит у нас за плечами, мы умираем каждую минуту, ибо по мере наших свершений телесное «я» человека постепенно отходит в небытие. Так, действительно, «не лучше ли бросить», прекратить эту погоню за недосягаемым? Далеким созвучием с мыслями Лао-цзы звучат слова Евангелия: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Еванг. от Матфея, 6:19); «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» (Еванг. от Луки, 18:24).

Особенной же опасности подвергает себя тот, кто не знает меры и удержу (в другом стихе Лао-цзы будет сказано: «знающий меру — богат!»), поскольку все в мире со временем переходит в свою противоположность, и то, что еще недавно дарило радость и успех, становится причиной бед и несчастий. «Солнце в зените начинает клониться к закату, полная луна — убывает, расцвет сменяется увяданием, а радость — печалью»,— приводит цепь аналогий «Старец...». Древние китайцы постоянно помнили об этом законе Бытия и старались, например, не вступать в родственные отношения с семьей, достигшей вершины успеха, ибо за головокружительным взлетом всегда следовали опала и казни. Тот, кто вовремя умеет отступить в тень, покинуть пост, спасает себя от гибели. «Небесный наставник» Чжан в своем комментарии напоминает в этой связи о знаменитом государственном деятеле эпохи «Борющихся царств» Фань Ли, тайно бежавшем тогда, когда царь, которому он служил, стал гегемоном всего Китая. Фань Ли помнил, что, коль скоро охота закончена, собаки уже не нужны...

Интересная деталь: драгоценности, что наполняют палаты дворца, Чжан толкует как животворную прану «ци» и Духовное Семя, Мировую Сперму, наполняющие человеческое тело; задача, по его мнению, состоит в том, чтобы сохранить их, отказавшись от желаний, и умело распорядиться ими ради «жизни вечной».

Напомним также, что более поздние комментаторы подчас понимали под «заслугами» карму,— тогда данный стих, толкуемый как скрытый призыв отказаться от собирания богатств на земле ради жизни будущей, звучит совсем по-евангельски.

Способность свершать

Вместивши душу небесную и земную, объявши
Единое —
Сможешь ли их удержать?!
Перегоняя дух «ци» до предела смягчения —
Сможешь ли оборотиться дитятей?!
Омыв и очистив мистический взор —
Сможешь ли бельма его устранить?

Людей возлюбя, направляя царства —
Сможешь ли пребывать в недеянии?!
Отпирая и запирая Врата Небес —
Сможешь ли женственность соблюсти?!
До белизны прояснив четыре предела —
Сможешь ли неведение сохранить?!

Рождай же и умножай!

Рождать не владея,
Свершать не гордясь,
Растить не начальствуя —
Вот что зовут сокровенною благодатью!

В одной из китайских хрестоматий начала века, в примечаниях «на полях» (есть такой особый вид комментария), против этого стиха я нашел полную искреннего восхищения фразу: «Такое доступно только совершенномудрому — человек обыкновенный разве в состоянии такого достичь?!» Разумеется, вся книга обращена к человеку, решившемуся на высочайшее духовное продвижение, на духовный подвиг, но здесь впервые и зримо установлена верхняя планка: остановить смерть, повернуть вспять ход времени, рассмотреть внутренним взором все без изъятия... Тон и характер вопросов (а для непосвященного они звучат чисто риторически) напоминают обряд инициации, высшего посвящения: желающий войти в последнюю дверь должен знать на них ответы. В древней китайской традиции ближайший аналог этому стиху — так называемые «Вопросы Неба» (Тянь вэнь), известные нам в передаче великого поэта Цюй Юаня (V—IV вв. до н. э.), так же, как и Лао-цзы, уроженца царства Чу.

Вообще, этот стих совершенно необычен. Даже те, кто склонны видеть в книге Лао-цзы произведение чисто философское, умозрительное, вынуждены признать, что в этом стихе отражены принципы так называемой «даосской йоги». Его построения оказываются тесно связанными с медитативной практикой, и более того: сама медитация предстает перед нами как некий процесс овеществления, материализации мысли.

Процесс начинается с той ступени сосредоточения на Едином — Дао, когда слияние становится неразрывным, когда внешнее не отвлекает и ничто уже не нарушает гармонии двух человеческих душ, небесной и земной, достигнутой в момент погружения в Абсолют. Погружение в себя — и в Дао — есть необходимая отправная точка так называемой «внутренней алхимии», когда, пропуская жизненную энергию, пневму «ци», по каналам своего тела — снизу вверх по позвоночному столбу, через мозг, вниз до «моря пневмы», или «киноварного поля», где находится воображаемый алхимический тигель, и далее,— даос производит трансмутацию пневмы. В процессе «возгонки» и «осаждения» пневма превращается в чисто духовную субстанцию — шэнь, которая, накапливаясь в теле, сообщает ему качественно новые свойства. Ментально-дыхательная циркуляция способствует выведению из тела всего косного и застойного, всего «твердого», что принадлежит смерти.

Своими упражнениями, активизирующими самые разные центры, даосы стремятся не только остановить ход биологических часов, запрограммированных на саморазрушение организма, но и отвести их стрелки назад почти до нуля, до состояния младенца. «Будьте как дети!» — говорил Христос, имея в виду прежде всего возвращение души в то первоначальное состояние, когда, опустившись из горних сфер, она еще не успела запачкаться мирской скверной. Но у Лао-цзы все несколько иначе: в древних версиях текста идея уподобления вообще отсутствует и нет никаких «как». «Стать младенцем», «оборотиться дитятей» звучит у него не только как преображение духовное, но и в какой-то степени телесное. В процессе направленной циркуляции «ци» даос приобретает облик вечной молодости и ту предельную гармонию организма, которая присуща только младенцу.

Следующая строка, где говорится о «Вратах Небес», вроде бы и понятна, однако конкретные ее толкования разнятся между собой чрезвычайно. Ясно то, что «Врата Небес» есть некий проход в высшие, горние сферы, таинственная дверь, открытая не всегда и не каждому. Древний словарь «Толкование письмен» (II в.) определяет это выражение как эвфемизм сердца человеческого, ибо оно одно есть скрытое чувствилище мира, способное познать Дао. В космологическом плане древние китайцы часто отождествляли Небесные Врата с двумя звездами созвездия Рогов (в восточной части Неба), между которыми якобы располагается вход в небесные чертоги. Но человеческий микрокосмос во всем подобен Великому Космосу: считалось, что в теле также имеются духовные чертоги с анфиладой залов и в них также ведут Небесные Врата, расположенные в таинственной точке на переносице, между бровей, на которой следует сосредоточиваться во время медитации, через которую может выходить и возвращаться обратно астральное тело продвинутого даоса. «Небесные Врата» в человеке и на видимом небосводе есть как бы оконечности одного и того же незримого тоннеля, соединяющего мир горний и мир дольний: так, в общем, толкует это понятие «Старец с берегов Реки».

«Врата Небес» — они в чертогах Фиолетового недосягаемого у Полярной звезды...— пишет он, помещая небесный дворец, согласно даосской традиции, в центре мироздания — ... А врачующими тело Небесными Вратами зовутся ноздри. Их открытие зовется передышкой, их закрытие зовется вдохом и выдохом». Иными словами, задерживая ды-

хание (одно из основных требований «даосской йоги»), человек в то же время открывает свои Небесные Врата в иные сферы, черпая из них прану «ци» высокой утонченности, «ци» «раннего неба». И тут, в процессе регуляции дыхания, очень важно избежать насильственности, сохранить ту естественность, которая одна соответствует небесным ритмам, а потому обеспечивает наилучшую, пользуясь современной терминологией, «энергетическую подпитку». Адепт должен подавить в себе мужское начало, т. е. сделаться совершенно пассивным, «спокойным, мягким и податливым, как самка», быть «эхом, но не певцом», «подражать земле и женщине» в их пассивности. Даосу следует отдаться высшим силам — и оставаться покорным рецепиентом, сколько бы ни толкала к активности его «янская», мужская природа.

Последние пять строк («Рождай же и умножай!..») некоторые исследователи считают вписанными сюда ошибочно, поскольку более связанным с контекстом выглядит их повторение в стихе 51-м, а потому не включают в текст. Увы, этот повтор — не единственный у Лао-цзы, так что лучше доверимся древним рукописям. Хуже то, что «безличность» древнекитайского языка позволяет отнести все сказанное равно и к Дао и к даосу. Мы предпочли последний вариант, поскольку до сих пор речь все время шла о человеке; впрочем, достигая крайних глубин погружения в Дао, он становится как бы тождественным ему, так что разница невелика.

Слово «чу», которое мы переводим как «умножай», означает размножение, разведение скота. При желании в этой сентенции можно увидеть отдаленную аналогию библейской заповеди «плодитесь и размножайтесь», хотя, разумеется, речь здесь идет о творении материального, скорее, на ментальном уровне, когда образы роятся в сознании медитирующего адепта и спонтанно входят в реальный мир вещей благодаря его «сокровенной благодати».

В заключение приведем комментарий великого даосского патриарха, «Небесного наставника» Чжан Дао-лина к первой строке, который дает как бы общую идею стиха. Чжан замечает, что речь в ней идет, скорее, о мировой сперме, Духовном Семени — «цзин», и далее продолжает: «Тело есть колесница Семени, и, нисходя вниз, Семя должно нагрузить его и разместиться в нем. По становлении духа является пневма «ци», также помешающаяся в теле человеческом и нагружающая его. И ежели желаешь соблюсти полноту заслуг — не расставайся с Единым. Единое — это Дао». А более поздний комментатор развивает его мысль: «...Единое — вне Земли и Неба, но входит в пространство меж Небом и Землею. Однако же, пульсируя в теле человеческом, располагается повсюду под кожею, не выбирая единственного места. Рассеиваясь, принимает облик пневмы «ци», собираясь воедино, принимает облик Всевышнего Старейшего владыки Тайшан Лао-цзюня [1], постоянно правящего в горах Куньлунь. Его еще именуют Пустотным Небытием, именуют Естественностью, именуют Безымянным — все это одно. Ныне тот, кто вещает о Дао и наставляет в учении, кто неотступно соблюдает заповедное,— тот сосредоточивается на Едином. Если не следовать этой заповеди — утратишь Единое. Фальшивые умельцы суетного мира, называя Единым пять хранилищ тела; в ослеплении мысли жаждут обретения счастья, но это — ложь; расставшись с жизнью, они последуют далеко!»

Польза несуществующего

Стягивают во втулку тридцать колесных спиц —
А пользуются тем местом, где их нет!
Месят и лепят глину, изготовляя сосуд,—
А пользуются тем местом, где ее нет!
Пробивают окна и двери, строя землянку —
И пользуются тем местом, где нет ничего,
Ибо от наличия — корысть,
А от отсутствия — польза.

О пользе «несуществующего» или, если угодно, «небытия»,— традиционно озаглавливается этот стих. Европейские переводчики практически не комментируют его; мысль автора парадоксальна, быть может, даже ошеломляюща, однако предельно ясна: наивысшая польза в том, чего нет, все сущее способно как-то функционировать лишь благодаря небытию, и само существование вещей этим небытием порождается. Взяли комок глины, сделали в нем углубление — и явился сосуд, прорезали в лессовом обрыве окна, двери, вынули все внутри — и получилось жилище. Диалектическое единство противоположностей обнажено здесь гениально просто, с изумительным мастерством.

Однако, если мы ограничим себя констатацией только этого факта, мы остановимся на уровне, уготованном для профанов. На мысль о существовании иного, скрытого смысла наводит уже знакомство с образом колеса. Колесницы Древнего Китая превосходно изучены, сохранилось немало самих колес и особенно их отпечатков, но, увы, количество спиц в них всегда много меньше! Даже в огромных колесницах Иньской эпохи, по-

[1] Его телесным воплощением, согласно воззрениям даосов, стал автор «Даодэцзина», Лао-цзы.

строенных за тысячу лет до создания «Книги Пути и Благодати». И лишь недавно при раскопках окрестностей надгробного кургана первого китайского императора Цинь Шихуана была сделана поистине уникальная находка: бронзовая модель закрытой колесницы самого Сына Неба; ровно тридцать спиц одна в одну сходилось в ступицах обоих ее колес. Второе свидетельство — письменное — находим среди сохранившихся фрагментов в главе «Записки о ремеслах» конфуцианской «Книги Ритуала».

Есть, безусловно, что-то сакральное, какая-то скрытая магия чисел в отличии колесницы Сына Неба от найденных тут же простых повозок; элемент ритуальности, несомненно, присутствует и в ее «эталонном» описании. Впрочем, текст говорит сам за себя: «тридцать спиц в колесничьем колесе — по образу солнца и луны» — читаем мы в «Книге Ритуала». А «Старец с берегов Реки» в своем комментарии к книге Лао-цзы окончательно расставляет все по своим местам: «Колесницы древних имели по тридцать спиц в подражание числам месяца». Комментарий же Янь Цзуня делает аналогию еще более понятной: «Древние делали колесницы по образу движения месяца. В месяце тридцать дней, в колесе — тридцать спиц. И вот месяц, повиснув в небе, кружится без устали, колесницы, катаясь по земле, движутся без остановки». Образ мира, движущегося во времени, образ круговращения бытия — вот что такое сакральное колесо у Лао-цзы. И не только у него. Вспомним буддийский образ «колеса закона», еще более ранний индуистский образ «колеса перерождений», вспомним образ времени-солнца, которое символизировало колесо у европейских народов, от древних римлян до древних славян...

Но если колеса — это мир времен, смертей и рождений, смены образов и форм, то что же тогда ступица, к которой сходятся и из которой исходят спицы; та пустота, которая приводит в движение круг бесконечности, сама оставаясь на месте, которая порождает мириады изменений, сохраняя вечно свою неизменность?! Ну, конечно же, это Дао, которое так часто сравнивают с осью колеса! Не сам ли Лао-цзы в другом стихе описывал Дао почти так же, как ныне он описывает это средостение феноменального мира, пребывающего в вечном вращении: «Дао пусто, но в применении неисчерпаемо». И многие авторы будут потом на разные лады варьировать образ Дао, благодаря которому «может двигаться Небо и покоиться Земля, а колесо вращаться беспрерывно», или рассуждать о «круговерти гончарного круга и вращении ступицы колеса», все вновь и вновь возвращающихся к первоначалу, опять-таки имея в виду Дао и создаваемый им мир.

Упоминание о гончарном круге подвело нас к следующему образу стиха — образу сосуда. В западной традиции, античной и христианской, сосуд нередко являлся метафорой человека. «Сосуд, который надо наполнить» мудростью или знанием, «сосуд греха», просто «сосуд мерзостный» или, напротив, «сосуд Божий» — каждый раз определение рождалось мыслью о том, что тело наше лишь вместилище, место пребывания души, и его должно наполнять светлой духовностью. Нечто подобное мы находим и в Китае: человека выдающегося не раз именуют «великим сосудом» в том смысле, что, подобно расставленной перед государем утвари, он способен утолить своею мудростью его духовный голод (а «Общая посудина» — это уже о чиновниках). У великого философа Сюнь-цзы мы встречаем очень прозрачную ассоциацию с образом Лао-цзы в том месте, где он рассуждает о злой природе человека: «Гончар мнет глину и делает сосуд, но сосуд рождается от усилий мастера, а не от природы человеческой». И, наконец, как бы расшифровку строки Лао-цзы о сосуде мы находим среди рассуждений «Мудрецов из Южного заречья реки Хуай» о жизни и смерти. «Это сравнимо с тем, как гончар мнет глину. Взятая им и превращенная в сосуд, земля ничем не отличается от той, что от (прочей) земли не отторгнута. А сосуд разбитый, порушенный и снова вернувшийся к своей первопричине, ничем не отличается от того, который пока остается сосудом». В этих словах словно бы слышится библейское «Из земли взят, в землю и отыдешь». И столь же самопроизвольно вспоминается довольно рано зафиксированный китайский миф о сотворении человека из праха земного богиней Нюй Ва — в отличие от библейского Адама китайских прародителей было создано много, но точно так же лепились они из того материала, что и любая посудина.

Что касается третьего образа — образа дома, то по убывающей, после Вселенной и Человека, он должен был бы звучать метафорой сердца — ведь сердце в своих глубинах соединяет то и другое, а древние авторы нередко называют его обителью или дворцом духа. Намекает нам на такое понимание и древний комментатор: «Пробивая двери и окна, создают пустоты жилища, а посреди самого жилища — пустоту и небытие, которые делают его местом обитания. Что же говорить о пустоте сердца мудрого, способного вместить вещи?!» Впрочем, не будем слишком настаивать на

этой параллели, поскольку разграничить Дао, человека и сердце достаточно сложно — ведь сердце считалось владыкой тела человеческого, и пустота его мыслилась выходом в просторы небытия, объединяющего все сущее. Именно поэтому так настойчиво звучат призывы очистить свое сердце, убрать из него все накопившееся, распахнуть его врата, раскрыть широко все семь его отверстий — реальных и примысленных, чтобы светлая духовность могла литься сквозь него свободно и мощно. А эта духовность и есть Путь, извечная сущность, чье истинное имя сокрыто. «Дао пусто, незаполнено», и только его поток пульсирует там, где ничего нет. «Пустое» и как бы не существующее, оно не менее реально, чем любая вещь, обладающая формой, ибо стоит уничтожить пустоту в доме, в сосуде, во втулке колеса, как этих вещей уже не станет. И более того — не станет всего мира сущего, который не только порождается, но и соединяется пустотным Дао — от сердца человека к космосу. Дао есть высшая реальность, но эта реальность как бы функциональна, ее невозможно выделить и предъявить миру, «но без нее мир перестал бы существовать». Дома не бывает без стен или кровли, ибо они очерчивают его пределы — бытийное творит формы. Однако не будь в доме пустот, им нельзя было бы пользоваться,— как ни парадоксально, главным все-таки остается несуществующее, пользу приносит небытие. Выгода от существующего ясна каждому, но Лао-цзы вновь и вновь будет прославлять пустоту, ибо небытие есть бытие истинное.

Довольствоваться позором

Почет и милости есть как бы предостережение.
Цени великие печали подобно телу своему.
Что это значит «почет и милости есть как бы предостережение»?!
Почет есть нечто низкое:
Со страхом обретаешь его,
Со страхом и теряешь,
Поэтому и говорят: «почет и милости есть как бы предостережение».
А что же значит: «цени великие печали подобно телу своему»?!
Великие печали я имею,
Поскольку обладаю телом,
Когда же у меня не станет тела,
О чем печалиться?!
Тому, кто ценит мир, как собственное тело,
Пожалуй, можно мир вручить.
Тому, кто любит мир, как собственное тело,
Пожалуй, можно мир доверить!

Смысл стиха достаточно ясен, если не считать одного маленького нюанса: иероглиф, который мы даем в его буквальном значении «тело», в переносном смысле употребляется для обозначения понятия индивида, человеческого «я». То, что в русском языке квалифицируется как «личность», в древнекитайском звучало бы как «телесность»; индивидуальность здесь идентифицировалась не с лицом, а с телом. В свою очередь, человеческое «я» слагается из страданий и скорбей — они составляют как бы эмоциональную плоть, в которую облекается Духовное Семя. Здесь ориентированность в сторону внешнего мира играет свою роковую роль: мы страдаем, ибо придаем значение таким «низменным» вещам, как почет, слава, милости вышестоящих, которые с легкостью обращаются в свою противоположность. Отказываясь от собственного «я», человек отказывается и от своих скорбей, а лишаясь тела, он оставляет вместе с ним и все свои страдания. «Ежели у меня не будет тела и я воплощусь в Дао, буду естественно и легко вздыматься к облакам, входить и выходить там, где нет (ни малейшего) зазора, буду с Дао единым духом — какие у меня тогда будут печали?!» — восклицает по этому поводу «Старец с берегов Реки». И, разумеется, только человек, способный отказаться от личного ради блага других, может быть истинным Сыном Неба — ему спокойно можно вручить Поднебесную. Точно так же, как растворившийся в «не-я» способен овладеть всем миром и оставаться его подлинным владыкой. Ну, а слава и монаршие милости могут служить для такого лишь напоминанием, что все бренно и переходит в свою противоположность: «Занимая высокий пост, (он чувствует себя словно бы) стоящим над обрывом». Впереди — только опасность, а может быть, и падение в бездну. Потому-то предпочтительнее печали тела страдания телесные. Их следует ценить, ибо они есть нечто искони присущее человеку, он обретает их вместе с земным телом своим ради шествия по Пути. И они же есть залог будущего избавления от страданий. Так что не следует стремиться к славе и почету, которые служат знаком неблаговещим, являются предостережением для того, кто еще способен отказаться от честолюбивых замыслов. «Сильный и своевольный умирает недоброй смертью»,— говорит Лао-цзы. Как напишет впоследствии Цзя И в своей знаменитой «Оде сове»:

... Счастье ведет за собою несчастье,
Радость и скорбь толпятся у тех же ворот.
Зло и добро обитают в одних местах.
Вот царство У — было великим, могучим,
А Фу Ча потерпел пораженье,
.....

Ли Сы в своих странствиях к славе пришел —
И от пяти казней скончался!
.....
Как разделить нити счастья и бед,
Сплетенные в жгут?!
Судьбу предсказать невозможно —
Кто знает ее конец?!

Потому-то лучше довольствоваться положением презренным, подобно воде — символу Дао,— которая всегда устремляется в места самые низкие. Как будет сказано через полтысячи лет: «Кто унижает себя, тот возвысится» (Еванг. от Матфея, 23:12).

Вообще, тема тела как источника постоянных страданий очень часто звучит в религиозной литературе; особенно она характерна для буддизма, который рекомендует относиться к страданиям с возможным стоицизмом. «Удалившиеся от мира относятся к телу своему как к ране, стараясь, однако же, не (слишком) обращать на нее внимание»,— говорит, например, святой Нагасена в «Вопросах царя Милинды». Тем более что рана существует только в этой жизни: как только человек «перестает жить во плоти, рана его более не беспокоит».

Переводя этот стих, мы в основном следовали за современными китайскими учеными. Однако существуют и другие толкования, более того — другая версия заключительных строк. Причем очень трудно судить, какая из двух версий древнее, поскольку обе они представлены уже в маваньдуйских рукописях II в. до н. э. Вторая редакция звучала бы следующим образом:

Тому, кто ценит мир, как собственное тело,
Пожалуй, можно мир вручить,
Тому, кто тело возлюбил превыше мира,
Как мир доверишь?

В связи с этим характерна сентенция Небесного наставника Чжана о том, что «человек должен только беречь свое тело, но не любить его... Когда возносят моления Дао, преумножают добрые дела, создают заслуги, копят Духовное Семя и взращивают Дух, а Дух творит магическое бессмертие,— тем самым (воистину) обогащают тело. Но те, кто, алкая славы и почета, утруждают свое Духовное Семя и Мысль, чтобы снискать богатство, пичкают тело роскошными яствами,— это суть возлюбившие тело, они в разладе с Дао».

«Человека истины» Чунь Яна в его комментарии к этому стиху интересовало обращение к идее до-небесного («сяньтянь») и после-небесного («хоутянь») тела, что, по-видимому, соответствует телу духовному и телу материальному. Концепция до- и после-небесного впервые возникает в «Книге Перемен» и означает все то, что существовало до появления Космоса (неба) как такового, и то, что принадлежит уже материализовавшемуся космосу, с его Небом, Землей и Человеком. А Космосу, как мы помним, предшествуют только Путь Вселенной — Великое Дао — и хаос изначальной праны «ци». Лишь это редкое ныне «ци» способно дать жизнь человеку, а после, иссякнув в дыхании, привести его на порог смерти. Оно подобно шагреневой коже — с последним вздохом уходит последняя прана — и все кончается. Но в теле до-небесное — это жизнь, это дух. «Коль скоро я существую в до-небесном теле и не имею тела после-небесного, какие могут быть у меня печали?! Тот, кто дорожит своим до-небесным телом ради мира, может послать свое тело — и заградить путь Вселенной, кто возлюбил до-небесное тело ради мира — может поселить пустотно-духовное тело во Вселенной». Это — еще один вариант концовки тринадцатого стиха. Разумеется, видение «человека истины» Чунь Яна — плод достаточно развитого даосско-буддийского синтеза, а по времени его комментарий далеко отстоит от оригинала. Однако он, как и оригинал, медитативен, а фиксацию «расширенного сознания», когда собственное «я» ощущается заполняющим всю вселенную, мы обнаруживаем еще у Чжуан-цзы (IV—III в. до н. э.) — так что подобный вариант не исключен и для Лао-цзы.

Хвала сокровенному

Именую незримым,
Ибо смотрю на него — и не вижу,
Именую безмолвным,
Ибо вслушиваюсь — и не слышу,
Именую бесплотным,
Ибо, притронувшись, не ощущаю...
И то, и другое, и третье
Невозможно постичь до конца —
Они же слились в Единое...
Не светлы вершины его,
Не темны низины его,
Тянется, тянется —
Ах, имени не подобрать! —
И возвращается вновь к невещественному...
Это, можно сказать, формы без форм,
Образы без вещей,
Можно сказать, нечто мерцающее...
Иду навстречу — и не вижу начала его,
Поспешаю вослед — и не вижу конца его.
Лишь овладев Древним Путем,
Взнуздаешь сегодняшнее бытие,
И сможешь познать Начало Начал,
Откуда идет нить Пути!

Перед нами — одно из наиболее замечательных мест книги, попытка апофатического описания Дао, когда автор, тщась подобрать эпитеты Невыразимому, лишний раз демонстрирует изначальное бессилие языка выразить Истинную Сущность. Думаю, ошибется тот, кто примет эти строки за плод холодного рассудка, за отвлеченное философское построение — Лао-цзы всматривается, вслушивается, пытается прикоснуться, он всплывает в незримом потоке и опускается в его глубины, следует вдоль путеводных нитей, идущих от самого Начала времен... Он то поспешает вперед, стараясь опередить Дао, то медлит в тщетной надежде увидеть его конец, он словно сам присутствует среди этих бесплотных образов, видит нечто едва брезжущее, но не в состоянии переложить в слова то, для чего никаких слов не существует. «Уста не могут выразить речами, писания не могут передать,— поясняет эту картину один из ранних комментаторов,— нужно сосредоточиться на этом в тишине и постигать это духом», т. е. пройти теми же запредельными тропами, которыми прошел Лао-цзы.

В мире бытия все делится на Инь и Ян, на Тьму и Свет, на тяготеющее к земле и на стремящееся ввысь. Но вне предела вещей и форм царствует нерасчлененное единство хаотической однородности — свет не озаряет вершины, тьма не сгущается в глубине. У Пути в пространстве и времени нет ни начала (букв. «головы»), ни конца (букв. «спины»). Безостановочно вращается водоворот Дао, пронося свои волны сквозь видимый мир, но в его запредельности прошлое сливается с будущим, и, возвратившись вместе с Дао к истоку времен (букв.: «началу древности»), ты становишься хозяином самого себя и всего этого мира. В мировой истории мы найдем немало попыток характеризовать Божество, или Высшую реальность, с помощью отрицательных определений («не такой», «не такая»...). Однако сходство текста Лао-цзы со словами его современника Сократа поражает совпадением в деталях. Сократ также пытается рассказать Федру об истинной «сущности занебесной области» (ср. комм. к первому стиху «Даодэузина» — «за небом есть другое небо»), и его определение буквально совпадает с описанием Дао у Лао-цзы: «Эту область занимает *бесцветная, без очертаний, неосязаемая* сущность (подчеркнуто мной.— *И. Л.*), подлинно существующая (ср. имя Бога Ветхого Завета — «Я есмь Сущий», Исход, 3:14)... на нее-то и направлен истинный род знаний» (Платон, т. 2, с. 243).

Явленная благодать

В древности искусные в постиженин Дао-Пути
Проникали в мельчайшее, в неуловимое, в сокровенное
Так глубоко — невозможно постичь!
А коль скоро постичь невозможно,
Опишу нх, сколько я в силах:
О, как чутки они — будто зимой переходят вброд (полноводную) реку!
Как осторожны — словно боятся соседей со всех четырех сторон,
Как невозмутимы — будто бы (званые) гостн,
Как осмотрительны — будто бы на подтаявшем льду,
Как естественны — будто бы Древо девственное,
Как отверсты — будто долина (речная),
Как нераздельны — будто (осевшая) грязь!
Кто способен у́покоить себя в (осевшей) грязи и через это очиститься?
Кто способен в успокоении двинуться и через это родиться?
Хранитель Пути не жаждет ничто наполнять,
Ибо только не наполняя
Можно в ветхости (не иметь) нового становления!

Попытавшись в предыдущем стихе дать читателю описание Сокровенного, т. е. самого Дао, Лао-цзы пробует теперь намекнуть ему, какими свойствами надо обладать, чтобы овладеть сокровенным, точнее — приобщиться к нему. Разумеется, в полной мере искусством этим владели только древние учителя, к тому же слова, как всегда, бессильны передать мистический опыт. Лао-цзы только «тщится» рассказывать, степень же понимания зависит от личной приобщенности человека к тайне, от его продвинутости по Пути.

Впрочем, он даже не рассказывает, а скорее показывает, и образы, возникающие перед нами, полны глубокого смысла. Переход через реку — в мифах, в сновидениях, в трансе шаманского камлания — это символ выхода в иной, запредельный мир. Любой такой магический эксперимент опасен, а адепт должен быть предельно осторожным, чтобы не погибнуть в зимнем полноводье; ему следует продвигаться вперед медленно и осмотрительно, дабы не поплатиться за свое нетерпение, следует гнать от себя желания и сохранять бесстрастность, словно бы он гость на многолюдном пиру, опасающийся «потерять лицо». Однако это только условия — необходимые, но недостаточные. Недаром за ними возникают привычные образы «Девственного Древа» — призыв к возвращению естественности, к освобождению от бесчисленных духовных пут суетного мира, и образ доли-

ны — призыв открыть себя благодатному потоку Дао, принять его в сердце свое и через него сделать Сокровенное Благодатью явленной. И, наконец, призыв к очищению и духовному возрождению, причем к очищению парадоксальному, через уподобление себя грязи и праху, илу речному, который оседает на дно в местах покойных, а после, выбранный оттуда, удобряет землю и дает новую жизнь Духовному Семени.

Непременное условие для этого — покой. Здесь бескрайний Космос и мир людей, как и во всем другом, схожи. Все легкое, чистое, светлое, прозрачное в мире, как в водоеме, стремится вверх, все тяжелое, грязное, темное, замутненное опускается вниз. Чтобы отделить чистое, надо успокоиться — сам процесс медитации по-китайски именуется «сидением в покое», но вместе с тем, чтобы воспарить, возвыситься духом, нужно себя принизить. Недаром же даосский патриарх Гэ Хун (III в.) в своем жизнеописании Лао-цзы утверждает, что тот стремится «смешаться с прахом», а многие наиболее последовательные его адепты, понимая смешение с грязью буквально, жили в самых нечистых местах — вплоть до навозных куч.

Однако, как ни важно все сказанное до сих пор, наиболее значимы в стихотворении три последние строки. О тщете «наполнения» и о вреде этой пагубной страсти, столь свойственной человеческой природе, Лао-цзы говорил еще раньше («Чем поддерживать и наполнять — не лучше ли бросить?!»). «Наполнение» есть синоним всяческого самоутверждения в иллюзорном мире образов, который отличается от «пустотного», внебытийного мира Дао именно своей наполненностью. Это и страсть стяжательства, когда «золотом и нефритом полны палаты», и грех гордыни, когда слава и почет наполняют (!) человека самодовольством (ср. другую параллель русского языка: «наполненный» — «надутый»), и жажда ложного знания, привносимого извне и загромождающего внутренние вместилища духа (даже весьма приземленные древние греки понимали, что «человек не есть сосуд, который нужно наполнить...»). Нет, идею человека как сосуда китайцы отнюдь не отвергают — Лао-цзы повторяет этот образ несколько раз, но мысль о возможности своевольного наполнения того, что предназначено для высшей цели, он отрицает решительно. Впервые философ предостерегает против этого уже в самом начале своей книги: «Дао есть пустота сосуда, но есть те, кто пользуется ею, не наполняя», ибо наполнить — значит уничтожить пустоту. «Дао ценит гармонию середины: дай же (ему) двигаться в срединной гармонии»,— говорит «Небесный наставник». Нельзя наполняться и переполняться замыслами и стремлениями, ибо это идет вразрез с заповедями Дао. Особенно страшно то, что наполнение может перейти в крайность, в прорыв, когда вдруг исчезает гармония сосуда как единства внутреннего и внешнего, пределов и содержимого, а сами пределы, оболочка просто перестают существовать. Много позже Ван Чун (ок. 27—100 гг.) выразит эту мысль применительно к идее судьбы, предначертания: «Ежели на роду написана бедность, а ты силой или старанием добьешься богатства, то разбогатевши умрешь. Если на роду написано положение презренное, а ты талантами и способностями достигнешь знатности, то тебя, достигшего знатности, подвергнут оскоплению [1]. Доля и судьба не в силах вместить и удержать богатства и знатности, которых снискали сила и талант. Они подобны сосуду, имеющему предел наполнения» — если пренебречь пределом, все содержимое прольется.

Итак, не стремиться наполнить себя, свою судьбу и глубины души, а напротив, выжечь суетное в сердце своем — вот единственно правильный путь. Опустошение сердца есть высшее благо, ибо только оно позволяет адепту исполниться Дао. Однако о том, что дарует человеку это слияние, комментаторы судят различно.

«Небесный наставник» Чжан, комментируя образ «обветшания» в концовке стиха, толкует его как телесную смерть, а новое становление — как даосское воскрешение во плоти («тело умирает — это обветшание, тело рождается — это становление»). Такой вывод вполне в духе даосской традиции сопоставления тела с коконом бабочки и многочисленных легенд о воскрешении после смерти. «Только тот, кто способен сконцентрироваться на Дао, не наполняться и не переполняться, может заменить обветшание на становление»,— пишет Чжан. Однако в большинстве древних текстов книги Лао-цзы возможность «нового становления» для продвинутого даоса недвусмысленно отрицается. Не означает ли тогда заключительная строка, что человек, порвавший с мирской суетою, выпадает из круга перерождения и может по смерти уйти в совершенное небытие Дао, не обретая «новых становлений»?! Для тех, кто склонен видеть в книге Лао-цзы плод индийских влияний, такое вполне возможно; однако до тех пор, пока даосизм рассматривается только как автохтонное китайское учение, подобная точка зрения вряд ли найдет много сторонников. А пока что наиболее распространенным остается понимание «нового становления» как «достижения заслуг, знатности, славы и процветания», от которых отказывается даос, пребывая в «ветхости».

---

[1] В древнем Китае — один из видов наказания за «оскорбление величества».

Возвращение к корню

Дойдя до пределов пустот,
Сосредоточусь в недвижности и покое.
Здесь сотворяются купно мириады вещей,
И я наблюдаю за их возвращением.
Вот вещи роятся —
И каждая снова вернется к своим корням.
Возвращение к корню — это успокоение,
В успокоении — обретение новой судьбы,
В обретении новой судьбы (проявляется) вечность,
В познании вечного — просветление.
Не познавшие вечного
В ослепленьи творят злодеяния,
Познавший же вечное, вмещает его в себя.
Вместивший его — уже не своекорыстен,
Несвоекорыстный — это Владыка,
Владыка — есть Небо,
Небо — есть Путь,
А путь Долговечен.
Пусть тело исчезнет — ты не погибнешь!

По мнению исследователей, этот стих — один из самых важных для правильного понимания Лао-цзы. В нем сплетены воедино вопросы бытия, смерти и бессмертия, разрешить которые возможно только выйдя за пределы обыденного сознания и суетного существования; путь же к этому выходу — медитация, погружение в пустоту и успокоение вибраций «ци».

Само название стиха как бы предваряет ход мысли читателя, подсказывает ему Путь. Ведь в древней китайской литературе «возвращение» есть аллегория смерти, точнее даже не аллегория, а просто синоним, другое наименование, ибо все мы являемся в этот мир лишь ненадолго, обитель же наша находится в иных пределах.

В стихе пятидесятом книги Лао-цзы слово «выходить» употреблено как синоним слова «родиться», ибо все мы вышли из небытия и оно является нашим домом; соответственно «возвращение к корням» есть возвращение в небытие, в Дао. Древние не случайно усматривали многозначительное совпадение звуковых вибраций в ононимах «гуй» — «душа умершего» и «гуй» — «возвращаться»; и даже тот современный читатель, кто не читал древних книг, прекрасно помнит заимствованный из них лозунг — призыв Мао Цзедуна: «Во-первых, не бояться трудностей, во-вторых, не бояться смерти, смотреть на смерть как на возвращение». Погрузившийся в медитативный транс, опустившийся в незримые бездны и достигший предельного успокоения, автор наблюдает бытие как бы изнутри, «с той стороны», откуда выходят корни всего сущего. Он видит рождение бесчисленного сонма вещей и живых существ, «проявление» их образов в видимом мире, а после — затухание, возвращение к истоку, «к корням». Как напишет позднее великий древний поэт Цзя И:

Мириады вещей вершат превращения,
И нет им ни отдыха, ни покоя!
Кружатся в водовороте:
Начавший движение — возвращается;
Телесные формы сменяют друг друга,
Подобно личинке цикады, сбросившей кожу...

Весь мир — словно клокочущий котел, где происходят таинственные, светоносные процессы, приводящие к появлению в сфере бытия все новых трансмутаций, все новых метаморфоз. Ничто не исчезает — оно лишь «превращается» и, отдохнув у корней, выходит в мир в новом обличье.

Земля и Небо — вот плавильная печь,
Созиданье и превращение — вот кто плавильщики!
Тьма и Свет — вот уголья их,
Мириады вещей — такова их бронза.
Сочетание, рассеяние, исчезновение и покой...
Разве неизменное существует?!
Тысячи изменений, мириады метаморфоз —
Не бывало еще им конца!
Нежданно-негаданно ты стал человеком,
Но стоит ли за это цепляться?!
Превратился в иную вещь,
И тоже — стоит ли горевать?!

Читая все это, трудно не обратиться мыслью к идеям метемпсихоза, перевоплощения, с глубокой древности имевшим хождение в соседней Индии. Правда, стихи Цзя И написаны сравнительно поздно, но сходные образы рисовал и великий Чжуан-цзы (IV—III вв. до н. э.). Достаточно вспомнить размышления одного из персонажей Чжуан-цзы о том, что ждет его умирающего друга: не превратятся ли его конечности в ножки насекомого или его внутренности — в печень крысы? Да и сам Лао-цзы несколько ниже говорит об «обретении новой судьбы» тем, кто возвратился и успокоился у «корней».

Медитирующий даос, пребывающий за гранью бытия, опускающийся духом в космические бездны и наблюдающий там не иссякающий источник жизни, как бы приобщается к вечности. И это дает ему не просто знание, но духовное просветление. Отныне он уже отстранен от того зла, которое безрассудно продолжают творить другие, он более не своекорыстен, не думает только о себе, ибо познал единство мира и слиянность всего живого. А коль скоро он утратил свой эгоизм — он обретает не доступную прежде целокупность собственного существа, предельную гармонию тела и духа. Отныне он достоин быть владыкой и государем, долг которого пестовать поддан-

ных. Он может стать идеальным руслом, по которому небесная благодать Дэ изольется на каждого без изъятия.

Далее мысль Лао-цзы устремляется от человека — владыки земного и проводника благодати — к Небу, а от него — к Дао. Это естественно, ибо все они связаны между собой, отверсты друг другу. Связь их запечатлена уже в самом иероглифе «владыка», «царь» («ван»), где все три космических уровня («дао», «небо», «земля», или же «верхний», «земной» и «нижний» миры») соединены между собой вертикальной чертой (обозначающей человека, «русло потока»). И действительно, владыка есть «Сын Неба» и получает от него свое «предначертанье», «мандат», он черпает из Дао благодать, а Космос-Небо есть почти синоним и видимый образ Дао. Более того, как сказано у Лао-цзы, «Тяготеющий к Дао уподобится Дао». Дао — вечно, и вечным становится сам даос, ибо медитирующее погружение дарует ему бессмертие. «Для людей суетных, не способных копить добрые поступки, смерть есть смерть истинная — они отходят к управителям земли,— комментирует «Небесный наставник» Чжан знаменательную последнюю строку стиха.— ... А когда отходит Совершенномудрый, он, оказавшись во власти смерти, минует Великую Тьму и вновь рождается в образе; исчезает, но не гибнет».

Вариант «Небесного наставника» Чжана несколько отличается от других; вместо слова «владыка», «царь» у него стоит иероглиф «жизнь», и уже с этой строки он говорит о вечной жизни, которую обретает даос. А «Старец с берегов Реки», равно как другие, полагающие, что слова «обретение новой судьбы» относятся к медитирующему, тоже понимают их как обретение им бессмертия («не смерть, а постоянное движение Дао»).

Надо сказать, что концовка этого стиха — не единственное место в книге Лао-цзы, где тот говорит о «жизни вечной». Так, стих 33-й он заканчивает строкой о тех долгожителях, «кто умирает, но не гибнет», а в стихе 52-м слова «исчезнет тело, но гибели не будет» повторяются снова в связи с рассуждениями о Начале и Матери мира, т. е. Дао, и о необходимости медитативного возвращения к этому первоначалу. Иначе говоря, сам Лао-цзы постоянно и настойчиво напоминает о возможности достижения того бессмертия, которым была занята мысль более поздних даосов. «Жизнь вечная» достижима, но лишь в результате отказа от собственного «я» и слияния с Абсолютом, с духовным первоначалом мира. Причем путь этот связан с безусловным отказом от зла, которое творят другие. «Не видят суетного глаза, не слышат суетного уши, не произносят суетного уста и не таят зла на мир,— поясняет «Старец с берегов Реки» слова о избегнувших гибели (стих 33-й),— оттого и обретают долголетие (бессмертие)».

У книжной витрины

Журнал «Иностранная литература» стремится по возможности регулярно информировать своих читателей о литературных новинках. В рубрике «У книжной витрины» мы рассказываем о книгах, уже появившихся на прилавках, за рубежом и о тех, что будут изданы в ближайшее время. При отборе главным критерием для нас служит имя автора, художественная или социальная значимость произведения. Но не проходят мимо нашего внимания и списки бестселлеров, публикуемые ведущими литературными изданиями мира, хотя всегда приходится помнить, что прочный творческий успех и мгновенная издательская удача часто не одно и то же. Какие же книги пользовались наибольшим успехом в прошлом году? Сразу оговоримся, что в кратком обзоре мы не стремимся перечислить все бестселлеры, а отметим лишь те, что, на наш взгляд, заслуживают внимания в первую очередь. О некоторых из них мы уже рассказывали, о других читайте в следующих номерах журнала.

БРАЗИЛИЯ

Судя по спискам бестселлеров национальной литературы, наибольший интерес у бразильских читателей вызывают произведения, связанные с оккультизмом. Так, бесспорным лидером является Паоло Коэлью — известный писатель, работающий в этом жанре. Его романы «Алхимик», «Узда» и «Дневник чародея» получили соответственно «золото, серебро и бронзу». А в общем списке зарубежных и отечественных авторов П. Коэлью опередили лишь англичанин Мартин Хэндрфорд с книгой для детей и взрослых «Где же Уэлли?» и Луиза Хей («Ваша судьба — в ваших руках» и «Любите себя и будьте хозяином своей судьбы»). В первую десятку попал новый роман Жоана Убалдо Рибейро «Хитрая улыбка».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Первое полугодие лидировал Джон Ле Карре с романом «Секретный пилигрим». Вслед за ним — «Генерал в своем лабиринте» Габриэля Гарсиа Маркеса. В числе переводных бестселлеров и роман Милана Кундеры «Бессмертие».

С произведениями серьезной художественной прозы соседствуют детективы, триллеры, эротическая литература. Например, первые места довольно долго держали романы Бена Элтона «Гридлок» и Джека Хиггинса «Орел улетел». Для того чтобы книга стала бестселлером, иной раз недостаточно репутации автора: необходима соответствующая реклама. Так, презентация романа «Поло» популярной английской писательницы Джилли Купер, где описаны нравы высшего света, финансовых кругов и игроков в поло, проходила в мае в Гайд-парке при большом скоплении народа. Как оказалось, не зря: книга до сих пор занимает первые места.

Среди нонфикшн (документальной прозы и эссеистики) следует отметить книгу «Как это делается» Джона Харвей-Джонса, который слывет в Англии «гуру» от экономики. Он знаменит тем, что добился успеха возглавляемой им химической компании, ставшей сегодня одним из крупнейших концернов страны. Это уже вторая его автобиографическая книга, попавшая в списки бестселлеров. Первая вышла три с половиной года назад. Обе они рисуют картину британского бизнеса и являются своеобразным путеводителем для начинающих бизнесменов (на эту же тему роман Джеффри Арчера «Полет ворона» — мы писали о нем в «ИЛ», 1991, № 11,— который также раскупается весьма активно). А вот документальная книга Питера Мейля «Всегда — Прованс» совсем о другом: о тихой жизни во французском Провансе, о природе и радостях общения с друзьями.

ГЕРМАНИЯ

Несомненный фаворит среди немецких писателей последних лет — Патрик Зюскинд, чей роман «Парфюмер» (читайте его в «ИЛ», 1991, № 8) занимает одно из ведущих мест среди бестселлеров 1991 года. В их числе и роман Мартина Вальзера «Защита детства» (см. о нем «ИЛ», 1991, № 12). Среди переводных авторов: Джон Ле Карре, Марио Пьюзо, Эми Тан, Питер Устинов.

ИРЛАНДИЯ

С 1990 года на волне успеха держится «История Ирландии (1921—1985)» профессора

Джона Ли. По свидетельству Джона Бонвиля, литературного редактора газеты «Айриш таймс», вкусы ирландцев сложно предугадать, и примером тому может послужить «Имя розы» Умберто Эко (см. «ИЛ», 1988, № 8—10) — книга, которая возглавляет здесь список бестселлеров дольше, чем в любой другой стране.

ИСПАНИЯ

В постфранкистской, обновленной стране продолжается движение к свободе и раскрепощенности, в том числе в нравах. Видимо, не случайно на первое место вышла эротическая книга «Как быть женщиной и не умереть от этого» журналистки Кармен Рико-Годой, а на второе «Мораль для любовника» Фернандо Саватера.

ИТАЛИЯ

Итальянцы отдают наибольшее предпочтение античной мифологии на современный лад — роману «Елена, Елена, Елена, моя любовь» о Прекрасной Елене и Троянской войне. Его автор — бывший специалист по ЭВМ Лючано де Крещенцо — известен тем, что его предыдущая книга «Греческая философия» (в двух томах) разошлась тиражом более миллиона экземпляров.

НИДЕРЛАНДЫ

В центре читательского внимания оказалась история любовных приключений двух известных голландских журналистов (ныне покойных) — Ренаты Рубинстайн и Симона Кармиггелта. В книге «Все лучшее во мне» Рената рассказывает о своих тайных встречах и ежедневной переписке с Симоном — «самым женатым мужчиной в Голландии», которому к началу их пылкой связи исполнилось 68 лет.

НОРВЕГИЯ

Трагическая судьба музыкантов из оркестра «Титаника», которые продолжали играть на тонущем корабле,— такова центральная тема самого читаемого в стране романа «Псалмы в конце путешествия». Его автор — Эрик Фоснес Хансен.

США

Американские читатели оценили книгу англичанки Антонии Байатт «Обладание» (см. о ней «ИЛ», 1991, № 7), получившую на родине в 1990 году премию «Букер». По-прежнему любят Джеймса Миченера («Роман». Читайте о нем в «ИЛ», 1991, № 8) и Марио Пьюзо («Крестный отец»-4). На одном из первых мест роман популярной писательницы Дэниэл Стил «Сердцебиение».

Что касается нонфикшн, долго лидировала скандальная биографическая книга Кити Келли «Нэнси Рейган: неавторизованная биография» — интерес к ней подогревался шумной полемикой в печати. Весьма заинтересовали читателей и «разоблачения» Голливуда, сделанные актрисой Джулией Филлипс в автобиографии «Больше тебе в этом городе не пообедать». Хорошо идет и последняя книга Джона Фулгама «Э!-О! Некоторые наблюдения по обе стороны дверцы холодиль-ника», о которой вы можете прочесть в «ИЛ», 1991, № 12.

ФРАНЦИЯ

Лидерами года можно считать Жана Д'Ормессона «История вечного жида» и Жана-Мари Гюстава Леклезио «Онитша» (см. о них «ИЛ», 1991, № 8, 10), державшиеся в списках бестселлеров по пять месяцев. Затем следуют лауреат Гонкуровской премии 1991 года Жан Руо (роман «Поля чести» читайте в 1992 году в «ИЛ») и Тахар Бен Джеллун (о книге «Опущенные глаза» см. «ИЛ», 1991, № 8). Среди дебютантов читатели и критики отметили имя Мишель Шуллер. Ее первый роман «Женщина, которая ничего не говорила» получил премию книготорговцев. Это история деревенской девушки, вышедшей замуж за горожанина. Она попадает в непривычные для себя условия, влюбляется в другого... Довольно быстро пропал интерес к роману Эрве Базена «Школа отцов», чего нельзя сказать про книги Франсуазы Саган «Окольный путь» (о ней см. «ИЛ», 1991, № 11) и Маргерит Дюрас «Любовник из Северного Китая». В числе переводных книг — все тот же «Секретный пилигрим», а также роман американского прозаика Пола Остера «Случайная музыка». Этот автор пока неизвестен советскому читателю, но его книги были хорошо приняты и в Великобритании и в США.

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ

В Праге нелегко найти на прилавках книги Милана Кундеры, а наибольшим спросом посетителей книжных магазинов Чехо-Словакии пользуются произведения писателя-президента Вацлава Гавела. Критики отмечают падение популярности таких мэтров, как Франц Кафка.

(Данные взяты из журналов «Паблишерс уикли» (США), «Бухрепорт» (Германия), «Лир» (Франция), «Лейя» (Бразилия), еженедельника «Санди таймс» (Великобритания))

АНДРЕ БРИНК

«Террористический акт»

André Brink. An Act of Terror. "Secker and Warburg"

Сюжет этого объемного — более 800 страниц — романа южноафриканского писателя Андре Бринка можно изложить довольно кратко. Главный герой, фотограф Томас Лэндман, вместе с кучкой террористов готовит покушение на президента ЮАР. Их попытка кончается неудачей, подруга Томаса гибнет, а сам он вынужден бежать из страны. По пути к границе он находит себе новую подругу, им на время удается скрыться от преследователей, но на границе с Ботсваной обоих задерживает полиция, после чего девушка умирает, а Томас совершает побег.

Авторские симпатии угадываются без особого труда: он возмущается жестокостью полиции, несправедливостью жизни и сострадает главному герою и его товарищам. Все персонажи разделены на положительных и отрицательных; первые — сплошь красавцы, эрудиты, эмансипе, а вторые (среди них,

разумеется, и старший полицейский Кэт Бестер) — трусы, слюнтяи и злодеи в чистом виде. Как язвительно замечают критики, «их статусу негодяев не угрожает и тень намека на возможность сложного внутреннего мира».

Рассказ о судьбе Томаса Лэндмана занимает три четверти книги, а затем автор обращается к истории рода Лэндманов, уходящего корнями в 1660-е годы, когда приехавший в Кейптаун Хендрик Лэндман женился на чернокожей рабыне. Очевидно, Андре Бринк стремился не столько бичевать настоящее и тем более размышлять о будущем, сколько понять, как возник апартеид и почему существуют такие люди, как Бестер и Лэндман: оба нарушают законы, но не видят в этом зла.

ФРАНСУАЗА МАЛЛЕ-ЖОРИС
«Божественная»

Francoise Mallet-Joris. Divine. «Flammarion»

«Божественная» — не только название новой книги Ф. Малле-Жорис, но и прозвище (точнее, второе имя) главной героини. Вполне благополучная тридцатипятилетняя парижанка Жанна Грандье преподает естествознание в частном колледже и страдает лишь от одного: она, мягко говоря, полная. Туманные мечты распроститься с этим недостатком превращаются волею случая — хулиганы ломают лифт в доме, где на тридцать втором этаже обитает героиня,— в твердое намерение похудеть. Немалую роль в этом сыграли сочувственные взгляды подруг и улыбочки коллеги-преподавателя. Жанна вступает в борьбу с калориями и собственным аппетитом. К ее мучениям добавляется платоническая любовь к Дидье Шмидту, молодому и шустрому коллеге, а также загадочный эпизод с Незнакомцем. Однажды Жанна забыла закрыть дверь квартиры, прилегла и уже почти уснула, когда вошел Незнакомец и в темноте, не говоря ни слова, поцеловал ее и — исчез. Этот персонаж вновь появится в финале, но при иных, трагичных обстоятельствах...

Известная французская писательница представила на страницах романа самую заурядную и вместе с тем уникальную человеческую судьбу. По мнению некоторых критиков, «Божественную» следует выдвинуть на присуждение Гонкуровской премии, даже несмотря на то, что автор входит в состав жюри.

УИЛЬЯМ ТРЕВОР
«Две судьбы»

William Trevor. Two Lives. "Viking"

В первой из двух новелл сборника «Две судьбы» англичанин Уильям Тревор рассказывает о судьбе женщины, которая лишена счастливой любви в браке и ищет удовлетворения идиллических желаний в воображаемом чувстве к своему кузену, тоже романтику. Они встречаются... на кладбище, где он вдохновенно читает ей Тургенева. Мир иллюзий хрупок, и в скором времени героине остается лишь вспоминать былое и предаваться в одиночестве смутным мечтам.

Во второй новелле — «Мой дом в Умбрии» — героиня рассказывает о себе сама. Она — писательница-романистка с загадочным прошлым, о котором читатель узнает по мере развития событий. Кульминационным моментом является взрыв в поезде, где едет героиня. Она остается жива, но попадает в число пострадавших. Пережитое и возвращение к жизни исцеляюще действуют на душу женщины; именно теперь писательница готова поделиться сокровенным — тайнами своего прошлого.

Две женщины — две судьбы, две противоположные натуры; одна из них убегает от действительности, другая же смело идет ей навстречу.

ЛЕВ КОПЕЛЕВ
«И все же надеяться. Тексты немецких лет»

Lew Kopelew. Und dennoch hoffen. Texte der deutschen Jahre. "Hoffmann und Campe"

В этой книге собраны статьи, эссе, интервью последних десяти лет Льва Копелева, живущего в Германии с конца 1980 года.

Сборнику предпослана статья графини Марион Дёнхофф, давнего друга писателя, где она рассказывает о жизни и творчестве Л. Копелева, о вынужденном расставании с Россией и лишении его гражданства, о работах, посвященных двум странам.

Самые разные темы затрагивает автор: переворот 1917 года, сталинизм, репрессии, вторая мировая война, политика, мораль, культура. Но главное, чему уделяет внимание писатель,— связь русской и немецкой культур. Получив кафедру в Вуппертальском университете, Лев Копелев собрал группу людей, с которыми работает уже много лет над так называемым Вуппертальским проектом. Они поставили себе задачу проследить культурные связи двух народов, начиная с древних времен, рассказать о духовной жизни этих стран, о русских и немецких писателях XVII—XX веков, влиявших друг на друга, о мыслителях и художниках. Несмотря на две мировые войны, на шовинизм и идеологические разногласия, связь между народами России и Германии не нарушилась.

В небольшом предисловии Копелев говорит о том, что проблемы, о которых говорится в книге,— смысл его жизни и цель его работы. Он посвятил ее памяти своей покойной жены Раисы Орловой и своих друзей: Генриха Бёлля, Виктора Некрасова и Андрея Сахарова.

ГИЗЛЕН ДЕ ДИЗБАХ
«Пруст»

Ghislain de Diesbach. Proust. "Perrin"

...Франция, конец прошлого века. Двое братьев отправляются к совей тетушке отобедать, и мама дает каждому из мальчиков по пять франков — поблагодарить, как обычно, тетушкину кухарку. Однако на площади Мадлен старший брат видит маленького чистильщика обуви: тот весь дрожит от холода, тщетно ожидая клиентов. И тогда, тронутый этим плачевным зрелищем, мальчик просит беднягу почистить свои и без того сверка-

ющие ботинки и оставляет ему те самые пять франков...

Отец доброго мальчика, известный врач, с неудовольствием заметил сыну, что если тот и впредь не оставит подобные привычки, то закончит жизнь в нищете. Но отец, к счастью, ошибся. Звали мальчика Марсель Пруст; он удостоился Гонкуровской премии и стал одним из величайших писателей Франции.

«Он обладал врожденным великодушием, помноженным на воображение, которое позволяло ему поставить себя на место других и понять их желания и надежды»,— пишет Гизлен де Дизбах в биографической книге о Марселе Прусте. Опираясь на ставшие недавно известными факты и документы, автор пытается ответить на вопрос: «Как маленький Марсель превратился в великого Пруста?»

Авторы этого номера

БОГУМИЛ ГРАБАЛ (BOHUMIL HRABAL; род. в 1914 г.) — чешский писатель, лауреат литературных премий. Автор многих сборников рассказов, среди них «Жемчужинка на дне» («Perlička na dně», 1963), «Праздники подснежников» («Slavnosti sněženek», 1978), повестей «Поезда особого назначения» («Ostře sledovaně vlaky», 1965), «Слишком шумное одиночество» («Příliš hlučná samota», 1976), автобиографической трилогии: «Свадьбы на дому» («Svatby v domě», 1986), «Новая жизнь» («Vita nuova», 1986), «Прогалины» («Proluky», 1986). Произведения Б. Грабала переведены и изданы во многих странах мира. В «ИЛ» напечатан его рассказ «Беатриче» (1989, № 12). Роман «Я обслуживал английского короля» («Obsluhoval jsem anglického krále») взят из книги «Три романа Богумила Грабала», изданной в Праге в 1989 г. (Bohumil Hrabal. Tři novely. Praha, Československý spisovatel, 1989). Он войдет в книгу, включающую также повести и рассказы Б. Грабала, которую готовит к печати издательство «Радуга».

ДОНАСЬЕН АЛЬФОНС ФРАНСУА ДЕ САД (DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE SADE, 1740—1814) — французский писатель, философ, политический деятель. Участник Французской революции 1789 г. Около тридцати лет провел в заключении. Последние десять лет жизни был заключен в Шарантон, больницу для душевнобольных. Автор романов «120 дней Содома» («Les 120 journées de Sodome, 1785), «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» (Justine, ou les Malheurs de la vertu», 1791: русский перевод этого романа вошел в сборник произведений де Сада под общим названием «Жюстина»; М. 1991), «История Жюльетты, или Благодеяния порока» («Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice», 1797), сборника новелл «Преступления любви, или Бред страстей» («Les Crimes de l'amour ou le delire des passions», v. 1—4, 1800), сборников эссе «Философия в будуаре» («La Philosophie dans le boudoir», v. 1—2, 1795), пьес и др. произведений. «Несчастья добродетели» и «120 дней Содома» впервые были опубликованы более чем через столетие после смерти автора.

Переводы публикуемых новелл выполнены по изданию: Les Crimes de l'amour. Paris, Livre de poche, 1972.

В подборке стихов молодых поэтов Словакии представлены:

ТАТЬЯНА ЛЕГЕНОВА (TAT'JANA LEHENOVÁ) — окончила юридический факультет университета им. Коменского в Братиславе. Автор поэтических сборников: «Для избранного круга (и для Аленки)» («Pre vybranú spoločnost' (a zvlášt' pre Alenku»), 1989), «Цыганский табор» («Cigánsky tábor», 1991).

ДАНА ПОДРАЦКАЯ (DANA PODRACKÁ) — изучала психологию на философском факультете университета им. Коменского в Братиславе. Автор поэтических сборников: «Возлюбленная месяца» («Mesačná milenka», 1981), «Зимние гости» («Zimní hostia», 1984), «Рубикон» («Rubikon», 1988), «Гризли в спящем доме» («Grizly v spiacom dome», 1991) и двух книг для детей.

ЭРИК ГРОХ (ERIK GROCH; род. в 1957 г.) — автор сборников стихов «Личные часы печали» («Súkromné hodiny smútku», 1989), «Баба Яга. Элегии» («Baba Jaga: Žalospevy», 1991).

ЙОЗЕФ УРБАН (JOZEF URBAN; род. в 1964 г.) — учился в Экономическом институте в Братиславе. Автор поэтических сборников «Маленький яростный Робинзон» («Maly zurivy Robinson», 1989), «Глухонемая музыка» («Hluchonemá hudba», 1989) и др.

ГЕРД РЕЙМЕРС (GERD REIMERS) — шведская журналистка и писательница. В 1975 году основала издательство «Эдишн Реймерс АВ»; автор ряда книг по литературе и искусству: «Искусство и история музыки: от наскальной живописи до поп-культуры» («Konst och musikhistoria: Från grottkonst till popkonst», 1966), «Краткая история театра» («Liten teaterhistoria», 1969), «Рождественские сказки» («Sagar om julen», 1974), «Венский вальс и семья Штраус» («Wienervalsen och familijen Strauss», 1975), «Стокгольм в стихах»

(«Diktens Stockholm», 1985), «Женщина и художница» («Kvinna och konstnär», 1987).
Книга «Жены и музы», главы из которой публикуются в этом номере, вышла в Швеции в 1984 году («Maka ock omaka». Stockholm, Legenda, 1984). На русском языке Герд Реймерс печатается впервые.

СУЗАН СОНТАГ (SUSAN SONTAG) — американский культуролог и прозаик, участница леворадикального движения 60-х годов. Автор романов «Благодетель» («The Benefactor», 1963), «Набор смерти» («Death Kit», 1967), сборника рассказов «Я и т. д.» («I, etcetera», 1978), сценария фильма «Дуэт для каннибалов» («Duet for Cannibals», 1970) и др. Перу С. Сонтаг принадлежат также работы по эстетике, философии культуры, эссе, в том числе «Стили радикальной воли» («Styles of Radical Will», 1969, «О фотографии» («On Photography», 1977), «Болезнь как метафора» («Illness as Metaphor», 1978), «Под знаком Сатурна» («Under the Sign of Saturn», 1980) и публикуемое в этом номере эссе «Против интерпретации» («Against Interpretation», New York, 1964).

КУРБАТОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский литературный критик. Автор книги о художнике Александре Агине, иллюстрировавшем первое издание романа Н. В. Гоголя «Мертвые души», а также книг о М. Пришвине, В. Астафьеве, статей по зарубежной литературе, публиковавшихся в журналах, в том числе в «ИЛ».

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ПРОШУНИНА ДЕЛЯРА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с чешского и английского языков. В ее переводах публиковались рассказы Б. Грабала (в «ИЛ» напечатан перевод рассказа «Беатриче», 1989, № 12), Дж. Тэрбера, романы Дика Френсиса «Нерв» и В. Кратохвила «Жизнь Яна Амоса Коменского».

МОРОЗОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — кандидат филологических наук, переводчик с французского, автор ряда статей по лингвистике. Переводила пьесы Андре Бенедетто, романы Эжена Сю, Понсона дю Террайля.

ЛИСЕВИЧ ИГОРЬ САМОЙЛОВИЧ — советский китаевед, доктор филологических наук. Автор книг «Древняя китайская поэзия и народная песня» (1969), «Литературная мысль Китая» (1979), переводов китайской классики.

Цена:
по подписке 3 руб. 75 коп.

ИНДЕКС 70394

Библиотека журнала «Иностранная литература»

В 1992 году выйдут в свет:

АЛЬБЕР КАМЮ (Франция)
«Счастливая смерть»

РАЙМОН РАДИГЕ (Франция)
«Бал у графа Д'Оржель»

ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ (Италия)
«Теорема»

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ (Испания)
«Этюды об Испании»

ИТАЛО КАЛЬВИНО (Италия)
«Если однажды зимой...»

ГРЭМ ГРИН *(Великобритания)*
«Наемный убийца»

**Книги Библиотеки «ИЛ»
распространяются только в розницу.**

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1992, № 1 1—256